

Аркадий Тервенцев

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Крымиздат. 1950

Аркадий Тервентев

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**



Том второй

КРЫМИЗДАТ • СИМФЕРОПОЛЬ
1 9 5 0

★

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ



Роман



*Решением Совета Министров Союза ССР
Первцеву Аркадию Алексеевичу
за роман „Честь смолоду“ присуждена
Сталинская премия второй степени
за 1948 год.*

Часть
ПЕРВАЯ





Героической советской молодежи,
Ленинскому комсомолу.

Автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГИБЕЛЬ «МЕДУЗЫ»

Начавшийся с полудня ветер к вечеру усилился на три балла. Это был нехороший ветер, дующий наискось по морю. Его боялись рыбаки, уходившие далеко в море, и называли странным словом «гарби», неизвестно откуда пришедшим на кавказское побережье. Гарби изменчив и может внезапно перейти в береговой к. Тогда ищи баркасы и фелюги в открытом штормовом море. И если выбрасывает обломки рыбацких суденышек где-нибудь на болгарском или румынском побережье, знай, что это невольные гости с советского Кавказа, жертвы гарби.

Рыбачья гребная ватага весело ствалила сегодня поутру в море. Вместе с ней ушли мой отец Иван Лагунов и два старших моих брата — Матвей и Илья. С завистью я, восьмилетний мальчишка, провожал баркасы. Заскрипев своими киями на крупнозернистом песке и разноцветной гальке, они врезались в зеленую воду.

На старом баркасе «Медузе» ушел Матвей, ему только-только двенадцатый год; на втором, вместе с отцом, — десятилетний Илюшка. Мать несмело просила отца оставить детей, но отец сгрел сразу двоих и понес на баркасы. Он сдал Матвея молодому, удачливому болгарину Николе, а Илюшку бросил голым пузом на чисто выскобленную, желтую, как орех, корму своей лодки «Коля Руднев».

Ватажек Антон Старокож искося глянул на мать. Она была тогда красивая, с волнистыми, забранными в узел светлыми волосами, с веселыми черными глазами и разлетными бровями. Уловив тревогу в ее всегда смеющихся глазах, Старокож присел на корточки, захватил горсть сухого песку и подбросил его вверх. Песчинки упали отвесно. Потом Старокож послюнил палец и подставил его ветру. Все было хорошо, — баркасы уходили в полный, утренний штиль. Ничто не предвещало гарби. Ни одного облачка не лежало на горах, обступивших долину. Третий месяц не было дождя. Даже в горах, в высохших руслах, на донных валунах стал обсыпаться мох. Старокож отдал команду.

Ватага погрузила новые камбальные сети, ружья, — может быть, попадутся дельфины, — запасные весла, пресную воду, сухую рыбу, брынзу и хлеб.

«Медуза» ушла в голове. Болгарин Никола, чубатый, черный от загара, стоял на корме у руля и озорно покрикивал на загребных. Матвей, чтобы не встретиться взглядом с матерью, смотрел в море. Сестренка Анечка, прижав куклу подмышкой, помахивала обеими руками уходившим баркасам. Было, как всегда, шумно, весело, радостно.

И вот утреннее, светлое чувство радости сменилось тревогой. Мне никогда не забыть этого вечера, так круто повернувшего нашу жизнь. Как сейчас вижу, солнце какое-то мягкое, расплавленное, красное. Всей своей подрагивающей массой оно быстро падает в море, соприкасается с ним. Чья-то могучая рука, придерживавшая его сверху, разжимается, и солнце ныряет, как медный пятак в копилку... Море сразу темнеет, а волны, только что летевшие к берегу с красноватыми просветами на изломе, становятся черными и страшными. Умслк тоненький голосок Анюты, любившей распевать песенки над водоплеском.

Сестренка подходит ко мне. Ветер треплет косички, вапрокидывает через плечи. По ее испуганным глазам, по сжатым губам я догадываюсь, о чем она думает. Наматываю на кизиловое удилище леску, относимую ветром, стараясь не зацепить прыгающим крючком сестру. Передаю ей бычков, нанизанных на кукан — шпага-

тинку с палочкой на конце, чтобы не соскальзывали рыбы:

— Отнеси для Пирата.

— Подожди, Сереженька, — шепчет Аня и глядит на море, как замороженная.

Я тоже перевожу взгляд туда, куда смотрит сестра, куда смотрят собравшиеся на берегу мальчишки, женщины и старпки, у которых ветер шевелит бороды, напоминающие мох самшита.

Пенные гребни похожи на плывущих белорунных барашков. Морские барашки быстро плывут, ныряют и вновь появляются на поверхности моря, но не могут доплыть к берегу. Сюда приходит обычная, громкая волна с высоким седым завитком. Волна идет вдоль берега пробегом справа налево, и закручивается гигантский коловорот.

Аня тревожно смотрела на волны, осторожно, на вытянутой руке держа кукан. Головастые рыбешки, нахватавшись воздуха, не трепыхались, обвисли, как сосульки, и стеклянно застыли их выпуклые глаза.

На берег пришли наши овчарки — рыбоеды и гроза шакалов. Собаки, виднув хвостами, легли, вытянув вперед свои большие, мускулистые лапы, повернув к морю длинные черные морды, покрытые породистыми родинками. Изредка они поглядывали на людей, инстинктивно чуя их тревогу.

А море уже гремело. Коловорот кружился с шипящим рокотом, стучали выброшенные камни, летела пена, как стружка, из-под гигантского рубанка волны, строгавшей побережье.

На дамбу пришла мать. В сгущающихся сумерках ее фигура отчетливо проступает на фоне скорченных от засухи ожинников. Мать приложила руку к глазам. Вряд ли удастся ей сейчас что-либо увидеть. Разве только рыбаки зажгут фонари? Мать окликнула нас. Мы пошли к ней, и вслед за нами, мягко ступая своими сильными лапами, направились овчарки.

Наружно мать была спокойна. Но глаза ее не смеялись, как всегда, губы сжаты.

— Мама, наши еще не возвращаются? — спросил я.

— Они и не должны еще возвращаться, Сережа, — спокойно ответила мать.

— Но пришел гарби, мама.
— Вот и хорошо. Поставят паруса.
— Красиво, когда паруса! — сказала без улыбки сестренка.

Мать провела рукой по голове Анюты и строго улыбнулась.

Спустившись по гравийной дороге, мы направились аллейкой к дому. Вплотную к молодым эвкалиптам, прикочевавшим сюда вместе с человеком, вдоль абхазского побережья росла ожина — густые, оплетенные лианами кусты, — там ютились безвредные толстые змеи-глухари и даже большие желтобрюхи, или полозы.

Засуха разламывала землю, как землетрясение, высушивала колодцы, родники. Эвкалипты, посаженные для осушения мокрых низин, стояли понурые, как плакучие ивы. Засыхали и не медоносили цветы, и травы не выделяли у прилистников сладкий нектар, которым в трудное время кормятся пчелы-абхазянки.

А рядом лежало бесконечное море. Столько воды! Бесплезной, горько-соленой воды!

Жилища поселка были разбросаны по небольшой гряде, предшествующей мощному террасистому контрфорсу Кавказского хребта. Это сложное определение характера местности я постиг, конечно, после, уже в войну, когда пришлось в тактических целях изучать знакомое с детства побережье. А в детстве мы знали: от берега за дамбой идет низина, заросшая кустарником, который наше воображение наполнило бесчисленным количеством змей; дальше поднимается горка, где выстроены домики рыбаков, затем снова низина, а за ней горы, покрытые дубами, чинарами, фундуком, а дальше... Там уже неизданные дебри, где можно встретить разных хищных зверей, даже медведей и кавказских тигров. Оттуда осенними ночами доносятся крик сов, плач и хохот шакалов и еще какие-то звуки, леденящие кровь. Мы знали, что люди и там рубят и корчуют лес, ставят дома, санатории, проводят шоссейные дороги, сажают бананы, пальмы, олеандры и лавры.

Гасли звезды. Высокие мрачные колонны облаков падали, как бы загорались, и тучи текли, как дым близких пожаров. Всеядные листья пальм-хамеопс

дробно тряслись под ветром, и, как паруса, надувались листья бананов. Сухой воздух постепенно напитывался влагой, холодел.

Ночью после коротких пушечных ударов грома хлынул ливень. Небо было сплошь завешано облаками, а горы едва виднелись на горизонте. Как светляки в траве, светились далекие электрические огни курортного города.

Я боялся грозы, но все же не мог осилить детского любопытства. Выскользнув из-под одеяла, я на цыпочках вышел на веранду.

Дождь лил сплошной стеной. Это был причерноморский субтропический ливень, с его стремительными потоками и мельчайшей водяной пылью. Земля казалась мне горячей, как раскаленная чугунная плита, на которую льются эти потоки воды, мгновенно испаряясь.

Вода неслась по листьям бананов, как по желобам. Пальмы клонили свои веера. Вспыхивала при свете молний мчавшаяся вода, как пенящаяся, огненная жидкость.

Не было слышно ни одного звука живого мира. Ни резкого стрекота древесной лягушки, ни скрипенья пильщиков-кузнецов, ни треска зеленой ночной мухи. Только удары грома, блеск молнии и шум потоков.

Недалеко грмело море, хотя ветер постепенно стихал. Услышав в комнате шорох, я проскользнул в дверь и нырнул под одеяло. Я видел, как поднялась мать и вышла на веранду. Долго стояла она, освещенная молниями, глядя в сторону моря.

Я проснулся от звонких криков сестры:

— Наши, наши, наши!

Я быстро вскочил. На веранде, прижавшись к перилам, стояла сестренка и, радостно махая обеими руками, кричала:

— Наши, наши, наши!

Я заметил на горизонте точки рыбачьих судов. Снова показалось солнце — новое, ясное, разнося по долине ручьи света.

На море по руслу реки вышла глинистая дождевая вода. Отсюда, с веранды, она казалась коричневатой, резко выделяясь на темносинем море. Река натащила

в море столько глины, песка и деревьев, что, казалось, образовался новый, не имеющий еще названия мыс.

Резвые ноги несли меня к морю, словно по воздуху. Встречать ватагу спешили и стар и мал — все жители поселка. Люди бежали к берегу, сбивались кучками, перегоняли друг друга.

Причалов не было. Их все равно унесло бы море. Но рыбаки обычно приставали к одному месту. Здесь и сгрудилась толпа. Всмотривались туда, где в сиянии моря, на равномерных взмахах желтых весел, шли темные остроносые баркасы. Пересчитывали лодки. Кто-то сказал: «Где же «Медуза»?» Баркасы подходили все ближе. Вон крайний слева «Коля Руднев», на нем идет отец, вон флагман-мачтовка «Сила Буденного», на нем стоит седой ватажек Старокож, вон гребная фелюга с низкими бортами, будто вырезанными ножницами, — это «Капитанская дочка», или, как ее называют все, «Мусульманка». Ее захватил в беспокойную ночь Михаил Балабан, командир морского пограничного поста, прозванный на берегу отчаянным капитаном. «Мусульманка» попала в руки Балабану вместе с пятеркой акмабадских контрабандистов-турок и грузом шелка, чулок и трапезундского табаку. Балабан передал рыбакам трофейную фелюгу и вскоре перешел в Крым. Мы, дети, не видели Балабана, но романтически преклонялись перед ним. На корме «Капитанской дочки» в бушлате сидел совсем еще молодой парень Стенька Лелюков — соперник в удали и хватке болгарина Николы...

Но Никола не вернулся с ватагой. Не было его быстроходной «Медузы», не было брата Матвея. Лодки находились на зрительном подходе, ясно освещенные восходным солнцем. Я видел даже патронташи дельфинобоев, и седые виски Старокожа, и его пасмурные глаза, и широкое, усатое, бесконечно дорогое лицо отца. Возле отца сидел Илюшка, прижавшись к его коленям, закрытым кожаной гармошкой забродских сапог. Может быть, Никола пошел другим курсом? Может быть, он уже выпрыгнул где-нибудь на берег, размялся и, засмеявшись так, что засверкали его сахарные зубы, бросил на песок нашего Матюшку, и ну с ним возиться... Так играл Никола с нами, ребяташками. И мы любили этого веселого, красивого болгарина. А может, увела

Николу дельфинья стая, а тут шторм. Может, догоняет он ватагу? Удачлив же Никола!

Подобные мысли приходили в голову и другим. Всем было хорошо известно смелое морское мастерство рыбаков и дельфинобоев. Так рассуждали и подростки, уже ходившие в море, так и старики объясняли моей матери. Но сердце матери видит дальше всех и чувствует лучше, чем чье-либо другое сердце.

Мать стояла, не шелохнувшись, и неотрывно смотрела на приближающегося «Колю Руднева», чуть подавшись вперед. Я протиснулся сквозь толпу, добрался к матери, взял ее руку; она крепко сжала мою, и я ощутил дрожь ее тела. Тогда я понял: Матвей не вернется.

Баркасы подвалили.

Рыбаки сходят прямо в воду, выдавливают в песке ямки своими тяжелыми сапогами. На песок летят весла. Гребцы разжимают кулаки, опускают руки в воду. На ладонях кровь, ссадины. Ногти обломаны, и, кажется, стерты твердые, как кость, мозоли... Провалились глаза, окаймленные темными кругами.

Приход рыбаков не вызывает обычного оживления. Молчит толпа, молчит ватажек, присевший на камень с кисетом в руках, молчат рыбаки. Не радуют брошенные на камни дельфины. Камбалы, плоские, одноглазые странные рыбы, будто разрезанные надвое, лежат на дне баркасов навалом, как балласт.

Стенька Лелюков смотрит исподлобья на ватажка, снимает со своей «Мусульманки» мешок раскисшего хлеба, бросает на песок. К мешку подходят собаки, принохиваются. Стенька бьет нашего Лоскута носком сапога, и тот, не огрызаясь, отходит, ложится у ног отца, положив на его мокрый юхтовый сапог желтую в подпалинах лапу.

Бросив меня, мать идет к отцу. Он поднимает на нее тяжелые, опухшие веки. Мать смотрит на отца с надеждой. Мне хочется кинуться к ней, прижаться щекой к шершавым, обветренным рукам матери, но кругом сверстники. Они долго потом будут с насмешкой говорить об этом: И я замираю на месте.

Илюшка чертит пальцем по песку, не поднимая головы, словно и он чувствует свою ответственность

перед матерью. Ватажка не спрашивают. Жены рыбаков «Медузы» обступают отца, молча, прижав руки к груди, будто удерживая истошный крик, готовый вырваться из сердца.

А море сияет под утренним солнцем. Мы называем такое сверканье моря игрой в жмурки.

Мать поднимает свои увлажненные черные глаза, в которых мольба и надежда.

— Вернутся, Иван?

Отец отводит свой взгляд в сторону. От солнца загораются соленые морские брызги на его усах, словно радужные камешки. Мне кажется: на берегу сидит отлитая из металла статуя, какую я видел в городе. У статуи драгоценные усы. Потом мне становится стыдно за это неуместное сравнение. Отец продолжает молчать. И вдруг вскрикивает какая-то женщина. И за ней закричали, заголосили все женщины.

Отец поднимается и, тяжело шагая, идет к ватажке. Тот медленно поднимается. На лице его тревога. Ему, видимо, хочется спрятаться от отца, от его гневных глаз, в упор устремленных на него, и от плача женщин, потерявших своих кормильцев.

Отец подходит ближе к Старокожу, приостанавливается возле него, что-то тихо говорит ему, а потом вдруг бьет его со всего размаху своим тяжелым кулаком.

Я не успеваю протиснуться вперед. Меня оттолкнули люди, бросившиеся к месту происшествия. Мне виден опять занесенный кулак отца, слышен звук, похожий на удар по спелому арбузу.

Старокожа не видно. У отца искаженное гневом лицо. Крупные слезы катятся по его щекам. Я закрываю глаза и кричу. Я кричу так, что кажется, легкие вырвутся наружу. Меня подхватывает на руки мать, вытирает мне слезы. Я ощущаю ее шершавые ладони на своем лице.

Чувство стыда за свои слезы, за крик приводит меня в себя. Все смотрят на меня. Я не могу объяснить людям все, что произошло в моей душе, — вчерашний мрачный закат, коловорот волн, унесший моего брата, тропический дождь и огненные потоки на листьях бананов и пальм... Я не могу объяснить, как страшно впер-

вые увидеть своего отца в таком гневе и слезы на его лице.

Может быть, меня понял Стенька Лелюков. Он стоял спиной к баркасу со сплетенными ногами, с небрежно откинутой по борту рукой, и глядел на меня внимательно и дружелюбно, будто впервые заметил меня: «Ишь, мол, какое ты существо!»

— Лагунов прав, — сказал Лелюков, — не он, так я побил бы Старокожа. Мы могли бы спасти «Медузу». Но решить должен один хозяин в море — ватажек. А что сказал Старокож? «Пусть поколобродит один в море Никола. Пускай поймет, что такое ватага». Учить Николу можно, но только, так мне, Лелюкову, кажется, не тем моментом, когда, посчитать, все лохматые черти приходят по твою грешную душу. Никола оторвался от ватаги, и ватага должна была наказать его на берегу. Только не смертью. Прав сто раз Лагунов. Его кулак — мой кулак! Не вынырнет теперь Никола никогда. Жалко Матюшку... Хороший мог бы из него выйти рыбак...

Вечером тихо плескалось море. Море ласкалось у ног, будто вымаливая пощаду за свое злодейство. Сегодня никто не заплывал далеко, — держались близ берега. Не было слышно обычного смеха. На гальке лежали выброшенные волной и умершие от солнца медузы, а мне казалось, что это остатки баркаса Николы, превращенного морем в эту студенистую, бесформенную массу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОЩАЙ, МОРЕ!

Поиски «Медузы» окончились впустую. Море не выбросило ни одной щепы, ни одного тела. Я иногда думал, что Матвей не утонул. Мне даже казалось, что Матвей где-то спрятался. Вот-вот он выскочит из зарослей ожины, толкнет меня в бок и крикнет по-своему обычаю: «Догоняй, турок!»

На третий день к нам в дом пришли гости-рыбаки. С ними был Лелюков. Мать накрыла на стол. Рыбаки выставили принесенные с собой бутылки с местным кис-

лым винэм. Угощение проходило без обычного разгульного шума. Так всегда бывает на поминках. Когда гости ушли, Лелюков задержался возле отца и предложил ему принять ватагу вместо Старокожа, которого после гибели «Медузы» рыбаки не хотят иметь своим ватажком.

— Я не пущу его в море, — сказала мать, — не пущу детей.

— Всегда случалось рыбацкое несчастье, — ответил Лелюков, — всегда тонули рыбаки и разбивало штормом баркасы. Не так уж позорно помереть натуральному рыбаку в море.

Лелюков говорил, что теперь не будет опасно заходить в открытое море: приезжали люди из города, обещали прислать моторные баркасы. На побережье впервые создавались рыболовецкие колхозы, и рыбаки просили моего отца подумать, прежде чем отказываться.

— Мы ушли от земли, — сказала мать, — нас наказала земля.

— Что ты скажешь, Иван Тихонович? — спросил Лелюков.

— Дам ответ через две недели.

— Добро. Как раз подойдут моторки. Мы не торопим тебя с ответом. Понимаем твою горе.

После ухода Лелюкова мать сказала отцу:

— Я хочу уйти от моря.

— Не будем сегодня решать такого важного дела, — ответил отец.

Ночью меня разбудили звуки гармошки. Последнее время отец редко вытаскивал ее из сундучка. Это была заветная гармоника, спутница отца в империалистическую и гражданскую войны. Побывала она вместе с ним на румынском фронте, на Украине, отступала с отцом к Царицыну, видела Жутов мост, слушали ее Пархоменко, Коля Руднев, в честь которого отец назвал свой баркас. Слушал ее певучие голоса и луганский сказочный герой, слушал командир бронепоезда, на котором служил отец, известный Алябьев, и многие хорошие люди заказывали любезные их сердцу песни.

Но этой ночью, когда мне казалось, что где-то близко носится призрачный баркас «Медуза», холодело

на сердце от скорбных звуков гармошки и песни отца. Он подпевал в треть голоса какую-то новую, неизвестную еще мне песню. Впоследствии эта песня всегда нагнетала на меня тоску, и если я не мог запретить ее петь, то уходил, чтобы не слышать ее. Это была песня про неизвестное мне тогда дерево — рябину: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?»

Луна освещала нашу комнату, буковые кровати, стены, увешанные крючьями и металлической рыбацкой снастью. Тени от окон, как решетки, лежали на холодно освещенной веранде. Кричали шакалы, а мне чудился испуганный голос Матвея. Мать поднялась, подошла ко мне, опустилась на колени.

Я не мог уснуть. Мать молча взглянула на отца, и он отложил гармошку в сторону.

На следующий день отец достал из сундучка орден Красного Знамени, потер его суконкой и, подложив под ордена красный бант, привинтил к военной суконной рубашке. Потом он завернул в кусок старого паруса краюху хлеба, брынзу. Присели на минуту молча всей семьей, встали. Отец простился с нами, взял палку и пошел из дому. Мать провожала его к перевалу до ущелья. Вернувшись, она сказала нам, что отец ушел на Кубань, чтобы определиться там на житье.

Был 1929 год. С больших земель начали изгонять кулаков. Хорошие земли оставались без рук, жить на побережье становилось все хуже и хуже. Удобной земли здесь не было. Рыба? Известно всем, какова рыба в Черном море. В Керченском проливе, в дельтах рек можно было еще надеяться на улов, но в наших местах, открытых шторму, с отвесным покато морского дна и большими глубинами, приходилось рассчитывать только на открытое море. Конечно, отец никогда бы не решился идти на Кубань в другое время. Что там делать без лошади и без плуга? Много ли наворочаешь одними голыми руками? Разве батрачить? А семья? Отец пошел искать счастья на Кубань, где создавались артели по коллективной обработке земли, куда обещали прислать трактора. Отец приохотился к механизмам еще на бронепоезде, а перед этим служил на броневых автомобилях. Трактора же, по рассказам людей, в

управлении легче автомобиля, они заменяли лошадей, волов, могли легко поднимать твердые залоги.

Через девять дней вернулся отец. Путешествие его увенчалось успехом, что было заметно по улыбке, озарявшей его похудевшее лицо. Усы были завернуты кверху, как в лучшие дни. Он совсем не был похож на человека, ударившего Антона Старокожа. И это снова приблизило меня к отцу. Я охотно стащил с его ног высокие сапоги, покрытые слоем пыли. Отец осмотрел подошвы, покачал головой: «Пожег подошву о камни. Кременная дорога по перевалу. Ничего, Серега, отхватим новые».

Пока мать накрывала стол, он сходил вместе с нами к морю. Отец плавал саженкой, фыркал, нырял, кружил кулаком по воде так, что ходили волны. Мы прыгали в воду с его широких плеч. Он стоял, как металлический кнехт, упершись в дно ногами. Мы вползали к нему на спину, и отец пригибал свою голову так, что свисал его намокший темный чуб, и командовал: «Прыгай!» Изредка его взгляд уходил в далекую синеву моря, и лицо его как бы окутывалось туманом. Я понимал, что он вспоминает Матюшку. И вдруг отец, выходя из минутного оцепенения, снова ударил кулаком по воде, нырнул, схватил меня за ноги, бросил на волну...

Подощел Лелюков и устался на отца своим быковатым взглядом.

— Придется тебе начинать артель, Стенька, — сказал отец.

Золотистые руки Лелюкова пробежали по камешкам. Он искоса глянул на отца своими серыми навыкате глазами, в которых всегда не то усмешка, не то недоверие.

— А ты?

— Уйду на Кубань.

— Не ошибешься ли, Иван Тихонович?

— Думаю, не ошибусь. Да и не в выгоде дело.

— А в чем?

— В жизни, Стенька.

— Как это в «жизни»? А тут помираешь, что ли?

— А тебе, может, и не понять, Стенька.

— Расскажи, может быть, осилю дурной своей башкой.

— Воевал я гражданку, как зверь, — сказал отец, — добивался лучшей жизни. Кончилась война, пришел сюда, заманили. Вижу, мало здесь что изменилось. Как получал Антон Старокож долю с рыбаков до войны, так и осталась эта доля, только под другим компотом. Баркасы от него ушли и не ушли. Позволил он назвать свой баркас «Колей Рудневым», потрафил моему ордену — и на том концы.

— Так, — Стенька раздумчиво чертил палочкой по песку. — А дальше, Иван Тихонович?

— А дальше что? Пришел я ходоком от своей совести на Кубань. Потянуло меня снова к земле, Лелюков. Вижу, саботаж.

— Саботаж?

— Да, Лелюков. Хлеб в закромах у кулаков — не продают. Земли в наделах — не пашут. Лежат. Земли не дышат. Заросли под колокольню будяком, гуньбой, осотом. Какие земли!

— Взять их нечем будет! — сказал Стенька.

— Возьмем.

— Чем?

— Тракторами.

— Значит, строго решил уходить? — спросил Лелюков.

— Строго решил уходить.

— А дом кому?

— Хозяину. Ведь сам знаешь, квартирант я.

— А кто же теперь сменит Антона?

— Сами разберетесь, решите.

— Антон подговаривает, чтобы опять ему быть ватажком артели.

— Иди против, — посоветовал отец.

— Один в поле — не воин. Ты же уходишь.

— Пока Старокож, не уйду. Схожу завтра в ячейку, приведу человека.

— Вот это ладно.

— А артель придется тебе принимать, Стенька.

— Видно будет, — уклончиво ответил Лелюков и простился с отцом за руку.

Отец выполнил свое обещание. С детства родители

примером своим приучали нас к строгому выполнению данного слова. Это очень помогло мне потом в жизни. С отцом приехал человек, присланный партийной ячейкой. Из его разговоров со старшими мы узнали, что наш гость служил минером на миноносце «Керчь», который участвовал в выполнении приказа Владимира Ильича Ленина в 1918 году: миноносец торпедировал крупные военные корабли Черноморского флота в Цемесской бухте, чтобы не отдать эскадру в руки немцам. Исторический миноносец был затоплен самим экипажем в районе Туапсе.

У двух коммунистов — минера с «Керчи» и бойца бронепоезда, защищавшего Царицын, — были и общие интересы и взаимное понимание. Стронский — такова была фамилия минера с «Керчи» — производил впечатление решительного, смелого человека.

Худой, лысоватый, с татуировкой на крепких кистях длинных рук, в пиджаке, похожем на бушлат, Стронский не выделялся внешним видом своим среди рыбаков, собравшихся на шумный сбор ватаги.

Собрание проходило в рыбном сарае, у берега моря. Стронский горячо говорил о новой жизни, которая начнется в недалеком будущем на нашем берегу.

Бывший минер легко сговорился с рыбаками. Антон Старокож держался смиренно, как будто охотно подчиняясь общей воле.

Председателем нового рыболовецкого колхоза избрали Стеньку Лелюкова.

Я помню, как уезжал от нас Стронский. Он задушевно говорил с отцом, быстро покуривая тонкую, дешевую папироску. На лице Стронского была улыбка удовлетворения и одновременно какая-то тревога, будто, окончив успешно один бой, он уже думал о новом сражении. Кто мог тогда знать, что много лет спустя снова скрестятся пути минера с «Керчи» и мальчишки, жадно слушавшего каждое его слово!

А примерно через неделю к нашему водоплеску подошли первые две моторки, обещанные Стронским. Эти добрые моторные баркасы — «Завет Ильича» и «Боец коммунизма» — двигались автомобильными моторами; прикрытые деревянными, обитыми по шивам латунью

капотами, они были установлены в трюмной кормовой части баркасов.

Рыбаки радостно приветствовали появление этих двух моторок.

Появись такие суда раньше, разве прихватило бы штормом отважного Николу? Разве не бегал бы сейчас по прибрежным камням наш Матюшка?

Прощай, море! Прощай, наш плот, сшитый ржавыми гвоздями. Прощай, пампасная трава, — ее заросли служили нам шатрами. Правда, этой травой можно разрезать кожу до кости. Но мы хорошо знали, как обращаться с тонкими, пальчатыми ее побегами. Мы не знали еще, какие растения живут за перевалом. Нам казалось, что, конечно, больше не увидим пахучей, посыпанной желтой пудрой мимозы, не будет и розовых цветочков персидской акации, похожих на пушистых, только что вылупившихся птенчиков. А увидим ли мы там листья магнолии, словно вырезанные из жести, и ее крупные цветы, будто отлитые из стеарина?

Бури засыпали снегом горы почти до подошв, но снежные бури не приходили сюда к нам, в долину. Мы всегда с тревогой наблюдали, как вырываются из-за огромных вершин седые, разозленные препоной тучи, как испуганно улетают оттуда птичьи стаи; с радостным криком летели они над нашей приморской долиной, и море покрывалось птичьим разноплеменным базаром. Мы всегда приветствовали эту веселую осень. Мне никогда не приходилось переступать границу гор. Все на той стороне было недоступно моему разуму. Я не знал слов: «коньки», «лыжи», «валенки». Кубань же представлялась мне просторной степью, покрытой высокой пампасной травой, и над ней много коршунов и орлов, а по степи скачут всадники в бурках, в овечьих шапках, с саблями и ружьями.

У молдаван-виноградарей отец нанял повозку с тормозами и сильных упряжных лошадей, приученных к горной езде. Молдаване дали своего повозочного. Он приведет обратно фуру, груженную зерном, которое доступней было купить на Кубани.

Путь предстоял долгий. Отец нарезал буковых жердей, запарил их и согнул над повозкой. Каркас из

буковых жердей обтянул парусиной. Получился отличный фургон.

Вечером накануне отъезда отец, позвав меня с собой и Илью, пошел на берег. Мы несли кирку, канат, два зубила, молоток. На берегу отца встретил Лелюков и, радостно улыбаясь, рассказал о богатом утреннем улове на моторных судах: «Так ловко сыпали сети!..»

Отец молча выслушал Лелюкова и подошел к «Коле Руднёву». Баркас стоял на катках, на выносной зоне. Невдалеке несколько рыбаков с «Капитанской дочки» готовили вар, чтобы просмолить расшатанные штормом ее бортовые швы. Поздоровавшись с рыбаками, отец обмакнул принесенный нами квач в смолу и провел им несколько раз по наружной стороне кормы «Коли Руднева» — так обычно делают рыбаки, прощаясь со своим судном. Теперь все, в том числе и Лелюков, поняли, что Иван Лагунов уже не вернется к баркасу.

Стенька молча проводил нас до русла безымянного протока и как-то незаметно отстал. За руслом выходили к морю высокие, напоминавшие паруса, скалы туфогенных сланцев. Эти скалы и назывались Черными парусами. О подножье Черных парусов в штормы бились волны, и они-то выточили в подошве причудливые пещерки, куда не пройти ни лодкой, ни берегом, и не находилось смельчаков, чтобы осмотреть их вплавь. Черные, покрытые осклизлым мохом скалы при ветре гудели, как трубы.

Мы подошли к этим скалам. До заката оставалось часа полтора. Отец внимательно осмотрелся вокруг. Его взгляд прошелся по подножью, по пещерам, по вершине скалы.

— Придется брать сверху, — сказал он.

Я не догадывался, зачем отец привел нас сюда. Инструменты и канат, принесенные нами, наводили на разные догадки. Отец не был пустым человеком. Зачем бы ему таскать с собой кирку, молоток, зубила, бухту каната?

— Ты побудешь здесь, Серега, — сказал отец, — а мы с Ильей постараемся достать сверху.

Отец и Илюшка полезли вверх. Вскоре я увидел их фигуры на самой вершине скалы. Они резко выделялись на фоне светлоголубого неба.

Затем отец укрепил на вершине скалы канат и осторожно начал по нему спускаться вниз. Скала была выше обычной церковной колокольни. Спуск был опасен. Я надеялся на силу и ловкость отца. Конечно, начатое дело он непременно закончит. Но что он задумал?

Отец медленно опускался спиной к морю, упираясь ногами в скальную стенку. Руками он регулировал спуск. Только один раз при проходе косой щели, в центре разрезавшей скалу, я поймал взгляд отца, скользнувший по мне. Уже было вытравлено не меньше полбухты каната. Отец висел как раз на середине Черных парусов. Вытянув руки, он крикнул что-то Илюшке. Тот нагнулся над скалой и ответил отцу.

Теперь отец больше не спускался, а уперся ногами в стенку и, откинув корпус, стал бить киркой по скале.

В воду полетели осколки камней. «Неужели в Черных парусах хранятся известные только отцу клады?» — думал я. Любопытство мое разгоралось. Мне хотелось пробраться к Илюшке. Вряд ли Илюшка, даже при скрытности своего характера, не поделился бы тайной. Но я не мог уйти, раз отец приказал мне дожидаться на месте. Приказание отца сдержало меня. Я не мог его послушаться. Я продолжал наблюдать. Долго отец работал киркой. Время я определял по отдаленным звукам рынды морпоста, отбивающей склянки.

Наконец кирка умолкла. Последний камешек булькнул в воду. Теперь застучал молоток, ритмично ударяя по зубилу. С ближнего лова шли рыбаки на малых посудинах. Сюда доносилась их песня, широкая и просторная, как море, и тоскливая, как осенний ветер. Тихо ложились в воду весла. Чайки с криком носились над караваном. Эти священные птицы моряков низко, почти касаясь крыльями моря, криком приветствовали приход рыбацкого каравана, возле которого они всегда находили пищу. От солнца, все ниже опускавшегося к горизонту, на море ложился сверкающий след.

В море выходили сторожевые корабли, маленькие, тонкие, с такими же тоненькими пушечками на палубах. Игрушечными казались издалика и эти кораблики, и пушки, и неподвижно застывшие фигурки краснофлотцев, начинавших свою ночную пограничную вахту.

Еще долго молоток стучал по скале. С моря потянуло теплом, с суши — прохладой. Запилили первые ночные кузнечики. Мне становилось не по себе. Присев на камень, я поджал под себя босые ноги...

И вдруг кто-то схватил меня за плечи. Я вздрогнул. Возле меня стояли отец и Илья, нагруженный канатом. На одежде и руках отца сохранились следы каменной пыли. Кровоточила ссадина на левой кисти руки, — вероятно, расшиб при неудачном ударе по головке зубила. И все же, несмотря на горячее желание, я не задал ни одного вопроса. Когда мы шли к дому, отец, раздвигая кусты ежевики, нагнулся ко мне и поцеловал. Это случалось так редко.

— Скажи, папа, — растроганный его лаской, попросил я, — что вы с Илюшей делали на черной скале?

Отец ответил не сразу. Еще несколько шагов мы шли с ним бок о бок, и он гладил своей ладонью мои курчавые волосы, проволочные от соли и солнца.

— Мы попрощались с Матюшей, — тихо ответил отец.

— Только вы? А я?

— Нет. Все мы, трое. Завтра туда придет прощаться мама.

— Что же ты вырубал на скале?

— Слова, какие бывают на дорогой могиле.

Он больше ничего не сказал. Позже, когда ко мне с годами пришел разум, я узнал, что отец никогда не мог простить себе гибели сына. Ведь мать просила не брать детей в тот последний рыбачий поход. Отец не мог простить себе, что он разъединил сыновей, отдав Матвея на старый отживший баркас, из-за жадности ватажка выпущенный в открытое море.

...На зорьке еще темно в нашей долине. Солнце идет к нам с Кубани, а горы мешают ему. На заре горы обычно темнеют с нашей стороны, так что не разобрать даже деревьев. А гребни, будто вырезанные из картона, подсвечены с обратной стороны червонным пламенем восходящего солнца.

Таким запомнилось мне прощальное росистое утро. Мы шли с матерью и сестренкой к Черным парусам. Не совсем еще проснувшаяся Анюта хмурилась, кривила губы. Она не знала причины столь раннего

подъема. Я же сгорал от нетерпения. Мы достигли моря и скал в тот момент, когда не само солнце, а только его лучи вырвались из-за хребта. И при щедром их свете я прочитал на скале вырубленную отцом надпись:

Матвей Лагунов

1918 — 1929

Сталинград — Черное море

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА ПЕРЕВАЛЕ

Фургон миновал долину. Начался подъем в гору. Позади остались домики молдаванского села, поле семенной капусты, заваленное кочанами, плантации цветущих табаков.

Наш возница Мосей Сухомлин вышагивал рядом с фургоном. Однообразный цокот кованых копыт действовал усыпляюще. В фургоне, прикрыв глаза, сидели мать, Анюта и младший брат Коля. Сестра разговаривала с куклами. Коля грыз яблоко. Отец, Илюша и я шагали позади фургона. Весь подъем на перевал решено было идти пешком, чтобы облегчить лошадей. Дорога начала делать петли. Море, лежавшее в полном штиле, появлялось то справа, то слева. И, наконец, море исчезло. Я ожидал, что оно появится за вторым поворотом. Тщательно я искал глазами хотя бы тот, последний, виденный мною голубой треугольник воды. Напоминая о нашей долине, еще торчали верхушки кипарисов. Потом исчезли и кипарисы.

Возница Сухомлин затянул молдаванскую песню. Ее слова были неизвестны мне, и в ней было много неизбывной тоски. Мать открыла глаза, прислушалась к песне и снова спряталась в глубину фургона. Мы видели только ее вздрагивающие плечи и косы, завязанные на затылке. Отец догнал Сухомлина и что-то тихо сказал ему. Тоскливая песня сменилась другой, хотя в ней тоже было мало радости. Таким, в сопрово-

ждении унылых молдаванских напевов, запомнился мне путь к новой жизни.

Дорога шла вдоль ущелья. Внизу текла река. Чем дальше в горы, тем сильнее слышался ее шум. К концу дня река шумела на большой глубине, как море в средний прибой или как лиственный лес при ровном сильном ветре.

Горы поднимались все выше и выше. Ущелье отвесно рассекло горы. Скалы нависали над нами. Где-то на большой высоте синело небо. Солнце изредка бросало нам свой луч. Итти становилось труднее. Шоссе, казалось, тянулось без всяких подъемов: они скрывались бесконечными зигзагами поворотов. Мне надоело шагать, и я решил притвориться уставшим. Я склонил голову, свесил руки, будто на чучеле, начал прихрамывать, отставать.

— Ты чего волочишься, как побитый камнем? — строго спросил меня Илюшка.

— А тебе что?

— Хитроват ты, вот что...

— А тебе что?

Мать, услышав нашу перебранку, сошла на ходу с повозки, посадила меня на фургон, а сама пошла. Я прислонился к сестренке, заснул.

Меня недружелюбно растолкал Илюшка, прервав глубокий сон, наполненный битвами с какими-то чудовищами у Черных парусов.

Вместо того чтобы ответить благодарностью Илюшке, я обругал его. Брат сверкнул на меня своими черными материнскими глазами и сказал с укоризной:

— Мама шла пешком больше десяти километров.

Я торопливо прыгнул на землю.

Скоро распрягли лошадей и развели костер. Пихта поднимала высокое пламя, трещала, стреляла во все стороны. Мать приготавливалась варить ужин. Мне хотелось искупить свою вину, помочь матери. Я подошел к ней, но моя помощь уже была не нужна. Илюшка сходил к ключу за водой, принес доску для резки овощей, изготовил очаг из диких камней. Ни тени упрека я не прочитал в добрых глазах матери. И от этого мне стало еще тяжелей.

Отец беседовал с повозочным. Горбоносый молдава-

нин внимательно слушал его. Сухомлин был уже женат, имел ребенка и думал осенью выходить в отдел. Синяя выцветшая его рубаша была расстегнута, открывая грудь, заросшую коротким и выющимся волосом. Вместо сапог на его ногах были постолы из свиной кожи, стянутые по щиколотке ремешком. У широкого пояса, украшенного дешевым металлическим набором, висел нож в кожаных ножнах, отделанных таким же набором. Соломенная шляпа его лежала поодаль. Он сбрызнул ее водой, чтобы предохранить от крупных искр, разбрасываемых горевшей пихтой. Над кожаным поясом, в особых нашитых кармашках, прибрежные молдаване обычно хранили деньги. Судя по тому, что пояс молдаванина в одном месте оттопыривался, я догадался, где хранятся деньги, приготовленные для покупки зерна.

Собственно говоря, мне было безразлично, где находятся у возчика деньги. Этот вопрос в то время занимал меня потому только, что я боялся, не проводали ли об этом разбойники, которых, по моему убеждению, было множество в горах, как дельфинов в Черном море.

Мне хотелось, чтобы взрослые разговаривали об ожидавших нас опасностях и принимали необходимые меры. К моему сожалению, разговор был мирным. Молдаванин, рассчитывая отойти от семьи своего отца, думал прихватить за перевалом пшеницы не только на отцову, но и на собственную долю. Он жаловался, что отец будет прижимать его при разделе и, стоядя от родителей, ему придется первый год хлебнуть лиха. Хлеб, обычно завозимый с Кубани, исчезал на рынках побережья. Ходили слухи: следующий год будет еще хуже. На Кубани якобы прекращают засеивать свои наделы, и казаки решили сеять хлеб только для себя, не продавать ни одного пуда. «Что же будет с нами?» — сетовал молдаванин и с надеждой смотрел на моего отца, на орден, игравший красными бликами.

Отец говорил о том, как в 1918 году иностранные государства окружили Советскую республику, решив уморить ее голодом. Коммунистическая партия взяла в руки оборону государства и отбилась от врагов, мобилизовав силы народа. Тогда враги революции затаили хлеб. Даже сам Ленин получал в то время хлебный

пак в четверть фунта. Отец говорил, как к ним на Царицынский фронт прибыл соратник Ленина, — он сумел отстоять Царицын, собрать хлеб на юге и спасти от голода население городов. Зная по букварю лицо товарища Сталина, я легко представил себе, как он ходил по улицам волжского города, как поднимался в бронепоезд, ходил по окопам...

Огненное кольцо блокады вокруг молодой республики казалось мне огненным кругом из костров, подобных нашему.

По словам отца, история повторялась. Только теперь враг стал более хитер: он неуловим, невидим и не менее опасен. Это внутренний враг.

Я представил, как эти враги окружили тысячью колец нуждающееся в хлебе население. Какие-то страшные, уже не огненные, а похожие на свернувшегося желтопуза круги сжимались и сжимались. И вряд ли можно расцечь этих чудовищ вот таким, как у возницы, ножом...

Отец говорил, что после смерти Ленина борьбой за жизнь занялся тот же человек, который напичкал хлебом людей в первые дни республики. Отец верил этому человеку, как самому себе. За ним можно было идти в любой огонь, на какие угодно препятствия. Выведет! Он пришлет трактора, и трактора раздавят всех желтопузов. На земле утвердятся настоящие хозяева и не дадут умереть стране.

Отец ехал на Кубань, как на фронт. Он не ожидал там спокойной жизни. Его не пугали опасности борьбы во имя идей, за которые он сражался в молодости. Сильные отцовские руки, разбивающие о камень пихтовые поленья, могли очень пригодиться в предстоящей схватке.

Молдаванин спросил:

— Кто же повернет жизнь? Коммуны?

— Колхоз, — сказал отец с такой же гордостью, с какой произносил он слова «полк», «дивизия».

Чем же я мог помочь отцу в его новых заботах? На море я научился отлично плавать, грести легким полувеслом, ставить паруса, разбираться в ветрах. Я начал учиться читать и писать, и меня тянула к себе мудрость людей, скрытая в книгах.

После ужина я сам вызвался помочь матери: перемыл посуду, вычистил до блеска медную кастрюлю и даже принес коням воды из потока.

Илюшка усмехнулся. Он считал, что его пинки и оскорбительные насмешки образумили меня. Он ошибался: я думал о другом. Мне хотелось, чтобы увидел меня со своей высоты человек, сумевший прогнать царя и победить всех врагов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ФУРГОН ПЕРЕВАЛИЛ ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ

Наконец наш фургон перевалил хребет, и мы очутились в кубанском предгорье.

Измученные тяжелой кладью, лошаденки устало вышагивали последние километры.

По обеим сторонам дороги стояли подсолнухи в последнем своем цвете, подламывались налитые зерном кукурузные початки. Так же, как и в молдаванском селе, цвели высокие табаки, виднелись сараи для сушки табаков. Изредка встречались размежеванные полосами бахчи, обсаженные веничным просом. Тогда еще не было широких колхозных нив. Каждый отгораживался от соседа со всех четырех сторон либо просом, либо кукурузой, либо высоким, как забор, тростником-сорго. Прислушиваясь к разговорам старших, я смотрел на незапаханные наделы, покрытые сорными травами—амброзией, ловиликой, осотом. Скошенный вручную хлеб лежал в почерневших копнах. Редко кое-где работали молотилки.

Выехав на большой Краснодарский тракт, мы свернули влево. Только что горы находились позади нас. И снова лошади, помахивая гривами, везли наш фургон опять к горам. Если сравнить хребет с огромной дугой, то от западного основания этой дуги мы перебирались к восточному. Дуга гор, предохранявшая наш рыбацкий поселок от восточных ветров, теперь была перед глазами. Вот откуда испуганно удирали птичьи стаи! Равнина, пересеченная каньонами, вплотную подошла к невысокому хребту, подрезанному у подножья горной

рекой. Широкая и прямая, как развернутый холст, стелная дорога упиралась в горы. Куда вела дорога дальше, пока не было известно. Может быть, там и кончалась? Может быть, опять вела к другому, неизвестному мне перевалу?

Вскоре я различил в темных волнах курчавых лиственных лесов белостенные домики, разбросанные и на взгорье и у подножья. Эти белые домики невольно напомнили мне стаю уставших чаек, спустившихся отдохнуть на волны. Горячий ветер и струйчатое подрагивание миражей усиливали это сравнение, и мое сердце уже готово было примириться с новыми и еще чужими местами, где мне было суждено жить, горевать и радоваться. Это была станица Псекупская.

Пирамидальные тополя по обеим сторонам въезда напоминали кипарисы. Ну что же, почти ничего не изменилось...

Мать внимательно и тревожно осматривалась вокруг себя.

— Как здесь с топливом? — спросила она.

— Топливо есть, — отец показал рукой на лесистые горы. — Лишь бы топор и руки.

— А вода?

— Родники. Можно вырыть колодец. Здесь срубы выкладывают речным камнем.

— А картофель родит?

— Еще как.

— Близко школа?

— Построимся рядом со школой, — отец подмигнул мне: — А тебе, Сергей, кроме школы, припасена река. Плавай и ныряй...

Мы въехали в станицу. Деревянный мосток с окрашенными охрой перилами простучал под копытами лошадей. Все привлекало мое внимание. Улица была широкая, рассеченная надвое хорошо отделанной грейдерами дорогой.

Белые домики прятались в тени яблоневых и грушевых садов. На улицу выходили частоколы из узко нарезанной дубовой планки-штакета. Видимо, чей-то глаз следил, чтобы заборы были одинаковой высоты. Ровная линия заборов начиналась с окраины, у тополевой аллеи, и кончалась возле каменных зданий, располо-

женных в огороженном парке. На воротах парка по фанерному подбою было написано масляной краской: «Добро пожаловать».

Но приглашение относилось не к нам. Я догадался об этом по тому, что нас с фургоном не пустили даже близко к воротам. У калитки парка стояла сторожиха с палкой. Тополевая аллея тянулась через весь парк. В пролетах этих высоких пирамидальных деревьев я увидел гору с ровно окатанными краями, заросшими темным лесом. После я узнал, что каменные здания и парк принадлежат курорту, что дальше, к реке, текут серные ключи, где лечатся больные.

— Вы подождите здесь, а я разыщу Устина Анисимовича, — сказал отец.

Отец быстро пошел к калитке, что-то сказал женщине с палкой, и она пропустила его в парк.

Мать посмотрела вслед отцу, вздохнула. Я понимал состояние матери. Мне тоже было не по себе.

Пока отец искал Устина Анисимовича, мы подошли к памятнику Ленина, стоявшему среди цветочных клумб. Правая рука Ленина протянута в сторону видневшейся отсюда кубанской степи. В левой руке зажата кепка. Цоколь памятника вырублен из цельной гранитной глыбы.

— Как называются такие цветочки? — спросила Анюта, показывая на клумбу.

— Не знаю, — ответил Илюша, внимательно изучавший памятник.

— Я сорву один, понюхаю, — сказала Анюта.

— Я тебе сорву, — не глядя на нее, сказал Илюша.

— Они так пахнут, — Анюта потянула носом и выразила удовольствие на своем запыленном личике.

— Свинья ты печенка, — поддразнил я ее.

— Я скажу маме. Обязательно скажу... Я знаю, кто это, — она подняла палец к памятнику.

— Кто? — Илюша смотрел на нее с любовью.

— Дедушка Ленин, — сказала Анюта.

— Угадала, — похвалил Илюша. — Молодец, курносая!

— Почему у меня такие братики, — Анюта скривила губы по своей привычке, позаимствованной у одной девчонки еще в рыбацьем поселке: — один дразнит —

свиная печенка, другой — курносая? Папа, пала идет!

Анюта побежала навстречу отцу. Он шел с каким-то человеком, одетым в белую навыпуск рубашу с черным галстуком из тонкой шелковой ленточки, со шляпой в руках. Незнакомец обрадованно улыбался и еще издали помахал шляпой маме, ускоряя шаги. Я догадался, что это и есть доктор Устин Анисимович.

Устину Анисимовичу тогда было около пятидесяти лет. Еще держались на его голове редковатые, скобкой подстриженные длинные волосы, еще достаточно живости было в его движениях и приветливо блестели его светлые внимательные глаза.

Я никогда не видел Устина Анисимовича, но слышал о нем много. Мне было понятно, почему доктор, протянув руки матери, сказал: «Ничего, ничего, что же сделаешь, Тонечка». И мать очутилась в его объятиях. Я слышал о большой дружбе между моими родителями и Устином Анисимовичем еще по гражданской войне. Устин Анисимович помог матери выбраться из осажденного Черного яра в Царицын. Первый «дождь» в своей жизни мой братишка Матвей напустил на колени Устина Анисимовича — так говорил когда-то отец. Доктор был восприимчивым Матвея.

Сейчас, увидев своего старого друга, мать вспомнила все и расплакалась.

Мне тоже хотелось плакать. Гордый Илюшка, чтобы не показать своего волнения, отвернулся. Анюта ревели, хватая мать за юбку, топала ногами:

— Мама, перестань, перестань, я не люблю, когда ты плачешь.

Познакомившись со всеми нами, Устин Анисимович приказал развернуть повозку к его дому. Мать пошла с детьми за повозкой, отец и Устин Анисимович — впереди.

Вскоре мы свернули влево с главной улицы. Узкая улочка с ухабами, наполненными водой, привела нас к хорошему каменному дому, недавно выбеленному известью. Дом был крыт оцинкованным железом и украшен двумя конусными башенками со шпильями, тоже забранными под железную кровлю. Тесно, одна к другой, у забора стояли три крупнейших белолистки с

крупными стволами и сплетенными между собой вершинами. Одно дерево близко прижалось к дому. Дождевая труба, казалось, держалась не на доме, а на шершавой коре дерева.

На улицу выходили два крыльца: угловое со ступенями из плитнякового камня — для пациентов и второе — парадное, засоренное подсолнечной шелухой, с лавочками для сидения и резным навесом. Здесь был домашний ход. Два окна, примыкающие ко второму крылечку, были завешаны изнутри занавесками, а третье — большое окно — было наполовину закрыто марлей.

— Мы войдем в калитку, — предложил хозяин, — а вы, дружище, — обратился он к молдаванину, — заезжайте-ка с той стороны, там имеются ворота.

Устин Анисимович поспешил в калитку, снял засов с ворот и растворил их.

— Заезжайте, — крикнул он молдаванину, — прямо к сараю! Сено и ячмень найдем.

Мы стояли у калитки в нерешительности. Я увидел какую-то девочку в коротком платьице, выскочившую из дома на крыльцо. Она приложила ладошку от солнца к глазам, таким же светлым, как и у нашего друга Устина Анисимовича, впорхнула в дверь и вернулась с венком в руках. Быстро, так, что даже летело из-под венка, она смахнула шелуху с крылечка и хлопнула дверь.

— Заходите же, заходите, — любезно приглашал Устин Анисимович.

Девочка, подметавшая крылечко, уже вертелась во дворе. Она любопытно и непринужденно осмотрела нас с ног, обутых в дорожные постолы, до голов, прикрытых войлочными шляпами, и остановила взгляд на Аняте. Сестренка тоже смотрела на нее.

Девочка успела переодеться. Чудесной казалась она мне в своем коротеньком платьице, усыпанном яркими цветами, с косичками «чортиками», растопыренными в две стороны над маленькими чистенькими ушами, в носочках с тремя цветными полосками по кругу и в туфельках из удивительно алой и мягкой кожи. Даже пуговицы на туфельках были не обычные, а из квадратных кусочков перламутра, радужно игравших под солнцем.

подобно морским раковинам. А мы стояли перед ней, черные, запыленные, продымленные кострами рыбацьи дети...

— Ты на нее не смотри, как побирушка, — строго сказал Илья. — Нашел чудо-юдо...

Своими черными сноровистыми руками молдаванин отстегнул нагрудники от хомутов, повел лошадей к плетенке из краснотала. Для него все было гораздо проще. По его лицу я понимал, что он не завидовал нам, а может быть, и жалел.

К нам ласково относился Устин Анисимович, и хорош был его обширный дом, где мы не стесняли его даже своей большой семьей, и ни одного слова упрека мы не услышали от доктора за все время пребывания в его доме. А скажу по совести, с какой радостью я мог бы, наконец, заснуть в своем домике, хотя он был и хуже и меньше, и крыт не железом, а дранкой. Стеснительное чувство не оставляло меня в доме доктора. Я не знал, как себя вести, что можно, а что нельзя класть на подоконники, столики и столы, в каком месте счищать грязь с подошв и как держаться при гостях. Я вздрагивал от постоянного шопота матери: «Нельзя. Ты куда ж?» Мне было жаль маму. Ей приходилось обслуживать изо всех сил жене Устина Анисимовича, раздражительной женщине. Она была раздражительна от болезни, но мать и мы относили ее ворчание на свой счет и при ее появлении притихали и дичились. Я слышал однажды ее жалобы мужу:

— Все для них, кажется, делаю. Я рада твоим друзьям, я так много слышала о них. Но почему мои заботы им всегда в тягость?

— Поставь себя на их место, — тихо говорил ей Устин Анисимович. — Вот Иван Тихонович обживется в колхозе, построит домик, и мы гостями у него будем. Тогда и Антонина Николаевна повеселеет.

Пока, будучи свободен, как ветер, я знакомился с окрестностями станицы, которые были очень живописны, и заводил новые знакомства. Так произошла моя первая встреча с Виктором Неходой, Яшей Волынским и Пашкой Фесенко.

Эта встреча, пожалуй, произошла через месяц после нашего приезда в станицу Псекупскую.

Давно уже уехал молдаванин Мосей Сухомлин, доставший за большие деньги пшеницу. Уже освоился на новом месте мой отец, начавший организацию зернового колхоза. Уже было доверено отцу съездить в город и привезти первый трактор... Об этом будет рассказано после. А сейчас послушайте о похождениях фанагорийцев.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ФАНАГОРИЙЦЫ

В синих трусах, босиком, без картуза, в сопровождении своих верных овчарок я прибежал на берег Фанагорийки. Здесь река только-только вышла в долину и потому не успела вымыть глубокое русло. Фанагорийка бежала извивами, подрезая глинища правого берега. Слева тоже поднимался обмытый рыжий берег и на нем кривые дубы, белолистки и много павших деревьев с ободранной корой. С того берега доносились позванивание козьего стада и хлопанье бичей. Дело было к вечеру. Пастухи возвращались в станицу с левобережного пойменного пастбища.

Несколько мальчишек со смехом и улюлюканьем купали в реке свинью. Судя по ее визгу, она не чаяла вырваться из мальчишеских рук. В это же время пастушонок в соломенной шляпе перегонял бродом двух розовых породистых кабанчиков.

Пастушонок с опаской следил за забавами сверстников. Ему, как видно, были хорошо известны ребята, купавшие свинью, и он не особенно жаждал встречи с ними.

Он постарался побыстрее миновать брод. Кабанчики охотно вошли в воду и, мелко ступая по дну своими копытцами, наискось перешли бродом речку и поднялись на обрывистый правый берег.

Вскоре соломенная шляпа пастуха исчезла за садами.

После переката у брода река разливалась шире, образуя несколько протоков, тихо журчащих по камням, и обмывая редкие заросли краснотала — гибкого, вишневого цвета лозняка с ивовыми листиками. Напро-

тив зарослей краснотала, по колено в воде, с удочкой в руках стоял худенький черномазый мальчишка с большими глазами. Мальчик был одет в рваную рубашку и штанишки с помочами. Что-то жалкое было во всех движениях его тщедушного тельца, в частом подергивании штанишек, хотя они прочно висели на помочах, и особенно в робком взгляде его больших черных глаз в сторону шумной оравы. Было заметно, что мальчик спешит покончить с рыбной ловлей, чтобы избежать заведомой опасности.

Я спустился с обрыва и остановился на покрытых илом камнях.

— Удишь, а вечером чем будешь? — спросил я мальчишку, стараясь подражать Илюшкиной манере.

Видимо, мое лицо, медное от приморского загара, независимый вид молодого задиры, овчарки — все это ошеломило мальчика. Он испуганно глядел на меня, как на неожиданного и нового обидчика. Удилище дрожало в его руках. Леску сносило течением.

— Молчишь, тюлька?

— Здесь тюльки нет... не ловится... — пробормотал он.

— А ну-ка покажи, что ты ловишь в этой луже?

Мальчик положил удилище на воду, прижал камнем и покорно направился ко мне.

Собаки заворчали. В нескольких шагах от берега мальчишка приостановился. Вода была чуть повыше его щиколоток. Теперь я заметил тонкую веревочку, привязанную к помочам, и на веревочке несколько рыбок, продетых под жабры. Рыбки тащились за мальчишкой на кукане. Когда мальчишка остановился, одна из этих рыбешек перевернулась вверх белым брюшком.

— Чего же ты стоишь, как столб?

— У тебя собаки, — сказал он, — меня недавно покусали.

— Мои собаки тебя не тронут, — грубо ответил я, чувствуя свое превосходство.

Мальчик вышел на берег, заставляя себя улыбаться. Мне стало жалко его. Я выбрал одну из рыб и подкинул ее раз-два на своей ладони. Белое брюшко рыбки сверкнуло, как зайчик.

— Как называется?

— Чернопуз.

— Чернопуз? — угрожающе переспросил я.

— Тебя удивляет, что у него белое пузо? Я тоже не верил, — поспешно оправдывался мальчик. — Но это верно чернопуз.

— А это?

— Головень. Видишь, какая голова. Я поймал два головня и четыре чернопуза. Если ты хочешь принести домой рыбы, я тебе отдам чернопузов, всех. Только погоди, пока я еще наловлю.

Мальчик, повидимому, привык к тому, что у него отбирали улов. Мне стало стыдно. Принять меня за грабителя! Мне захотелось успокоить мальчика, показать свое благородство. Может быть, его надо защитить? Но как трудно бывает перестроиться на доброе! Как нелегко бывает перейти с залихватского тона на дружеский!

— Мне не нужна твоя рыба, — сказал я сдержанно.

— Не нужна? А ты меня позвал...

— Просто интересно... Видишь... я недавно приехал с Черного моря. Привыкли иметь дело вот с такой водой, — я широко развел руками, — вот с такой глубиной! — мои глаза поднялись к поднебесью, где кругами парил молодой коршунок. — А рыбы! Ты знаешь, что такое дельфин? Где тебе знать! А такими вот мы подкармливали чаек...

— Я не знал, что ты приехал оттуда. Конечно, если ты мог ловить таких больших рыб, что тебе мои чернопузы! — Мальчик, поняв, что ему нечего меня бояться, разговорился с жадной словоохотливостью, обычно свойственной впечатлительным напуганным детям. — Ты ловил дельфинов? Я тоже недавно поймал вот такую селявку. Я так и не сумел отнести селявку своему дяде, у которого я живу сейчас. Селявку мальчишки отобрали у меня... То есть не... отобрали, — мальчик настороженно оглянулся, — я сам поделился с ними селявкой. Ведь дядя видел всяких рыб. А знаешь, какой из себя усач? Я ловил и усача на удочку. А есть такая рыба леточка. У нее вот такая голова маленькая, широконая... тоже приходилось ловить.

— А бычки водятся?

— Бычки здесь маленькие, головатенькие. Спря-

чется у камня — и не поймешь, камешек ли это лежит мохнатенький, длинненький или бычок. Окунь здесь тоже попадает, пескарь, а весной подходит шамайка метать икру. Вот когда здесь полно шамайки! Руками бери! А...

Намученная свинья вырвалась наконец-то из жестких мальчишеских рук и стрелой полетела по берегу. У берегового среза, что вел к броду, поднялась и мгновенно скрылась из наших глаз.

Теперь мальчишки направились в нашу сторону, что-то кричали, размахивали кулаками. Мой новый знакомый прервал свой рассказ, и снова на его повеселевшем личике появилась тревога.

— Витька Нехода, — тихо прошептал он, — а с ним Пашка Фесенко... Пашка... Они обязательно придут сюда.

— Пусть приходят.

Мальчик внимательно оглядел меня, точно сравнивая мои силы с неоднократно им испытанной опасной силой, двигавшейся на нас.

— Ты лучше сделай вид, что незнаком со мной, — быстро сказал он, — я от них откуплюсь... — и тут же поправился, — я им подарю... хотя бы всю низку. Хорошо, что я успел наловить до их прихода кое-что. Ты позволь мне, я, может, еще подсымкну головня или чернопуза, — мальчик торопливо вернулся в реку к своей удочке, достал из-за пояса спичечную коробочку, вытащил из нее и насадил на крючок червяка, поплевал на него и забросил удочку по течению.

— Почему же без поплавка?

— Здесь же вода тянет. На тихой — ловлю с поплавком. Вот там, — он махнул рукой в сторону.

Мальчик осмотрел крючок, покачал головой:

— Смыкала, смыкала и бросила. Надо пойти на другое место.

Он, поминутно оглядываясь, прошлепал вверх по реке, снова засвистело удилище. На худеньком черномазом лице мальчика застыло напряженное внимание. Еще секунда — и его рука дернула удочку на себя, и я увидел просиявшее от удовольствия лицо рыбака.

— Еще чернопуз! — весело воскликнул он. — Пятый!

Его пальцы ловко проткнули под жабры палочку, и рыбешка скользнула по ниточке, мелькая, как блесна.

Грозная орава приближалась к нам. Ребятишки двигались берегом Фанагорийки, бросались камнями и веселыми резкими голосами выкрикивали какие-то слова, подобранные в рифму.

Мой знакомец, услышав эти зарифмованные выкрики, задрожал и побледнел, — вероятно, вот так же дрожали бледнолицые братья, заслышав боевой клич индейцев где-либо в истоках Ориноко.

Голые «индейцы» приближались к нам. Лоскут и Мальва поднялись на ноги, оскалились. Я надеялся на их поддержку. Положение же мальчишки-рыболова, очевидно, было безнадежно. Вот тут-то у меня созрело решение защитить его. «Индейцы» размахивали своими мокрыми штанишками, скрученными в жгуты, выкрикивали:

К Яшке гузом мы идем.

Яшке пузо мы проткнем!

— Это я Яшка, — скорбно заметил мальчик, — а тот впереди — Витька Нехода...

— Выходи из реки, иди ко мне, — скомандовал я.

— Не надо, — взмолился Яша, — ни в коем случае... Ты уйдешь, а мне жить с ними...

— Иди ко мне, — строже приказал я.

— Ты не одолеешь их, — прошептал Яша, нерешительно шагая ко мне, — они держатся гузом.

Это впервые услышанное мною слово, вероятно, означало кучку или ораву. Но я приготовился не сдаваться.

Мальчишки приблизились. Теперь я увидел Витьку Неходу — высокого мальчишку с коротко остриженной, совершенно белой головой, заносчивыми глазами и крепенькой фигуркой с длинными ногами, покрытыми персиковым пушком. Витька держался вожакom и поэтому громче всех выкрикивал: «Яшке пузо мы проткнем!»

Он шел впереди всех и в отличие от остальных был одет в мокрые трусики, прилипшие к его бедрам.

Второй забияка, Пашка Фесенко, уступал Виктору

и в росте и в физическом развитии. Рядом с Витькой он напоминал собачонку, храбрую только под покровительством сильного барбоса, возле которого она неотлучно и держится. Пашка уже охрип от крика и больше всех размахивал руками. Нехода шагал прямо, ровным, уверенным шагом. Пашка же крутился вокруг него, подзадоривал ребятишек, подхихикивал, натравливал то на меня, то на Яшу, сам же, однако, держался подальше от опасности.

К броду спустился пожилой казак в расстегнутом бешмете. Он небрежной охлюпью сидел на саврасом коньке. Вторая лошадь, с мокрыми подпалинами от недавно снятого хомута, плелась позади. Зацокав о голыши, кони вступили в воду, остановились, потянулись к воде. Казак перекинул ногу у холки, бросил в зубы папироску

— Коней запалишь, Сучилин, — неодобрительно заметил рваный, болезненный старичок, только что спустившийся к броду с другой стороны реки, — подхомутина еще не высохла, а ты позволяешь воду.

— Ладно.

— Ладно бы не поить, Сучилин.

— Все едино колхозное теперь добро.

— Ужель началось? — спросил старичок, задрав свою седоватую бородавку.

— Так точно, — казак цукнул на коней и тронул к берегу.

Он так небрежно управлял лошадьми, что сбился с переката. Кони попали на глубокое место. Всадник приподнял ноги, обутые в мягкие сапожата.

— Дожди прошли в горах! Поднакатало водицы!

— Вот и я думаю, — закричал старичок, — разуваться, лезть в воду, аль дашь коней — перееду! Нехота в холод ноги.

— Дам коней. А чего ж не дать. Только спички-то есть у тебя лишние, коробок?

— Запас несу в свою полесовку, казак. Найду, чай, коробочек за переправу.

— Завтра трактор показывать будут. Какой-ся Лагунов-партизан покажет чудо-юдо! — громко сказал казак, достигнув берега. — Была агитация: за двадцать

лошадей тянет... не верю! Сколько ты жил, встречал такую брехню, а?

— Умный человек до всего может заблагорассудить. Паровики же придумали?

— Паровики придумали, — согласился казак, — так то паровик! Трактор... И слово-то чудное, а?

— Арбуз тоже чудное, небось, слово было сперва, а вот едим.

— Арбуз! — казак засмеялся. — Одичал ты в лесу. Трактор к арбузу приравнял... В станице сутолочь. Комсомольцы бегают по дворам. В потребиловке все обои на плакаты закупили. Над ячейкой партии кумачи уже вешают. Как Первый май... Ну, стойте вы! — прикрикнул он на лошадей, выскочивших на тот берег. — Жить вам недолго. Пришлют трактора, а вас на колбасу.

Казак спрыгнул на землю. Его руки даже не притронулись к лошади. Я не знал, что это — признак искусства верховой езды. Я подумал, что всадник из брезгливости не хочет прикасаться к лошадям, ставшим колхозным добром.

Сцена у брода, привлекавшая внимание всех, даже въедливого Пашки, разрядила накаленную обстановку. А может быть, мальчишки испугались собак? Фесенко подтолкнул локтем Витьку, крикнул:

— К Яшке гузом мы идем!

Витька повелительно остановил его, сел на камень и одобрительно оглядел собак.

— Овчарки? — спросил он.

— Да.

— Натуральные?

— Да.

— Ладные псюги... Чьи?

— Наши.

— А ты кто? Иван-царевич?

— А тебе зачем?

Витька добродушно улыбнулся.

— А ты не ершишься, — сказал он — примирительно. — Никто тебя глотать не собирается. Просто спрашиваю. Не скажешь, сам узнаю... если схочу. Так чьих же ты?

— Лагуновых.

— Лагуновых? — Витька наморщил гармошкой лоб. — Не врешь?

— А мне нет стати.

— Верно, нет стати тебе врать, — согласился Витька. — Я ж не милиционер. Я Виктор Нехода.

— Знаю.

— Меня все знают, — гордо и важно произнес он.

— Яшка рассказал. Рассказал, как вы его чернопузов...

Яша уцепился в мой бок, испуганно зашептал:

— Не надо... не надо... Они меня заставят землю есть...

Витька сделал вид, что не замечает волнения Яшки. Он поднялся, лениво потянулся, выбросил вверх руки. Витька, конечно, был силен. Я чувствовал силу в его мускулах, заигравших над ребрами у локтевого сгиба и на предплечье. Мне даже понравился Витька, пришелся по сердцу. Чувствуя, что ему и при помощи своей оравы не одолеть меня с моими собаками, Витька, скрывая свое поражение, свел дело к шутке.

— Витька, а головни? — услужливо напомнил Пашка.

Виктор с пренебрежительным великодушием оглядел замершего Яшку и скомандовал:

— Пойдемте! Айда!

Пашка угодливо заюлил, заулыбался жожаку и крикливо завел:

К Яшке гузом мы пойдем,
Яшке пузо мы проткнем!

Витька недовольно повел бровью. Пашка, не заметив недовольства жожака, повторил припев. Тогда Нехода шлепнул его по затылку. Ребята ушли вдоль берега.

— Они возвратятся, — шептал Яша, — не такой Витька, чтобы ушел. Отдать бы им чернопузов и головней. Они меня землю заставляли есть...

— Если они еще позволят, приходи к нам, — сказал я. — И я тебе защита и мой отец...

— Не надо, чтобы отец! — взмолился Яша. — Тогда они меня утопят, как ябеду.

Я постигал железные законы берегов горной Фанагорийки.

Мне хотелось подружиться с Виктором. Кто он? Яша рассказал, что Виктор живет бедно, его мать работает сторожем в школе. Родители же Фесенко живут посевами табака и доходами с сада.

— Богатый Фесенко?

— Какое там! — ответил Яша. — Пашка одни штаны пять лет уже носит.

Я распростился с Яшей, пошел к дому Устина Анисимовича. Дорога шла берегом, а потом под прямым углом сворачивала в станицу.

По обочине дороги шли девушки, плохо одетые, босиком. На плечах они несли мешки с орехом-фундуком и пели хорошими голосами:

Калинка, малинка, калинка моя,
В саду ягода-малинка моя...

Этот припев, повторяясь бесконечно, сопровождал меня до самой станицы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРВЫЙ ТРАКТОР

События следующих дней заслонили первую встречу на берегу Фанагорийки с будущими моими друзьями.

Отец возвратился из Краснодара с трактором. Машину осмотрели, почистили, смыли дорожную пыль и поставили под навес во дворе станичного совета.

Он пришел домой оживленный, наполненный большой радостью. Устин Анисимович, ранее обычного вернувшийся с работы, допоздна проговорил с отцом. Отправляясь спать, доктор задумчиво сказал:

— А что ты думаешь, Тихонович, в моем-то доме начинается исторический этап?

— Начинается, начинается, — довольным голосом отвечал отец, — начало сделаем, а там не мы, так дети наши доведут до конца. Жена, приготовь на завтра мой самый лучший костюм.

— Гляди, вымазался возле машины, — осторожно

заметила мать. — А твой лучший костюм — один — первый и последний.

— Первый — верно, а последний... Еще поглядим, — весело произнес отец, — и приготовь рубаху... обязательно белую. И знаешь что? Дай-ка мне искупаться и чистое белье — праздник так праздник!

В предчувствии чего-то необыкновенного я засыпал в ту ночь. Илюша сказал мне перед кроватью: «Ты, конечно, проспишь, салажонок?»

Проспать? А мое торжество? Ведь и Виктор Нехода, и Пашка Фесенко, и Яша Волинский должны увидеть меня рядом с первым трактористом.

Мне хотелось, признаюсь, щегольнуть чем-то возвышенным и перед милым созданием с квадратиками перламутринок на алых башмачках, которое звали Люсей. Я хотел видеть, какие движения сделает ее верхняя презрительная губка, когда мой отец — виновник большого торжества — разыщет глазами меня в толпе и улыбнется мне, именно мне, а никому другому.

Молодые мои читатели, откинем мои переживания, порожденные детским тщеславием. Оставим только самое существенное — впечатление от первого трактора. Мне жаль, что вам уже не придется прочувствовать того, что пришлось на мою долю на заре нового, небывалого и поразительного общественного устройства советских земледельцев. Вы поймете меня и простите, что я вынужден прибегать к подробностям.

Я так много слышал от отца о тайных силах трактора, что представлял себе эту машину чуть ли не одушевленным существом, которое может даже одобрительно пофыркать, заведя умопомрачительное мое счастье.

Полуночью я поднялся раньше всех, прошел в столовую и взглянул на стенные часы. Было около шести часов. Не скрипнув ни половицей, ни дверью, с дрожью в коленях, на цыпочках, я выбрался из дому.

Мне представилось зрелище осеннего очарования, хотя стояли только последние дни августа.

Туман затопил соседние сады и ленивыми клубами поколыхивался вверху, будто подтаивая под лучами невидимого мне солнца. По дороге ритмично стучали колеса повозок, фыркали лошади.

На фоне серого, дымчатого тумана стояли пирамидальные тополя, напоминавшие мне черные паруса, свернутые у высоченных мачт на ошвартованных в бухте кораблях.

Пауки навесили паутину, соединив низкое деревцо сливы с отцветающей мальвой и махровые шапки циний со штaketным забором. Серые толстые нити набрякшей паутины были похожи на рыбачью снасть лилипутов.

Желтые гвоздики и кусты золотого шара высоко поднимались над шелковой травкой, придавленной тяжелой росой. Мышай и брица, отавные травы, окружающие яблоневые обкопы, тоже склонились. Каждый листик был густо усыпан беловатыми холодными каплями росы.

На соседнем огороде низко клонились корзинки грызового подсолнуха, обмотанного тряпьем от птиц, налетавших из лесу для поживы.

Я прошел к калитке по мокрой траве, испытывая тревогу: кто же рассмотрит первый трактор в таком непроглядном тумане?

Кричал весновик-петушок, приветствуя солнце и не находя его своими молодыми круглыми глазами. Возле него испуганно жался второй петушок, одной и той же матери-наседки, но после упорных схваток уже подчинившийся своему бойцовому братцу. На запах человека вышел Лоскут, вытянулся на передних лапах, низко прижатых к земле, и подошел ко мне. Он потерся боками у моих ног и, почувствовав ответную ласку, прыгнул на меня, ударив в грудь грязными лапами.

В тумане, окутавшем дорогу, скрипели колеса, разговаривали и перекликались люди. Держась ближе к заборам, молодые пастушата гнали козье стадо. Козы шли с величавой важностью, оглядывая все на своем пути умными, прямо-таки человеческими глазами. Козлы-вожаки, почуяв овчарку, остановились в боевых позах, вытянув шеи и нацелив рослые рога на овчарку, они пропускали мимо себя коз и козлят, доверенных их опыту и силе.

— Напусти кобеля! — крикнул мне один из пастушат.

— Зачем же?

Мальчишки засмеялись:

— Враз кишки твоему кобелю выпустят,. Как подденет на рога! Интерес!

Стадо скрылось. В отдалении замирали козы колокольцы.

Возле крыльца я увидел силуэт Устина Анисимовича.

— Ищешь вчерашний день? — спросил он насмешливо.

Не желая вступать в пререкания со старшим, я промолчал.

Устин Анисимович надвигался на меня из тумана, как великан.

— Отец уже на ногах, хватился тебя, — сказал он. — Прoberись в дом, чтобы не заметили твое отсутствие.

Я опять отделался молчанием. Поздоровавшись с доктором, я поспешил к дому.

Отец успел умыться и побриться. Он сидел за столом. В его руках был карандаш. Перед ним лежала тетрадка.

— Ну-ка, сколько будет семью восемь? — спросил он, взглянув на меня.

— Семью восемь?..

Мой метод умножения опирался на незыблемые, как гранитные столбы, на зубок выученные ответы: пятью пять двадцать пять, шестью шесть тридцать шесть... Прежде чем ответить на вопрос, я вызвал на помощь гранитный столб «семью семь — сорок девять», в уме прибавил к нему недостающую семерку и через минуту торжественно выпалил:

— Пятьдесят шесть, папа!

— Ленив. Я за это время уже три задачи решил, Серега, — сказал отец, углубляясь в расчеты. — Старики в станице дотошные, обязательно спросят: сколько горючего идет на десятину, на запуск, на свой ход на версту? Так... А за сколько времени он возьмет десятину? А как быстрее коней будет бороновать? А как в посеве? Еще что? Молотить — а какие расчеты? А какие части быстрее изнашиваются и где их достать? Еще что могут спросить?..

Отец не замечал меня, занятый своим делом. Я бесшумно зашел в другую комнату, приделся и появился

на кухне. Мама осталась довольна осмотром моей одежды, дала пару пышек со сметаной.

Илюшка, Николай и Анюта тоже приоделись, словно на Первое мая. Вместе с ними была Люся, она не смотрела на меня, попрежнему дичась. Ее мать не разделяла нашего, непонятого для нее, праздника и еще спала. Люся нарядилась сама, я не видел ее никогда такой расфранченной.

Горячее августовское солнце расправилось с туманами, освободило травы от тяжести рос, высушило паутину и порвало ее, раскрыло горы во всей утренней красоте.

Только над Фанагорийкой текло дымное облако. Казалось, между скалой Спасения и горой Абадзеха только что прошел пароход, оставив после себя клубы дыма.

Станичники собирались к памятнику Ленина, где решено было провести первый показ трактора, а потом, в сопровождении всех желающих, отец должен был повести машину за станицу и проложить первую борозду на гулявшей под толокой земле.

Площадь, где стоял памятник Ленину, была запружена народом. Мальчишки для удобства обзора заняли крышу клуба и телефонной станции, облепили ветви стручковых акаций. Мальчишек было много. Мне даже казалось, что они, будто воробьи, уселись на проводах, протянутых к телефонной станции.

Виктор Нехода и его приятели сидели на крыше в первых рядах, скрестив ноги, и, словно мыши, грызли семечки, сплевывая шелуху на землю.

Виктор указал на меня своим друзьям, которые мельком оглядели меня и продолжали щелкать семечки.

Возле памятника стояла трибуна, оббитая кумачом и цветами. У трибуны на шестах было прикреплено красное полотнище, и на нем написано крупно: «Каждый трактор — снаряд по старому быту».

По обеим сторонам трибуны еще два кумачовых плаката. Я привожу полностью текст, написанный на этих кумачовых плакатах и сохранившийся в оставшихся от отца бумагах того времени:

«Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяй-

ствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель» (Ленин).

На втором полотнище была приведена выдержка из доклада товарища Сталина на XV партийном съезде:

«Где же выход? Выход — в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств на крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники».

Трактор стоял, блистая свежей краской — палевой по корпусу и красной по шпорчатым колесам.

Бронзовый Ленин вытянул свою руку к востоку.

На воротах курорта возвышался портрет Сталина, оббитый венком из крупных циний. Взор Сталина был направлен туда же, куда смотрел и Ленин, — на просторы кубанской равнины.

Потом люди поднимались на трибуну и произносили горячие, искренние слова.

Отец не выступал с речью. В своем новом костюме из тонкого шевиота, в белой сорочке с широким отложным воротником, он стоял у трибуны и почти не отрывал своих глаз от трактора. Как ни старался отец казаться спокойным, я заметил, как у него поднималась то одна, то другая бровь и он часто прикладывал платок то ко лбу, то к затылку.

И вот митинг окончился. Секретарь партийной ячейки нагнулся к отцу и разрешительно махнул рукой.

Отец кивнул головой, быстрыми движениями пальцев справил полы пиджака и подошел к трактору.

Все люди следили за каждым движением моего отца, и мое сердце переполнялось до краев радостным душевным волнением.

Вот отец провел широкой своей ладонью по тракторному корпусу, как бы лаская его, и прыгнул на железное сиденье.

Люди шумно бросились к трактору, затолкали меня.

Я не видел за людьми, что дальше происходило. Я услышал только громкий рокот мотора, звуки, похожие на стрельбу, и заметил черные клубы, поднявшиеся над толпой.

Работая и головой и локтями, я все же протиснулся вперед, не обращая внимания на пинки и подзатыль-

ники. Конечно, я продрался сквозь толпу вовремя.

Шпоры задних колес рванули траву, и трактор двинулся с места. Толпа расступилась, шум смолк.

Мальчишки с любопытством свесились с крыш и ветвей деревьев, напряженно следя за каждым движением машины.

Трактор прошел шагов двадцать и остановился с работающим мотором. Народ напирал со всех сторон. Две молодайки подбежали к трактору и со смехом ошупывали его. Они что-то весело покричали в толпу, покрасневшие и гордые своей смелостью.

Отец дальше не поехал, а взяв из рук одного из комсомольцев пеньковую веревку, привязал рулевое колесо в таком положении ведущих колес, чтобы машина могла самостоятельно ходить по кругу. Отец закрепил веревку, проверил узлы и, включив рычаг скоростей, спрыгнул на землю. Толпа удивленно охнула.

Трактор сам пошел по кругу. И люди сбились в плотный круг, внутри которого, рокоча мотором и блестя шпорами, ходил и ходил новенький, поблескивающий крашеным металлом трактор.

— Сам идет, бабоньки!

— Как живой!

— Цоб-цобе-цоб!

— Третий круг!

— Прямо карусель!

— А пахать как? А может, только для забавы?

Отец остановил трактор, развязал веревку и с той же красивой ловкостью сел на сиденье.

Виктор оказался рядом со мной и толкнул меня локтем:

— Твой батько?

Я гордо ответил:

— Мой.

— Хитро придумал, — сказал Виктор, — ты, небось, тоже такой?

Люди двигались вслед трактору по обеим сторонам улицы, все увеличиваясь в числе. Теперь уже почти не было слышно насмешливых выкриков и шуток. Трактор двигался к земле, к старинным наделам, пофыркивая, и мое мальчишеское сердце было полно невыразимой

гордостью: ведь и я был участником великого события; ведь там — над колыхающимися волнами казачьих шапок, картузов, над головами женщин, повязанными беленькими и пестрыми платками, — возвышался самый близкий мне человек — отец! Он сидел за рулем, откинувшись назад, белыми крыльями лежал ворот рубахи на пиджаке, оттеняя загорелую, крепкую шею. Смуглое усатое лицо отца было исполнено торжественного достоинства.

Рядом с трактором шагал Устин Анисимович. Он шагал спокойно, с палочкой в руках, и, улыбаясь, кланялся знакомым.

Когда наша процессия достигла окраины станицы, Устин Анисимович снял шляпу. Степной, пряный ветер шевелил его длинные волосы, лежавшие на плечах.

Моя мать шла рядом с Устином Анисимовичем. Изредка тревожным взглядом она разыскивала нас в толпе.

Илюшка строго приказывал мне:

— Показывайся хотя на глаза маме, пистолетный патрон!

И я показывался, но лишь для того, чтобы увидеть головку с косичками — возле матери шли Анюта и Люся.

За станицей был заранее выбран участок толоки — давно не паханной земли. По толоке серели осоты, стояли татарники и виднелись светлосиреневые цветочки цикория, или питрива батига...

Отец остановил трактор, прицепил плуг, также празднично окрашенный, со сверкающими на осеннем солнце лезвиями лемехов. Комсомольцы расставили всех собравшихся вдоль поля, чтобы каждый мог видеть работу новой земледельческой машины. Люди растянулись цепью вдоль дороги почти до самого берега Фанагорийки.

— А ежели не возьмет толоку? — спросил меня Виктор.

— Обязательно возьмет, — уверенно ответил я, хотя и у меня в душе тоже копошились сомнения.

— Возьмет! — выпалил запыхавшийся Яша, глядя на все широко открытыми и возбужденными глазами.

— Ну, раз Яшка поручился — молчу, — глянув на него, угрожающе сказал Виктор.

— Я... я... ничего... — залепетал Яша. — Просто мне казалось...

Двухлемешный плуг управлялся самим трактористом. Но за плугом был поставлен контрольный — молодой казачок в шапке с красным верхом. Не вынимая рук из карманов ластиковых штанов, не совсем еще понимая свое назначение, казачок подмаргивал знакомым девчатам и скалил зубы. Казачку, видимо, льстило быть в центре внимания и в то же время казалось, что заставили его заниматься пустым делом. Поэтому-то он и не вынимал пренебрежительно засунутых в карманы рук, и подмаргивал, и так небрежно сдвинул кубанку на свою левую каракулевую бровь.

Снова зарокотал трактор. Лемехи медленно погрузились в землю. Под рамой плуга татарники покорно нагнули свои малиновые чалмы. Трактор, как конь с норовком, сделал рывок — и первые глыбы взрезанной земли перевернулись, накрыв придорожный шпарыш. Масляная полоса борозды потянулась за плугом. Молодой казачина теперь вынул руки из карманов и вприпрыжку бежал за плугом. Его шапка торчала уже на затылке, а на лице появилось тоже серьезное, деловое выражение, как и у большинства людей, следивших жадными глазами за каждым взмахом тракторных шпор, за блеском лемехов, сверкавших в черной, перовойдной земле.

Падали бурьяны. Трещали терны. И гасли под колесами и плугом светлосиреневые удивленные глазочки питрива батига. Парной след поднимался от вспаханной целины. Не отставая ни на шаг, шла рядом с трактором моя мать, забрызгав полуботинки росой, исхлестав ноги желтым цветом донников. Радостью светились ее глаза: это была первая после смерти Матвея открытая радость.

— Сколько же таких чертоломов пришлют? — кричал степенный дядя с клинообразной бородой.

— Один на показ, — отвечал ему Сучилин, тот самый казак, который переправлялся верхом у брода. — Будем на одного такого бога молиться, пока дотла лбы расшибем.

— Не тебя пытаю! — крикнул степенный дядька и протиснулся к борозде. — Сколько таких, механик?

Отец обернулся, и всем был виден орден Красного Знамени на его груди; он отвечал громко, чтобы услышали не только те, кто спрашивал, а все, кто стоял на поле:

— Сколько нужно.

— Каждому?

— В колхозы.

— Прямо в колхозы?

— Через машинную станцию... Там будет уход и ремонт.

— А кто придет? — кричали из толпы.

— Советская власть!

Испытания продолжались. Теперь даже скептически настроенные старики, увидев работу трактора, уже не насмехались. Они попросили отца провести вторую борозду, — как накроет? Вторую борозду трактор взял еще легче и точно, без промаха накрыл жирный отвал первой борозды.

Потом старики измерили глубину пахоты, ширину захвата — понравилось. Деловито любопытствовали насчет огрехов: как сводит трактор углы? Тогда же, посоветовавшись между собой, установили: способней пускать под тракторы большие массивы. Значит, к тому и артели. Ломай межники! А сколько мотор ест керосина? Какого сорта масло? А нельзя ли трактором молотить на шкивном приводе? Что? Может? И неужто потянет барабан-молотилку? К этому отнеслись недоверчиво, но трактор утвердили молчаливым своим согласием.

Первый снаряд полетел над нашей закубанской степью — снаряд, направленный на прежнюю, узловатую крестьянскую жизнь.

Бронзовый Ленин стоял, протянув вперед руку. Великий Сталин закладывал в те дни фундаменты новых тракторных заводов, и, повинаясь его мудрой, целеустремленной воле, миллионы людей начали кирками и лопатами рыть котлованы под ту индустрию, которая потом спасет Отчизну.

Над землей занималась заря новой, колхозной жизни...

ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ

Долго после осмотра первого трактора я не мог избавиться от двух чувств: страха и какой-то радости. Страху потому, что слышал недобрые разговоры в станице: что-то замышлялось против моего отца; радости потому, что я верил: трактор поможет отцу одолеть все беды.

Отец, как я уже говорил, участвовал в царицынских боях на бронепоезде Алябьева. Ему нетрудно было справиться с трактором еще и потому, что в германскую войну пришлось повоевать на броневых автомобилях с моторами «Остин», принятыми тогда в царской армии. Дед мой, как говорил отец, «боялся тележного скрипа». Мне же пришлось...

Хотя вначале не мешает очертить несколькими штрихами свое детство и юность, чтобы понятней было дальнейшее, чтобы читатель не подумал, что мальчишка сразу становится ангелом. Нужно много забот и труда старших, чтобы у мальчишки вырастить крылья, чтобы подковать его на четыре подковы.

Я был трудным мальчишкой, особенно после приезда на Кубань, когда снюхался с ребятами-фанагорийцами. Родители старались привить мне охоту к полезному труду. Но многие знают, как трудно бывает пройти сто метров, выполняя просьбу родителей, и как легко пробежать десять километров по своей охоте; как тяжело прочитать страницу в учебнике и как легко проглотить две-три книги про индейцев и пиратов.

Вот что осталось у меня в памяти.

Это было уже после того, как мы покинули дом Устина Анисимовича и переселились на свой участок, отведенный отцу постановлением правления колхоза, где он работал трактористом.

Отец трудолюбиво принялся устраиваться на новом месте. Колхозники привезли бревна, щепу, легкие столбы на стропила, помогли отесать бревна, поставить сруб.

Отделочные работы, рамы, ставни и кровлю отец решил сделать своими руками. Он заставлял нас

помогать ему: подносить бревна, подавать щепу, исполнять роль подручных при фуганке рамной доски, месить ногами глину.

Мы сажали яблони возле дома. Помогая отцу, я поддерживал тоненькую яблоньку над ямой и вдруг услышал призывный свист Виктора Неходы. Мои руки задрожали. Я знал, что вслед за этим свистом ватага мальчишек углубится в лес по каштановой тропе; в карманах друзей будут предметы для добывания огня по способу предков, за поясами ножи, за спиной у кого-нибудь мелкокалиберное ружье, а в руках удочки и котелки для ухи. Как запрыгала в моих руках яблонька, расставившая над взрыхленной на днище ямы свои усаые корневища!

Может, закончить работу, а потом убежать?.. Но я знал, что вслед за посадкой — поливка, а потом отец вздумает прививать дикие груши и заставит меня держать срезанные острым ножом черенки, а потом... сколько дел могут придумать всего два человека — ваши отец и мать!

Свист Виктора повторился. Сейчас это был требовательный приказ или немедленно появиться на сборном месте, или заслужить презрение всей компании, пригитавшейся на острове.

Отец был занят делом и не обращал внимания на свисты.

Вскоре яблоня стала своими растопыренными корнями в приготовленное ей гнездо. Отец насыпал в яму земли, смешанной с перегоревшим навозом. Дерево стояло теперь без моей поддержки. Казалось бы, и все. Но отец приказал мне примять поверху землю ладонями, чтобы закрепить дерево.

Я решил пуститься на хитрость. И вот, изобразив на своем лице невыносимое желание «проведать ветерок», я получил разрешение отца отлучиться. Я быстро нырнул в бурьян и стремглав бросился к забору.

Можно было перебраться через забор по лазу, но этим разоблачил бы свое намерение улизнуть. Я решил перемахнуть забор там, где особенно сильны были заросли глухой крапивы.

Не поднимая головы, я перевалился через забор. Дурманящие запахи воли кружили мою голову. Я осто-

рожно приподнялся, чтобы сделать прыжок. Мои ладони еще прикасались к земле, мои глаза с восторгом видели синюю гряду гор... Надо немного напряжнить тело, перемахнуть бешенюку — колючий бурьян — и дальше... остров, заросли верболоза, где на условном месте сбора ожидают меня мои друзья. Ну, прыжок!

Чьи-то цепкие пальцы впились в мое левое ухо.

Если сильно рвануться, кто удержит? Ухо останется целым, лишь погорит немножко, будто натертое перцем. Но мое ухо находилось в пальцах почитаемого мной человека — Устина Анисимовича. С ним мне еще придется встречаться не один раз, и ссориться с близким отцу человеком не входило в мои расчеты.

— Молодой человек, очевидно, отправился по поручению своего отца? — спросил Устин Анисимович, смотря на меня пронзительными насмешливыми глазами.

— Откуда вы знаете, Устин Анисимович, что я отправился по поручению папы? — сказал я, надеясь сбить доктора с толку.

— Еще бы не знать, — насмешливо сказал доктор, — разве иначе исполнишь родительское поручение?.. Конечно, необходимо миновать лаз, специально приспособленный для нормального движения, пробраться сквозь крапиву и, рискуя наружными покровами своего живота, перевалить дубовый забор...

— Вы не задерживайте меня...

— Милый друг! Если я не ошибаюсь, вы хотели побыстрее принести садовые ножницы, которые просил у меня ваш отец? — с вежливой улыбкой спросил доктор, отпуская мое ухо.

Третий пиратский свист прорезал воздух. Третий свист, в котором было требование, угроза и самое страшное, чего я боялся, — презрение.

Последняя фраза Устина Анисимовича подсказала мне разумный выход из создавшегося положения. Конечно, отец посылал меня за садовыми ножницами, и я тороплюсь за ними.

— Да, Устин Анисимович, — залепетал я, — действительно... Меня просил папа сбегать за ножницами,

— Эти ножницы у меня в кармане, Сережа, — с мягкой улыбкой сказал Устин Анисимович.

Ножницы щелкнули в его руке — раз-два.

— Пойдем-ка со мной и поговорим, дорогой.

Я подчинился Устину Анисимовичу и поплелся за ним. В пути я жалобно попросил доктора не говорить отцу о моем побеге.

— Хорошо, — сказал Устин Анисимович, — вообразим, что я постараюсь прикрыть тебя и соврать вместе с тобой твоему отцу, моему близкому другу. Как ты потом расценишь мой поступок? Ты скажешь своим друзьям: какой нетвердый и лживый человек был Устин Анисимович, некий доктор с длинными волосами. Зачем же с моей личностью в твоих воспоминаниях будут соединяться такие нелестные для меня прилагательные? А? И дальше... Твой отец уже догадался о причинах твоего длительного отсутствия. Если бы это было впервые, а то подобный трюк ты повторил уже, моему, четыре раза...

— Три, — поправил я.

— Тебе, конечно, видней, дружище, — продолжал доктор. — Ничего не получится из нашего сговора. Отец уличит нас обоих. И мне будет стыдно и тебе...

— Я прошу вас, — клянчил я, увидев отца, державшего в руках выпачканные землю, только что срезанные яблоневого черенки.

— Будь мужественным, Сергей, — строго сказал доктор, — не заискивай у других. Держись гордо. Эти качества потом пригодятся в жизни. Умей делать из каждого поступка выводы для себя на дальнейшее. Что от тебя потребовал твой отец? Очень немного. Поддержать яблоньку навесу, пока он засыплет ямку, верно же? А потом что? Притолочь землю ладонями? Ведь не уплотни землю у корня яблони — и ее расшатает ветер и засохнет деревцо. Неужели тебе хочется прослыть лоботрясом и нерадивцем? Отец завоевал тебе государство, построил новую жизнь, закладывает камни для фундамента твоего будущего и... — доктор приостановился и уставился на меня своими испытующими глазами. — Кому же мы можем доверять и передать из рук в руки наше молодое и выстраданное государство? Ты понимаешь меня, Сергей? Кому мы можем доверить наши труды, наши слезы, наш факел, а?

Ухо мое торело. Нравоучительные сентенции док-

тора, обращенные к моей совести, казались мне напыщенными и немного смешными.

— Ага, вот где сорванец! — воскликнул отец. — Неужели я должен его привязывать за ногу? Опять двадцать пять? Спасибо, Устин Анисимович, что ты привел этого лоботряса за ухо. Пропал... Жду, жду... Пропал!

Мы подошли ближе, остановились.

— Какие вопросы ты хочешь мне задавать теперь, — спросил отец: — сколько звезд на небе или сколько рыб на луне? Или опять мне забивать голову, кто красит перья фазану?

Я виновато поглядел на отца и тихо спросил его:

— У меня есть один вопрос, папа.

— Говори, говори. Вот послушай, Устин Анисимович, что еще завернет этот мальчишка.

— Скажи, папа, — сказал я, поглядывая с неприязнью на доктора, — откуда ты узнал, что меня привели за ухо?.. А может быть, вы сговорились меня поймать... когда я вздумал убежать на остров?

Отец и доктор расхохотались. Отец положил на землю черенки и смеялся, схватившись за бока руками.

— Ты гляди, гляди, Устин! — говорил сквозь смех отец. — У нас, выходит, только и дела, что устраивать засады на такую дичь, а?

Отец приложил палец к моему уху.

— Узнал по этому предмету, — сказал он, — горит, как на пожаре. Никто не сговаривался ловить тебя. А ежели ты попытаешься еще раз удрать без спроса, я тебя...

Дальше последовали обычные в таких случаях угрозы.

Наш новый дом был уже накрыт щепой и обмазан пока только снаружи глиной, смешанной с крошеной соломой. Так утепляли дома в предгорье, где менее суровые зимы, чем в степи.

Вечером я лежал в этом новом доме на своей кровати. За дощатой стеной разговаривали отец и Устин Анисимович. Они любили поговорить за стаканом крепкого чая.

«Уйти сейчас? — думал я. — Нет смысла. Ребята без меня сожгли свечи в Богатырской пещере. Они теперь возвращаются домой берегом Фанагорийки. А может быть, даже остались на ночевку у Золотого источника, под старой раkitой.

Уйти к ним сейчас? Не будет ли это похоже на бегство? Накрыться одеялом и не слушать разговоры за дощатой стеной? Опять, вероятно, разговор обо мне?»

Я невольно притрагивался к своему уху. Оно все горело. Надо отомстить доктору. К обиде примешивался стыд: так трусливо себя вести!

Можно было укунить руку доктора. Укусить до крови! Подумал: «Нехорошо, как щенок!» Что сделал бы на моем месте Витька Нехода? Он сделал бы так: воздержавшись от разговоров с доктором, выждал бы время и бросился бы ему под ноги. Так делал Витька с пастухами, отгонявшими нас от стада своими кнутами. Так — хорошо! Надо бы его сбить в крапиву, перепрыгнуть раз—другой и только тогда в полный рост, не сгибаясь, лететь к острову.

Я прислушался.

Разговор за дощатой стенкой был продолжением беседы о воспитании моей персоны.

— При большой семье тем более нельзя смотреть сквозь пальцы на проступки одного из членов семьи, Иван Тихонович, — говорил Устин Анисимович. — Подобная вашей семья идет издревле. На таких простых семьях держалось и развивалось русское государство. Подковывай мозги своим детям, Иван, на все четыре подковы. Чтобы ни в какую гололедку не скользили, не падали, чтобы искру высекали из кремня, чтобы, когда нужно, так бы отпрыкнулись, чтобы дух вон с нечистогого...

Отец, как бы обращаясь ко мне через перегородку, говорил:

— Раньше, не отвоюй мы на бронепоездах и в пехоте, впрягла бы тебя в твоём положении жизнь в непроходимую крестьянскую работу. Крутил бы ты быкам хвосты с первого понимания мира, и ладно бы, если своим быкам. А теперь общество избавляет тебя от забот в детстве и требует от тебя самого главного —

учи́ться. Книги написаны для те́бя умными людьми, и вот возьми от этих книг все...

А почему ты избавлен в детстве от непосильного труда? Потому, что есть советская власть, которой глупые люди не нужны. Не нужны люди-неучи. Советская власть изготовила и дала крестьянам машины, высвободила людей, организовала их совместную работу, что выгодней, легче. Вот что ценить надо!

Чьи-то теплые руки прикрыли мне глаза. За спиной послышался сдавленный смех и частое дыхание.

Я был поглощен беседой за перегородкой и не ожидал нападения. Мне показалось, что я узнал ладони, прильнувшие к моим ресницам.

— Люся? — сладким шопотом произнес я.

Злорадный смех послышался в ответ.

Оглянувшись, я увидел Анюту, делавшую мне гримасы.

Вот когда загорелось и второе мое ухо. Я ненавидел себя в тот момент за свой дурацкий, сладкий шопот.

Анюта прыгала возле меня.

— Значит, Люся? «Л ю с я?» — передразнивала она меня, — «Л ю с я?»

— Уйди отсюда! — прошипел я.

— А мне ты не нужен, — обидчиво сказала она, — с тобой нельзя ласково... Иди... тебя ждет рыболов.

— Нехода?

— Нехода? — Анюта покраснела. — Почему Нехода? Нужен мне Нехода.

— Поймалась, поймалась!

— Тебя ждет твой Яшка! — выкрикнула Анюта и исчезла.

Яша поджидал меня во дворе, сегодня впервые он выполнял задание Виктора, который вызывал меня к памятнику партизанам — нашему условному месту сборов.

— Что-то важное?

— Не знаю, не знаю, — быстро ответил Яша, — но сам Виктор послал меня к тебе. Сам Виктор!

С Яшей я подружился еще с первой встречи на Фанагорийке. После моего заступничества, подкрепленного несколькими стычками и с Неходой и с Фесенко, Яша поверил в меня. Мальчишки прекратили издевки

над ним, и из затравленного ребенка он постепенно превратился в неизменного участника наших игр, озорных забав и приключений. Он стал моим преданнейшим другом и очень точным помощником. «Сказано — сделано» было законом Яши.

Над памятником павшим партизанам горела красная звезда. В темноте южных ночей этот свет был отличным ориентиром. Казалось, эта электрическая звезда висела в воздухе и была ближе всех звезд, рассеянных по черному небу.

Мы подошли к памятнику.

— Ты почему не вышел на остров? — спросил Виктор.

Пашка стоял рядом и ухмылялся.

— Я помогал отцу сажать яблони, — ответил я.

Виктор подсвистнул, наклонился ко мне.

— Прилежный мальчик! Кто же из нас свободен, как ветер! Ты мог бы сбежать.

— Нет. Не мог...

— Почему?

— Не хотел.

— Не хотел?! — грозно переспросил Виктор. — А если было решено? Как же ты не хотел? Ты же подводишь своих товарищей! Ты знаешь, мы не пошли без тебя. Мы оказались более порядочными, хотя у нас пропал целый день... Ты слышал три свиста?

— Да.

— Он захотел кушать яблочки, — Пашка подхихикнул.

— Мой закон — выполнять до конца задачу, — сказал Виктор после короткого молчания, — никогда не отступать от намеченной цели.

— Я не понимаю тебя, Виктор, — сказал я.

— Не понимаешь? Странно. Мы решили итти в Богатырские пещеры?

— Решили.

— Стало быть, надо выполнять решение.

— Мы решили итти днём, Виктор... А сейчас ночь.

— Но днем-то мы не пошли?

— Зачем сто раз меня упрекать?

— Я спрашиваю, а не упрекаю. Днем не пошли?

— Нет.

— Надо итти ночью.

— Ночью?

— Да.

— Это будет так интересно! — воскликнул Яша.

— Тебя не спрашивают, — оборвал его Виктор. — Я спрашиваю тебя, Сергей. Пойдешь? Или ты боишься?

— Я, право, не знаю... ночь... что скажут родители...

— Его надо привязать к маминой юбке, — насмешливо сказал Пашка.

— И тебя не спрашивают, — резко произнес Виктор. — Есть такой маленький гвоздь, который лезет в любую дыру. Не будь таким гвоздем, Пашка, — Виктор опять обратился ко мне: — Твое решение?

В душе моей боролись две противостоящие силы.

Итти ночью в Богатырские пещеры было и заманчиво и страшно, и это примиряло меня с приятелями. Но, приняв это заманчивое и страшное предложение, я вступал на путь борьбы с родителями.

Отпроситься у родителей? Но разве отпустят они ночью в Богатырские пещеры?!

Откажись я — и навсегда потеряно имя мое в глазах приятелей. А с кем мне придется больше делить свой досуг? Конечно, с ними.

Я обещал выйти на свист к острову? Обещал. Не исполнил? Нет. Не исполнил потому, что был позорно пойман за ухо. А если ребята узнают об этом позоре?! Хорошо, что в темноте ребята не могли видеть краску стыда, залившую мое лицо.

— Мы захватили свечи, ножи, спички, продовольствие, — перечислял Виктор, не глядя на меня. — И вот это! — Виктор перебросил с ладони на ладонь так называемый «духовой» пистолет — красу и гордость нашей компании; из таких пистолетов стреляют в тирах. — Решай, как хочешь. Если ты откажешься, вместо тебя пойдет Яшка. Он смелее тебя и готов на любое дело во имя дружбы.

— Я иду с вами! Иду! — торопливо, задыхаясь, сказал я.

— Я так и знал. Так поступают сильные люди, — сказал Виктор, торжествуя победу над моей душой.

БОГАТЫРСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Мы уходили в пещеры. Яша был оставлен у лагерьщика павшим партизанам.

На прощанье, откатывая рукава сатиновой своей рубахи, Виктор приказал ему:

— Останешься при наших домах. В случае опасности, опасности для нас, сообщи на пятках.

— Я прибегу за вами, хотя бы у меня вырвалось сердце, — выпалил Яшка.

Мы пошли по аллее пирамидальных тополей. Вершины их, казалось, сближались с небом.

Впереди шел Виктор с рюкзаком за спиной и духовым пистолетом за широким ремнем. Ножи в самодельных чехлах висели у нас на поясах. Впопыхах я надел новые штаны и праздничные башмаки. Дальнейшая судьба этих вещей беспокоила меня больше, нежели самовольный уход из дому. Если я изорву штаны и поцарапаю башмаки, не оправдаться. Мне самому не хотелось портить вещи, с трудом приобретенные родителями. Что же делать? Башмаки можно было снять незаметно от Пашки, чтобы не поднял насмех за скаредность. А штаны? Какой уважающий себя мальчишка сдернет штаны и будет ночью вышагивать в трусах из-за мелких расчетов!

Конечно, и штаны и ботинки сняты не были. Леса и горные тропы изобиловали разного рода пресмыкающимися. А кожа башмаков предохраняет от укусов змей.

Виктор вел нас, презирая тропинки. Слева высилась гора, поросшая густым лесом. Снизу, от реки (ее шум еще не был слышен), наполнился туман. Одежда отсырела. Хотелось, как зимой, потереть шерстяной рукавичкой озябшие руки.

Над горным подлеском, куда еще не дотянул туман, вспыхивали пунктирные трассы южных светлячков — насекомых с брюшками, будто налитыми фосфором. С сухим шелестом перепончатых крыльев пронеслась летучая мышь.

С туманом пришла холодная горная роса, прижав-

шая своей оловянной тяжестью даже густые пыреи и мышайники. Башмаки промокли в пальцах, к подошвам прилипала сырая земля.

Ночное путешествие не приносило ожидаемых радостей. Из нас трех только один Виктор бывал уже в Богатырских пещерах. Его скудные рассказы разжигали наше воображение.

Мы обошли подошвой горы санаторные службы, скотинники и конюшни и просекой, проложенной параллельно главной аллее для вывоза дров, вышли в так называемую Минеральную долину.

Долина наполнена отголосками эха от криков ночных птиц и серными запахами горячих источников. Под нами, по естественным подземным тоннелям, текут и плавают подпочвенные породы горячие минеральные реки, только частично заведенные в трубы и поднятые на поверхность земли. Это давние источники «Мария» и «Принцесса», одним из своих двух раструбов выведенные в цементированные бассейны-охладители. От бассейнов удушливо тянет запахом тухлых яиц — сероводородом.

Под ногами теперь твердая почва. Мы идем по дорожке. В темноте журчит железистый источник. Слышно, как по стоку бьет звонкая капель. В траве шуршат либо ящерицы, либо ужи. Я жмусь ближе к Пашке, а тот—к Виктору. Пашка мне понятен вполне, неясно только, что происходит в Витькиной холодной душе. Его упрямство начинает злиться. В погоне за сильными ощущениями он избирает путь к скале Спасения не огородами лодочника, а через Дантово ущелье.

Днем, в шумной гурьбе сверстников, и то Дантово ущелье вызывало у всех шемящее чувство страха, стоило только войти под его мрачные своды. Дикое нагромождение камней этой узкой, безветренной и лишенной солнца щели даже физически сдавливает вас. Вас не покидает чувство опасности и тревоги. Кажется, в любую минуту все, что нависло над вами, рухнет и похоронит в этой огромной могиле. Камни осклизли, промокли, слезятся, покрыты плесенью мхов, кладбищенскими побегами ползучего плюща.

По днищу ущелья, словно по каскадному каменному желобу, бежал ручей, опускаясь с одной обомшелой

вазы в другую, и так до выхода в Минеральную долину. В расщелинах жили ящерицы, попадались змеи. Говорили, что в Дантовом ущелье темнеет серебро, останавливаются часы, а стрелки компасов пляшут, как бешеные. Возможно, в подобных рассказах была какая-то доля правды.

Виктор вошел в ущелье, за ним исчез Пашка. Оскользаясь на мокрых камнях, я догнал их.

Туман, как в воронку, вливался в ущелье. Удушливая тяжесть давила грудь, дыхание учащалось. Ядовитые испарения Минеральной долины достигали сюда и долго не выветривались из этой дьявольской пади.

Подъем продолжался удивительно долго. Наконец мы выбрались наверх, остановились.

Ущелье Данте оставалось внизу. В сердце мое при-текала храбрость. Мы перекинулись несколькими незначительными фразами, окончательно восстановившими наше душевное равновесие, и пошли к скале Спасения. Перевалив ее, мы выходили на старинную пешеходную тропу, проложенную еще черкесами вдоль реки в верховье Фанагорийки.

Высокие дубы, чинары и карагачи колыхали над нами свои могучие ветви. Над головами, в облачных окнах, будто горстями были набросаны звезды, такие хрустальные и блестящие только в горах.

Виктор перевалил гребень. Мы осторожно спускались за ним по крутизне. Если бы не выдолбленные в скале ступеньки, при спуске нужно было бы прибегать к веревке.

После скалы Спасения тропа пошла над рекой. Черные стволы буков охраняли ее. Река шумела все сильней и сильней. Туман отдалял этот шум, и казалось, река течет по дну бездны. Через час шум сменился рокотом. Фанагорийка прорывалась в этом месте через каменную теснину, рыла берега, кипела.

Над тесниной, на стальных тросах, висел пешеходный мост, с перилами из дубовой жерди, окованной на сращениях металлическими скобами. Мост раскачивался. Скрипели и стучали под ногами узкие доски. Мне хотелось пить. Сюда долетали крупные брызги и пресная водяная пыль. Я шел и жадно облизывал губы. На левом берегу Виктор дождал нас, сказал:

«Дальше» — и быстро пошел по дороге между ивами.

Наконец мы подошли к Золотому источнику. Осенью вокруг источника золотели опавшие листья, и сама чаша его от выпадения железистых солей покрывалась красновато-ржавым налетом. Отсюда и пришло название источника.

Мы напились и снова зашагали гуськом. До цели нашего путешествия оставалось около пяти километров по битой, хорошей тропе, откуда не свильнуть и не заблудиться.

Река шумела все больше и больше. Если бы мы не свернули к пещерам, можно было, в конце концов, дойти до ее водопадных истоков у так называемых Волчьих ворот.

Пришло время становиться на тропу, ведущую к пещерам. Виктор пошел вперед. Пашка на ходу передал мне рюкзак. Влажный от пота мешок повис у меня на спине. Рюкзак был сделан из обычного зернового чувала, прихваченного по углам веревками.

Виктор остановился. Впереди поднимались стены обнаженных известняков. На скалах поверху щеткой стояли низкорослые, саблистые деревья, отлично видимые снизу на фоне неба.

Виктор подозвал нас и указал вверх, где виднелся черный треугольник расщелины.

— Там, — прошептал он.

Мне показалось, что между кустами и деревьями, нависшими над сухим руслом, замотался красноватый, как глаз зверя, огонек. Потом пропал. Я потерял глаза.

— Огонек, — сказал я.

— Верно, — подтвердил Виктор, — кто-то курит в кулак. Ложись! — шепнул он.

Мы плашмя упали на землю, притаив дыхание, хотя сердце каждого из нас готово было вырваться вон.

От треугольника расщелины осторожно пробирались люди. Мы лежали в кустах и поэтому, несмотря на темноту, видели их на фоне неба, как перед этим видели на скальных выходах саблистые деревья. Незнакомцы выходили из пещеры.

Первый из идущих оскользнулся на камне, взмахнув руками, выругался; второй, в бараньей шапке, засмеялся коротким, булькающим смешком:

— Гляди, Сучилин, раньше времени не сломай себе шею.

— Не сломаю.

Они вышли на полянку, остановились возле кустов, где мы притаились.

— Никита, небось, приспал у коней, — слышался голос Сучилина.

Сучилин я разглядел хорошо. Впервые я увидел его на фанаторийском броне при моем первом знакомстве с Яшкой и Виктором. Потом он работал конюхом в колхозе. Отец отзывался о нем хорошо. Сучилин любил лошадей, хорошо ухаживал за ними, держал в чистоте конюшню. Что же привлекло сюда нашего образцового конюха?

Сучилин тихо свистнул. Кто-то откликнулся от сухого русла. Заржала лошадь. Зазвенело удильное железо, застучали подковы о камни.

— Пойдем, — сказал Сучилин, — а то этот обормот Никита угадает с конями наверх...

— Лагунов, небось, спит, как ангел, а мы колобродим, — сказал один из спутников Сучилина в белой шапке.

Его я не знал. Откуда же он знает моего отца?

У меня тоскливо заняло сердце.

Сучилин пошел вниз, раздвинул руками кусты.

— Дадим жизни Ивану Лагунову, — сказал он будто самому себе. — Ангел!

Сырая, щебневатая земля, покрытая острыми камешками, ощущалась моими ладонями. Я прижался к земле и слышал всем телом, как скрипели подошвы сапог по камням, как ломко отдавалось похрустывание валежника; доносило запахи махорки и свежесмазанной дегтем юхтовой кожи.

Первым нарушил тягостное молчание Виктор.

— Нам придется идти в пещеру, — сказал он.

— Все же идти? — Пашка оглянулся, зубы его клацнули.

— Ну?

— Нас зарежут.

Мелкая, подлая дрожь била меня изнутри.

— Мы должны осмотреть пещеру, — твердо произнес Виктор.

К пещере вела каменистая тропа. Входное отверстие было достаточно для нашего роста. Можно было идти не сгибаясь. Пока огонь не зажигали. Двигались осторожно, стараясь наступать на носки и не сбивать камешки. Из пещеры несло, как из плохого погреба. Стены были мокрые и склизкие. Вход начал сужаться. Пришлось согнуться. Сколько мы шли таким образом, сказать трудно. Наконец я выпрямился, расставил руки, но стен не достал. Я остановился. Дальше могла быть пропасть.

Виктор зажег свечу. Над головами пронеслись летучие мыши, поднялись под своды пещеры и закружились там, шумя крыльями и попискивая тоненькими, жуткими голосками.

Пожалуй, мне не приходилось никогда еще испытывать чувства полной беспомощности и обреченности, которое я испытал тогда.

Мокрые стены с натечными оплывами сталактитов, казалось, были исписаны какими-то древними письменами, не прочесть их... Черная впадина, откуда несло мокрым холодом, уходила в глубину Богатырских пещер, им нет конца.

Виктор сказал побелевшими губами:

— Не стройте таких рож. Вы нагнали и на меня панику.

Я натужно улыбнулся.

Летучие мыши исчезли одна за другой в глубине пещер. Теперь мы могли лучше оглядеться. Наши восковые толстые свечи освещали пещеру с высоким потолком. Стены были исчерчены разными знаками — следы экскурсий. Стежки и своды сочились водой. Тяжелые капли срывались сверху и звонко ударялись о каменный пол. В углу, левее наружного входа, в стене была вырублена ниша. Возле нее стоял стол — спиленный сталактит. Ясеновые чурбаки, стоявшие у стола, заменяли табуреты. Виктор сказал: **«Чурбаки были»**. На столе были еще теплые оплывы свечи, на земле валялись узкие обрывки газет, остатки крученок козьих ножек, в нише валялись бутылки из-под водки. Одна из них заткнута кукурузной початкой, пропитанной самогонкой.

На сухой траве возле стены, как видно, недавно

лежали люди. Из первой пещеры узкий коридор вел в следующую комнату. Мы вошли в нее по узкому и сырому ходу, гуськом. Виктор держал наготове духовой пистолет, мы — ножи.

При свечах открывалось чудесное зрелище. Узорчатые, витые колонны букетами поднимались по стенам и углам и пропадали в темноте, где шумели черными крыльями летучие мыши. Посередине возвышались сталактиты самых причудливых форм: одни из них готическими шпилями поднимались кверху, другие были похожи на каменных баб — идиолов, что разбросаны на степных курганах.

Стены сочились. Где-то в глубине пещер, скрытых от нас, загадочно шумела подземная река. Свечи дрожали в наших руках, и сталактитовые изваяния, будто отлитые из хрусталя, мерцали в красноватом фосфорическом тумане.

— Дальше еще пещеры, — прошептал Виктор, — идут и идут без конца. Может, к Туапсе... никто не знает. Дальше не пойдем... Там течет Черная речка.

Мы повернули назад и свободней вздохнули; в первой комнате мы были ближе к свежему воздуху, к жизни.

Виктор погасил наши свечи. Свою свечу поставил на каменный стол. Наши лица были мертвенно бледны. Глаза были обведены кругами.

— Надо подождать луну, — сказал Виктор, — и тогда добираться домой.

— Луна взойдет перед рассветом, — сказал Пашка.

— Будем ждать.

— Почему?

— Туман залил долину реки. Мы можем попасть в ущелье, в яму... И кроме того, раз мы попали в такое дело, надо держаться вместе и крепко, и никогда не решать что-либо самовольно, без друзей... — Виктор глядел на нас своими глазами-занозами. — Один за всех, все за одного. Раньше люди давали клятвы... хотя... — его глаза остановились на свечке. — Чтобы никто из нас не изменил друг другу, мы можем дать клятву на свечке.

— На свечке?

— Да. На свечке... Вы слышали, что я говорил?

— Да, — ответили мы разом.

— Приближайте пальцы к огню. Не все, по одному, указательному.

Мы соприкоснулись пальцами.

— Теперь опускаем к свече, к огню.

Наши руки опустились к свече.

— Ниже, ниже, на самое пламя! — командовал Виктор.

Огонь больно жег наши пальцы. Кожа покраснела, закоптилась. От острой боли слезы заливали глаза. Пашка побелел, зашатался...

— Хватит! — скомандовал Виктор. — Это была клятва, — он подул на палец, усмехнулся. — Конечно, глупости, а больно, шут возьми. Только, глядите, это всерьез... Чтобы ни гу-гу про наши похождения...

Виктор развязал рюкзак, положил на стол круги овечьего сыра и связку сушеной тарани. Потом, как всегда, попробовал жало ножа ногтем, нарезал хлеб по-крестьянски, у груди.

Мы поужинали.

Виктор взял в нише бутылки, вышел из пещеры, принес воды из ручья. Мы напились воды и улеглись на сухой траве, на полу.

— Туман закрыл все. Птицы и то не кричат, — сказал Виктор и сел, заложив руки за затылок. — Вы спите, ребята, а я подежурю, потом разбужу Пашку. А перед зорькой подежурит Сергей.

Усталость и пережитые волнения сломили меня быстро. Я будто провалился куда-то, крепко заснул.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВЫСТРЕЛ

Яшка вбежал в пещеру с горящим нефтяным факелом. Яркий багровый свет озарил пещеру. Яшка стоял перед нами, как вестник несчастья.

...Мое отсутствие всполошило наш дом. Мать решила, что меня надо искать только на дне Фанагорийки. Она была убеждена, что я не перенес оскорбления, нанесенного мне доктором у перелаза. Меня искали

повсюду. Подняли на ноги и Устина Анисимовича, и Фесенко, и Неходу.

Узнав о моем исчезновении, к нам прибежала взволнованная Люся и осталась у Аниюты. Отсутствие Пашки и Виктора немного успокоило мать, но не потушило тревоги. Мать Виктора, стеснительная, бедная женщина, сторожиха школы, ночевала у нас. Отец Пашки, когда его тормозили, перевернулся на другой бок и сказал только одну фразу: «Дождлся вожжей».

Яшка решил известить нас.

В Богатырских пещерах он уже побывал с экскурсией санаторных больных, путь ему был известен. Он добрался бы сюда с завязанными глазами...

Наш друг сидел оборванный, грязный, утомленный, держа обеими руками пылающий факел, и глядел на нас такими преданными, сияющими, антрацитовыми глазами, что хотелось его расцеловать.

— И ты не боялся?

— Некогда было бояться, ребята! Я так, так спешил!..

— Спешил?!

— У меня вырывалось сердце, ребята!

Виктор удивленно рассматривал Яшку, как бы раскрывая какую-то плохо прочитанную страницу Яшкиной души.

— А все же было боязно? Признайся, Яшка.

— Боялся. Но я боялся, а решил держаться как можно смелее.

— Словом, ты храбрый трус? Есть такие?

— Значит, есть, — Яшка ткнул пальцем в свою грудь.

Виктор одобрительно улыбнулся, заложил в уголки мешка голышки, завязал мешок плечевым узлом.

— Ты проходил Дантовым ущельем? — спросил Пашка.

Ему, видимо, хотелось унизить Яшку, неожиданно очутившегося в центре внимания. В лице Яшки вставал новый, неожиданный для него соперник.

— Нет, — просто ответил Яшка. — Зачем же идти Дантовым ущельем, крюком, когда можно прямо через речку?

— А там левым берегом, — подтвердил Виктор.

— А там левым берегом, — повторил Яшка.

— Левым берегом... — пренебрежительно протянул Пашка. — Видишь... Левым не страшно. А вот Дантовым — спина холодеет.

— Левым проще, — согласился Яшка, — я перешел вброд. Там плавают бычки и... змеи. Вероятно, ужи? Конечно, ужи...

Виктор одобрительно погладил плечо Яшки. Тот заулыбался, покраснел от счастья.

Белая известковая пыль на полу пещеры покрывалась сажей от факела.

Мы вышли из пещеры. Трепеща крыльями, проводжали нас летучие мыши. Фосфорическими пульками проносились светляки.

Мы возвращались домой, угнетенные предчувствием наказания и угрызениями совести.

К шести часам утра мы выбрались, наконец, на гору, господствующую над станицей Псекупской. Мы вернулись другим путем. Виктор повел нас по прямому, более трудному пути, сразу же, после висячего моста, взяв в горы.

Мы отдыхали на горе, измученные переходом, вымазанные в песке и глине, с грязными руками, в размокших башмаках.

Я видел отсюда крышу своего дома и дымок над летней кухней, заплетенной виноградом-изабеллой.

Солнце только что поднималось из-за низкого предгорного предгорья. На пастбище доили коров. Скот дышал шумно, всеми боками, утробно мычал. Издалека слышался запах молока.

Лучи солнца просеивали золотой полосатый свет через листву яблонь, садовых груш, сквозь прорези гор, меж стволов тополей, покрытых, как броней, стариковскими наростами коры и обросших молодой щетинистой зеленью, — она, в конце концов, иссосет старый ствол, разрушит и свалит дерево.

И самая чудесная картина, представшая нашим взорам, — это картина несравнимой нашей Фанагорийки. При полосатых лучах солнца, при темных утренних тенях мы видели выходящий из пропасти гор дымчатый, медленно текущий поток. Это текла вторая дымчатая сказочная река, подрезывая основание гор, похожих на

мохнатые черкесские шапки. Ни малейшего ветерка, неподвижны листочки, а между тем, из ущелья, между скалой Спасения и хребтом Абадзеха, текла дымчатая река, продвигаясь вместе с течением вод Фанагорийки до самой долины, уже озаренной солнцем.

Над хребтом, далеко позади, может быть, в тех местах, где неизвестные богатыри проточили пещерами горы, распростав перистые крылья, висело облако с человеческой головой и бородой, взъерошенной кверху.

Неожиданно, чуть не сбив меня с ног, из-за камней выскочил Лоскут. Он лизнул меня в губы и снова полетел вниз, мимо карагачевых кустов, откуда доносились тревожные детские голоса:

— Сережа!

— Витя!

— Витя!

— Сережа!

Виктор поглядел на меня с усмешкой:

— Это тебя ищет Люся.

...Трудно еще раз описывать извечную картину возвращения блудного сына. Зачем вспоминать ремень, угрожающе встряхиваемый в оливковых руках отца, заплаканные от радости глаза матери. Мать охранит блудного сына от побоев, вымоет и отгладит грязные брючки, вычистит и высушит обувь.

Отец уехал на тачанке в поле. Мама накормила меня оладьями со сметаной, напоила чаем. Илюшка незаметно от матери толкнул меня в бок кулаком, сердито сверкнув глазами. Его рассудительный ум и, конечно, чуть-чуть более взрослый, чем мой, не мог постигнуть прелесть ночного путешествия к пещерам. Его фантазия уже обеднялась возрастом, и я не мог завидовать своему старшему брату.

Я жевал оладьи. После сметаны перешел на вкусный горно-лесной мед. Его собирали колхозные пчелы от цветов ожины, мать-мачехи и весенних цветущих фруктарников.

Мои мысли тоже, как пчелы, кружились у сухого русла возле Богатырских пещер. Слова Сучилина и человека в белой шапке не давали покоя. Меня подмывало подойти к маме и открыться ей, рассказать все. Но ведь мы дали клятву на огне: родители не должны

знать, что мы ходили к Богатырским пещерам,— и Виктор сказал: «Не расстраивай своих. Мало ли чего Сучилины не набредут языками».

Как поступить? Пока суть да дело, олады исчезали в желудке.

— Иди погуляй, — разрешила мама.

Я вышел на улицу. На мне были старенькие штаны, перешитые из лыжного костюма, подаренного проезжими альпинистами, чувяки на белой подошве и ситцевая рубашка со стеклянными пуговками.

Конечно, я не был похож на королевича, о котором мечтала Люся. И, несмотря на это, я разыскал ее. Может быть, многие из моих безрассудных и холодным разумом необъяснимых поступков были совершены лишь для того, чтобы заслужить снисходительное похмыкивание этой странной, заполонившей мое воображение девчонки. И вот я сижу с ней на горячем песке, истоптанном копытцами коз, и мы разговариваем. Сверху по дороге скрипят телеги. Изредка, когда потянет ветром, оттуда сносит в реку песчаную пыль. Медленно бегущая вода шипит от упавшей пыли, будто остуживает ее. Берег перевит жгутами чугунных корней тополей-белолисток.

— Раньше писали о серебряных листиках тополей, — говорит Люся, мечтательно глядя на трепещущие тополевы листья. — Знаешь, почему так сравнивали?

— Не знаю.

— Потому что тогда не было еще алюминия, — с улыбкой сказала она, довольная своим открытием, — сравнивали с серебром. А посмотри на листья тополя, ведь они похожи больше на алюминий. Ну, как будто бы наплющили их под колесами поезда из маминых кастрюлек.

Мне приходится признать, что листья тополя, или белолистки, как называют его здесь, напоминают больше алюминий, чем серебро.

— Надо говорить: алюминиевый тополь, а не серебристый, — сказал я, чтобы угодить девочке.

Люся окинула меня взглядом, который выражал полное пренебрежение к «глупым мальчишкам».

— Так некрасиво.

— Зато верно.

— Не все верное красиво.

— К примеру?

— Пыльный и грязный лошадиный хвост, — Люся улыбнулась уголками своих пунцовых припухлых губок.

А перед моими глазами все стоял высокий и нахальный Сучилин, и я с тревогой думал об отце.

— Если я полюблю кого-нибудь, — тихо проговорила Люся, и я вздрогнул, покраснел, — то это будет королевич.

— Опять этот королевич? — с досадой сказал я. — Советская власть — и вдруг какой-то королевич?

— Над любовью нет власти, — строго сказала Люся. — Только я полюблю молодого, очень молодого королевича. Чтобы он был обязательно похож на девочку. Чтобы у него были светлые, светлые волосы, вот досюда, — она притронулась пальчиками к плечикам своего пестрого сарафана. — Потом башмачки с алмазами... на пряжке алмазы, бархатная накидочка по пояс, — опять ее пальчики растопырились у пояса сарафана, охватившего ее тоненькую фигурку. — На пальцах обязательно колечки, очень много. В руках чтобы у него была маленькая свирель, на ней он должен играть, а ходить по ковровой красной дорожке. Светлые волосы и красная дорожка — красиво, правда?

— Дорожку разостлать по песку?

— Нет, должен быть пол.

— Какой?

— Как в доме.

— Везде на улице? Пол, как в доме... — я недобро ухмыльнулся.

Этот королевич преследовал девочку уже долго. Мне хотелось своими руками придавить этого королевича, наступить на него и прижать башмачком, как дождевого червяка.

— Да, везде на улице пол, — упрямо твердила Люся.

— Этого не может быть.

— Поэтому я и жду королевича, что этого не может быть. Только Анюта может вздыхать по грубияну с грязными пятками.

— Это ты про Виктора?

— Да, — вызывающе ответила Люся.

— Ну, ну, — угрожающе заворчал я.

— Что «ну, ну»?

— Не позволю при мне так отзываться о моих товарищах...

— Простите, — Люся встала, отряхнула сарафанчик и медленно пошла от меня.

Вскоре цветной ситчик ее платья пропал за стволами белолосток. Мне стало грустно. Я поплелся домой бродом, через реку.

Одинокие бычки шмыгали у моих ног. Крякая, проплыла утиная стая. Разморенные зноем, спускались к реке козы. В небе кружились шулеки, высматривая на земле добычу.

В смутной тревоге прошли еще три дня. Тайна Богатырских пещер давила меня. Родители относились ко мне ласково, как будто ничего не произошло.

Особенно необычно нежен был отец. Ему хотелось узнать, где же мы все-таки были в ту памятную ночь нашего таинственного исчезновения. Он вызывал меня на откровенность. Мне даже казалось, что отцу все было известно, и ему только хотелось, чтобы я сам рассказал обо всем. Но законы детского товарищества святы. Запрет не был снят Виктором — и я молчал. Молчал и Пашка. И, конечно, был нем, как рыба, Яшка, приближенный к себе Неходой. Пашка замкнулся.

В воздухе пахло грозой. Отец часто уходил в партийную ячейку. Там иногда просиживали до петухов. Придя домой, отец съедал оставленный для него холодный ужин, ложился спать, и часто ночью я слышал его бред: он выкрикивал военные команды.

И вот, наконец, случилось то, чего с тревогой ожидало мое сердце. На четвертые сутки после похода в Богатырские пещеры, вскоре после сумерек, возле нашего дома со звоном и стуком остановилась тачанка.

Кучер — рыжий и волосатый Никита, прибывший в станицу сравнительно недавно из сечевой степи, — что-то прокричал нам во двор таким диким голосом, словно его резали. Мать побежала к воротам, открыла. Тачанка въехала во двор, зацепила крылом яблоню, сорвала с нее кору, остановилась. Добрые донские кони поводили опавшими в пахах боками. Мать бросилась

к тачанке, вскрикнула. С тачанки, протянув большую и какую-то неживую руку, сошел отец.

— Детей прогони... Прогони детей, — сказал он сквозь зубы.

Мама прикрикнула на нас, и мы скрылись в доме, сбились у дверей столовой, прильнули друг к другу. Прерывистым, как от сдерживаемой боли, голосом отец проговорил:

— Сначала, Никита, привези Устина Анисимовича. Только его... Потом сообщишь в ячейку... Слышишь, Никита?

Тачанка унеслась со звоном и конским топотом.

В столовой скрипнула дверь, показалась рука отца, нашарила пройму, уцепилась за нее.

Анюта бросилась вперед, приникла щекой к руке отца. Пальцы его разжались, опустились на голову Анюты. Мать вела его под руку.

— Детей прогони, — повторил отец, — не надо...

Мы сжались в углу.

— А, ничего... не брошу... — торжественно, как клятву, произнес отец. — Не сойду...

Отец опустил на табурет. Мать крикнула: «Спички!» Илюшка принес коробок.

Поддрагивающие руки матери сняли стекло с лампы, провели по фитилю спичкой. Лампа закоптила узким чернильным языком. Мать прикрутила огонь, вынула из волос металлическую шпильку, повесила на стекле, чтобы не лопнуло.

— Ничего, ничего, Ваня, — сказала она сдавленно, стараясь придать спокойные интонации голосу. — Как же ты так неловко?

— Не уйду... не дождетесь, — бормотал отец, прикусывая ус.

Черные от пыли капли пота скатывались по его руке.

И вот я увидел проступившую между пальцев отца, густую, багровую, как пламя факела, кровь.

Я охватил лицо руками, чтобы не закричать, прижался всем телом к Коле, безучастно глазевшему на все происходящее, и опять сквозь пальцы, мучительно истязая себя, я посмотрел на круги расплзающейся крови.

Мать увела отца в спальню. Кто-то еще торопливо прибежал в наш дом. Хлопнули наружные двери. Подкатила тачанка. Кони захрапели у черного крыльца. В столовую, с чемоданчиком в руках, вошел Устин Анисимович. Из спальни вышла мать, прислонилась к стене, словно боялась упасть, и взглянула с надеждой на Устина Анисимовича.

Доктор осмотрелся, повел на нас глазами, что означало: уведите детей, — приблизился к матери, успокоительно прикоснулся к ее руке.

— Тоня... надо еще лампу, тазик, воды, полотенце. Держи, держи себя в руках... Тоня...

Вскоре дом наполнился людьми. У отца было больше открытых друзей, нежели скрытых врагов.

Я вышел во двор. У тачанки толпился народ.

Никита бросил лошадям сена, тут же у дышла отстегнул по одной постромке и завязал их на боковине украшенных медными бляхами шлей.

Никита был в центре внимания. Присев на стремянку, он громко рассказывал, размахивая папироской:

— Ехали мы с четвертой бригады, заречной, к броду... Кони приморились, шли невесело. Ну, знаете тот лесок, что на мыску возле брода. Как поровнялись мы с тем леском, тут и грохнуло... Пуля просвистела. Я кричу Ивану Тихоновичу: «Стреляют!» Ну, конечно, сам с тачанки, под нее, как иначе... А Иван Тихонович поднялся во весь рост, размахивает полевой своей сумкой, кричит: «Сволочи!» Оттуда, из лесу, опять — раз-раз! Не иначе, из обреза, и зацепило его... Беда...

— Надо было кнутом по коням и уходить после первого же выстрела, — сказал кто-то из темноты.

— Ишь ты, швидкий, уходить! Я же кажу, кони пристали... Это тебе не трактор... Да кто там?

Из-под яблони вышел начальник милиции с отцовской полевой сумкой в руках, с наганом на плечевом ремне. Оказывается, он стоял под яблоней и вслушивался в разговор.

Никита привстал, прикоснулся пальцами к ухарски надетой кубанке:

— Не узнал вас, товарищ начальник.

— Темно, как узнать, — сказал начальник милиции и пошел в дом.

— Этот разыщет бандитов, — сказал кто-то.

— Разыщет, — иронически сказал Никита. — Ищи ветра в поле... Ау... Уа... Ну, что же, дончаки остыли. можно напугать.

Я вернулся в дом. Болезненная жена Устина Анисимовича, которую я недолюбливал, разобрала кровать, уложила меня. Худой рукой прикоснулась к моему лбу, прошептала что-то, чего я не разобрал.

Слезы потекли по моим щекам. Вдруг дверь из столовой приоткрылась, на пороге появился силуэт девочки. Это была Люся. Она приоткрыла дверь, тихо, на носках, подошла к моей кровати и присела на кончик стула. Я молчал, всматриваясь в нее из-под полуприкрытых век. Люся протянула руку и положила ее на мою руку, лежавшую поверх одеяла. Я молчал, пораженный этой неожиданной лаской.

— Ты не спишь, Сережа, — сказала она, — почему же ты молчишь?

Я приподнял голову, только одну голову, чтобы не спугнуть этого легкого, как крылья бабочки, прикосновения ее нежной руки:

— Не сплю, Люся.

Девочка отняла руку, положила ее к себе на коленку. Я сел на кровати. Вглядываясь в Люсю, я не различал лица, глаз. Только силуэт курчавой головки ее отпечатался на фоне слабого света керосиновой лампы, проступавшего сюда из столовой через неплотно прикрытую дверь.

Мне хотелось сказать девочке много хороших слов, но язык не повиновался.

— Тебе тяжело, — промолвила она. — Если бы так случилось с моим папой... — она помолчала. — Я бы сошла с ума. Видно, утешать в чужом горе легче, как ты думаешь?

Меня успокоили эти не по-детски серьезные слова Люси. Мне становилось легче от ее сердечного внимания.

— Если хочешь, Сережа, — продолжала она, — я всегда буду думать о тебе. Только прошу тебя, никому не рассказывай, особенно этим хулиганам — Виктору и Павлу...

Я ответил ей кивком головы.

В соседней комнате, видимо, зажгли вторую лампу. Светлей стало и в нашей спальне. На своей кровати, повернувшись к стене, спал Коля. Кровать Илюши не была разобрана. Он помогал в доме.

По голосам я узнал, что пришел секретарь партийной ячейки, деловой, но суматошливый человек; гудел бас председателя станичного совета — это был коммунист, из бывших партизан, вдоль и поперек иссеченный белогвардейскими шашками.

Лампа разгорелась. Теперь мне хорошо была видна Люся. Прихватив на груди концы шелкового материнского платка, наброшенного на плечи, она смотрела на висевшую на стене аппликацию по басне Крылова, вышитую руками матери.

Журавль клевал красным клювом синюю тарелку, а лиса сидела на задних лапках и следила за гостем.

— Я уже пойду, — сказала Люся поднимаясь.

Я не набрался смелости попросить ее побыть со мной хотя бы еще немного. Мои мысли скакали, я придумывал фразу, которая усадила бы ее снова на место, на кончик стула. Мне хотелось сидеть с ней без конца и только смотреть на нее, ничего больше я не желал. Робость, сковывавшая мой язык в присутствии этой девчонки, доводила меня до злости. Обычно только после ее ухода приплывали нужные слова, и я готов был совершить подвиг. А теперь все улетучилось, и я сидел перед ней дурак-дураком...

Она ушла на цыпочках и притворила за собой дверь. Я привалился к стене горячим лбом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

На другой день я сидел у стола начальника милиции.

— Итак, молодой человек, они разъехались на лошадях? — спросил он и уже вторично придвинул ко мне конфетку.

— Разъехались в разные стороны, — ответил я, отодвигая конфетку к чернильнице.

Начальник милиции не смотрел на меня. Его глаза были прикованы к развернутому листу писчей бумаги, на ней он что-то черкал толстым карандашом.

— В какие стороны? — переспросил он.

— Одни поехали вниз по реке, другие — вверх.

— А дальше?

— Копыта потерялись.

— Звук копыт?

— Звук.

Начальник милиции рисовал каких-то чортиков на своем листе. Что же он там рисует? Мое любопытство накалилось до крайности, я приподнялся, заглянул через чернильницу. Начальник ухмыльнулся уголками губ, своими смуглыми пальцами, вымаранными фиолетовыми и красными чернилами, подвинул лист для удобства поближе.

— Хорошо получается? — спросил он.

— Так себе, — ответил я.

— Конечно, не Репин. А вот такой рисунок поможет разыскать преступников, стрелявших в твоего батьку.

У извилистой речки, повыше точно вырисованного висячего моста, был начертан треугольник пещерного входа и аккуратно выписаны тропы, расходящиеся от Богатырских пещер. Маленькие лошади, напоминавшие бутылочки с хвостами, стояли близ пещеры. Затем на моих глазах рука начальника, вымаранная чернилами, послала их в речку. Вскоре две бутылочки поплыли вниз, а три — вверх по течению.

— Их было пять? — спросил начальник.

— Пять.

— Одного звали Никита?

Я вздрогнул.

— Он же не кулак, — сказал я, — он кучер. Вozил меня на тачанке, давал вожжи, вырезал мне пищики из вербы...

— Правильно. Вожжи, пищики... — начальник тяжело вздохнул. — Кулаков-то натуральных мы давно вытурили. Тех узнать можно было ночью на ощупь, а вот подкулачников трудней узнать.

Начальник постучал по столу ручкой пресс-папье. В кабинет вошел молчаливый и хмурый, как зимняя туча, человек, которого мы почему-то всегда боялись.

Он занимался уголовными делами и не всегда ходил в милицейской форме.

— Сучилина и Никиту-кучера взять немедленно, — сказал начальник. — Проверить в верховых коллозах, кто брал лошадей и выезжал в ночь, от и до... Понятно? Черная борода и белая шапка... Надо разыскать, хотя у него приметы окажутся шиворот-навыворот... Понятно?

Хмурый качнул головой и быстро вышел из кабинета. Начальник милиции подвинул ко мне конфетку.

— Упрямый. Как буйвол. Не отравлена... гляди!

Он бросил ее в рот, и леденец захрустел, как стекло, на его крепких, кипенных зубах.

— Теперь жалко?

— Нет, — буркнул я.

— Вижу, жалко. Меня, братец, не проведешь. Профессия не та.

Начальник хлопнул ящиком стола, достал оттуда горсть конфет, насовал насильно мне в оба кармана, подтолкнул к двери.

— Твой приятель Витька гораздо разговорчивей, — сказал он, — учись жизни у него, а не у буйвола. — Он потрепал меня за нос. — Когда будем проводить по улице бандитов, узнай. Ошибаться нам нельзя. А то зашлем их в тартарары. Понял?

Я понял одно: отец расплатился своей кровью за мое молчание. Я понял второе: Виктор нарушил свое же слово и раньше меня доложил обо всем начальнику милиции, не предупредив меня, не посоветовавшись со мной. Следовательно, не всегда нужно молчать, если тебе известно что-либо, что может принести вред честным людям.

Все же его показания помогли раскрыть преступление. Он, конечно, поступил правильно. Тогда как же с товарищеским словом? Почему он первым нарушил его?

Нужно было во что бы то ни стало увидеть Виктора. И я его нашел в совершенно неожиданном месте — на базаре.

Краснея от смущения, Виктор прикрыл какие-то вещи, лежавшие на мешке, разостланном на земле. Возле него сидели люди, продававшие старые ботинки,

гвоздики, ломаный будильник, молоток, бутылку с цветной этикеткой.

В это время какой-то горный казачина в свинных постолах и рваных ластиковых шароварах подошел к Виктору:

— А чем ты торгуешь, купец?

— Ничем.

— Как ничем? — Казачина нагнулся, откинул мешок и рассыпал по земле какие-то железки, винтики, ржавый замок, подкову...

Казак презрительно сплюнул и ушел.

— Ты, значит, продаешь, Виктор?

— Мать послала.

— И ты согласился?

Виктор прикусил губу, зло уставился на меня:

— А если дома жрать нечего?

Мне показалось, что Виктор пошутил. Мне припомнилось наше недавнее ночное пиршество: хлеба целый каравай, тарань, круг брынзы. Я напомнил ему об этом.

— Пашка принес, — сумрачно сказал Виктор, — там оставалось немного. Я завернул остатки обратно в мешок и... отнес мамке. Ты же знаешь, при школе нет огорода, а мы... Так-то...

Меня охватило чувство стыда за самого себя, всегда сытого и одетого: ведь я ни разу не подумал, как идет жизнь моего друга по ту сторону детских забав и похождений.

Я собрался уходить, забыв, что хотел обвинить Виктора в измене своему слову. Виктор сам догадался и напрямик сказал:

— Не обижайся на меня. Пришлось рассказать про этих сволочей... Опоздали только. Батьку твоего жаль.

Я вспомнил о содержимом карманов моей курточки, помялся и нерешительно предложил конфеты Виктору.

— Не побираюсь, — строго сказал он.

— Они даром достались, Витя. Начальник милиции сам напихал в карманы.

— Иди, иди, чиж.

Вернувшись домой, я высыпал в сахарницу все до

единой конфеты. Они напоминали мне о моем поступке, чуть ли не стоившем жизни моему отцу. Я понял, почему начальник милиции сунул мне эти леденцы. Да, они жгли, прожигали мой карман. Мать застала меня за этим занятием, сделала вид, что ничего не заметила, и ушла на кухню.

Отец лежал с обнаженными руками и забинтованной грудью в соседней комнате и наблюдал за мной с одобрительным вниманием. Уходя от него, мама не притворила дверь, а я, занятый своим делом, не заметил, что за мной следят внимательные, задумчивые глаза...

...Сучилина вели по улице со связанными назад руками. Его же сообщников не связывали. Позади Сучилина, след в след, с понуренной рыжей головой, без шапки, шагал Никита, — он не глядел на толпу, из которой легели грозные выкрики. Я не мог понять, как этот человек, вырезывавший нам сопилки в лесу, катавший на козлах, огромный, сильный, свитый из мускулов, которыми он мог бы переверочать полсвета, решился убить человека, который ему ничего, кроме хорошего, не сделал.

Был воскресный день. Людей собралось много, не меньше, чем на смотр первого трактора.

У отца сегодня поднялась температура. Устин Анисимович утром вводил отцу сердечное. Об этом говорили в толпе, и сильнее вскипала ненависть к преступникам.

— Засамосудить бы их! — кричал старик в картузе, размахивая палкой.

Преступников окружали милиционеры, пять человек. Еще два конных ехали в конвое на иссиня-вороных орловцах с подседельными вальтрапами, расшитыми кумачом и камкой.

Арестанты двигались с понуренными головами, стараясь не встречаться глазами с людьми. Только один Сучилин поглядывал с наглой самоуверенностью, откинув на затылок кубанку. Сатиновый бешмет был расстегнут на груди до самого пояса, сверкавшего своей серебряной с чернью насечкой. На его ногах были мягкие козловые сапожата без каблучков, подхваченные ременными шнурками у колен.

Сучилин кому-то кивнул головой. В толпе истошно, как по покойнику, заголосила жена Сучилина, пожилая, степенная женщина.

Дети Сучилина держались возле матери, озирались зверьками. Глаза у них были наплаканы и натерты кулаками. Странно, но мне их было жалко.

Преступников привели к милиции и посадили на мажару, на которой обычно возят с поля снопы. Верховные на вороных орловцах проводили их за околицу и повернули к конюшням.

Вскоре мажара пропала за тополевыми стволами, и только небольшой столбик пыли еще долго держался на шляхе.

— Не жалеј их, — сказал Виктор, — они тебя не пожалеют...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НАЧАЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Наблюдали ли вы когда-нибудь ночью, как откуда-то отрывается огненный кусок мира, чертит черное небо сверкающей линией и гаснет в просторах вселенной?

Вы быстро, пока еще не рассеялся сверкающий пунктир космического маршрута, старались загадать самое заветное, чтобы оно исполнилось.

И каждая человеческая судьба имеет свою жизненную трассу. Только один идет при пыльном ветре с широко открытыми глазами, а потом прикладывает к слезящимся глазам платок, другой сумел во-время прищурить глаза; один нудно вписывает на память изречения прошлых веков: «Слово — серебро, молчание — золото», другой горстями разбрасывает золотые монеты своей богатой души; одни робко влюбляются в женщин и, тайно вождедая, умирают, не испытав ничего, другие захватывают жадными руками все, что привлекает их, сгорая от неумейной страсти.

Отец выздоровел. Его враги рубили леса на севере, трудом зарабатывая себе прощение. Старела мама на наших глазах, и нелегко было наблюдать ее увядание, хотя для нас она попрежнему была прекрасна, ибо зо-

лотые россыпи ее души были открыты для нас. Тихо, как свеча, истаяла жена Устина Анисимовича, и Люся уехала в Крым, к родной тетке, учительнице, взявшей ее воспитывать.

После ее отъезда я долго не находил себе места, тоскливо бродил по знакомым местам, сидел подолгу на песочном пляже, где летали яркие бабочки. Несколько дней я носил повязку на указательном пальце левой руки. Палец был сожжен на пламени свечки в знак юношеской клятвы на верность.

Каким-то напоминанием об ушедших вместе с Люсей королевских были фигуры шахмат. Я полюбил эту игру, на время даже забросив турник и параллельные брусья; шахматы и физическая культура казались мне почему-то несовместимыми.

Доктор исподволь подогревал мою страсть. Играли мы обычно в тихом и уютном месте, в станичной избе-читальне, где-нибудь на столике возле сельхозуголка, где пряно пахло засушенными стеблями пшеницы, кукурузы, разных трав.

Устину Анисимовичу приходилось все труднее и труднее одерживать шахматные победы. И вот, наконец, однажды доктор начал проигрывать мне, своему ученику, первую партию.

Его глаза беспокойно бегали по шахматной доске, а я, замирая от радости, крепко сжимал в потной ладони его королеву, похищенную в результате продуманного во всех деталях неотразимого хода.

Нас плотным кольцом окружали мои сверстники, дрожавшие от азарта.

Волнение мешало сосредоточиться Устину Анисимовичу, и, наконец, он признал себя побежденным. Доктор вынул платок, протер очки, глаза, невесело улыбнулся.

— Королеву-то снял молодой человек за «фука», — сказал он.

«Фуком» обычно называлась провороненная пешка в «плебейской игре» — шашках. Я предложил вторую партию — на реванш. Устин Анисимович согласился. Игра продолжалась полтора часа. Доктор еще больше волновался, делал поспешные, непродуманные ходы.

Он проигрывал снова. Не дожидаясь, пока я загоню

его короля в мертвый угол, он положил его боком, хрустнул пальцами.

Его старческие глаза светились какой-то грустной радостью и удивлением:

— Ба, ба, Сергей Иванович, да ты уже вырос, братец! Теперь тебя не возьмешь за ушко, не вытянешь на солнышко, — одобрительно сказал он.

После ухода доктора ребята смеялись над ним, поздравляли меня, а мне было очень и очень грустно.

Накануне очень важного дня в моей жизни — я вступал в комсомол — пришло письмо из Феодосии от Люси.

Жизнь в портовом городе не прельщала ее. Она вспоминала нашу Псекупскую, наши шалости и детские радости. Не забыла и о клятве на огне свечи.

В конце письма она написала: «Ц-ю своего королевича».

Прочитав это письмо, я повзрослел. Теперь в тетрадке по геометрии я записал изречение: «Хорошенькой женщине можно прощать небольшие капризы».

Правда, в кармане своей куртки я довольно часто находил записки, где клятвы в любви переплетались с просьбами помочь решить задачку или сообщая разобратся в ошибках по сочинению. И все же тайна первой привязанности, первой детской любви была сильней. Я готов был пойти куда угодно вслед за своей, именно с в о е й, Люсей!

Жизнь позволила мне доказать свою любовь к ней, но об этом в дальнейшем...

Комсомольское собрание шло к концу.

Илюшка встал, прикрутил фитиль, чтобы копоть не лизала своим черным маслянистым языком ламповое стекло, обратился к членам бюро:

— А теперь самый щепетильный вопрос... Прием в ряды Ленинского комсомола Сергея Лагунова...

— Почему щепетильный? — спросил кто-то за моей спиной.

— Он мой родной брат, — Илюшка в улыбке приподнял брови, развел руками, — а я, как известно, секретарь организации. Пусть высказываются члены бюро.

Я испытывал такое чувство, словно восходил на

высокую гору. Нужно было пересмотреть свой багаж, чтобы легче было подниматься к вершине, от чего-то нужно было отказаться при подъеме, что-то добавить. Это была тайна, не разгаданная до конца, но волнующая до слез.

— Мы, ребята, все понимаем свои права, данные нам государством, — сказал прикрепленный к комсомолу от партийной организации председатель райисполкома. — А как мы понимаем свои обязанности перед социалистическим государством?

Его вопрос не захватил меня врасплох.

— Учиться, учиться, дойти до всех наук, если можно, превзойти их, и если нужно будет, отдать свою жизнь и знания своей Родине... отдать ей... — говорил я, будто произносил клятву.

— С завитками, но верно, — сказал предрайисполкома и забарабанил пальцами по столу. — Что же, пора кончать, ребятки. Посчитать, второй час его муржите...

Обновленным я вышел с заседания бюро. Рядом со мной шел Илюшка, помалкивал. Его сильные, крепкие плечи покачивались в такт шагам.

Мы перешли улицу. Собаки лениво побреживали из-под штакетных заборов. От тополей ложились сильные лунные тени. А вот выкатилась и луна — огромный серебряный щит, будто только-только горячими молотами откованный у огненных горнов. Тополя снова напомнили мне мачты огромных бригав — плыви на них в будущее, разворачивай паруса, чтобы они напитались ветрами и понесли тебя в жизнь!

Торжественное и мечтательное состояние моей души не нарушал Илюша. Он, видимо, понимал, что происходит сейчас во мне. С сегодняшнего дня я становился на одну ступень с ним, и он больше не считал себя вправе глядеть на меня свысока.

— Придется тебе дать нагрузку — «ю-пэ», — сказал он.

— Хорошо, — согласился я.

— А в школе возьми спортивный кружок. Там у вас худые дела. Почти развалился. Вместе с Витькой Неходой возьми.

— Хорошо, Илюша.

— Будешь проводить пионерские костры, только,

ради аллаха, не лезь в центр станицы. Выводи пионерию в лес, сами рубите дрова, жгите костры до самого неба. Приучайте детишек к настоящей жизни, к природе, развивайте мускулатуру, смелость, не бойтесь простуды...

— Хорошо, Илюша.

— То-то, — сказал Илья, — а что не так, ко мне. Помогу. Теперь попал в коллектив, всегда помогут, Сережка.

Мы подошли к дому, может быть, впервые серьезно поговорив друг с другом, как настоящие братья.

Дома неожиданно для меня было организовано торжество. Отец привинтил орден Красного Знамени, старательно расчесал усы и подмаслил прическу. В доме собрались друзья отца из колхоза, тут же сидел басовитый предрика, и секретарь партийной организации, и мои приятели — Виктор и Яша.

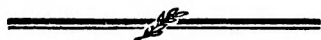
— Я твоему, понимаешь ли ты, Иван Тихонович, отчебучил вопрос на бюро, — басил предрика, накладывая на тарелку пироги с мясной начинкой, — права-то вы свои понимаете, что на блюдечке вам принесли, а вот как насчет обязанностей?


— Ответил?

— Ответил. Словами ответил, Иван Тихонович, — басил предрайисполкома, — а делами — посмотри ч.

Неслись годы-метеоры, и, наконец, пришло время и мне ответить делами на призыв своего государства.

Заеть
ВТОРАЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОЙНА

Война захватила меня в Крыму, на одном из флотских полевых аэродромов, где после призыва я работал мотористом.

Враг шел с Запада.

Бомбили Севастополь. Вражеские бомбардировщики приходили с румынских аэродромов, расположенных близ Констанцы. Военные объекты не пострадали. Флот был настороже. Истребители черноморской авиации отогнали противника. Первый налет был демонстративным. Флот ответил ударом по Констанце. В Румынию ходили опытные бомбардировочные экипажи. Некоторые участвовали в финской кампании.

Отец писал, что Николай призван в армию и уехал в Краснодар на формирование. Илья находился в кадровых танковых частях в Киевском военном округе. Яшку не призвали по негодности. Виктора Неходу, оставленного в свое время по льготе, мобилизовали. Фесенко служил во флоте на действительной. Словом, почти все фанагорийцы, сверстники мои и друзья детства, ушли на войну.

Отец писал: «Уже начали косить ячмень на южных склонах, вывели на загоны из усадьбы МТС комбайны, скоро начнем убирать в массе озимые ячмени и пшеницы. Урожай, какого давно не видали. Начали цвести подсолнухи, кукуруза цветет, но еще не наливает початки...»

Вот так просто пришла война. Попрежнему мы занимались своими делами на аэродроме, принимали и провожали экипажи. Только теперь экипажи уходили на боевые задания. Иногда не возвращались. На опустевшем месте заводили новый самолет, а иногда пустовала стоянка погибшего. Аэродромный пес, преданный нашему полку, повоет, повоет на опустевшем месте и начинает привыкать к новым хозяевам и снова тоскливо поджидать их возвращения...

Самолеты рассредоточили с линейки, принялись строить капониры. Аэродром окружили противовоздушной обороной: вырыли пушки, зенитные пулеметы, перевели горючее в подземные хранилища, замаскировали их сверху землей и дерном.

Стояла жаркая, без дождей, погода. Над аэродромом висела едкая пыль. Мухи осаждали нас. Война, в подлинном своем смысле, не ощущалась нами. Моему воображению совершенно иначе представлялась война. Мне думалось, что наступит какая-то постоянная восторженность, войдут в быт новые, красивые, романтические фразы, по-другому сложатся отношения между командирами и подчиненными. А все стало строже, утомительней, будничней и настороженней.

Нас переводили на стационарный аэродром. Сюда же, на полевой аэродром, подсели истребители запасного авиаполка. Молодые пилоты весь день кувыркали в воздухе. Их переучивали на новых самолетах. На смену медленным тупорылым машинам, когда-то считавшимся шедевром авиационной техники, пришли стремительные узконосые, тонкокрылые истребители.

Мне не удалось еще повидать авиацию противника. Демонстративные и разведывательные полеты над Крымом не производили на меня впечатления. С каждым днем все сильнее и сильнее сверлила меня мысль: разобьют врага, война кончится, и не попадешь на фронт, не повоюешь.

Эти настроения, очевидно, свойственные юношескому возрасту, поддерживал мой друг авиамоторист Иван Дульник. Маленький, юркий, похожий на сверло, он не давал мне покоя, разжигал меня. Не одну бессонную ночь мы проворочались на своих койках. В голове моей роились мысли о подвигах, которые так и не придется

мне совершить. Каждый человек, побывавший на фронте, вызывал у меня сосущее чувство зависти. Я не мог оторвать восхищенного и одновременно досадливого взгляда от сияющих на солнце новеньких орденов, привинченных на гимнастерках хаки и на темносиних морских кителях.

В конце июля меня и Дульника отправили по делам службы на один из флотских запасных аэродромов. По пути мы попали в Севастополь. Внешне город жил своей обычной размеренной жизнью, если не считать большого оживления на улицах и следов противовоздушной маскировки. Торговали магазины, в киосках продавалось пиво, на станцию приходили поезда, разгружались, люди поднимались к Панорама. Попрежнему стоял бронзовый генерал-инженер Тотлебен, окруженный бронзовыми солдатами. Возле памятника играли дети. Няни вывозили в колясках младенцев. Зенитные установки были умело отъединены от гуляющей публики рвами и заборами из колючей проволоки, скрытой в кустарниках. Аэростаты воздушного заграждения на день маскировались в оврагах и ложинках, чем так богат Севастополь. Только опытный глаз мог заметить то там, то здесь серый, матово поблескивающий под солнцем аэростатный шелк. Военные корабли прикикли к пирсам, как бы слились с ними. По бухте ходили катера и шлюпки, приставали транспорты.

Пехота, направляемая на оборону Одессы, без оркестров проходила к пристани, деловито грузилась. Уходили транспорты, сопровождаемые морским и воздушным конвоем. Мне казалось, что страна уже несколько лет воюет: как-то быстро обвыкли люди.

Севастополь наершился, вооружился, снял с себя белоснежно-кремовые тона и стал похож на один из ошвартованных у стенки крейсеров. Город закрылся контрольно-пропускными шлагбаумами, охранялся матросскими патрулями. Ночью движение замирало, только шла и шла пехота, катили пушки и пулеметы. Порт переваливал крупные силы войск, обеспечивая южное стратегическое крыло фронта. Ночью город был темен и тих. Изредка вспыхивала точка патрульного фонаря и сразу гасла или поднимались вверх десятки голубых мечей.

Грузовик стучал по камням. Мы продолжали путь к аэродрому. Густая известковая пыль садилась на фланелевки, на бескозырки, которые мы с таким ожесточением заламывали при виде городских девушек. На грузовике стоял токарный станок. Его приходилось поддерживать руками, так как он грозил на каком-нибудь повороте отрезать нам ступни ног. Кроме станка мы везли инструменты в плоских ящиках и два самолетных винта в деревянных футлярах.

На аэродроме при ночной посадке пострадали два самолета. Надо было срочно привести их в порядок.

— Не знаю, сколько это отнимет у нас времени, — сказал Дульник.

— Смотря как разложили, а то поглядим и уедем.

— Раз вызвали, значит нужно будет потрудиться.

— Жаль машины. И так каждая на счету.

— Ночью садились на луч. Может быть, молодняк-пилоты?

— Может быть, — согласился я.

Грузовик то поднимался, то опускался в многочисленных лощинках. Отсюда виднелось плато Сапун-горы, вправо от нее стояли скалы Балаклавы, синие от сгущенного расстоянием воздуха.

Низко над морем шли два ближних морских разведчика, одномоторные воздушные черепахи с толкающим винтом и неуклюжими поплавками.

Теперь уже было видно море, точки сторожевых судов службы охраны внешнего рейда. Сверкающее море легло по всему видимому горизонту вплоть до Балаклавских высот.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ОТЧАЯННЫМ

Дульник, сидевший напротив, перешел ко мне на левый борт грузовика. Ему явно не терпелось поделиться со мной какой-то новостью.

— Что, Ваня?

Дульник хитро поглядел на меня черными глазами.

— Видал, как в Севастополе меня остановил морячок береговой обороны?

— Видал.

— Мой приятель еще по Одессе. Ланжеронцы мы...

Мне показалось, что за этим вступлением начнется обычный, восторженный рассказ Дульника об Одессе. Я прервал его, попросил быть ближе к делу, если у него действительно имелось что рассказать.

— Организуются парашютно-десантные части для Одессы, — сказал Дульник.

— Где?

— Недалеко, на Херсонесе. Приятель указал мне «позывные».

— Кто организует? Флот?

— Конечно.

— Кто именно из флотского начальства?

— Некто майор Балабан.

— Балабан? — переспросил я.

— Балабан, — повторил Дульник. — Ты разве с ним знаком?

— Если только это тот Балабан, — сказал я, — отчаянный капитан. Морской пограничник.

— Он! — обрадованно воскликнул Дульник. — Абсолютно точно, отчаянный капитан.

— Неужели тот самый отчаянный капитан?

— Тот самый. Где ты с ним познакомился?

— Я с ним не знаком.

— Не представлен ему, что ли?

— Я его даже не видел. Я только слышал о нем.

— Кто не слышал про отчаянного капитана! Я помню, на Ланжероне...

Я снова перебил Дульника:

— В детстве имя отчаянного капитана произносилось нами, как имя жюльверновского капитана Гаттераса, — и я рассказал, как капитан Балабан задержал в море фелюгу контрабандистов и передал ее рыбацкой артели, где работал мой отец, что мы, дети, называли «Капитанскую дочку» «Мусульманкой», — так было романтичней.

— Слабое, конечно, знакомство, но использовать можно на худой конец. Не знаю я, каков майор Балабан, но надеюсь, мы сумеем тронуть струны его сердца твоими воспоминаниями.

— Не забывай разницу в звании, Дульник, — ска-

зал я, — учитывая субординацию, найдем ли мы возможность добраться до этих самых струн? Я сомневаюсь...

Через три дня после нашей беседы мы, закончив дела на аэродроме, разыскали штаб отчаянного капитана недалеко от берега моря. Дорога к Балабану вела по оврагу, то там, то здесь виднелись остатки стен Корсуня Таврического, а выше, на фоне голубого свода, высилась башня Зенона.

В долине, укрытые от наблюдения с моря, стояли казармы, огороженные колючей проволокой. Грузовики, пушки, бочки из-под горючего и масла. Снарядные патронные ящики, тюки прессованного сена загромождали двор. Знойное солнце стояло в зените. Несколько чахлых деревьев не давали тени. Часовые изнывали от жары.

Владения отчаянного капитана также были лишены романтической дымки.

После соблюдения необходимых формальностей мы вошли во двор казармы. Молодой морячок тащил вязку флажков. Мы спросили его, и он мотнул головой в ту сторону, где находился Балабан.

Мы пошли мимо бунтов военного снаряжения. Большими буквами на щитах было написано: «За куренье — трибунал».

Возле одного из зданий, на солнцепеке, сгрудилась оживленная толпа моряков. Это были добровольцы, прослышавшие про набор и прибывшие к отчаянному капитану.

— Меня не примут, — сказал Дульник, пробираясь между молодыми, высокими ребятами, сгрудившимися, как дубовые стволы. — Телосложением не вышел. Никакие знакомства с «мусульманками», пожалуй, не помогут.

Мы заняли очередь к Балабану. Дульник ушел выяснять обстановку. Через полчаса он вернулся, отвел меня в сторону. На его носу сверкали мелкие капли пота, спина под фланелевкой взмокрела, волосатые смуглые руки были увлажнены.

— Отбирают только тех, кто имеет парашютные прыжки, — весело улыбаясь, прошептал он. — Повезло нам, брат.

— Чего же ты радуешься?

Его лицо сияло. Смеялись его черные глаза, окруженные морщинками, пришедшими к нему, может быть, с трехлетнего возраста, смеялся рот. Веселье так и искрилось на его запеченном узком лице.

— Не понимаешь?

— Ничего не понимаю... Мы с тобой не имеем ни одного парашютного прыжка...

— Надо иметь голову, Лагунов. А человек с головой должен знать, что парашютный прыжок — это не нивесть что такое. Подумаешь, парашютный прыжок! Механизм вытащит тебя на пять тысяч метров в небеса, умный человек снимет дверку в центроплане, а тебе останется только нырнуть вниз и подчиниться опять механизму, который отлично сработает без тебя. Я говорю о парашюте.

— Какой же механизм — парашют?

— Я не хочу отвлеченно спорить, — обдав меня своим жарким дыханием, заявил Дульник, — если я захочу, я могу назвать механизмом даже муху! Итак, надо иметь голову на плечах и постараться убедить майора Балабана, что мы имеем парашютные прыжки. Ну, не очень много, чтобы поверил. Ты можешь сказать примерно цифру... одиннадцать, чтобы не было ровного счета, я — ну, скажем, семь. Этих цифр и держаться.

— Он потребует документ.

— Какие сейчас могут быть документы? — возразил Дульник. — Отчаянный капитан поглядит нам в глаза, увидит отвагу — и зачислит. А там — не наше дело. Он сам снесется с полком, с командованием. Идем, идем, Лагунов. А эти молодцы — нам почти не соперники. Мало кто из них имеет парашютные прыжки.

Майор вызывал по одному. Наконец очередь дошла и до нас. Наше желание войти сразу вдвоем было мгновенно и молчаливо пресечено рослым моряком-автоматчиком, стоявшим на часах у входа в кабинет Балабана.

Первым вошел Дульник. Я через дверь слышал его громкое, четкое приветствие, хлопок ладошки по шву и удары каблуков по полу. Потом он прошел в глубину комнаты, и я ничего больше не слышал.

Через десять минут Дульник вышел сияющий и торжествующий.

— Порядок, — шепнул он мне, — давай, давай, входи!

Дульник потер ладошки, подбил с двух сторон бескозырку и направился во двор с видом победителя.

Я вошел в кабинет Балабана, щелкнул каблуками, отрапортовал по форме.

Балабан стоял у окна, чуть пригнувшись, и, казалось, глядел во двор, где группа моряков от нечего делать играла «в жука», но в то же время он искоса пытливо и как-то насмешливо разглядывал меня.

В комнате, кроме Балабана, находились два флотских командира, но я сразу узнал, что именно майор, стоявший у окна, и есть Балабан. Именно таким представлял я себе отчаянного капитана. Представьте себе огромного человека, выше ста девяноста сантиметров и весом не менее ста двадцати килограммов. На нем хорошо сидел флотский костюм, сшитый по мерке у хорошего портного, ибо вряд ли на его фигуру нашелся бы номерной мундир. На кителе я увидел ордена Ленина и Красного Знамени, потускневшие от времени и моря. Из-под полы кителя свисал пистолет в морской кобуре из плотной черной кожи.

— Документ, Лагунов! — раздался неожиданно тонкий голос Балабана.

Я шагнул вперед; протянул майору документ.

Балабан, быстро выбросив руку, взял документ, развернул. В его огромных руках, с такими толстыми пальцами, что казалось, их невозможно сжать в кулак, моя бумажка показалась лепестком мимозы. Балабан поколыхал документ в своей лапе, вернул мне его не читая...

— Сколько имеете прыжков, Лагунов?

— Одиннадцать, товарищ майор! — без запинки ответил я.

— А может быть, какой-нибудь пропустили, Лагунов? Может быть, двенадцать или тринадцать?

— Нет, одиннадцать, товарищ майор.

Балабан отошел от окна, прошелся по комнате. Половицы скрипели под его энергичными шагами. Он что-то сказал капитан-лейтенанту, сидевшему у стола.

Тот наклонился к столу, записал, и на его новеньком нарукавном галуне мелькнули зайчики.

Теперь Балабан стоял передо мной. Я видел его насмешливые глаза на крупном, будто вырубленном из кряжевого дуба лице. Такой же крупный нос, выдавшийся подбородок, большие мясистые губы, вероятно безобразные в другом сочетании, здесь производили впечатление полной природной гармонии. Таким, таким должен быть отчаянный капитан, умевший захватывать фелюги, рубить под корень мачты, орать в штормовые ураганы и крепко, как медный памятник, стоять на палубе своего судна.

— Похвально, Лагунов, что ты, как патриот своей Родины, решил помочь осажденной Одессе, — сказал Балабан и сделал паузу.

Душа моя возликовала. Победа одержана. Я поступаю под начало к отчаянному капитану. Затаив дыхание, я не спускал с него глаз, в которых, вероятно, сейчас горело ликующее чувство признательности и счастья.

Балабан выудил из кармана малютку-трубочку, повертел ее в своих лапищах. Опять пауза.

— Давно ты дружишь с этим жуликом? — неожиданно спросил Балабан.

— Каким жуликом, товарищ майор?.. — я запнулся.

— А вот с этим жуликом, который хвастался тут до тебя, на этом самом месте?

— Дульником?

— Не Дульником, а жуликом, — Балабан приподнял брови, улыбнулся всем ртом. — Сколько ты сделал прыжков? А?

Слова не сходили с моего языка. Я молчал, подавленный его пронизательностью.

— Как же вы решили обмануть старшего командира, Лагунов?

— Я сделал одиннадцать парашютных прыжков, товарищ майор, — пролепетал я, чувствуя, что проваливаюсь в бездну.

— С печки на лавку? — спросил Балабан, подавив смех, играющий на его лице.

Я молчал.

— У тебя есть совесть, Лагунов, — сказал Бала-

бан, — а Дульник, твой приятель, кажется, потерял ее по дороге сюда. Жулик он, жулик!

— Наш обман был продиктован самыми хорошими намерениями, — в моем голосе что-то дрогнуло.

Ноги уже окончательно не подчинялись мне, в глазах помутилось. Майор представлялся мне какой-то огромной, расплывчатой и колеблющейся массой. Я сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони, боль отрезвила меня.

Балабан понял мое душевное состояние.

— Ничего, Лагунов, — сказал он дружелюбно, — будем знакомы, — он протянул мне свою лапищу с растопыренными пальцами.

— Иди, Лагунов, — Балабан изучал меня от пяток до макушки, — пока наш союз не состоялся. Пойми, у нас нет времени сейчас подготавливать вас. Нам нужен готовый товар, понял? А в дальнейшем, милости прошу, не забывай майора Балабана.

Я вышел в каком-то тумане. Меня поджидал Дульник у выхода.

— Ты рассказал ему про «Капитанскую дочку»? — любопытствовал Дульник. — Про «Мусульманку»?

Я не отвечал ему. Мы шли по двору, миновали часового, поднялись в гору. Свежий бриз овеял мое лицо. Ворота и сены древнего Херсонеса стояли, залитые ослепляющим солнцем. Море попрежнему искрилось и переливалось, как будто засыпанное до самого дна драгоценными камнями. А там, далеко, сражалась Одесса. Сражалась и будет сражаться без меня.

Дульник правильно расценил мое молчание.

— Я вижу, ты не принят, но я?

— Балабан велел мне передать тебе...

— Ну, ну... — нетерпеливо перебил Дульник.

— Что ты жулик.

— Все ясно, — Дульник сокрушенно вздохнул, присел на камень, — ты не сумел до конца держать марку.

— Балабан видит на три сажени в землю. А ты решил его провести. Он всю жизнь имел дело с жуликами, с контрабандистами, с пиратами.

Может быть, в тот момент Дульника меньше беспокоили несбывшиеся мечты, нежели провал придуманной им хитрости. Мы вернулись в часть. На аэродроме мы решили ни с кем не делиться нашей неудачей. Эта первая тайна скрепила нашу дружбу.

В части меня ждало письмо Анюты. Благотворную радость и душевный покой приносили мне письма сестры, дышавшие таким милым и неуловимым, как запахи белой акации, девичьим очарованием.

О! Конечно, я опишу ей мою встречу с Балабаном. Сестренка была слишком мала тогда, на Черном море, чтобы поддаться нашим мальчишеским грезам. Но сколько раз в присутствии ее, Виктора Неходы и еще маленького существа с белокурыми косичками я рассказывал фантастические истории, связанные в моем воображении с именем отчаянного капитана.

Я не буду описывать ей свой позор. Я придумаю, что написать, призвав на помощь древнюю землю херсонеситов-мореплавателей и виноградарей, алмазные волны Черного моря, омывающие Прекрасную гавань, как назывался Севастополь; я воспользуюсь рассказами Дульника об Одессе, чтобы все познанное от него объединить с Балабаном. Пусть почитает сестра Лукиана, его «Правдивые истории», и найдет в античном коне-коршуне, мужчине, летающем на грифе, прообраз сегодняшнего Балабана. Кони-коршуны обязаны были облетать страну и, завидев чужеземцев, отводить их к царю. «Каким образом проложили вы дорогу, чужеземец, и явились сюда?»

«...осиротел наш дом, Сережа, — писала Анюта. — Нет тебя, нет Илюши, нет Коли. Мама крепится, не поддалась горю. Она тщательно следит, чтобы никто не трогал ваши постели, которые застланы так же, как в день вашего отъезда. Никто не прикасается к вашим вещам. Мама разрешила мне пользоваться твоими книгами, так как я доросла до них. Каждое утро мама рассказывает нам свои сны. Они у нее очень логичны. Мне же всегда снится какой-то сумбур. Вчера, например, мне снилось, что у нас дом из множества комнат, везде стеклянные двери, нет замков, и тысячи воров врываются в нашу квартиру. Я вижу

их, пытаюсь кричать, а голоса нет, горло схватило спазмами. А воры комкают ваши постели, заворачиваются в ваши одеяла и проходят сквозь стеклянные двери. Я не могу вырвать из горла ни одного крика. И вот гляжу, надо мной наклонилась мама, тербит меня: «Аня, Аня, ты кричишь во сне. Страшно!» Я не стала рассказывать маме, что я видела во сне. Она придает большое значение снам, и трудно ее разубедить. Не надо ее расстраивать. Советую почаще писать о себе. Ты не можешь представить, сколько радости доставляют нам твои письма. Илья важничает, скуп на подробности. Неужели он считает, что, поделившись своими мыслями с нами, он раскроет военную тайну? А может быть, ему просто некогда, и я напрасно на него нападаю?

Отец не уходит с поля. Урожай небывалый. Приходится всем нам заниматься уборкой. Пшеница курганами по всем токам. Над полями иногда пролетают вражеские самолеты. По-моему, разведчики. Идут на большой высоте, не бомбят и не стреляют. Видна ли им наша пшеница?

Виктор ушел на призыв. Его мать частенько приходит к нам. Долго разговаривают две матери. Воюешь ли ты уже? Или попрежнему «хозяин» самолета? Фанагорийка пересыхает, но возле скалы Спасения попрежнему отличные купанья. Я научилась прыгать в воду с той самой вербы, с какой прыгал ты. Поздравь свою Анюту...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПАРАШЮТИСТЫ

Если бы я мог писать Анюте, не считаясь с мнением военной цензуры, я бы писал так:

«Милая сестра!

Во мне все поет и ликует. Я вторично попал к Балабану, и он принял меня как старого знакомого. Вместе со мной был Ваня Дульник, мой добрый приятель-одедсит, с ним легче на войне.

Капитан-лейтенант, помощник Балабана, вызвал нас по списку, тому самому списку, что был составлен еще раньше. В списке были все те рослые ребята, которые хотели попасть к Балабану в первый набор. Мы встретились теперь не как конкуренты, а как добрые знакомые, с коими придется разделить не один боевой день и разломать пополам не один сухарь.

Сто человек было отобрано в парашютно-десантные части. Мы с Дульником попали в эту сотню. Ты посмотри, что за молодцы, один к одному, эта сотня, отобранная отчаянным капитаном! Мне думается, ему просто неудобно выделяться своим огромным ростом среди парашютистов, поэтому он выбирает только рослых ребят. Пожалуй, лишь один маленький Дульник нарушает богатырский стиль нашей парашютной сотни.

Когда мы выстроились на аэродроме и подошел Балабан, была подана команда: «Смирно!»

Балабан оглядел всех, пройдя перед строем, скомандовал: «Вольно!», улыбнулся и сказал вслух, с большим удовлетворением:

— Дикая дивизия!

Завтра нас вывозят для парашютных прыжков. Время не ждет. Противник форсировал Днепр у Херсона и подошел к Перекопу. Нам сказали, что в авангарде идет 29-й горно-стрелковый корпус и танковый корпус «Великая Германия». Это отборные войска Гитлера. Танкисты «Великой Германии» используются для его личной охраны...»

Я говорю о письме, не посланном Анюте. Противник оказался гораздо сильнее, чем многие из нас предполагали. Армия отходила в глубь страны. Проводился глубокий завлекающий маневр, использованный еще славянами и парфянами. Подобный маневр был связан с драматическими переживаниями и жертвами и в современных условиях по плечу только сильному духом народу.

Противник, усиленный подвижным авангардом бронетанковых и механизированных войск, разливался по полуострову.

В учебном классе наших корпусов перед нами были раскрыты эти особенности полуострова на макете.

Общей тактикой занимались с нами другие командиры. Балабан же проходил с нами исключительно тактику действий парашютно-десантных войск.

Сегодня был урок майора.

— Парашютно-десантные войска обычно используются при активных наступательных действиях, — говорил нам Балабан, расхаживая по классу, — или для диверсионных дерзких операций в тылу противника при устойчивой обороне. Парашютно-диверсионное дело чрезвычайно интересное, как я уже сказал, дерзкое, где и группе и каждому индивидуально предоставляется большая свобода действий. В наших войсках найдется возможность испытать качества советского человека и применить его храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, инициативу, сметку. У нас боец не может быть нытиком, или трусом, или паникером, поддающимся на разные провокации. Вы должны воспитывать самые стойкие и боевые черты своего характера. Для вас много значит физическое развитие. Придется иногда вступать и в единоборство с врагом, умело используя холодное оружие, не производящее шума. Я говорю о кинжале, верном спутнике парашютиста-диверсанта, — Балабан вытащил кинжал. — Кроме парашютных прыжков, вы должны знать тактику ведения боя, а именно борьбу; обращаю ваше внимание на джиу-джитсу, бой невооруженного с вооруженным, владение кинжалом. Товарищ Дульник, как вы будете действовать своим кинжалом, если это понадобится из тактических соображений вашего боевого задания?

— Я буду бить прямо, — не задумываясь, выпалил Дульник.

— Куда прямо, Дульник?

— В грудь, товарищ майор.

— Грудь человека — естественно крепкая штука, Дульник, — сказал Балабан, снисходительно улыбаясь, — грудь напоминает природно сделанный щит.

— Я буду стараться бить его в сердце, — не сдавался Дульник.

— А он прикроет свое сердце рукой, поставленной вот в такое положение, — Балабан сделал быстрое дви-

жение левой рукой, вынеся локоть согнутой руки на уровень брюшных мышц.

Дульник напряженно наблюдал за ловкими движениями Балабана.

Ему представлялось непостижимым, как и с какой стороны взять своими короткими руками такую махицу. Дульник смущенно молчал.

Балабан приказал принести манекен, одетый в форму вражеского парашютиста. Манекен был набит ватой, имел руки и мог вращаться на коренном винте, подобно обычным манекенам, употребляемым портными.

— Надо целить между ключицей, сверху, — продолжал Балабан и ткнул своим огромным пальцем в уязвимые места манекена. — Вот так!

Балабан бросился к манекену и молниеносно нанес ему два точных удара кинжалом как раз в те места, куда только что указал его палец. Из прорезанной материи комбинезона вылезла вата.

— Если враг поднял левую руку, можно бить в сердце, Дульник, — Балабан подозвал его глазами, приказал: — Подними-ка чучелу левую руку. Подними и моментально брось.

Балабан бросился на пол и пополз, зажав кинжал в своих крупных зубах. Мгновенно потерялось ощущение массивности его фигуры. Его глаза были направлены в одну точку, к чучелу. Дульник стоял возле манекена и следил за каждым движением командира. Вот Балабан моргнул, Дульник поднял левую руку манекена и отпрянул назад. Балабан прыгнул, измакнул кинжалом — и рука чучела, казалось, бессильно, как у сраженного человека, упала вниз. В области сердца торчал кинжал майора.

— На этого мужчину уже не может рассчитывать фюрер, — сказал Балабан, отряхиваясь от пыли, — я пострадал морским кителем, парашютист — своей жизнью. Прошу осмотреть прием, товарищи курсанты.

Мы подходили по одному к манекену, шупали кинжал, отходили. Удар был нанесен с математической точностью.

— Можно бить сзади, под лопатку, точно под лопатку, — продолжал Балабан, — можно бить и в грудь, Дульник, только целить между ребер, а поэтому сове-

тую изучить анатомию. В живот попадешь — тоже не помешает. Только всегда учитывай пояс. Лучше целить ниже пояса, в подбрюшьи... — майор притворно вздохнул. — Если бы ваши мамы узнали, чему вас учит майор Балабан, они бы никогда не пригласили меня к себе на пирог с начинкой. Война — дело кровавое, товарищи. Войну, как и революцию, в белых перчатках не выиграешь. Кончится побоище, отпустим вас по домам, — мгновенно забудьте все, чему сегодня учил вас майор Балабан. А сегодня прошу, Лагунов, к чуелу. Вынимайте свой ножичек... Э, что ж вы его так оскобили?.. Маскировочная краска, которой сверху отравлен ваш кинжал, безусловно, не весьма гигиенична для врага, но она позволяет сделать кинжал незаметным. Я лично считаю, что блеск кинжала в старинных романах являлся упущением авторов. Твой противник никогда не должен знать, какими именно средствами ты пользуешься, отправляя его на тот свет. Кинжалы приказываю наточить, а потом отравить специальной краской, которую попросите у своего старшины. Итак, представьте, Лагунов, что этот мужчина очень ловок, знаком кое с какими приемами, изложенными вам выше; вам следует превзойти его в хитрости и умелости, — Балабан схватил чуело и принялся проделывать с ним всякие манипуляции. — Бросайтесь на него! В таком положении можно допускать шестой прием джиу-джитсу. Не так! Не так! Теперь он увлекся, поднял автомат, его сердце свободно, прыжок! Отлично!

Мой кинжал торчал в том же месте, откуда незадолго перед этим был вытасчен кинжал Балабана.

Я старался умерить свое дыхание, учащенное прыжками и борьбой. Это также не прошло мимо внимания майора. Он вынул из бокового кармашка кителя золотые часы, взял мою руку, подсчитал пульс, спрятал часы.

— Ваша энергия пригодится на более полезную работу, Лагунов, — сказал Балабан. — Если вы так будете себя расходовать, вы испортите свое сердце раньше, чем доберетесь до сердца врага. Так нельзя. Война может быть долгой, и советую рассредоточить свою энергию равномерно. Идите на место, Ла-

гунов. Вы не краснейте, — он указал на чучело: — Тетя вашего партнера может спокойно заказывать траурное платье. Стало быть, товарищи, мы бегло познакомились с бесшумным оружием. Завтра мы познакомимся с громким оружием — автоматом, пистолетом. Нам предстоит еще изучить подрывное дело, тактику ведения боя после групповой сброски и многое другое из арсенала того рода войск, который вы выбрали своей профессией.

...После обеда продолжали рыть щели. Аэродром уже подвергался бомбежке. Земля плохо поддавалась лопате, казалось, ее долго прессовали; плотно пережатая с мелкими камешками, образовавшаяся от тысячелетних разрушений скальных пород, она приносила нам мучения. Кто-то назвал эту землю «грильяж», за сходство по своей структуре с известным сортом конфет. Рыть щели и траншеи называлось теперь «грызть грильяж».

Солнце палило немилосердно. Легкие облачка, вспыхивавшие на голубоватом куполе неба, моментально рассасывались. Даже море не приносило прохлады. Эта погода как будто нарочито была заказана неприятелем для действия его активной авиации.

Мы рыли зигзагообразные щели под руководством старшин и не верили в пользу затраченного нами труда. Аэродром постепенно пустел. Как обычно водится, вначале тронулась на колесах «земля», то есть наземное хозяйство. «Земля» уже не рисковала перебазироваться сушей, на Керчь, и уходила морем. Улетали самолеты. На аэродроме оставались истребители, которые должны были прикрывать эвакуацию, а затем перелететь на херсонесские аэродромы.

К вечеру, опустившемуся в огненном тревожном цвете, страшно ныли кости. Ладони покрывались волдырями. Досаждала липкая мелкая мошкара, обычно к вечеру начинавшая массовые атаки.

Долго не могли заснуть. Стреляли зенитки Севастополя. Небо по горизонту освещалось отдаленными зарницами. Рокочущие раскаты орудийного грома создавали тревожное, выжидательное настроение.

Мы говорили о Балабане, о сегодняшнем уроке. ● «пироге с начинкой». Конечно, не дай бог, чтобы наши

мамаши узнали, как мы хладнокровно и вдумчиво изучаем науку смертоубийства! Каждая из матерей закрывала бы глаза, увидев, как ее сын бросается с кинжалом в руках, чтобы поразить врага в сердце, подбрюшье или под лопатку. Не к такой судьбе готовили нас матери. Колыбельные песни их были полны ласки и нежности. И все же учитель Балабан, сменивший наших добрых преподавателей мирных наук, был бы желанным гостем в любой семье. Везде ему были бы рады, в каждом доме он нашел бы «пирог с начинкой». Вряд ли наш грузный майор думал в ту ночь, что его случайно оброненная фраза вызовет столько разговоров.

Потом с пылом восприимчивой юности мы обратились к детективным романам, о которых упомянул Балабан. Мало кто из нас читал Ник Картеров, Нат Пинкертонов — литературы, дошедшей к нам только благодаря недостаточной бдительности старшего поколения.

Большинство моих новых товарищей имели среднее образование, многие пришли во флот из высших учебных заведений, оставленных с войной. В специальные части отбирали лучшие элементы культурной в целом массы военных моряков.

Но нашлись такие, кто ознакомился и с «Пещерой Лейхтвейса» и с Гарибальди, и даже были ребята, читавшие про каких-то сыщиков.

В полночь налетели бомбардировщики. Поднятые по тревоге, мы спрятались в щели. Ожидали, что будут сброшены парашютисты. Наши прожекторы нервно общаривали небо и землю. Для борьбы с парашютистами предназначались мы. У нас еще не было обещанных автоматов и пистолетов. Все наше вооружение, кроме кинжалов, заключалось в трех пулеметах «максим» и старых трехлинейных винтовках. Некоторые из них требовали починки.

— Придется ли нам самим кушать пирог с начинкой? — сказал Дульник, прерыв ко мне.

Освещенный прожектором, ринулся вниз пикировщик. Воздух прорезал свист бомб. Сильно трянуло землю. За первым пикировщиком — второй, потом — третий. Прожекторы, вероятно, ослепляли пилотов, и

они бомбили плохо. Безумолчно молотили крупнокалиберные пулеметы, а когда пикирующие самолеты опускались ниже, вступали счетверенные пулеметы мелких калибров.

Наконец бомбардировщики ушли. Их провожали эрликоны. Несколько цветных снарядов зенитных автоматов погасли в воздухе, и наступила темнота. По аэродрому расстился дымок, пахло пылью и гарью. Под ногами звенели пустые гильзы, будто их сгребали железной лопатой. На сердце было не весело. Немного подташнивало, и болел затылок. Светящиеся точки электрических «карманок» вспыхивали и гасли, как светлячки; это патрульные собирали сброшенные листовки. Никто из наших ребят не прикасался к ним. Мы испытывали к ним брезгливое чувство.

— Пронесло, — облегченно вздохнув, прошептал Дульник.

— Пошли под душ.

В душевой уже плескались товарищи. Загорелые, мускулистые торсы их обливала светящаяся пузырчатая вода.

Ребята, нервно пересмеиваясь, делились впечатлениями. Никто не признавался в чувстве страха, но никто и не бахвалился. Мы уже понимали, что к войне нужно относиться серьезно и не шутить с ней.

На мокрых деревянных решетках, прикрывших бетонный пол, шлепали босые ноги. В слабом свете электрической лампы, затуманенной испарениями, поблескивала коричневая кожа молодых, сильных ребят.

Саша Редутов читал «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». В Крыму после бомбежки, под горячим душем, мы аплодировали Владимиру Маяковскому. Поэт, возвращая нас к мирным, будничным дням, заставлял сильнее ненавидеть врага.

Саша Редутов, бледноватый, с немного раскосыми глазами моряк, был прислан к Балабану по рекомендации комсомольского бюро тяжелого крейсера «Молотов».

Мне удалось познакомиться с ним на аэродроме в первый день после моего зачисления в группу.

— Балабан — это ловчий сокол, — сказал тогда Саша.

— Медведь, а не сокол, — пошутил я.

— Я рассматриваю человека не только с фасада, — сказал Саша, — внутреннее оборудование обычно стоит гораздо дороже.

Я спросил Сашу, почему он говорит о человеке, как о здании.

— Я готовил себя к другой профессии, — сказал он, — хотел быть архитектором. А теперь придется летать под шелковым зонтиком. Отсюда виден Севастополь. А что сделали с ним англичане в 1854 году, а? Они убили у нас Нахимова, Корнилова, Истомина, десятки тысяч хороших русских людей — солдат и матросов. Черчилль выступил по радио: будем поддерживать Советскую Россию, — а где их поддержка? Почему опять неприятель подходит к Севастополю? Но мы напомним всем, что такое наш Севастополь! — горячо сказал Саша. — Севастополь мне дорог героизмом 1854 года. Я попросился в Черноморский флот потому, что здесь Севастополь... У меня от одного имени — Севастополь! — ползут мурашки по спине! Как я признателен и благодарен этому городу! — восторженно воскликнул Саша.

Дульник уверял, что Саша вяловат, слишком мечтателен и не способен на героические дела.

— Погляди́м в деле, увидишь, что я прав, — сказал Дульник. — Читать Маяковского — одно, а бить кинжалом в ключицу — другое.

По-моему, неприязнь Дульника к Саше — от дружеской ревности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАВСТРЕЧУ ВРАГУ

В двенадцать часов дня проиграли боевую тревогу. Мы быстро построились. Ждали Балабана. Вынесли ящики с гранатами, коробки запалов: нам было приказано запастись «карманной артиллерией».

Мы недоумевали. Сегодня намечались учебные прыжки с парашютом с самолета. Зачем же нам гранаты?

— Кажется, запахло жареным, Лагунов, — сказал Дульник.

Лица у многих курсантов побледнели. Кое у кого выступили мелкие росинки пота на лбу и носах.

— Взять бушлаты, саперные лопатки и «энзе», — приказал старшина Василий Лиходеев — черноморский кадровый моряк, участник одесской операции.

Сомнения окончательно рассеялись: идем на фронт. К нам присоединились также вооруженные винтовками несколько десятков человек из состава аэродромной службы. Им придали станковый пулемет, блестящий от свежей окраски, как новый, и два ручных пулемета системы Дегтярева. Наземники еще меньше нашего ожидали такого поворота в своей судьбе. У них сохранялся присущий младшему техсоставу полугражданский вид. Их руки еще были в машинном масле, брезентовые робы замаслены. Они смущенно переглядывались, недоуменно пересмеивались.

— Их смущает новое амплуа, — насмешливо сказал Дульник. — Они нацелились на Кавказ, на новые базы, а их — чорту в лапы.

— Неужели нас спаруют с ними? — спросил кто-то из наших.

— Для контраста, — сказал Саша.

Саша держался спокойно и несколько скептически. Казалось, его забавлял ход событий, и он смотрел на все как бы со стороны. И все же он, возможно и раньше многих из нас, был духовно подготовлен к событиям. Он не будет крикливо выделяться, позировать и свои обязанности выполнит разумно и не хуже других. Свое маленькое дело он сделает хорошо.

Вышел Балабан. Я заметил у него стеснительное волнение: приказ был неожиданным не только для нас. Балабан передал приказ о немедленном выступлении в район Бахчисарая.

— Я пожелаю вам успеха, — сказал Балабан, — и... до встречи.

Мы поняли: Балабана нам не отдали. Мы поступали не только в оперативное, но и в командное подчинение армейского начальства.

Прощайте, голубые мечты, как называли мы свою будущую профессию. Из-под колес грузовиков летела

галька, вихрилась пыль. Ехали молча. Каждый уединился со своими думами.

На Севастопольском шоссе наша колонна влилась в общий поток машин, орудий, бензозаправщиков, конных обозов. Густая едкая пыль держалась, как дым. Над шоссе на низких высотах патрулировали челночные «петляковы». Последний раз я увидел залив Северной бухты, мачты и трубы военных кораблей, портовые краны, хоботы землечерпалок и море, отделенное от одноцветного с ним неба лишь тонкой линией горизонта.

Я с затаенной грустью покидал Севастополь — разбросанный и для постороннего взгляда неприветливый, каким он предстает с Мекенzieвых гор.

Я закрываю глаза — и вижу поднимающуюся над Корабельной стороной шапку Малахова кургана, высоты Исторического бульвара, круглое, античное здание Панорамы, каменные форты у входа в бухту, будто наполовину утопленные в бухте, раздвинувшей известковые горы. И образ Севастополя не оставляет меня, даже когда по обоим бокам бегут рыжие склоны Мекензии. Эти охранные сопки, обветренные и загадочные, так естественно обнизаны скупыми кустами, что кажутся они маскировочной сетью, прикрывшей грозные форты крепости.

А вот и Дуванкой — унылое село, спрятавшееся в лощине среди низких ущелистых гор. Пожалуй, в этом селе не увидишь ни одного дома из дерева, да и ни одного забора. Все камень, хороший камень, не нуждающийся в облицовке да, пожалуй, при кладке и в цементе. Кажется, что это один из восточных фортов крепости, замаскированный под село, настолько странными представлялись мне люди, решившие поселиться и провести жизнь в этом безотрадном ущелье, прямо у шоссе, на ходу и на виду прохожих и проезжих.

В Дуванкое находился внешний контрольно-пропускной пункт севастопольской зоны. Машины к фронту пропускались свободней, но идущие в город подвергали тщательной проверке.

Село и окрестности были затоплены войсками, обозами. Кое-где на домах висели флаги Красного Креста. Возле них сгружали раненых. Я видел забинтованные

руки, головы, разорванные гимнастерки, землистые, запыленные, давно не бритые лица солдат. Девушки в зеленых гимнастерках, подпоясанных ремнями, иногда и с пистолетом у бедра, сводили и сносили раненых, отгоняли мух, злобно жужжавших над кровью.

Прямо возле дороги, у фонтана с высеченными на нем фамилией строителя и изречением из корана, санитар начищал песком кастрюли. Его руки были в копоти, пилотка торчала из кармана. Щуплый человечек с интендантскими петлицами раздавал из мешка табак отличного сорта. В руках интенданта была ученическая тетрадка, переломленная пополам, и цветной карандаш. Табак раздавался без веса, горстями. Многие просили подбавить, и интендант разрешительно махал рукой. Тогда солдат со скаткой через плечо и с винтовкой в руке запускал пальцы в мешок. Ему кричали: «И меня не забудь!» Интендант, заметив, что рука солдата уж слишком переусердствовала, совал карандаш в кармашек и бросался к солдату, пытаясь вырвать у него что-либо из горсти. Под громкий хохот солдат убежал, и к нему тянулись десятки рук.

На окрестных горах, поднимавшихся над Дуванкoм, торчали стволы зенитных орудий, кое-где они были покрыты маскосетями. У киоска военторга, оборудованного на грузовике, толпился военный народ. Покупали мыло, целлулоидные воротники, крем для бритья, английские булавки, кисеты из дешевой ткани. Так же, как в мирные дни, приценились, щупали и обсуждали товар; деньги большой кучкой лежали в картонке у продавца—чубатого, веселого парня.

Проехал генерал на открытой машине, на которой еще сохранился флажок «Интуриста». Автомобиль похозяйски покричал. Часовые контрольного пункта козырнули генералу. В задке машины сидел раненый полковник, опустив голову, закрыв лицо руками. Его голова была плотно закутана бинтами. На груди было несколько боевых орденов. Молоденький лейтенант, совсем еще ребенок, заботливо ухаживал за полковником. Между коленями у него была зажата бутылка с боржомом, на коленях лежал граненый стакан. За ремнями тента торчала пачка номеров «Красного Крыма».

Через Дуванкой шли войска к фронту, мелькали

бушлаты и бескозырки: Севастополь посылал морскую пехоту. Запыленные, увешанные гранатами, проходили моряки. Короткий привал у колодцев, и колонны выходили на изгиб шоссе и скрывались между обсыпанных пылью деревьев и каменных серых домов.

Никто не приветствовал войска, идущие к линии боя. Татары безмолвно и угрюмо следили за ними. Но это не было проявлением восточной сдержанности. Во взглядах, которые они бросали в нашу сторону, чувствовались недружелюбие и плохо скрытая радость. Кроме стариков, мужчин не было видно. Некоторые женщины были одеты в бешметы с длинными и узкими рукавами, в платки, повязанные у пояса, и в широкие цветные шаровары, стянутые у самой ступни. Татарки почему-то были одеты празднично и в татарские костюмы, будто стараясь отделить себя от русских женщин, вынужденных задержаться в Дуванкое, лежавшем на пути эвакуации.

Война предстала передо мной как тяжелая, каждодневная работа-лямка: кровь, мухи, пыль, грубые шоферские окрики. И полководцы должны были эти будни, усталость, раны, недоедание и недосыпание обратить в победу.

За Дуванкоем мы сгрузились и двинулись походным маршем. Машины были отданы эвакуированному населению.

— Как дела, архитектор? — спросил я Сашу, вышагивающего подле меня.

— Каждый воин — тоже архитектор: он должен правильно построить войну. Высокое здание начали строить, — сказал Саша, — до крыши далеко.

— Кончились шелковые зонтики, — сказал Дульник.

— А ты думал парить в поднебесье, а опустился на землю, — Саша с доброжелательной улыбкой поглядел на маленького Дульника. — Хотел оторваться от пыли, от земли?

— Я никогда не был похож на Антея, Саша.

— Меня интересует одно: получим ли мы настоящее оружие? — сказал Саша.

— Мечтаешь об автомате? — спросил я.

— И о маленькой пушечке, — сказал Дульник.

— Тебе впроку дотянуть только гранаты.

— Гранаты — оружие ближнего боя, — философствовал Дульник, — чтобы разгрузить свой магазинчик, надо еще иметь близко возле себя покупателя. А пойдй доберись до него!

Наконец мы пришли к указанному пункту в долине реки Качи. Высокие пирамидальные тополя, видевшие, вероятно, еще екатерининский поезд, стояли у дороги.

В яблоневом саду расположилась армейская пехота. Яблони были аккуратно окопаны, на стволах подвязаны соломенные жгуты для предохранения от вредителей. Листья уже желтели, падали, осыпая землю. Кое-где на макушках яблонь сохранились плоды.

Виднелись свежие воронки от бомб-соток, словно кто-то могучий крутнул сверху сверлом. Сорванные яблоневые кроны еще не завяли, из расщепленного ствола сочился сок.

Красноармейцы спали на земле, подложив под головы скатки, осыпанные известковой пылью.

Где-то впереди и с боков шла артиллерийская перестрелка — нам сказали, у Бахчисарая. У солдат мы узнали, что на Керчь отходит с боями 51-я армия генерала Львова, а где-то вблизи действует Приморская армия генерала Петрова, известного по обороне Одессы. Никто, конечно, точно не знал, где действует Львов, где Петров и кто куда отходит. Батальон, расположившийся в саду, до этого квартировал в долине Бельбека и был предназначен для борьбы с воздушными десантами противника.

Солдаты дружески признались, что оружием они не могут похвастаться. Пулеметы были и у них, но минометов и бутылок с зажигательной жидкостью не было. Зато они были обучены обращению с обычными пивными бутылками, наполненными бензином. Этой несложной премудрости они чрезвычайно быстро обучили и нас.

Бутылку, налитую доверху бензином, закрывали паклевой пробкой. Пакля быстро, как фитиль, пропитывалась бензином. При приближении танка на расстояние броска надо было поджечь спичкой паклевую пробку и сейчас же бросать бутылку на танк. Бутылка разбивалась, бензин загорался, пламя охватывало вначале

наружную, а потом, через щели, и внутреннюю окраску. Команда танка уничтожалась либо огнем и взрывом находившихся в танке боеприпасов, либо из винтовок, если экипаж оставлял танк.

В ожидании десантов солдаты обучались тактике борьбы с воздушными десантами, устраивали препятствия во всех местах порученного им сектора, удобных для приземления транспортных самолетов, — насыпи из земли, завалы из деревьев, колья. Пришлось, пришлось потрудиться этим солдатским рукам!

Бойцы, узнав, что мы готовились быть парашютистами, сострадательно оглядывали нас.

— Охотиться за вами будут, как за волками, — соболезнующе говорил скуластый боец Тиунов: — у врага имеются против вашего брата мотоциклы, самокаты, бронемшины, собаки. А у вас что? Только личное оружие, азарт и свои ноги. Надо дать стрелка от облавы, а где транспорт? Весь автотранспорт на ночь заводится в укрытия, под охрану, бензин из баков сливается, а бывает, снимают и прячут колеса. Ну, каково? Что старается проделать парашютист в первую очередь? Создать панику. Как? Находит телефон, начинает: «Симферополь взят! Бахчисарай взят! Керчь горит! Севастополь тоже». По телефону можно ужасную панику развести. Поэтому учили нас перехитрить любого их хитрого. Нашим батальоном командует капитан Лелюков. Богат на всякие выдумки. Вот уж въедлив! На учениях столько вводных дает — ног лишишься! И всегда будь начеку, как суворовский штык. Стою я раз на посту, возле меня, конечно, аппарат; слышу, пищит зуммер, снял трубку, слушаю: «Немедленно в штаб». Исполняю приказ, — сломя голову в штаб. Встречает на крыльце капитан: «Кто тебя вызывал?» Рублю по слогам: «Явился по вашему вызову, товарищ капитан!» — «Не снимал я тебя с поста, да и не имею на то права», — говорит капитан Лелюков. «Тогда, — рублю я, — кто-то другой из штаба, фамилия, помню, на «ов» кончается. Мне показалось, вызываете вы, товарищ капитан». А он отвечает: «Трое суток ареста за самовольный уход с поста, за «ов» и за то, чтобы больше ничего не казалось! А при повторе — трибунал». Ведь оплошал-то я от переусердства. На «губе» уже

продумал вину, учили же: подозрительные вызовы обязательно надо проверить...

— Как? — спросил Дульник.

— Обратным вызовом,— охотно объяснял солдат.— Не поленись: скажи «слушаю», а сам перезвони. Ведь Лелюков-то лично меня не вызывал, подстроил, — с другого места, с другого телефона. Звонили-то мне на пост не из штаба, а из второй роты. А все капитан: «Проверьте, мол, его, идиота, какая у него стойкость и внимание к урокам».

Строгая пожилая колхозница в чистеньком ситцевом платье принесла ивовую корзину с яблоками. Она опустила корзину на траву, сказала: «Кушайте, ребятки».

Женщина стояла под яблоней, опустив жилистые, крестьянские руки, покрытые сильным крымским загаром, и жалостливо смотрела на нас. А мы с наслаждением ели пахучий крымский шафран с шершавой, как замша, кожей, с твердой и пряной мякотью.

— Я еще принесу, — сказала женщина и пошла по дорожке, протоптанной солдатскими сапогами, к постройкам, где дымили полевые кухни.

— Мы в этом колхозе, видать, за два дня уже тонны три яблок стравили, — сказал Тиунов, раскусывая пополам яблоко и разглядывая сердцевину с черными зернышками, — и все вот так, корзинка за корзинкой. И все она своими руками носит. Никто из нас даже во сне самовольно к яблоне не потянулся. Узнает Лелюков, капитан, — открутит башку, строг!

И вот подошел сам Лелюков, который теперь будет и нашим командиром. Мы встали. Лелюков поздоровался с нами и как-то исподлобья, быковатым взглядом оглядел всех нас. Казалось, от взгляда этих серых, навывкате глаз, насмешливых и недоверчивых, не ускользнули даже те из наших товарищей, которые не успели надеть башмаки и стояли позади, стараясь замаскировать в траве босые ноги.

Передо мной стоял тот самый Стенька Лелюков, которого я видел последний раз на черноморском рыбацьем взморье.

Он постарел: исчезла юношеская округлость щек; и золото его молодой кожи загрубело, на лбу углубились морщины, начальнически и строже стал его взгляд.

Насмешливые глаза Лелюкова смотрели злее, подозрительнее.

Видимо, Лелюков служил еще до войны в армии, раз имел уже звание капитана и ему доверили командование батальоном. Обмундирование его было обновлено и пригнано, как у всякого кадрового командира. Пистолет в обтертой кобуре на поясе, планшет с захваченными кнопками у целлулоида, выцветшие пеглицы и нарукавный галун подтверждали мои предположения.

Лелюков пытливо разглядывал нас, и в его глазах можно было прочесть: «Хороши вы, ребятки, морячки. А как послушны? Не подумайте, что вот, если перед вами армейский капитан, так я вам и позволю задираться. У меня руки крепкие, и я тоже не дурак в морском ремесле...»

Особенно пристально Лелюков посмотрел на Сашу, который всегда почему-то с первого взгляда, несмотря на свое отличное телосложение и приличный рост, не производил впечатления военного человека.

— Ваша винтовка?

— Есть, моя винтовка, товарищ капитан! — бойко отрапортовал Саша.

Лелюков принял из рук Саши его трехлинейку, отжал затвор, вынул его, посмотрев прищуренным глазом в ствол. Винтовки были выданы нам недавно из мобилизационных складов, и внутренность стволов не отличалась требуемой в армии безукоризненной чистотой.

— Винтовка пристреляна?

— Не знаю, товарищ капитан.

— А кто знает?

— Винтовки выданы нам без стрелковых карточек, товарищ капитан.

— Учебно-боевые стрельбы проводили?

— Нет, товарищ капитан. Мы готовились получать автоматы.

— Вы слишком много придаете значения автоматам, — сказал Лелюков, — автоматы ведут огонь только с ближних дистанций и ведут, как правило, бесприцельный, рассеивающий огонь. Русская трехлинейная винтовка не уступит любому автомату.

Мне показалось, что с таким бы восторгом он расхваливал лук и прицельность стрелы, снабженной стабилизатором из гусиных перьев, если бы пришлось сражаться этим позабытым оружием. Возможно, я и ошибался, но мы страстно мечтали обладать собственными автоматами.

Лелюков обратился ко мне.

— Вы умеете обращаться с этой машинкой? — его палец указал на станковый пулемет, прикорнувший у ствола яблони.

— Теоретически, товарищ капитан.

Лелюков недобро ухмыльнулся:

— Пулемет силен только практически, в бою...

Женщина принесла яблоки, поставила поодаль корзину и ушла к дому.

Лелюков подошел к пулемету.

— Попробуйте выкатить его сюда, — приказал мне Лелюков, — и подайте коробку с лентой.

Я выполнил приказание. Лелюков распорядился, чтобы мы расширили круг для удобства обзора. Солдаты отошли в сторону, расселись у яблонь. Кое-кто отправился к корзине за яблоками.

Лелюков растегнул пуговицы гимнастерки, завернул обшлага. Ловкие руки его быстро отщелкнули крышку коробки, выхватили оттуда ленту, вставили латунный язычок ленты в приемник, продернули ее. Я уже имел дело с пулеметами, установленными на самолетах, и без особого труда разобрался в несложной схеме наземного пулемета.

Капитан показал, как пользоваться прицельными приспособлениями, обращаться с вертлюгом при вертикальном и горизонтальном обстреле. Пулемет вертелся в его руках, как кинжал в руках Балабана. Капитан объяснил, что пулемет — капризная штука, требует постоянного внимания к себе, чистоты, аккуратности при набивке лент патронами, — тогда не будет задержек и перекосов.

Капитан приказал перетащить пулеметы к реке, выслал бойцов батальона постовыми для оцепления стрельбищ, установил мишени.

Учебная пулеметная стрельба в долине реки переполошила на шоссе шоферов: им показалось, что непри-

итель зашел с тыла. Они испуганно повернули машины, образовалась пробка.

Вечером мы поужинали борщом и вареной бараниной, выставили караулы, улеглись спать на сене в сараях колхоза. Орудийная стрельба не умолкала.

— Кажется, передвинулась влево, значительно влево, — сказал Дульник.

— Это только кажется, — возразил я, — стреляют в тех же местах, где и раньше.

Ребята спали тревожно, некоторые во сне кричали. Ночью сменялись часовые. Дульник ушел на пост, возле меня лег Саша.

— Вы не спите, Лагунов? — спросил он.

— Как видишь, — ответил я. — Кстати, Саша, не называй меня на «вы». Странно это звучит...

— Хорошо, — согласился Саша, — не буду. У вас есть водичка?

— Опять «у вас»?

— Не буду, не буду, — Саша беззвучно рассмеялся, выпил воды, отдал мне фляжку, — конечно, смешно, когда человек спит с тобой на соломе в сарае, обложился гранатами и... говорит на «вы».

ГЛАВА ПЯТАЯ

КАРАШАЙСКАЯ ДОЛИНА

Не знаю, сколько времени продолжался мой сон. Я был разбужен толчком в бок. Меня разбудил Саша. Он стоял на коленях и обвешивался гранатами. Во дворе еще было темно. В раскрытые двери сарая приходила прохлада октябрьской ночи. Во дворе строились люди, подкатывали пулеметы. Как и обычно, построение сопровождалось незлобной перебранкой, стуком котелков и саперных лопаток.

Во дворе было еще прохладней, чем в сарае. Выпала роса, и земля липла к подошвам.

Лелюков был в кожаной куртке, подпоясан тем же командирским ремнем. На груди висел бинокль.

К нам поставили армейских командиров. Молодые лейтенанты почти перешупали всех нас руками, пере-

считали, поделили. Все было буднично, неинтересно, слишком просто.

Мы тронулись в путь. В пути к нам влились солдаты. Вероятно, Лелюков оставался невысокого мнения о наших боевых качествах и решил прослоить нас бывалыми людьми. Приказу подчинились, но заворчали. Вдруг вызвали в голову колонны парторга и комсорга нашей роты. Оказалось, что Лелюков предвидел возражения со стороны моряков и просил разъяснить через коммунистов и комсомольцев, почему влили в наш состав армейских пехотинцев.

Дорога шла перекатами. Мы держались обочины шоссе. Бесконечной вереницей с потушенными огнями двигались автомашины, шли конные обозы. Изредка проплывали мимо нас причудливые фигуры верблюдов.

Пыль попрежнему удушала. Бушлаты из черных превратились в серые. Люди поседели от пыли.

К рассвету свернули с шоссе, пошли грунтовой, проложенной в долине. Мы избавились от пыли, но испытывали гнетущее чувство одиночества: кипящее жизнью шоссе осталось в стороне. Мы были разъединены теперь с людьми, путь которых лежал к Севастополю. Постепенно отрываясь от крепости, мы шли к неизвестному. Скрипели подошвы по кремнистой дороге, колыхались винтовки, взятые на ремень. Пулеметы разъединили. Части пулемета — станок, ствол, щиток — несли попеременно на плечах.

— Где мы бредем? — спросил Дульник. — Не люблю играть в жмурки.

— Карашайская долина, — ответил солдат, молчаливо вышагивающий с нами, с лицом, запудренным пылью.

— Карашайская долина? — переспросил Дульник и потянул своим острым носиком. — А с чем ее едят?

— С постным маслом, — ответил солдат.

— С растительным, — поправил Дульник. — Моряки постов-то не соблюдают. Не то, что пехота.

— А мы тоже не против баранины, — сказал солдат.

— Что же впереди?

— Видать, бой, — сказал солдат. — Бой. На рассвете зря не будят, морячок. А вон и окопы.

Мы поднимались на плоскую высотку, протянув-

шуюся по западной окраине долины. За высоткой лежала вторая, отделенная от первой неглубокой ложинкой с пролысинами, оставшимися от дождевых луж. В ложинке стояли автомашины, спрятанные по колеса в землю, прикрытые засохшими ветвями. Виднелась 76-миллиметровая пушка в круговом окопчике, а рядом ящики со снарядами. Артиллеристы отрывали щели поодаль от орудия. А на высоте, в стрелковых окопчиках, похожих издали на крендели, виднелись пехотинцы. Сплошной линии траншей, какой мне всегда представлялась передовая, не было. Все внешне выглядело непривлекательно, слишком скромно и опять-таки буднично. Никаких дотов, стальных бункеров, оживленных ходов сообщения.

Сравнительно недалеко были горы. Ясно и близко стоял Чатыр-даг. На склонах темнели леса. Виднелась шоссейная дорога, идущая меж холмов. Дорога была пустынна. Это производило странное впечатление. Потом моего слуха достигли звуки разрывов. Я увидел коричневые облачка, вспыхивающие над холмами и дорогой. Понял: дорога кем-то простреливается, пока еще лениво, с дремотными паузами. Неужели мы наконец-то вступили в настоящую войну?

За холмами, у склонов, обращенных в нашу сторону, жались машины и люди. Полевая пушка стояла вблизи нас. Были здесь позиции артиллерийской бригады, или полка, или дивизиона, или поддержка пехоте ограничивалась одной батареей — не было известно.

Лелюков приказал рассредоточиться, чтобы авна-разведка не навела бомбардировщиков. Мы разошлись по двое — трое и залегли в невысокую траву, сильно тронутую солнцем и осенью. Трава была чистая, без пыли, и лежать на ней доставляло удовольствие. Я прилег на спину, вытянул уставшие от грубых сапог ноги, ослабил пояс, свободно вздохнул. Хотелось молчать.

Я глядел на плоскую вершину Чатыр-дага.казалось, на высокогорных крымских пастбищах кем-то поставлена огромная, длинная палатка, приют горных богатырей. Недаром же в переводе на русский язык Чатыр-даг — Палат-гора.

— От Перекопа эта гора видна, — сказал Тиунов. —

А чтобы не сблечь, видна эта гора, пожалуй, уже от самого Херсона. Отходили Днепром, через Алешкинские пески к Перекопу, думали: не Казбек ли? Оказался Чатыр-даг. Никак до него не дотянем.

— Осталось недалеко дотягивать, — сказал Дульник.

— Вот ее оборонять легко. Туда, небось, ни один его танк не допрет, а? — сказал Тиунов, восторженно оглядывая горную вершину, обернулся ко мне, спросил: — Приморская-то армия пойдет на Керчь аль повернет на Севастополь?

— Я не знаю оперативных планов командования.

— Есть смысл-то Севастополь держать?

— А как же? Севастополь же!

— Я не в том смысле, матрос, — добро сказал Тиунов, — как местность-то там? Пригодная? Горы есть аль при море равнина, как у Каркинитского залива?

— Горы есть, удобные для обороны.

— Лишь бы горы. Хоть бы небольшие, а горы, — Тиунов вытащил из кармана яблоко, потер его о штаны, разломил и половину протянул мне:

— Кусай.

Я взял яблоко, поблагодарил.

— Деньги-то за него не плачены, — он острием ножика аккуратно вытащил семечки, оглядел их и с сожалением бросил в траву. — Может, на этом месте яблонька прорастет. Ведь от семечка-то она прорастает. Можно, правда, и гилкой сажать. А семечко тоже возьмет. Как яблоньки-то сажают: под осень аль весной?

— Не знаешь, что ли? — упрекающе сказал черноусый боец-украинец, сидевший вполборота, но внимательно прислушивавшийся к нашему разговору.

— Не знаю, — просто и весело сказал Тиунов, — я с Коми-Пермяцкого округа. Слыхал про такой? У нас есть люди, старики даже, которые в жизнь ни одного яблока не отведали.

— Лесной же край...

— Лесной, а безъяблочный. Дерево — дереву рознь. Из нашей елки бумагу делают, а бумажкой этой вот такое яблочко заворачивают, а самого-то яблочка не видим. Тут только и удалось попробовать. Вот где яблока — до оскомины...

Лелюков вызвал к себе командиров, а через некоторое время командиры подняли батальон. Мы вышли из лощины и начали занимать крендельки — стрелковые окопы, — а солдаты из этих окопчиков ушли отделениями в такие же окопы левее нас. Очевидно, командование сгущало войска на передней линии. Дульник сказал, что будет атака. Я разделял его предположение.

Впереди нас лежала лощина, а за ней, в двух километрах, невысокая возвышенность, желтевшая плешами осыпей.

Наша передовая линия не имела проволочных заграждений. Линия обороны была организована наспех, подручными средствами. Проволочные заграждения заменяла обычная ползучка, раскатанная по траве и прихваченная железными костылями. Кое-где, будто случайно оброненные, виднелись спиральные витки колючки. Говорили, что левее нашего расположения, в секторе, прилегающем к шоссе, якобы заложены минные поля.

Окоп, где мы расположились, был глубокий, можно было стрелять стоя. Солнце и ветер успели подсушить землю бруствера, и он не очень выделялся на местности. В окоп прыгнул Лиходеев, увидел меня, мотнул головой в сторону.

— Лагунов, к пулемету! — Лиходеев снял свою старшинскую, с козырьком, фуражку, вытер пот. — Приметил тебя капитан. На стрельбах...

Старшине хотелось, видно, еще сказать мне что-то приятное, но было не до разговоров. Лиходеев отрянул фуражку от пыли, натянул на свою стриженную под бокс голову, потянул за козырек, сдвинул фуражку чуть набекрень — допустимое по форме щегольство. На козырьке запечатлелись отпечатки пальцев.

— Пойдем со мной, укажу место.

Дульник встревоженно следил за нами. Ему не хотелось отставать от меня в такой момент. Глаза Дульника просили меня вступить за него перед старшиной, позволить ему быть уж до конца вместе.

— Дульник с нами, — сказал Лиходеев, угадав его желание, — все едино упросит, рано ли, поздно ли...

Поодинокке мы перебрались из нашего стрелкового окопа в пулеметное гнездо, расположенное в стыке стрелковых ячеек уступом в глубину.

— Лагунов старшим, — приказал старшина. — Распредели номера, и ждите. Как начнем, будешь поддерживать атаку, а потом, когда пехота пойдет в открытую, будешь сопровождать в боевых порядках огнем и колесами.

Лиходеев ушел. Два солдата, находившиеся здесь, присели на корточки возле пулемета, с любопытством глядели на меня. Я распределил номера, на глаз прикинул расстояние до некоторых ориентиров.

— Стало быть, следует поначалу гасить по тем высоткам, — посоветовал молодой солдат, — настильность хорошая. И рельеф подходящий — можно свободно бить над головами своих.

Впереди лежала типично крымская лощинка, с чахлой травой и выходами наружу известковых пород, то там, то здесь белеющих каменными блюдами. За этой лощинкой на высотах расположился противник и тоже наблюдал за нами, оценивая наши позиции из своих, противоположных нам, интересов, — там вспыхивали и гасли зайчики оптических линз.

Дульник лежал рядом, прикасаясь плечом ко мне. Вот по его смуглой щеке от виска потекла струйка пота и разошлась на шее и пульсирующей артерии.

Неожиданно для нас, ибо мы не планировали боя в Карашайской долине, начала бить наша артиллерия. Это был слабый и малоэффективный обстрел высот, занятых противником.

В ответ методично и обстоятельно заработала вражеская артиллерия, не трогая стрелковых окопов. Противник нащупывал огневые позиции наших батарей. Появился тихоходный вражеский самолет-корректировщик, двухфюзеляжная одномоторная машина, и орудия противника стали стрелять прицельней.

Мои милые родители, конечно, не догадывались, что в безоблачный осенний день девятьсот сорок первого года их сын лежал на сухой крымской земле, у нагретых солнцем колес станкового пулемета, и с сосущей тревогой ожидал то неизбежное, что вот-вот должно было произойти. Может быть, сейчас сестренка

Анюта сидит за столом в своей комнате и, кусая кончик карандаша, обдумывает какую-нибудь красивую фразу, обращенную к своему брату. Она пошлет письмо аккуратно, в четверг, будет ожидать такого же аккуратного ответа, а ответа не будет. Не будет и брата. А черное зернышко яблока, сброшенное солдатом с кончика ножа, уйдет в землю, намокнет от дождей, разбухнет, прорастет. И останутся муравьи, вот эти, которые бегают возле моего носа.

Дульник толкнул меня:

— Гляди!

Влево от нас, там, где лежало шоссе на Севастополь, протянулись клубчатые полосы пыли. Я увидел черные бегущие точки в голове клубящихся потоков.

— Танки! — тихо сказал Дульник.

Мы оставались в стороне. Казалось, противник не считался с нами: отлеживайтесь, мол, в своих «крендельках» сколько угодно.

Мы были песчинками, подхваченными бурей войны. Мы ничего не знали о комбинациях, в результате которых походный марш занес нас именно сюда, а наши командиры приказали залечь именно в эту ямку и здесь, а ни в каком другом месте, ожидать решения своей участи.

Я наблюдал движение танковых колонн, как в кино. Бездействие порождало ощущение нереальности переживаемого. Но с каждой минутой мною все сильнее и сильнее овладевали чувства, прямо противоположные тому, что от меня ожидали мои начальники.

Безотчетное, постыдное, но повелительное чувство страха быстро наполняло меня. Даже физически я ощутил эту наполняющую меня тяжесть. Тело как бы наливалось свинцом, похолодела спина, хотя солнце жарко пекло.

Как во сне, при страшной опасности, отказывают ноги и сдавливает горло, так и сейчас я чувствовал, что не могу скинуть этого странного оцепенения тела, мыслей... Я не мог самостоятельно выйти из этого позорного состояния.

Вдруг недалеко разорвался фугасный снаряд. Пыль

и гарь от сгоревшей взрывчатки пришли одновременно с каким-то внутренним толчком. Я не видел сигнала атаки, но смутное чувство указало, что пора действовать.

Смуглые руки Дульника перебирали быстро подгрызаемую пулеметную ленту. Летели дымные гильзы, стучали и звенели, и пулемет, как живое существо, дрожал в моих кулаках до хруста в суставах, сжимавших шершавые ручки.

Быстро перегрелся ствол, вода закипела в кожухе и стала пробивать вентиль паром и шипящими брызгами, как это бывает в чайнике, поставленном на большой огонь.

Молодой пехотинец, вероятно вторично, сильно толкнув меня, крикнул:

— Длинными очередями зачем?! Трата!

Я отпустил боевой спуск, пулемет смолк. Пальцы моих рук онемели.

Черные спины в коротких бушлатах мелькали впереди. Змейками развевались ленточки бескозырок. Моряки были вместе с красноармейцами, но я видел сейчас только своих ребят. Конечно, это они так громко, будто помогая себе, орут. Вряд ли это извечный боевой крик «ура». Мне кажется, ребята просто орут каждый свое, стараясь кричать погромче и подольше, чтобы напугать врага своим приближением.

Почти никто еще не свалился. Значит, атака обходится без потерь. На практике выходит не так все безнадежно. А может, враги уже бегут?

Атакующие достигли рубежа, намеченного Лиходеевым для нашего вступления в атаку: это языки полынной крепь, протянувшейся по длинному оскалу известняка.

Дульник первым выпрыгнул из окопчика, стал на колени, помог мне выбросить пулемет. Наступил второй этап атаки, указанный Лиходеевым.

Мы покатали пулемет. Миновали ползучку. Побегали по дну той самой тарелки, о которой говорил Дульник. Лелюков не бежал, а быстро шел впереди цепи без тужурки, с биноклем, переброшенным за спину, с пистолетом в руке.

Теперь я видел высоты, нацеленные для атаки, слышал свист пуль.

Мы пробежали больше пятисот метров. Несколько человек, среди них были и моряки, упали и не поднялись. Усилился огонь. Мы залегли. Отстреляли одну ленту.

Лелюков поднялся с земли, что-то крикнул и снова побежал вперед. Ременный шнур пистолета мотался в такт его бегу. Лелюков ускорял свой бег. Наступил период непосредственного сближения, когда дорого каждое мгновение. Мы побежали вперед. Лелюкова обгоняли матросы, заслонили его. Я потерял из виду спину капитана. Черный клубок матросских бушлатов катился к высоте.

И затем в несколько коротких минут произошло то драматическое событие, которое мне никогда не забыть. Враг открыл сосредоточенный огонь из оружия, которое он до сих пор не разоблачал. Несколько наших гранат взорвались, не долетев до цели. Падали люди в бушлатах и в зеленых солдатских рубашках, обрамленных шинельными скатками.

Вот теперь нужен наш пулемет. Я прикинул у щитка. Пальцы Дульникова заправили ленту. Прошла короткая очередь. Я слишком упредил прицел. Но когда цель была исправлена, в приемнике вдруг заело ленту. Мы долго бились над ней, но безуспешно.

А в это время был решен исход атаки: мы отходили под сильным огнем. Двое солдат волокли Лелюкова пластом. Солдаты пережидали огонь и снова ползли, подхватив под локти своего командира.

На его спине расплзались пятна крови. Пистолет Лелюкова был заткнут за пояс одного из солдат, бинокль на коротком ремне висел на шее второго солдата.

Солдаты тащили Лелюкова, и сапоги его чертили носками по земле.

Мы прижимались к земле и снова ползли вслед, стараясь во всем подражать их повадке. Пулемет мы не бросили, хотя он заглух и, казалось, никому не был нужен.

Мы ползли и ползли.

ОТХОД К КРЕПОСТИ

После боя в Карашайской долине мы отходили к горам, стараясь миновать татарские села на шоссе, ведущем к перевалу. Активные бронетанковые разведывательные отряды неприятеля, как правило, продвигались по шоссе и занимали села, лежавшие на главных коммуникациях.

Из ста парашютистов-балабановцев осталось только сорок. В коротких стычках при проходе в горы было потеряно еще шестнадцать человек. Потери «наземников» были еще выше. Аэродромные команды отлично знали свое профессиональное ремесло, но воевать не умели. Кстати, к ним и не предъявлялось серьезных требований. При отходе они держались возле нас: они были нам сродни особенно после совместно пролитой крови.

Нашего командира мы не оставили противнику. До подхода к лесу везли его на «пикапе». Когда «пикап» на горных тропах застрял, мы столкнули его с обрыва, а Лелюкова понесли на плечах.

Мое первоначальное мнение о капитане Лелюкове изменилось к худшему, несмотря на его страдания. Я невольно считал Лелюкова виновником поражения. Зачем нужно было вести нас в атаку без активной артиллерийской подготовки, тем более ясным днем? Полтора километра против огня противника в явно невыгодных условиях! Почему Лелюков не разъяснил нам положения, если атака вызывалась тактической необходимостью? С жестокой поспешностью молодости я сделал свои выводы и утвердился в них.

Мы дрались еще слишком мало, чтобы созреть, видели также очень немного и только открытое физическому взору, слышали то, что непосредственно достигало слуха. Естественно, мы могли ошибиться в оценке событий.

Отход, потеря товарищей, нераспорядительность старшего лейтенанта, заменившего Лелюкова, — все это укрепляло мое отрицательное мнение о капитане.

Зачем нас, не подготовленных для пешего боя,

послали навстречу противнику, о военной организации которого было отлично известно? К чему все занятия Балабана, все эти «ножички», «пирог с начинкой»? Из моих друзей остались живы Дульник и Саша. Оба хорошо вели себя в атаке, не прятались, не пережидали, чтобы потом, поднявшись из кустов, повествовать обо всех ужасах сражения и бахвалиться своей мнимой отвагой. Мы оказались в числе тех немногих, которые остаются в живых даже при самой большой катастрофе.

Қарашайской долины нам теперь не забыть. Отныне она не просто кусок крымской земли, покрытой таким-то почвенным слоем и такой-то растительностью, а долина, политая кровью.

Углубившись в горы и почувствовав себя в сравнительной безопасности, мы заночевали. Ущелье, выбранное для привала, лежало параллельно главному шоссе, которого мы держались в надежде все же выйти на него, чтобы достичь южного берега Крыма, а оттуда — Севастополя. Из-за предосторожности костры не разжигали. Уставшие люди повалились на землю. Внизу тихо бурчал ручей, один из сотен безыменных ручьев, стекавших с гор. Воды было вволю.

Лелюкова положили под высоким грабом, набросавшим вокруг себя огненные листья. Возле капитана дежурила радистка Ася, низкорослая девушка с сильными мужскими руками, с мальчишеским лицом, залитым рыжими пятнами веснушек. Несколько бойцов из батальона Лелюкова ревниво охраняли своего командира от наших услуг. Среди них был Тиунов, который теперь угрюмо замкнулся, не вступал с нами в разговоры и старательно прислуживал Асе.

В ущелье сошлись бойцы и командиры разных частей. Так собирается на водоворотной струе стайка осенних листьев, сорванных ветром с разных деревьев.

Невдалеке от меня лежал Дульник, смастеривший себе постель из сухой травы и листьев. К нему присоединился Саша. Свой пулемет мы заправили, устроили между камнями на обзорной огневой позиции. У пулемета дежурил один из номеров. Старшину Лиходеева мы потеряли в Қарашайской долине. Заместитель комбата назначил меня старшим группы парашютистов. В группе оставалось двадцать четыре человека.

Обязанности старшего были несложны. Меня слушали и повиновались не потому, что я был разумнее или опытнее остальных моих товарищей, а потому, что каждый из них обладал таким же практическим умом и на моем месте отдавал бы точно такие же приказания.

Я лежал, запрокинувшись на спину и утопив в полу-расстегнутом бушлате половину своего лица; так было теплее. В ущелье уже ощущался осенний холод. От реки и мокрых камней тянуло подвальной сыростью.

Глухо, вероятно во сне, стонал Лелюков. Голоса Аси не было слышно. Молчал лес. Птицы улетели от шумов войны в более тихие места. На большой высоте на Севастополь прошло крупное соединение вражеских бомбардировщиков. Теперь они летали часто. Я слушал звуки отлично работающих авиационных моторов, и глухая досада еще больше давила мое сердце.

Возле меня присел лейтенант с перевязанной кистью руки, с винтовкой, закурил. Я увидел его красивое молодое лицо с румяными, округлыми щеками. «Еще один неопытный командир», — подумал я. Спичка погасла. Лейтенант заговорил, обращаясь к своему соседу-капитану. У лейтенанта оказался отрывистый, грубоватый голос, привыкший к командам; румяные округлые щеки не вязались с этим властным, командирским голосом.

— Врага можно бить, — уверенно произнес лейтенант.

— Всякого врага можно бить, только умеючи, — сказал капитан.

Капитана я заметил еще засветло. Это был человек лет двадцати пяти, энергичный в движениях, распорядительный и бранчливый.

— Враг нахален, уверен в своих силах, а поэтому и беспечен, — продолжал лейтенант.

— Именно?

— В долине остановились на ночь его авангарды. Я наблюдал сейчас со скалы. Жгут костры на передовой.

— Вывод, лейтенант? — спросил капитан.

— Чувствуют себя хозяевами.

— А подумай, лейтенант.

— Продумано тщательно, товарищ капитан.

— А может, жгут костры потому, что бояться нашей ночи, а? Ты откуда, лейтенант?

— Из Ленинакана.

— Армянин, что ли?

— Русский армянин, — лейтенант засмеялся, — отлично говорю по-армянски, и, если прислушаться, у меня даже в разговоре можно услышать армянский акцент.

— Слышу, — согласился капитан. — А какое кончал училище?

— Пехотное.

— Хорошее училище?

Лейтенант отшутился:

— Могу разложить карту, взять компас Андрианова, прикрыть огонек плащ-палаткой, установить азимут.

— А ответственность в вас воспитали?

— Не понимаю. Точнее.

— Ответственность за своего бойца?

— Конечно.

— А стойкость?

— Поглядим дальше. Пока воспитание, кажется, пошло не впрок.

— А если вот вся наша, к примеру, вот эта часть окружена. Держимся три дня до истощения боеприпасов, воды и продовольствия. И командир части дает приказ под таким-то азимутом прорваться, а тебе... как твоя фамилия?

— Семилетов.

— А лейтенанту Семилетову прикрывать отход, чтобы ни одного бойца не оставить врагу. Что ты будешь делать? Как учили в вашем пехотном?

— Нас учили в пехотном...—лейтенант замялся и затем произнес с юношеской горячностью:— Я был воспитан на святом выполнении приказа своего командира.

— Верно, — одобрил капитан, — дай-ка прикурить, не затапывай.

Теперь лицо лейтенанта скрылось в темноту, а папиросный огонек осветил выпуклые с краснотой по

белку глаза капитана и падающий на лоб жесткий чубчик.

Начала прокатывать артиллерия.

Все прислушались.

— Опять вражеская дальнобойная? — раздался чей-то голос.

— Вроде нет. И на нашу, корпусную, не походит.

— Далеко.

— Может, наша «Бэ-че»?

— Береговая, по-моему, бьет, — сказал капитан, — Севастополь!

— По суше бьет? — спросил кто-то из темноты.

— Повернули, стало быть, на сушу, — ответил он.

Громче застонал Лелюков, попросил воды. Кто-то спустился к ручью. Звякнули котелки, из-под ног посыпались камешки.

— Шумит, — опасливо сказал Дульник, — где-то на шоссе шумит.

— Твой страх шумит, — сказал капитан, — сейчас ящерица проползет, а тебе покажется танк. На войне иные не от пули гибнут, а от нервов. И себе навредишь и, главное, товарищам, — и снова обратился к Семилетову: — Правильно вас воспитывали в училище. Самое главное в армии — святое выполнение приказов своего командира. Примерно такой приказ: «Обеспечить подъем духа, атаковать противника, остановить его и держать, насколько возможно, в неведении своих сил. Земля твоя под подошвой. Позади ни сантиметра. Войти, как столбы, в землю, чтоб клещами не выдрать. Никаких серафимов и херувимов не будет. Думаешь дожить до дня ангела, — держись!»

— Вы извините меня, капитан, но приказ сострегали не по уставу, — шутливо возразил Семилетов.

Капитан некоторое время молчал, казалось, он собирался с мыслями. Разговором же их заинтересовались многие, сгрудились, ждали.

Капитан зажег спичку и поднес ее к своему лицу, которое стало серьезней, старше.

— Моя фамилия Кожанов, — строго сказал он, — запомни меня. А то разойдемся ночью кто куда, по голосу потом не узнаешь. Бойцов у меня мало, Семилетов, потеряны в неравном бою, но отхожу честно,

потому что считаю: война состоит не только из одного наступления... Устав уставом, а жизнь по-своему корректирует. Хотели малой крови на чужой территории, получилось пока по-иному. Будет потом использована и та первоначальная, верная доктрина, а пока... дополняй устав, Семилетов, слушай, вникай в опыт, и свой опыт и других. Учился войне — знаешь, что на войне надо не только к человеку прислушиваться, а и к шуршанию травы, и к древесному шуму, и к птичьему крику, и к сверчкам...

— Это верно, товарищ капитан, — вмешался чей-то голос. — Ночью у Бахчисарая держали мы оборону, в районе МТС слышим, свистит и свистит неизвестная птица. Ну, птица и птица, чорт с ней. А потом глядим: утром лежит у сарая Федька Андрухин без черепка, а птицы нет, улетела.

— Что ж за птица? — спросил Кожанов.

— Не знаю, товарищ капитан. Как в сказке. Места, сами знаете, рельеф.

— Могу продолжить, — сказал Кожанов. — Отходим мы от Перекопа. Танки противника прорвались в степь, а мы отходим в порядке. Генерала Шувалова кто знает?

— Слышали генерала Шувалова, — отозвались голоса.

— Так вот, отходили мы с генералом Шуваловым. Преградил отход хутор Заветный. Проскочил противник вперед нас. Поступил приказ от генерала Шувалова: нашей части сделать обходное движение по степи, зайти с фланга и выбить противника с хутора. Подошли на зорьке к хутору незаметно. У нас были, кроме стрелков, моряки, отходившие от Ишуня. Атаковали врага врасплох, захватили хутор. Три контратаки отбили. Мокрые по пояс речушку форсировали, не пивши, не евши, а гордые победой. Посылаем донесение генералу: «Заветный свободен!» Пошли войска через Заветный, полк за полком. Поступает нам новый приказ: «Прикрывать у Заветного отход. Дать возможность оторваться основным силам».

— Взяли хутор, выручили и еще прикрывать, — неодобрительно сказал Дульник.

— Приказ старшего командира должен выпол-

няться свято, — строго сказал Кожанов. — Не успели мы оторваться-то сами. Отсекли нас. Начали бить в упор из пулеметов, а потом из пушек. Закуканили нас. Осталось нас четыреста человек. Командира батальона разорвало миной. Принял командование командир первой роты. Через пять минут его тоже наповал. Принял командование мой дружок капитан Осип Куприянов. Отошли мы к хутору, заняли круговую оборону. Ну, дал мне Куприянов сектор в сто восемьдесят градусов, а второй сектор себе. Разделили мы поровну оставшихся бойцов. Рации нет, связи, как понимаете, лишены, пожаловаться некому. Послали связных пробиться, доложить. А пока, конечно, драться. За день десять контратак. Хутор не отдали. Приходилось ходить в атаку, Семилетов. Расстреливал фашистов из автомата с тридцати—сорока метров.

Кожанов говорил сердито, даже зло. К рассказу капитана, вероятно, прислушивался и Лелюков: стоны его прекратились.

— Нервы были напряжены до крайности, — продолжал Кожанов, — поднимаешься в атаку не мускулом, а силой воли. Идешь в атаку, не трусишь. Кажется, гони на тебя танк или грузовик — не свернешь. Чугунным становишься, товарищи. Знаешь одно: ты должен итти, подниматься, подавать пример. Видишь веер трассирующих пуль, уже знаешь: не столько убивают, сколько пугают. Бьют очередью, падаешь. Может быть, последний раз падаешь, может быть, последние шаги перед этим сделал в своей жизни. И главное, знаешь, когда упасть, когда подняться, инстинкт держит тебя. После атаки вынимаешь из кармана табак и бумажку, руки трясутся, не скрутишь, а в душе рад. Душа рада, а нервы трясутся, не успокоились. Ты остался жив, жив, жив! И переживаешь все, что с тобой произошло, вникаешь в суть ни до, ни во время атаки, а после...

— Верно, — подтвердил Семилетов.

— А хочешь знать, как переживают люди, когда неизбежность? — спросил Кожанов, его зрачки сверкнули в темноте.

— Продолжайте, Кожанов, — сказал лейтенант.

— А дальше стало ясно. Весь хутор не удержать. Велика площадь. Надо сжиматься в удобном месте. Отошли к реке, к ферме. Там кирпичные строения, высотка, обзор лучше. На хуторе же невоюют. Подтянул противник крупнокалиберные, как ударит — восемь хат пробивает. Куприянов пересчитал на ферме остатки людей, оружия, боеприпасов, говорит только мне: «Ну, Петя, доигрались. Но ничего, люди умирают-то всего один раз». Гляжу на него, не верю глазам, улыбается мне, подмаргивает.

Вот тут-то и пришла боевая задача, Семилетов: «Обеспечить подъем духа, атаковать противника, остановить его и держать, насколько возможно, в неведении своих сил».

Так приказал генерал Шувалов с нашим связным, который вернулся-таки обратно. Обещал Шувалов выручить, если сами не сумеем пробиться. Приказал держаться двадцать четыре часа. Не буду рассказывать, скучно, как мы держались эти двадцать четыре часа. Расскажу о том, как переживают отдельные люди, когда неизбежность. А то хотел про неизбежность, а завел оглоблями в скирду соломы...

Возьму крепкую натуру — старшего лейтенанта пулеметчика Грязнова. Один принимал на себя грендерскую часть. Расстрелял все патроны, поднялся во весь свой страшный рост, ударил пулемет о камень и пошел к ферме под огнем. Медленно шел, шаг не ускорил. Как начал одним темпом, ни разу не ускорил шага, удивительно! Ни одна пуля не тронула. Подошел к нам, сказал: «А что я должен был делать дальше? Патроны кончились, а прикладом драться не годится... никакого смысла».

— Молодец Грязнов, — раздался голос Лелюкова. Кожанов поглядел в ту сторону, где лежал Лелюков.

— Знает, что ли, Грязнова? — спросил Семилетов.

— Может быть, — ответил Кожанов. — Все же из одной армии. Второй человек, в бою с ним познакомился, бывший рыбак с Ак-Мечети, Степан Репетилов. Отваги беспримерной. На хуторе впритык сходилась с противником, грудь с грудью. Бешеный был в бою человек, удивительный, я бы сказал. Будто у него сто

жизней впереди. И вот уже на ферме подползает ко мне, плачет. Удивился я, спрашиваю: «Чего ты, Репетилов?» — «Разбили винтовку, а другой нет». Смотрю: пуля попала в магазинную коробку, и магазин не подает патроны. «А что у тебя с ногой, Степан?» Вижу: кровь залила все колено. «Не знаю», — отвечает Степан. А сам с винтовкой возится. Осмотрели колено, пуля попала в чашечку. И горюет Репетилов не потому, что чашечка разбита, а потому, что винтовки лишился.

Кожанов снова закурил.

Над плоскогорьем появилось зарево. Вначале решили — луна, оказалось — пожар. В ущелье захохотала сова. К ее отчаянному хохоту прислушались все, повернули головы.

Продолжалась отдаленная канонада.

— Еще был тип — Костя, — продолжал Кожанов. — Сел в угол, достал из сумки колбасу и жрет. Вот такой кусок копченой колбасы и с таким аппетитом жрет. А мы только-только доотвала наелись. «Чего ты жрешь?» — спрашивают его ребята. «А что делать?» — отвечает Костя. И продолжает есть и колбасу и хлеб, как будто всю жизнь голодал. Или сержант Иван Криница. Ползает с разбитой лапой, кость торчит сквозь голенище, а сам не расстается с ручным пулеметом. И, представь себе, выжил. Вот что значит «обеспечить подъем духа»...

— А как потом? — спросил Семилетов.

— Выручил генерал, — ответил Кожанов, — ровно через двадцать четыре часа, тютелька в тютельку. Уже всю крышу на ферме сорвало, пули пролетали через стены, как сквозь решето, вдруг подполз ко мне и Куприянову Жорж-матрос и говорит: «Я кашу заварил рисовую, с салом, надо кушать, товарищи командиры. На том свете чорта с два такой кашей побалуют». Вышли, Семилетов, мало, а вышли. Не только у вас в пехотном училище учили свято выполнять приказ своего командира.

— А врагов много побили? — спросил Дульник.

— Как и полагается в стойкой обороне — один к десяти.

— Считали?

— Бухгалтера с нами не было, — резко оборвал его Кожанов.

Дульник обиженно сказал мне:

— Почему мое естественное любопытство этот капитан расценивает как выпад?

— Вопрос был задан в обидной форме, — сказал Саша.

— Оказывается, ты не спишь, Саша, — сказал я.

— Не сплю, но стараюсь заснуть.

— Не спится?

— Тело требует отдыха, устало до крайности, так сказать, до каждого винтика, а мозг не дает. У тебя так бывает, Лагунов?

— Последние три дня — да.

— Мозг становится какой-то горячий, — продолжал Саша, — расплавленный. И голова диктует всему телу.

— В переводе на простую медицину — расшались нервы, — сказал Дульник.

— Возможно, — тихо сказал Саша.

Ко мне подошла Ася, вполголоса сказала:

— Капитан просит вас к себе, товарищ Лагунов.

Я быстро поднялся:

— Ему лучше?

— В прежнем положении. Ему нужен стационарный режим. Серьезное ранение. Температура держится. Такой сильный человек стонет, бредит.

— Терял сознание?

— Нет.

Лелюков лежал на шинелях, спиной ко мне, на боку.

— Пришел Лагунов, — сказала Ася.

— Хорошо, — тихо проговорил капитан, не поворачивая головы, позвал меня по фамилии.

Я опустился возле капитана на траву. Солдат, сидевший рядом, подвинулся в сторону.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Лагунов?

— Да, Лагунов, товарищ капитан.

— Имя-то твое как, Лагунов?

— Сергей.

Лелюков беззвучно рассмеялся и посмотрел на меня:

— Неужели Сергей Лагунов... Иванович?

— Иванович, товарищ капитан.

— А меня помнишь, Лагунов?

— Конечно.

— А какого чорта молчал, Сережка?

— Обычно считается нетактичным навязываться в знакомые к начальству.

— Вот это дурень, — Лелюков силился приподняться на локте, его остановила Ася, капитан пошевелил пальцами, пробурчал: — Угадала-таки меня, Лелюкова, германская пуля. Долго не могли познакомиться, — снова обратился ко мне, — неверно сделал, Сережка. Начальство — начальству рознь. Вот убили бы меня, и не узнал бы я перед смертью, что сынишка Ивана Тихоновича Лагунова учился у меня уму-разуму на Крымском полуострове. Твой-то отец тоже кое-чему меня научил. Сергей.

Я молчал. Лелюков тоже смолк, прижался щекой к шинели.

— Подташнивает, — сказал он, скрипнув зубами, — вот если бы мне сейчас холодного нарзана и... лимона... Ты не серчай на меня, Сережка.

— Я не серчаю товарищ капитан.

— Меня не обманешь, Сергей. Шесть лет командирю, привык читать ваши мысли по вдоху и выдоху. Непростительно погибли твои друзья-товарищи... Учимся... И всю жизнь учимся... Новое дело часто начинаем с ликбеза... Этого врага свалим, верю... Слишком быстро прет, задохнется. Ася!

— Я здесь, товарищ капитан.

— Нарзанчику с лимоном, Ася.

Ася грустно улыбнулась, поднесла ко рту раненого кружку, приподняла его голову. Лелюков жадно выпил всю кружку воды. Ася вытерла ему губы бинтом.

— Вам бы надо заснуть, товарищ капитан, — сказала она.

— Верно, — буркнул Лелюков.

— Я уйду, — сказал я, чтобы слышала только Ася.

— Подожди, одно слово еще, — попросил Лелюков, — нагнись ко мне.

Я нагнулся и ощутил жаркое дыхание его. Я близко увидел его упрямые глаза и понял, что дух этого человека пересилит физическую немощь. С отрадным чув-

ством раскаяния я всматривался в каждую черточку его лица. Сейчас Лелюков незримо, но крепкими нитями сцепил меня снова с прошлым, где был жестокий гарби, но где была и радость неповторимого детства, молодости родителей, первичного восприятия мира в самых радужных и трепетно ласкающих его красках.

Лелюков облегченно вздохнул с радостным чувством человека, которому раскрылась последняя тайна. Его рука не выпускала мою руку.

— Что я тебе хотел сказать? Да... Если, не дай бог, придется вам когда-нибудь начинать такое дело снова, помните: не начинайте с ликбеза. Выходите на поле сразу с высшим образованием. Законченным...

Ася требовательно попросила меня уйти. Я осторожно высвободил свою руку из пальцев Лелюкова, поднялся и пошел на свое место. Дульник спал, а Саша поджидал меня. Он намекнул о своем желании узнать, о чем мы говорили с капитаном. Я не ответил ему. Мне хотелось остаться наедине со своими мыслями.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СЕВАСТОПОЛЬ

Пастушьи тропы уводили нас от главной коммуникации на высокогорные пастбища яйлы.

Держась северо-восточной кромки горно-лесистого предгорья, можно было дойти до Феодосии. В чьих руках была Феодосия, мы не знали. Во всяком случае, оттуда можно было пробиться на Керченский полуостров, в сдачу которого никто не верил. Там, по слухам, был создан укрепленный рубеж, по линии Турецкого вала и акмонайских позиций. На одном из привалов мы разделились. Кожанов повел на Феодосию всех, кто стремился на соединение со своей 51-й армией, мы же, моряки и солдаты из батальона Лелюкова, решили продолжать более опасный путь — на Севастополь.

Лелюкова мы взяли с собой. С нами оставалась и Ася. Семилетов ушел с группой капитана Кожанова. В течение нескольких лет я не знал об их судьбе, а по-

том... хотя все, что случилось потом, будет рассказано в своем месте.

Расспросами у местных жителей мы выяснили, что шоссе на Ай-Петри не контролируется противником. Пастухи передавали, что по шоссе отходят войска Красной Армии.

Поэтому мы круто свернули к шоссе и на второй день подошли к нему южнее Орлиного залета.

Наши подошвы зашуршали по листьям грабовой роши. Деревья, крепко вцепившиеся своими мощными корневищами в каменистую почву, были покрыты огнем увядания.

Пригретые солнцем деревья разливали стойкий, пряный запах, смешанный с осенними запахами прели и травяной сырости.

Чудесная картина природы, совершенно не затронутой войной, больше всех взволновала Сашу.

Он встал на обомшелый камень, снял бескозырку и уставился вдаль обрадованными глазами. Его бледное лицо, так и не тронутое загаром, порозовело.

Посланный в разведку Дульник прибежал с криком: — Наши! На шоссе наши!

Мы двинулись вслед за Дульником и попали к обрыву, где кончались грабы, дальше шли редкие дубы, ясени и южный подлесок, перепутанный с кустами шиповника и боярышника. К горам прилепились небольшие хижины с плоскими крышами, и, будто сколок доисторических катастроф, белела стена Орлиного залета.

Мы видели шоссе в пролетах дубов.

По шоссе, петлями уходящему в горы, двигались войска.

— Наши, — сказал Саша и широко улыбнулся.

Все облегченно вздохнули. Не было ликования, восторгов. Хотелось присесть на землю, опустить руки, закрыть глаза. Никто не побежал навстречу нашему войску, никто не стрелял в воздух, как потерпевший бедствие. Запыленные, оборванные люди опустили на землю, улыбаясь друг другу. Казалось, многие впервые увидели друг друга близко и по-новому, чем в дни блужданий в поисках выхода. Мне припомнился «Железный поток», и я подивился мудрости писателя, который подсмотрел, как люди таманской колонны,

пережив все страдания, как бы прозрели и удивились синему цвету глаз своего командира.

На Севастополь отходила Приморская армия. Колонна шла в полном порядке со всеми видами охранения на марше. Арьергардные бои, как мне сказали, вели части дивизии, сражавшейся за Одессу. Черноморская армейская авиация, как могла, прикрывала колонну на марше.

Мы влились в колонну приморцев. Теперь, в непосредственном общении со стойкими регулярными войсками, мы морально окрепли. Здесь все знали свои места — бойцы, командиры, политические работники. На привалах проводились летучие собрания коммунистов и комсомольцев, распространялись сводки Советского Информбюро, газеты, — была даже своя, армейская; парторги и комсорги принимали членские взносы. К Севастопольской крепости двигалась регулярная, закаленная в боях армия.

Лелюкова мы передали в полевой госпиталь на попечение хирургов. Госпиталь имел медикаменты, инструменты и даже собственный полевой движок для освещения операционной. Милые, услужливые медицинские сестры, бывшие студентки Одесского медицинского института, проворно и умело делали свое дело. Они по всей форме составили историю болезни капитана Лелюкова. В этой формальности не было ничего бюрократического, она умиляла нас, и мы обретали спокойствие и веру в то, что в будущем все будет хорошо, все обойдется, если только придерживаться установленного и освященного десятилетиями порядка.

Такое же чувство уверенности внушали мне и расклеенные на улицах Севастополя обращения городского комитета обороны и военного совета Черноморского флота.

Существовали и действовали люди, полные сил и решимости. Сохранились учреждения Советов, партии и военного ведомства, ответственные за страну. Силе врага противостоял огромный, действенный организм советского государства.

Мы подходили к Севастополю по Ялтинскому шоссе. Армейские радиостанции принимали Севастополь, и

мы еще на марше знали, что враг уже подошел вплотную к внешним укреплениям крепости и завязал с хода сильные бои.

С противником дрались армейские части, морская пехота и ополченцы. Вели огонь корабли Черноморского флота и береговая артиллерия Матушенко, Александра, Заики, Драпушко. На передовую линию выходил бронепоезд «Железняков» под командованием храброго Гургена Саакяна. Возле Дуванкоя пали смертью храбрых пятеро бессмертных черноморцев.

Имена героев были названы позже: политрук Николай Дмитриевич Фильченков, краснофлотцы Цибулько Василий Григорьевич, Паршин Юрий Константинович, Красносельский Иван Михайлович и Даниил Сидорович Одинцов.

Они долго держали шоссе у Дуванкоя. А потом, когда иссякли патроны, обвязались гранатами и один за другим бросились под танки. Это был первый крылатый подвиг защитников крепости.

Подвиг у Дуванкоя называли бессмертным. Но кто узнает о шестидесяти моих товарищах, павших в Карашайской долине?

Ударами накоротке приморцы сбили части противника, осадившие крепость, на этом участке перевалили Сапун-гору, находившуюся в наших руках, и появились на улицах города.

Появление Приморской армии на улицах осажденной крепости было огромным событием. Приморцы, прославленные обороной Одессы, знаменовали собой высокий авторитет Красной Армии, для которой в мирные годы ничего не жалел советский народ.

Население с восторженной признательностью встречало приморцев. Моряки, сцепившие было зубы для борьбы почти один на один, теперь увидели своих будущих соратников и радостно приветствовали их, размахивая бескозырками.

Мальчишки, это восторженное племя приморских южных городов, как воробьи, усыпали деревья бульваров. Они орали от переполнявшей их сердца радости.

Кто-кто, а они-то давно знали пленительную

легенду об этих бойцах, шагающих сейчас по пыльным камням; мимо домов, обезображенных грязными красками камуфляжа.

И в эти часы надежд забывались неудачи, поражения.

Приход приморцев совпал с праздником Октябрьской революции. Это придавало еще большую торжественность встрече приморских батальонов.

Командарм понимал, что сейчас, когда противник блокирует крепость, важно поднять дух гарнизона, а современная война зачислила в гарнизон все население осажденных городов. Надо поднять дух рабочих: они лучше будут готовить боевые припасы, ремонтировать оружие и изготавливать его. Надо разбудить мужество в сердцах женщин, чтобы умножить подвиги Даши Севастопольской. Надо не забыть и пионеров, что облепили деревья: ребята помогут обороне. И кто знает, может быть, кто-нибудь из этих голопузых, орущих до хрипоты от мальчишеского восторга, будет адмиралом или генералом, продолжая великие традиции этих героических дней.

Впереди шла дивизия при развернутом знамени. Дивизия боролась под этим знаменем еще в гражданскую войну. Это знамя обдували ветры оренбургских степей, Приуралья, к нему прикасались руки легендарного Чапая, Фурманова, его освятил своей полководческой мудростью Михаил Васильевич Фрунзе.

Оркестр заиграл марш. Звуки медных труб и удары барабанов как бы дополнили симфонию боя. Сейчас никто не прислушивался к тревожному близкому грому береговой артиллерии, никто не следил за разрывами снарядов противника, сейчас все глядели только на приморцев. Многие плакали.

Впереди, перед Чапаевской дивизией, свободной походкой шагал командарм. Генерал был одет в обычную командирскую гимнастерку из тонкой шерсти, с биноклем на груди, в пенсне, с маленьким пистолетом на поясе.

— Им был предоставлен выбор, — сказал кто-то, — либо итти на Керчь, либо в Севастополь.

— Они выбрали Севастополь, — сказал Саша, не сводивший глаз с приморцев.

— Да. Они выбрали Севастополь.

Дульник, повинаясь вспыхнувшему в нем чувству, сорвал с головы бескозырку.

— Ура приморцам! — заорал он пронзительным голосом.

Его поддержали. Вначале мальчишки, а потом и толпа. Не помня себя от подступивших к горлу спазм, я кричал вместе со всеми, и мне не было стыдно, что я кричу, как мальчишка.

— Куда они?

— Занимать оборону.

— Прямо с хода?

— Прямо с хода.

Колонна шла под гром канонады на передние рубежи — на смерть и славу.

Мы пошли в штаб флота, чтобы узнать о Балабане и о своих дальнейших задачах.

Дома и заборы были оклеены плакатами и обращениями.

На улице Ленина мы остановились у стены дома, сложенного из инкерманского белого камня. На стене висело обращение военного совета Черноморского флота:

«Врагу удалось прорваться в Крым. Озверелая фашистская свора гитлеровских бандитов, напрягая все силы, стремится захватить с суши наш родной Севастополь — главную базу Черноморского флота.

Товарищи черноморцы!

В этот грозный час еще больше сплотим свои ряды для разгрома врага на подступах к Севастополю.

Не допустим врага к родному городу!

Черноморцы свято чтут боевые традиции героев Севастопольской обороны, традиции моряков, отдавших свою жизнь за дело социалистической революции. Эти боевые традиции нашли свое яркое выражение в героических делах, в бесстрашных подвигах военных моряков Черноморского флота, дающих сокрушительный отпор озверелым фашистским бандам.

Всем нам известны имена славных моряков-черноморцев: полковника Осипова, рулевого Щербахи, славных летчиков Цурцумия, Агафонова, Шубикова, разведчика Нечипоренко, политработников Митракова

и Хмельницкого, котельного машиниста Гребенникова и многих других верных патриотов Родины, прославившихся в происходящей Отечественной войне. Их подвиги зовут нас на новые победы, на новые героические дела во славу Родины...»

— Мы знаем теперь, что нам делать, — возбужденно сказал Дульник, дочитав воззвание. — Вот приказ! Он подписан командующим флотом! Надо было пристраиваться с чапаевцами и туда...

— Все же надо войти в военную организационную структуру, — рассудительно заметил Саша. — У нас увольнительные до двух часов, и за это время нам следует найти отчаянного капитана.

Мы пошли по улице Ленина, к штабу, чтобы разыскать майора Балабана. По пути зашли в ресторан. После всех перенесенных волнений хотелось посидеть за столом со скатертью, взять в руки карточку, заказать вкусное блюдо.

В ресторане было прохладно и тихо. В зале сидело несколько командиров, обедали. Мы прошли в уголок, замаскировались фикусом, чтобы не попадаться на глаза начальству. Решили заказать водки. У каждого из нас были деньги, немного, но достаточно, чтобы сообщая расплатиться за обед.

При упоминании о водке глаза Саши заискрились. Я впервые видел его таким оживленным. «Неужели он любит выпить?»

Официант оглядел нашу не ахти какую форму, смахнул салфеткой со стола и сказал, будто бы обращаясь к фикусу:

— Спиртное запрещено: приказ.

Тогда мы поняли, что действительно попали в осажденную крепость, заказали скромный обед с биточками и молча его съели.

И когда мы собрались уходить, в дверях, затемнив свет, появилась мощная фигура Балабана. На его плече дулом книзу висел автомат.

Он также увидел нас, сразу узнал, пошел навстречу с тревогой и вопросительной улыбкой.

Балабан увел нас в какое-то учреждение по формированию ополченческой пехоты.

К этому учреждению майор имел, видимо, служеб-

ное отношение. Здесь его знали, и командиры, с которыми он поздоровался за руку, ушли, оставив нас с майором Балабаном.

— Выкладывайте начистоту, — сказал он, вынув свою игрушечную трубочку, — общие сведения про карашайское дело имею, прошу уточнить, ребята. Говорите хотя бы вы, Лагунов.

Я начал говорить.

Балабан сидел на табурете у окна, вполоборота ко мне, расставив свои толстые ноги. На его коленях лежал автомат с круглой дисковой патронной коробкой. Пальцы майора мяли залосненный ремень автомата, как мягкую тесемку. Я рассказывал об атаке, не скрывая возмущения по поводу бесцельности понесенных жертв. Майор не поддержал меня, но и не разуверял.

Балабан вышел из комнаты и немного погодя вернулся с пачками писем, перевязанными шпагатом. Письма были разложены по дням поступления на полевую почту. Их накопилось немало за время нашего отсутствия.

Балабан развязал пачку — и письма рассыпались по столу. Он взял наугад одно из писем, прочитал фамилию адресата, вопросительно взглянул на меня, как бы спрашивая: жив?

Я отрицательно качнул головой. Балабан повертел письмо в руках, отложил в сторону. Взял второе письмо, свернутое треугольником, прочитал фамилию. Я молча вздохнул, и письмо легло поверх первого.

Майор вытащил из груды еще одно письмо:

— А этот?

— Тоже.

Еще письмо.

— Тоже, товарищ майор.

— А для них они еще живые, — тихо сказал Балабан.

Письма живым лежали маленькой кучкой, павшим — большой грудой, как скорбная и наглядная диаграмма потерь.

— Выпустишь из-под присмотра ребяташек, и вот... — сказал Балабан будто самому себе; обратился ко мне: — Эти письма возьмите, раздадите. Там и ваши есть, ребята. А этим я сам отвечу.

Балабан встал. Его лицо как-то сразу осунулось, постарело.

— Я поговорю с начальством. Может быть, определю вас к себе, в батальон морской пехоты. Только ножичками заниматься пока не будем. По-моему, придется все же вас всех в разведку... — он протянул мне автомат: — Возьмите.

— Мне?! — обрадованно спросил я.

— Вероятно, вам, Лагунов, а вам, ребята, на месте выдадим. Стоим под Чоргунем.

Я крепко сжал в руках автомат. Наконец-то в моих руках очутилось заветное оружие!

— Пусть это будет как бы задаток, — сказал майор. — Хотя начальство согласится. Куда же вас девать? Оборону сейчас держим крепко. С подходом приморцев совсем повеселели. Авиации маловато, правда, аэродромов раз-два и обчелся, зато артиллерия хороша.

— А боеприпасы?

— Ну, Севастополь-то — крепость перворазрядная, здесь запасов полагалось иметь в достатке. А не будет хватать — Большая земля подкинет. Флотишко-то заинтересован, подвезет... Итак, всех ребят ко мне, Лагунов!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ТЕПЛОХОД «АБХАЗИЯ»

Теплоход «Абхазия» — на него мы получили посадочные талоны — должен был уходить в море с наступлением темноты. Отшвартовался теплоход у угольного пирса. Я и Дульник на попутном грузовике подъехали к пирсу. За косогором, прикрывшим угольную пристань, вставало розовое зарево. Город горел.

Угольная пристань была завалена зенитками, поступившими с Большой земли, длинными ящиками с винтовками, клейменными ящиками с патронами, минами, толом. Здесь же лежали морские буи, похожие на мины, стволы главных калибров, бунтами цемент — подарок новороссийских рабочих осажденному городу.

Собирался дождь. В бухту задувал ветер. Быстро

темнело. Зарево из розового стало красноватым, а затем багровым.

Быстро и без суеты кончали погрузку раненых по особому трапу, с кормы. По второму, бортовому, трапу принимали эвакуируемое население и военных. Теплоход не мог вобрать всех желающих, поэтому женщины и дети, столпившиеся в ожидании погрузки, кричали, волновались, теснились. Теплый воздух поднимался из труб «Абхазии». Тихо работали дизели. Подрагивало объемистое туловище корабля, казавшееся каким-то рыхлым. Я привык к жестким, бронированным формам крейсеров и эсминцев. Пассажирское судно, переименованное в транспорт и перекрашенное в угрюмый цвет войны, не внушало доверия. Орудия, пришитые к палубам, не избавляли меня от этого ощущения слабости и рыхлости корабля. Теплоход напоминал мне человека в пенсне, в пиджачке, в туфельках и фетровой шляпе, подпоясанного военным поясом с патронными подсумками и винтовкой на плече.

В житейских делах, требующих энергии и ловкости, я привык доверяться моему приятелю Дульнику. Никто, кроме него, не умел так продуктивно использовать атрибуты советского моряка — бескозырку, бушлат, лиловые полоски тельняшки. В чем другом, а в застенчивости или робости никто бы не посмел упрекнуть моего приятеля.

Дульник стремительно проложил дорогу, на минуту задержался, чтобы предъявить документы, и трап за скрипел под его ногами.

— Куда вы, к чорту в рот?—рявкнул возле меня чей-то голос.

Пронизывающие цыганские глаза глядели на меня из-под козырька фасонистой морской фуражки. Герб на фуражке потемнел от соленой воды, что было признаком настоящего корабельного состава.

Наши бескозырки уже не давали нам никакого права. По трапу, впереди нас, несуетливо, но уверенно продвигался флотский командир с маленьким чемоданчиком в правой руке. Левая его рука, щедро татуированная по смуглой коже, умело перехватывала поручни трапа. На рукаве шинели золотели нашивки капитана третьего ранга.

— Просим извинить, товарищ капитан третьего ранга, — почтительно сказал Дульник.

— Еще успеют вас, буйные головы, засундучить к дельфинам в гости, — пошутил командир. — Держитесь за мной, в кильватер, хлопцы!

Пожалуй, не было бы смысла описывать встреченного нами на трапе «Абхазии» командира. Но знакомство с капитаном третьего ранга помогло мне отыскать на борту теплохода известного читателю Пашку Фесенко — моего земляка из станицы Псекупской.

Фесенко, как правило, всегда кому-то услуживал, кому-то подражал. Склонности его отличались постоянством, но в одном он был постоянен — он предпочитал опираться на более сильного. Слабеющий его покровитель мгновенно обменивался на более сильного. Так, в свое время он прислуживал Виктору Неходе, был в нашей компании. Когда в станице разгорелись страсти вокруг коллективизации, Пашка откачнулся от нас и приблизился к детям зажиточных казаков. После поражения кулаков он принес свою повинную голову снова Витьке Неходе, который потом поручился за него при приеме в комсомол.

В комсомоле Пашка держался услужливо. Его кригические выступления всегда обращались против тех, кто и без него уже был разбит более решительным и принципиальным противником. Над ним подтрунивали, но он не обижался. Никто из нас не пытался серьезно разобраться в изломах характера Пашки Фесенко и своевременно ему помочь. Может быть, давление сильного и несколько эгоцентричного Виктора Неходы подействовало на Фесенко? Хотя скорей Виктор мог сломить характер Яшки. Однако Яшка воспитал в себе твердость и верность дружбе и с годами совершенно отрешился от слабостей детства.

Фесенко меня не узнал. Он поджидал капитана третьего ранга. Пашка, как я понял из его рассказа капитану, успел заблаговременно пробиться на теплоход, отвоевал каюту, разместился там. Фесенко с захлебом рассказывал, сколько он положил на это личного труда и изобретательности.

Капитан грубовато приостановил его излияния. Пашка услужливо выхватил чемоданчик из его рук.

— Я сам бы отнес, Фесенко, — поморщился он. — Что я — барыня в пелеринке?

— Вы устали, товарищ капитан третьего ранга, — угодливо сказал Фесенко. — Разрешите, разрешите мне...

Да, это был все тот же Пашка, умевший услужить нужному человеку.

Мы отвалили в полночь: корабль задержала погрузка каких-то государственных ценностей, вывезенных из Симферополя.

«Абхазия», крадучись, с потушенными огнями, вышла из Северной бухты и легла на курс к берегам Кавказа.

Зарево стойко держалось над городом. Рокотала артиллерия, полукружиями вспыхивали зарницы. Проекторы обыскивали низкое, пасмурное небо.

У меня на сердце было тяжело, хотя я и понимал причины, побудившие командование накапливать силы для удара в удаленных от противника районах, и необходимость разумного расходования сил флотского народа, и нецелесообразность использования специалистов на сухопутьи. Сердцу не прикажешь: доводы разума не всегда для него убедительны. Ухватившись за поручни, я не отрывал глаз от Севастополя: «По-сыновьи ли покидать тебя в такую пору?»

Всего двенадцать дней нам пришлось пробыть в батальоне майора Балабана на сухопутном фронте за селом Чоргунем, в одном из секторов обороны крепости.

Здесь мы увидели организованную оборону, порядок, сплоченность. Мы с Дульником работали в батальонной разведке, успешно ходили в тылы противника, и вдруг нас отозвали как специалистов в авиационный полк майора Черногая, передислоцированный на кавказское побережье.

С Сашей мы простились в окопах батальона.

И вот теперь мы шли к Кавказу на теплоходе «Абхазия».

Потеряв из виду берега, мы спустились в каюты третьего класса к своим морякам, списанным тоже на кавказские базы: флот передислоцировался, нужно было кому-то оборудовать базы.

Матросы говорили о первых потерях во флоте.

Их суровые, сосредоточенные лица тускло освещались плафонной электрической лампочкой.

— Поднялся на палубу, палубы нет. В глазах у меня помутилось,— тихо проговорил матрос, рассказав историю гибели лидера.

Укладывались спать, раскладывали шинели, бушлаты и вещевые мешки. Не раздевались: предвидели всякие неожиданности.

Я прилег рядом с притихшим, как бы ушедшим в себя Дульником. В таком состоянии я видел его редко.

Свой чемодан я поставил рядом, в нем было все мое имущество: пара тельняшек, рабочая роба, книжки, консервы и хлеб и самое главное — завернутый в наволочку разобранный автомат — подарок Балабана.

Утром я вышел на верхнюю палубу. Я переступил через ноги скромно одетой девушки, лежавшей у иллюминатора. Голова девушки в красной косынке лежала на груди болезненного паренька в кубанке, с небритыми щеками. Они оба спали, и лица у них были мертвенно-бледны.

Два матроса из экипажа теплохода стояли у поручней и слушали третьего, игравшего на балалайке. Матросы удивленно следили за проворными пальцами своего приятеля. Его слушали пассажиры, плотно лежащие на палубе, и какое-то подобие улыбок освещало лица людей, замученных тревогами, качкой и ожиданием воздушного нападения.

В десяти кабельтовых от нас в кильватер шел второй транспорт, выбрасывая густые, демаскирующие валы дыма. Три эскадренных миноносца, зарываясь в свежей волне, сопровождали нас.

Караван шел в открытом море. Я пытался разглядеть в серой пелене берега Крыма. Возможно, вон та полоса над горизонтом и есть Чатыр-даг, а не просто плоское серое облако. Да, это Палат-гора. Она находилась теперь в руках противника, как и вся южная гряда полуострова.

Серое небо и серые облачка, рожденные испариной моря, держались над нами. Казалось, тучи цепляются за наши короткие серые мачты. Выцветший флаг с растрепанной бахромкой бился на кормовой мачте. Три чайки летели за кораблем. Чайки планировали

и лишь изредка взмахивали крыльями только для того, чтобы держаться точно по курсу корабля, используя даровую энергию воздушного потока, образуемого движением судна и теплыми газами.

— Добрая примета — чайки, — сказал вчерашний капитан третьего ранга. — Птица деликатная, на мертвечину не идет.

Капитан был выбрит до синевы. Вместо шинели на нем была легкая куртка-канадка с латунной молнией. Из-под канадки белел матерчатый подворотник кителя.

Я козырнул командиру. Он ответил приветливо, с молодцеватой небрежностью, и облокотился на поручни, глядя в воду.

Серые сырые облака обсыпали нас мельчайшей изморосью. За кормой вилась широкая кильватерная струя. Теплоход в меру покачивало, пассажиров начинало тошнить.

К капитану подошел человек во флотской фуражке, в меховой штормкуртке, поздоровался с ним за руку, закурил трубку. Это был немолодой человек с глубокими бороздами морщин на худоватом, узком лице, с каким-то недовольным, обиженным на нем выражением.

— А то иди ко мне, — сказал капитан, как бы продолжая прерванный разговор, — ты у меня в дивизионе пригодишься. Вот начнем давать духу врагу, засыпят и благодарностями и орденами.

— Не отпустят...

— Рапорт за рапортом — отпустят, — уверял капитан. — Не будет клевать обычным порядком, обратись по партийной линии к Стронскому, тот раньше Адама понимал моряцкую душу.

— К Стронскому тоже не просто добиться.

— Стронский — человек доступный. Не какой-нибудь там морячок, семь лет моря не видал. Стронский — свой брат, старый марсофлот. Надо, брат, сработать эту войну так, чтобы никто после войны, ежели жив будешь, конечно, пальцем на тебя не указывал. Лучше раз умереть человеком, чем умирать, как сука, триста раз.

— Это верно, — согласился собеседник и раздумчиво

выпустил клуб табачного дыма. — Умереть дельно, с толком тоже трудно. Вот ходим на этой посудине и ждем. Шырнут с любого борта торпедой, или на мину напоремся — и обратишься вот в подобие этого дыма, Михал Михалыч.

Море бежало у бортов взлохмаченной, некрупной волной, хотя мористее, все гуще и гуще шел белогорбец. Свежий ветер и ноябрьская морось не отяжеляли дыхания. Легкие свободно вдыхали этот воздух.

Я напряженно слушал то, что говорили эти два человека, не скрывавшие друг перед другом своих мыслей, сомнений, желаний.

— Вот послал меня на интересную работенку Николай Михайлович Кулаков, — продолжал капитан, — иди, мол, сработай. Севастополю помогать нужно не только от Инкермана или Сапун-горы, а больше всего — снаружи. Что же, откозырял: «Слушаю!» И вот иду к своему новому месту. На войне, брат, мы ничего не наживем, опять будет одна рубаша да одна тельняха, и слава богу. Самое главное на войне — нажать доброе о себе слово и хорошую память, ежели засундучат к дельфинам в гости.

— Если бы только меня отпустили к тебе, Михал Михалыч, — мечтательно сказал человек в шторм-куртке, — мы бы лихо сработали. Кто-кто, а я тебя бы не подвел.

— А если бы я знал, что ты меня подведешь, на кой бы дьявол я бы стал днище о камни царапать, а? Я знаю тебя, Павлуша, фанатик ты моря, а это — самое главное, — Михал Михалыч хлопнул его по плечу. — Ты мою Валентину Петровну-то помнишь?

— Ну, как же не помнить Валентину Петровну.

— Так вот, Валентина Петровна часто мне самому говорит: «Если бы ты, Михаил, не был фанатиком моря, не любила бы тебя нипочем». Отвечаю ей, моей Валентине Петровне: «Началась война, и пошел воевать твой Михаил, серьезно, надолго. Буду воевать, дорогая моя, учить других, сам учиться, а дома редко, очень редко бывать...»

— А как Валентина Петровна?

— Как? Раз фанатик, — значит фанатик. Принимает мою программу, гладит по последним моим кудрям.

А у меня, знаешь, какой характер, Павел? Как сойду на берег — сразу записую. Как стал на руль — все слетело. Каждый человек успокаивается возле своего родного дела.

— Везет тебе, Михал Михалыч, — сказал со вздохом человек, которого называли Павлом. — Ты всегда делаешь то, что любезно твоему сердцу. А у меня наоборот. Ежели, к примеру, прошусь на секретаря союза безбожников, меня метят в архимандриты, и наоборот.

— Не завидую. Из капкана своего выбирайся, Павел, — сердечно посоветовал Михал Михалыч. — И к нам, в торпедную, катерную. Малы, да удалы. А какие у нас ребята! Возьми Куракина Александра Афанасьевича, Шенгура Ивана Петровича, Проценко Виктора Трофимовича, Подымахина, Пелипенко, Сашу Местникова, ведь это, уверяю тебя, будут такие профессионалы боя! Как хорошие пианисты!

— Определенно. Надежные командиры.

— Эти уж знают, когда мотор лучше завести, холодным или горячим. Новичок скажет: «Лучше горячий», а мы скажем: «Холодный». Почему? Да у холодного больше компрессии, чем у горячего, потому материальная-то часть подношенная. И шут с ней, что подношенная. Нужно будет — на самолюбии будем плавать, а не на материальной части. Завязали завязочку двадцать второго июня и не скоро развяжем. А кончим войну — а мы ее обязательно хорошо кончим, — возьму кусок хромированной проволоки и сделаю себе серьгу в правое ухо.

— Серьгу? В ухо?

— На память сделаю! Когда вражеские танки провались к Севастополю, выстроил я своих орлов, сказал: «Помрем за Севастополь, а не сдадим! Зубами будем грызть танки, если придется, все ляжем, а не отдадим...» Хотя нечего вспоминать, обкаталось, — Михал Михалыч улыбнулся. — Пойдем-ка вниз, там у меня коньчишко имеется.

Я посторонился, и командиры прошли мимо меня.

К борту подошла девушка, та, что спала у иллюминатора. У нее попрежнему было бледное лицо, под глазами круги.

— Я никогда не плавала в открытом море, — сказала она, поймав мой взгляд. — Не совсем хорошо себя чувствую. А моего брата закачало совсем.

— Это ваш брат в кубанке?

— Да. Я кое-как успела вывезти его из тубинститута, из Массандры, — ответила девушка. — Он очень серьезно болен. У него открытая форма туберкулеза. Двухсторонний процесс...

— Вам неудобно на палубе: холодно, сыро...

— Мы были в каюте, — тихо сказала девушка. — Нас устроил начальник порта. Но еще до отхода влетел какой-то моряк в каюту и... попросил нас отсюда.

— Моряк? — переспросил я.

— Тише, — девушка оглянулась, — ничего не поде-лаешь. Военным, конечно, нужно получить лучшие условия. Ведь им после перехода по морю, может, сразу в бой.

— Кто же выбросил вас из каюты?

— Не надо, не надо...

— Скажите. Ведь стыдно нам всем. Не может так поступить настоящий моряк!

— Командир, который занял нашу каюту, — девушка приблизилась ко мне, — стоял здесь. В такой вот короткой кожаной куртке, красивый такой.

Я быстро, перепрыгивая через людей, лежавших на палубе, направился к пассажирскому люку.

На трапе я столкнулся с Дульником. Он приглашал меня завтракать. Я взял его за рукав и потащил за собой. Дульник, догадавшись, что произошло «че-пе», то есть чрезвычайное происшествие, охотно последовал за мной, не спросив о причине волнения.

Мы пробирались с ним по коридорам первого класса. Судно тягуче скрипело. Сверху, на палубе, слышалось глухое лязганье подкованных железом каб-луков.

Наконец я разыскал каюту капитана. Я постучал в дверь.

— Кто-то там ломится, Фесенко? — крикнул капи-тан. — Впусти!

Щелкнул ключ, дверь приоткрылась. В дверях стоял подвыпивший Пашка с аккуратно зачесанными

назад волосами, во фланелевке, на которой висела надраенная до блеска медаль «За отвагу».

Фесенко, видимо, ожидая встретить командиров, приготовил почтительную улыбку. Увидев же меня, растерянno взглянул немигающими удивленными глазами и вдруг юркнул в каюту.

Я застучал кулаком.

— Да кто там, Фесенко? Пусти хоть самого дьявола! — закричал капитан.

Фесенко снова приоткрыл дверь. Теперь на его голове была мичманка, а на поясе пристегнут морской пистолет. Я сунул ногу между дверью и нижним пазом филенки и нажал плечом.

— Фесенко, это я, Лагунов!

Пашка сделал притворно удивленный вид, протянул мне руку:

— Сколько лет, сколько зим!..

Еле сдерживая накипевшее во мне негодование, я принялся укорять Фесенко за его возмутительное отношение к девушке и ее больному брату. Не дослушав меня до конца, Пашка посмотрел на часы и, взяв мою руку выше кисти, пожал ее и легонько подтолкнул меня от двери:

— Иди, брат, отдохни...

Я с силой оттолкнул его. Пашка отпрянул от меня с внезапно посеревшим лицом, дверь с треском распахнулась. Из-за каютного столика поднялся Михал Михалыч; он был без кителя, в одной тельняшке, открывавшей его сильные, волосатые руки и грудные мышцы. Его белки, покрасневшие от коньяку, налились кровью. Вероятно, этот человек был страшен в гневе.

Не знаю, чем бы окончился этот инцидент, если бы на помощь мне не пришел Дульник. Он неожиданно очутился впереди меня. Его звонкий, мальчишеский голос по всем уставным правилам рапортовал капитану третьего ранга о причинах нашего вторжения. Дульник стоял в идеальном положении по команде «смирно», не опуская пальцев выгнутой ладони от виска, с откинутыми назад плечами и левой рукой, прижатой ко шву.

Михал Михалыч улыбнулся, взял бутылку и, налив

по полной чашке коньяку, поставил чашки на ладонь, протянул нам.

— Эх, марсофлоты, марсофлоты, — со вздохом произнес он, — зеленые юноши. Давай-ка, опрокидывай!

Михал Михалыч смотрел на нас с испытующей лаской. В его глазах светились теперь веселые огоньки. Дульник попытался начать тост за здоровье капитана третьего ранга, но Михал Михалыч прервал его:

— Выпьем, ребята, за то, чтобы и в пятьдесят лет у вас сохранился такой характер... чтобы... и в пятьдесят лет вы смогли бы делать так называемые необдуманные поступки, в самом хорошем смысле этого слова, — он покусал свои темные губы. — Выпьем, ребята, чтобы в человеческих отношениях не было, чорт возьми, постоянного расчета, второй мысли, чтобы друг был другом по-настоящему, чтобы не боялся своего.. друга. Поймите меня правильно, ребята. Не искривите мою мысль... Желаю вам прожить сто лет, а ежели начнете румб за румбом отклоняться с такого курса, молитесь богу, чтобы отправил вас к дельфинам раньше, чем сделаетесь подлецами...

Михал Михалыч первый залпом выпил коньяк, медленно вытер свои сжатые губы и сказал Фесенко:

— Выматывай весь хабур-чабур из каюты.

Фесенко зло глянул на нас:

— Товарищ капитан третьего ранга, я думаю...

— Я люблю думающих людей, — оборвал его Михал Михалыч, — а сейчас наберись мужества и обдумай прежде всего свою ошибку...

Приятель Михал Михалыча сидел на койке, откинувшись спиной к стенке, и внимательно наблюдал за всем. Он не проронил ни одного слова. У него попрежнему лицо оставалось обиженным, недовольным.

Фесенко принялся собирать пожитки по каюте, стараясь все время быть к нам спиной. Михал Михалыч поправил пистолет на поясе, натянул на себя китель, застегнулся, вынул из кармашка кителя гребенку и быстрыми взмахами руки причесал свои редкие черные, с небольшой проседью волосы.

— Мы, Павлушка, перебазирuemся на твою плө-

щадь, — сказал Михал Михалыч, — а то этот услужливый балбес еще чего-нибудь набедакурит.

«Павлушка» молча кивнул головой, встал и вышел вместе с капитаном.

Мы остались наедине с Фесенко, не окончившим еще сбор вещей. Он заискивающе улыбался мне, поминутно вытирая пот со своего белого лба, полуприкрытого новеньким козырьком мичманки. Пашке хотелось завоевать наше прощение.

Девушка и ее брат заняли каюту. Девушка чувствовала себя неловко и виновато оправдывалась. Брат натужно закашлялся сильным легочным кашлем. На платке, поднесенном к его рту сестрой, появилась кровь. Девушка быстро смяла платок в кулаке, на глазах ее выступили слезы. Мы покинули каюту. Фамилия этих молодых людей из Керчи была Пармутановы. Ее звали Камелия, его — Виктор.

Люди лежали на палубе под моросящим дождем, прикрывшись одеялами, шинелями, чехлами от оружий, установленных на палубах «Абхазии».

Тучи заволокли небо. Только в одном месте была видна бледноглубоватая полоска, протянутая будто акварельной краской над потерявшимися вдали берегами Крымского полуострова.

Матросы шептались между собой. Оказывается, только что радист пробежал из рубки к капитану теплохода с радиограммой о появлении вблизи вражеской подводной лодки.

Мне было тоскливо. Хотелось с кем-нибудь поговорить, высказать свои мысли, поделиться ими.

Я вздрогнул от чьего-то прикосновения. Рядом со мной, отворачиваясь от ветра, стоял Пашка с виноватым выражением на лице.

Мелкие капельки дождя оседали на его шинели, серебрили черный ворс, подрагивали на козырьке.

— Ты не серчай на меня, Сергей, — сказал Пашка, — всякое бывает в жизни.

Фесенко, чувствуя мою отчужденность и криво улыбнувшись, вытащил из кармана пачку папирос и протянул мне. Я отказался. Тогда он закурил папироску и, перейдя от меня под ветер, облокотился на поручни. Если ветер нагонял дым на меня, Фесенко

отмахивал дым рукой, искоса следя за мной своими зеленоватыми, прищуренными глазами.

Мне вспомнились слова Михал Михалыча, произнесенные с такой подкупающей искренностью. Я подумал, что я слишком строг к Пашке, что мы оба участники битвы, завязавшейся всерьез и надолго, на жизнь и смерть. И я притронулся рукой к холодной и мокрой руке Фесенко.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«ТЫ НЕ ЛЮБИШЬ СВОЙ ПОЛК!»

Красноармеец из службы охраны аэродрома сопровождал меня к командиру полка по его вызову.

Мне казалось, что причиной вызова был найденный в наволочке разобранный автомат, который я должен был сдать по общему приказу для вооружения парашютистов, формируемых в Гудаутах. Считая себя парашютистом, я не сдал автомата. Меня нашли возле самолета, посадили на гауптвахту — каменный амбар, примыкавший к вещевым складам. Прoderжали на гауптвахте два дня, и вот, наконец, меня ведут к самому командиру полка майору Черногаю.

Моя вина кажется настолько незначительной, что я не задумываюсь об исходе моего разговора с командиром полка, несмотря на его неустойчивый, грозный характер. Шагая рядом со связным, я продумываю возможные вопросы комполка и мои ответы, поражающие даже меня самого своей логичностью.

Низкие облака подползают с моря в нашу долину, языком вдающуюся в горы. Облака подгоняет посвежевший к вечеру «морячок». Крахмальная окаемка молодого, пухлого снега на середине хребта не вяжется с отчаянно зеленой травой, застлавшей, словно ковром, аэродромное поле, вкривь и вкось расписанное узорами самолетных баллонов.

Грязные, будто обозные кони, то там, то здесь пригнулись недавно вернувшиеся из боя истребители. Ка-

жется, машины вспотели и чрезвычайно устали. Эти поджарые, узконосые машины вызывают во мне теплое, признательное чувство.

Южная зимняя сырость пронизывает. Хочется спрятать нос в воротник, хочется потереть руки или помахать ими для кровообращения. Но я воздерживаюсь от лишних жестов.

Возле самолетов люди. Они знают меня.

Мне хочется спрятаться от людских взглядов, скорее разъяснить все. Я невольно ускоряю шаги. Конвоир догоняет меня. Толстенький солдат в ватнике, перепоясанном ремнями, с соломенными ресницами, сутулыми плечами и озябшими большими кистями рук, торчащими из коротких рукавов шинели, недовольно ворчит:

— Тише. Куда бежишь? Успеешь еще, молодец! Командир злой сегодня. Три самолета не вернулись.

Комполка третьи сутки болел гриппом и ангиной, но, несмотря на болезнь, делал лично два-три боевых или патрульных вылета. Сегодня он потерял над Туапсе трех лучших своих пилотов и был раздражен до крайности. Красноармеец был безусловно прав: сегодня не стоило бы попадаться под горячую руку майору.

Адъютант приказал мне подождать и пошел доложить обо мне майору. Через неплотную прикрытую дверь я услышал его доклад и сказанные в ответ нелестные слова по моему адресу. Кровь бросилась мне в лицо. Теперь не было сомнения, что там, за тонкой, фанерной дверью, окрашенной самолетной краской, уже было составлено обо мне предубежденное мнение.

Адъютант предложил мне зайти к командиру. Я стиснул челюсти, зашел в комнату, остановился у порога.

Майор Черногай сидел возле стола в меховом комбинезоне с распушенными «молниями» и пил горячее молоко с боржомом. Его ноги в меховых сапогах с кожаной осоюзкой были широко расставлены. На полу перед майором лежали карта, расчерченная квадратами и исписанная цветными карандашами, летный планшет, краги. Шлем с прикрепленными к нему

очками лежал на столе, прижатый локтем. Кожаные коробки телефонных аппаратов были сдвинуты к краю стола для удобства разговора. На столе лежал пистолет в кобуре с расстегнутой кнопкой. Морской китель майора висел на стене на плечиках. На кителе были привинчены боевые ордена и подшит чистенький подворотник. Большая карта Черноморского бассейна висела на стене от потолка до самого пола. Майор пил молоко с боржомом, молчал, сопел, и поэтому у меня было время разглядеть его обезображенное лицо.

Майор недавно был писаным красавцем — так говорили его друзья, — с неистощимым проворством он разыскивал самолеты врага и сжигал их вместе с экипажами, скорострельными пушками и мудрыми приборами. Это было в районе полуострова Ханко, фактически над чужой землей. Майора выследили авиаторы противника, большой хищной стаей набросились на него и, вдоволь поиздевавшись, заставили его выбраться с парашютом из горевшего самолета, а потом кружились вокруг, пытаясь расстрелять из скорострельных офицерских «вальтеров». Сбивая ладонями пламя со своей одежды, майор опустился в море недалеко от полуострова и нашел в себе мужество доплыть до прибрежных скал крупной, русской саженью.

Его сильная воля вступила в непримиримую борьбу со смертью, и он поборол ее.

Теперь майор Черногай носился, как огненный снаряд, над окровавленной землей. Почти каждый день техники подрисовывали на фюзеляже его самолета новые звезды — счет сбитых самолетов врага. Самолет комполка даже враги называли «кометой», и сколько бы ни было ассов, — при виде «кометы» разлетались в стороны, стараясь удрать от его неистребимого гнева.

Вот комполка поднял на меня глаза, окруженные изуродованной кожей:

— Ты что же хочешь? В трибунал?

— Разрешите объяснить, товарищ майор.

— Все, что мешают.. — его щеки, так же обожженные, как и глаза, и покрытые рубчатыми складками.

неравномерно покраснели, обезображенный кулак угрозил в воздухе.

Я увидел обожженную кожу его кулака, розовые полосы, расходящиеся, как вожжи, от пальцев, и замолчал. Такой человек мог кричать и угрожать мне. И если он кричит, и угрожает, и не желает выслушать мои объяснения, — значит все верно и надо, не задумываясь, принимать наказание. И я замолчал.

Ладони моих рук вспотели, в глазах все начинало расплываться.

Я очнулся от крика майора. Он стоял передо мной, глядя на меня своими страшными глазами с обнаженными нижними веками, притянутыми почти к щекам розоватой кожей шрамов.

— Почему ты молчишь?

— Простите, товарищ майор.

— «Простите»! — его губы скривились в язвительной улыбке. — Ты с кем говоришь? С учителем танцев?

Мое молчание накаливало комполка, гнев душил его.

— Ты не любишь свой полк! — выкрикнул майор. — Сегодня в воздушном бою погибли три великолепных пилота, а ты молчишь. Пишешь заявление о переводе в другую часть, будоражишь массы. Тебя надо предать трибуналу за презрение к своему полку.

Я молчал. Действительно этот полк был для меня чужим. Мой дух бродил где-то над сопками Севастополя, в блиндажах у Чоргуна, на улицах крепости, где четко отбивали походный марш пыльные ботинки приморцев. Мне чудились сейчас упавшие вниз лицом мои друзья.

Зазвонил телефон. Майор взял трубку, поставил ногу на стул и приготовился слушать. Услышав первые фразы, он сел на стул, подвинул к себе лист бумаги, схватил карандаш и стал писать, приговаривая: «Да, да, да».

Вот он схватил ручку второго аппарата, повертел и бесстрастным, металлическим голосом, в котором не оставалось и следа недавнего раздражения, произнес:

— Атакован севастопольский караван... Да... Вылетаем всем полком.

Майор встал. Его глаза безразлично скользнули по мне: вероятно, он уже не видел меня.

Комполка быстро натянул шлемофон. Молнии комбинезона с сухим треском прошлись кверху. Он пристегнул пистолет, схватил с пола планшет. Потом его слезящиеся глаза с вывороченными, красными веками изумленно уставились в меня.

— Адъютант!

Адъютант вбежал, как бешеный.

— Его... — палец комполка мелькнул у моего лица, — на гауптвахту! Прилечу с задания — закончим разговор.

От моря несло соленым ветром, смешанным с гиблым туманом. Под ногами чавкало. Ветер добирался до тела, знобил. Жизнь казалась мне отвратительной штукой.

Матово мерцали фугасные ямы на кромке летного поля, наполненные до краев водой, будто ртутью. Над северными отрогами гор нордовый ветер вытягивал и крутил, как жгут, зловещую тучу.

Красноармеец, сопровождавший меня, потянул носом воздух, сказал, смешно сжимая и разжимая обветренные губы:

— Туапсе досе горит. С Крыма летает, едри его на качан, — потер озябшие руки, подул на пальцы.

Навстречу нам быстро шел моряк в ватной куртке. Ленточки бескозырки были зажаты в зубах. Моряк наклонил голову, чтобы не поддаваться ветру. Из-под его сапог фонтанами разлеталась вода. Это был Дульник. Появление его здесь не могло быть случайным.

Он поровнялся с нами и изумленно воскликнул, как бы встретивши меня невзначай:

— Лагунов!

Я остановился в нерешительности, не зная, как подбает мне держаться в моем положении.

Дульник всплеснул руками:

— Вот у меня тоже так получилось, Сергей! Вдруг с моей подшефной машины начало пробивать масло. Аэроплан вернулся, и меня за шкуру...

— Иди, иди, ухарь, своей дорогой! — приказал конвоир. — Давай, арестованный, шагом арш!

— Нельзя же так, — укоряюще сказал Дульник, — не осужденный же... Встретились приятели.

Дульник потрогал ладошкой отросшие на моем затылке волосы, покачал головой.

— Не чешешься, Сережа? Ай-ай-ай! На «губе» скушно. — Он глубоко запустил руку в карман своих ватных штанов и извлек оттуда обыкновенный гребень. — Вот тебе мой подарок, почитай... тью... — Дульник притворно кашлянул. — Почешись...

Он кивнул мне многозначительно и обнадеживающе, передернул зябко плечами, быстро пошел своим путем.

Когда громко щелкнул замок амбара, я вытащил гребешок, прощупал его в темноте. Поверхность гребня была шероховата. Я зажег лампу, сел спиной к окну и прочитал нацарапанные на гребешке слова: «Камелия встречалась со Стронским, который им знакомый. Жди. Не хнычь душой».

Витиеватая буква «Д», похожая на старинный дворянский герб, заключала послание Дульника. Я невольно улыбнулся. Опять мой друг не мог даже в таком деле обойтись без выдумок. Можно было предупредить меня гораздо проще. Обязательно гребешок... выцарапанные на нем слова...

Камелия — конечно, девушка с «Абхазии». Стронский? О нем говорил Михал Михалыч: «Не будет клевать обычным порядком, обратиться по партийной линии к Стронскому, тот раньше Адама понимал моряцкую душу».

Мне припомнился вошедший в мое детство худощавый лысоватый человек с внимательными, решительными глазами, в которых горела одна пламенная идея.

Стронский пришел тогда к нам, в рабочий поселок, с поразившими меня татуировками на своих матросских руках. И эти самые руки, казалось, притащили на наш водоплеск, притихший после гибели «Медузы», моторные баркасы «Завет Ильича» и «Боец коммунизма».

Море, казалось, колотило в стены амбара. У затуманенного испарениями окна недвижимо отпечатался силуэт часового, будто вырезанный из дымчатого кар-

тона. Часовой сторожил не только гауптвахту, но и склады, а мне казалось, что этот человек специально приставлен ко мне.

Тело начинает непроизвольно дрожать мелкой, мерзкой, независимой от моей воли дрожью.

И самое страшное, что сжигает меня, — отрицание вины. Мне думается, что я не нарушил присягу, данную мной на Крымском полуострове первого мая сорок первого года.

Да, я писал письма в отдел кадров флота с просьбой перевести меня в парашютно-десантные части. Но формально я мог, имел право проситься о переводе в другую часть, непосредственно действующую на фронте. Да, меня влекло только туда, и, пожалуй, я не отдавался целиком своей работе и не так сильно, как полагается, любил свой полк. Меня влекло туда необъяснимо. Да, я, пожалуй, не был влюблен в свою сегодняшнюю работу «хозяина самолета» и не так, как полагается, любил свой полк. Да, я не сдал автомата, несмотря на приказ. Мне казалось, что я поступаю правильно. Мне не хотелось отрывать от себя частицы Севастополя, имя которого было для меня синонимом славы человеческого духа.

В ушах настойчиво звучал голос Михал Михалыча: «Сработать надо войну правильно, никто пальцем на тебя не должен тыкать».

Низко над амбаром проревели самолеты. Зримо представились мне их узкие тела, рассекающие, как шпагами, твердый, набрякший влагой воздух.

Вот сейчас над шиферной крышей пролетел изуродованный комполка, только что отстоявший севастопольский караван. Безусловно, он отстоял его. Он не может худо выполнить поставленную перед ним задачу.

Если вернулась «комета», — значит выполнена боевая задача.

Я вскочил с койки, прильнул к стеклу разгоряченным лбом. Море зловеще атаковывало берег. На площадке зажмурился яркий глаз прожектора. Чугунная темнота снова нашла на поле. Медленно прошагал часовой. Я видел его в профиль, повернутый туда, куда смотрел я.

Сейчас Черногай отбросил колпак, вылез на крыло и тяжело спрыгнул на землю. Зашуршали змейки «молний», содран с мокрой головы шлем. Ночью никто не видит его лица, и он, наслаждаясь покоем, шутлив и доходчив. А хотя бы и вспыхнули тысячи ламп! Изуродовано лицо, а не душа!

Я забылся в беспамятстве и проснулся, разбуженный самим командиром полка.

— Тебя, Лагунов, требует к себе высокое начальство, — сказал Черногай отходчивым голосом. — В случае чего я буду защищать тебя, Лагунов. Погорячились и ладно...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ШУВАЛОВА

Я стоял навывтяжку у дверей в кабинет генерала Шувалова.

— Что же это у него? — раздраженно сказал генерал и, короткими пальцами выудив из груди бумажку, потряс ею в воздухе. — За месяц шестого! Кто-нибудь этим интересуется, Стронский?

Генерал обращался к человеку в военно-морской форме, который стоял, заложив руки за спину, у широкого итальянского окна, выходившего в сторону порта.

— Вот поэтому и поставлен вопрос перед вами, — ответил Стронский, не вынимая рук из-за спины и глядя на генерала спокойными, а может быть, усталыми, глазами. — Формально он прав.

— Формально! — Шувалов опять потряс бумажкой. — Выявлять надо недостатки подчиненных, а наказывать только прямые преступления. Так, в конце концов... мы всех штрафниками сделаем...

Стронский устало улыбнулся, передернул плечами, что могло означать и возражение и согласие.

— Героический командир полка, — и тихо сказал: — Много испытывший, злой... Как солдат безупречный. Подтягивает полк.

Шувалов положил бумагу на стол, прошелся по комнате быстрыми шагами, остановился возле меня.

— Ишь, какие юнцы! У него еще в голове...— Генерал покрутил возле редких своих волос пальцами. — Из комсомола, от мирной работы, от забав сразу швырнули в такую... в такую... мясорубку.

Шувалов быстро подошел к столу, снял с бутылки перевернутый на горлышко стакан, налил нарзану, жадно выпил.

— Мясорубка, — подтвердил Стронский.

— Отцы и матери нам их доверили, — продолжал генерал, — отдали на пригляд. Надо душевней воспитывать молодежь, а не пинками.

В этот момент я мог бы выпрыгнуть из окна за генерала Шувалова. Мгновенно какие-то цепкие канаты прикрепили меня к этому порывистому человеку, на первый взгляд такому холодному, а оказывается, душевному, понимающему, благородному...

Так вот каков генерал Шувалов, о котором рассказывал нам капитан Кожанов в крымском горном лесу!

— Поэтому я и решил обратить лично ваше внимание на дело Лагунова, — сказал Стронский, поднес худую татуированную руку ко рту, кашлянул. — Дело такое, как повернуть... Точка зрения командира полка вам известна.

Шувалов обратил ко мне свои добродушные, но пытливые и, казалось, с хитрецей глаза.

— Командир обязан знать всех не гамузом, а в одиночку, — сказал он хрипловато-тонким голоском, — знать моральные и физические качества каждой доверенной ему индивидуальности и соответственно требовать с каждого по его силам. А ты, Лагунов, знаешь, кто твой командир? Научился уважать его, как личность, как человека, а не только за галантерейные нашивки на рукаве?

— Наш командир полка майор Черногай — герой полуострова Ханко...

Шувалов остановил меня:

— Этому вас выучили... Знаю утвержденную для проработки биографию вашего комполка. А знаешь ты, к примеру, как погиб отец вашего комполка?

— Нет, товарищ генерал.

— То-то, юноша, — генерал поднял палец. — Его

отца погубили колчаковцы в Сибири в гражданскую войну. Привязали его голого к лиственнице и оставили на съедение мошкаре, гнусу. Есть на Енисее такая мошка, маленькая, как москит. Эта мошка ходит тучами днем. Она не пьет кровь, как комар, а садится на тело и вгрызается в мясо,— генерал ущипнул себя за шею, скривился, как от физической боли. — Сядет, вопьется, выест кусочек мяса и улетит к чертям собачьим. Так и разнесли коммунара по кускам, источили до костей, оставили скелет на веревках... А сына, то есть вашего командира полка, гитлеровцы сожгли. Гонялись, гонялись и догнали. Сожгли... Вот какие люди двух сменяющих друг друга советских поколений. Отец и сын. За что же они претерпели такие муки? За Родину, Лагунов. Их до костей съедал гнус, их до костей сжигали, а Родина целехонька оставалась и останется... Такие вещи надо впитывать в кровь, а не зубрить. У тебя чем занимается отец? Жив?

— Жив, товарищ генерал, — ответил я.

— Я знаю его отца давно, — Стронский подошел к столу. — Его отец председателем колхоза в станице Псекупской.

— Отец — председатель колхоза, а сын против коллектива? — генерал широко открыл свои синие глаза, с нездоровыми, отечными мешочками.

Я молчал, подавленный новым обвинением.

— Три миллиона парашютистов-диверсантов, нож в зубы, прыгай, режь, коли! Рокамболи?

Я вспомнил злополучные мои заявления о переходе в группу Балабана. Да, я писал о необходимости глубокого проникновения в тылы противника, чтобы парализовать его смелыми и решительными действиями небольших групп и одиночек.

Стронский подошел ко мне и спросил, стараясь придать ласковые интонации своему голосу:

— Генерал спрашивает, почему твой отец был вожаком колхозного движения, первым трактористом, а ты против коллектива?

— На войне — да! — ответил я.

— А разве есть разница?—удивленно спросил генерал.

— Да, товарищ генерал.

Стронский безнадежно махнул своей татуированной рукой и сел на подоконник, заложив ногу за ногу.

— Какая же разница? — допытывался Шувалов.

— В сельском хозяйстве коллектив созрел и дает результаты, а на войне я видел обратное... Как один — хорошо, как два — хуже, как десять — разброд.

— Так, — генерал прошелся по кабинету с довольной улыбкой. — Сколько мы воюем?

— Полгода, товарищ генерал.

— Так... — генерал облегченно вздохнул. — А коллективное сельское хозяйство... сколько воюет?

Хитрец так и запрыгал в его глазах.

— Если считать с расцвета колхозного движения, то есть с двадцать девятого года, то... тринадцать лет, товарищ генерал.

— Тринадцать лет, — повторил генерал. — Видишь, какой разгон? — поймал язвительную улыбку Стронского, взъерошил волосы, обратился к нему: — Ты думаешь, Стронский, что я предполагаю и в войне брать такой разгон? Нет, нет, батенька, так не размахнемся щедро. А разгон нужен. Только вот такие мыслишки, как у этого юноши, надо быстрее вытряхать, — он снова повернулся ко мне: — Один-то в поле — не воин. Есть нестойкие части, бегут. Почему бегут? Потому что не верят друг другу. Не чувствуют силы коллектива. Каждый на свои силы надеется, а что получается? Ничего не получается. Какая сила у одного человека?

Шувалов огляделся, всплеснул руками:

— Сейф-то опять на том же месте стоит! Зимнее-то зимнее солнце, а юг все же сквозь стекло палит, мастику на печатях плавит... Лагунов, подвинь-ка сейф в тот прохладный уголок.

Мне показалось, что генерал решил надо мной подшутить. Я не двигался с места. Шувалов повторил приказание.

Я, чеканя шаг, подошел к сейфу. Увы, тронуть его с места, даже чуть-чуть приподнять не было сил. Мои ладони натужно срывались с полированных стальных боков шкафа.

— Не поддается, шут его задери! — сказал гене-

рал, наблюдавший мою возню. — Ну-ка, я помогу, Лагунов.

Генерал подошел с другой стороны, обхватил шкаф широко расставленными руками, побряхтел.

— Стронский, чего любишься? Давай сюда...

Стронский, видимо, больше из любопытства, чем для дела, поддел шкаф снизу руками, но тут же бросил, разогнулся, оглядел руки с приставшей к ним паутиной.

Шувалов же, довольный своей затеей, покричал в приемную:

— Заходите! Кто там?

В кабинет быстро вошли несколько командиров, и среди них Михал Михалыч. Генерал глазами указал им, что нужно делать.

Михал Михалыч сбил оправку пистолета за спину, подморгнул своему другу, известному уже нам Павлуше, и остальным командирам и налег на сейф, ухватившись за него своими крепкими коричневыми руками.

— Ну, взяли! Еще раз взяли! — крикнул он весело.

Сейф передвинули. Шувалов проводил запыхавшихся командиров в приемную. Я, смущенный, стоял на ковровой дорожке посредине комнаты.

— Практическое обучение наглядным способом? — прищурившись, спросил Стронский.

— Просто к месту пришлось, Стронский, — весело ответил генерал. — Сейф давно прошу переставить поближе к моему креслу. Удобней...

Шувалов налил нарзан, медленно вытянул весь стакан.

— Видишь, Лагунов. Никакие серафимы и херувимы не помогли. Взялся один—тык-мык, и ни с места. Взялись вдвоем — только дыхание развели, и третий почти не помог. А налетели гуртом — и на месте стоит стальное чертило. А ты думаешь, германская армия легче этого шкафа? У них Рурский бассейн, Силезия и еще немало всяких бассейнов и бассейников. Знаешь, сколько они стали выплавили в год? — генерал назвал цифру. — Переведи-ка это на машины войны. Давит, ползет всеми сейфами на нас. Как к нему ключи подо-

брать? Они смерть строили, а мы жизнь: коллективы, тракторы, комбайны, сенокосилки, гидростанции, — не мешали никому. Перестраиваемся сейчас, двигаем на восток со всеми заводами, станками, инженерами. Когда будет что, не знаем... Не знаем... Но решим все, коллективно. Один ничего не сработает. А ты хочешь единоличником войну смастерить и добиться победы... Вот что главное...

Пароходный гудок пропел густой октавой. Шувалов приблизился к окну, остановился, уперся растопыренными пальцами в раму. Стронский тоже повернулся к окну. Они стояли спинами ко мне и смотрели на порт, который мне отсюда не был виден.

— Караван благополучно дотянул из Севастополя, — сказал Шувалов, — раз, два, три, четыре, пять, семь... А те «эс-ка», видно, здесь подстроились. Как позашмурыгали, красавцы! Плавает это себе корабль в мирном море, белый, как лебедь, глаз отдыхает, а приходит проклятая война, — и так все мрачно, а тут еще снимаем все веселые тона, маскируемся под ящериц, под гадюк, под землю...

Шувалов подошел к радиоприемнику, накрытому в углу вышитой птичками скатерткой, включил.

Вскоре зазвучал мужской голос. Теперь он спокойно скандировал официальную передачу: «На подступах к Севастополю на всех участках фронта в течение дня продолжались ожесточенные бои. Части нашей армии стойко отражают натиск врага, нанося ему огромный урон в живой силе и технике. В районе Ч. наши подразделения в двухдневных боях истребили до половины состава дивизии и много материальной части».

Генерал подошел к карте, дернул шнур. Шторка сошлась сборочками.

— В районе Ч., — Шувалов пожевал губами, — вероятно, здесь? Чоргунь?

— Чоргунь, товарищ генерал! — выпалил я.

— Откуда знаешь?

— Дрались там, товарищ генерал.

— После Карашайской?

— После, товарищ генерал.

— Верно, верно, дрался...

Генерал нагнулся к ящику стола, вытащил красную папку с бантиками из шелковых ленточек. Его пальцы неумело развязали один за другим все три бантика.

Подозвав глазами Стронского, Шувалов раскрыл папку.

— Его к награде представили, — генерал скользнул по мне испытующим взглядом, — видишь, за Чоргунь. Боевым. Отличился. Думал задержать представление, а теперь не знаю...

Из эфира доносился тот же спокойный голос:

«...наша часть перешла в контратаку. Завязался кровопролитный бой, перешедший в рукопашную схватку, в которой немцы понесли большие потери. Только один боец Александр Редутов убил одиннадцать вражеских солдат и одного офицера».

Саша! Александр Редутов! Все, что до сих пор волновало и беспокоило меня, вдруг провалилось куда-то.

Я думал о Саше, который готовился стать архитектором. Моим взорам представились облитые кровью нуммулитовые скалы со следами лопат и кирок, обрызганные мелкими кусочками снарядной стали, расклеванные пулями.

— Пусть посидит пока в приемной, — сказал Шувалов. — Распорядись, Стронский... Отца-то близко нет... Приму еще несколько человечков, а потом с ним договорим. Это же ему на всю жизнь. Может, из него натурального человека сфабрикуем...

В приемной я присел на мягкий диван. Михал Михалыч подвинулся, любопытно пронзая меня своими угольными глазами.

— Э, брат, видно, сработался у этого моториста последний ресурс, — сказал он приятелю, — шел бы он ко мне в дивизион «тэ-ка», сразу бы на ветерочке окреп. Там, брат, на ножках не пошатаешься: начнешь шататься — враз кости к чертям...

Адъютант громко вызвал Михал Михалыча.

А когда он вышел из кабинета генерала вспотевший и сияющий, как кусок антрацита после дождя, и, подхватив хмурого Павлушу, повлек его за собой с довольным, булькающим смешком, меня снова позвали.

Генерал и Стронский сидели рядышком на кожаном диване и, видимо, только что закончили разговор, доставивший им взаимное удовольствие.

— Садись, Лагунов, на стул напротив и отвечай мне на некоторые вопросы, — предложил генерал.

Я примостился на кончик обитого желтой кожей стула.

— Ты «Капитанскую дочку» читал?

— Читал, товарищ генерал.

— Сочинение на эту тему писали в школе? Да ты сиди, не вскакивай.

— Сочинение именно на эту тему не писали, товарищ генерал.

— Жаль, — генерал приподнял брови. — Ты помнишь эпиграф к этой повести? Пословицу, что приведена в уголочке перед первой главой: «Был бы гвардии он завтра ж капитан. Того не надобно: пусть в армии послужит. Изрядно сказано! Пускай себе потужит»?.. Так вот перед этим посвящением, в уголочке, справа? А?

— «Береги честь смолоду», — жарко выдохнул я врезавшиеся мне в память слова.

Генерал встал, протянул руку к звоночной кнопке под крышкой стола. Вошел адъютант, прилизанный, отглаженный, будто только сейчас из-под утюга, прилип у двери, вонзив только в генерала свои бархатные глаза.

— Нарзанчику, — приказал Шувалов.

Адъютант круто повернулся, щелкнул задниками, вышел и, не успев латунный маятник старинных кабинетных часов сделать несколько взмахов, возвратился с двумя бутылками нарзана. Он ловкими жестами сорвал плоским ключиком штампованную головку бутылки, зажал ключик в руке и, теми же бархатными глазами испросив разрешения, вышел с таким суровым видом, будто шел в бой. Генерал проводил его с усмешкой, кивнул на дверь:

— Вот выработалась же подобная адъютантская формация, Стронский. Ненавижу всей душой такие повадки... Чорт его знает, что за неистребимая подлость въелась в человеческую душу!

Стронский усмехнулся, похрустел пальцами.

— Итак, береги платье снову, а честь смолоду,— сказал генерал и, сложив руки на животе, уставился в меня пытливым взглядом. — Видишь, Лагунов, нам пришлось вместе с давнишним другом твоего батьки представлять собой что-то вроде гусарского офицера Зурина во второй его ипостаси. Поступило дело, подмахнули бы и в трибунал. А там? Психологические расследования сейчас заводить некогда... — Шувалов помолчал и строго сказал, обращаясь ко мне: — Если тогда важна была честь смолоду, то теперь особенно... Особенно важно сохранить советскую честь нашей молодежи, сохранить честь нашего советского отечества, его независимость. Тебе представляется возможность закалить себя на всю дальнейшую жизнь. Если будет так, к тебе потом не подступись — будешь откован, закален и отточен, как булатный кинжал. А ты что делаешь, Лагунов? Советской родине плохо, а ты митингуешь. Много болтаешь...

— Товарищ генерал, разрешите?

— Пока не разрешаю, — генерал пожевал своими большими губами. — Армия должна исполнять приказы как подобает, хорошо исполнять, драться, если прикажут, не на жизнь, а на смерть. Судя по некоторым данным, — Шувалов взглянул на мое дело, лежавшее на столе, — ты недоволен отступлением. Вас научили критиковать в мирной жизни. Отлично. А вот в армии не может быть подобной критики. Да и что ты знаешь снизу? Какая у тебя колокольня? Если каждый рядовой начнет критиковать, что получится?

Стронский вытерся платочком, скосил глаза на генерала, — мягко возразил:

— Мне думается, и сейчас наши рядовые должны, конечно, строго и неукоснительно выполнять военные приказы, но доводить их своими сердцами, даже, пожалуй, не сердцами, а точными знаниями, политическими знаниями...

Генерал остановился:

— То есть, ты думаешь, Стронский, что я против сознательности? За слепое выполнение приказов? Я против критики этих приказов, против митинговщины.

— Это вопрос не спорный, — сказал Стронский, — не в этом дело...

— Могу утешить тебя, Стронский, — продолжал Шувалов, видимо, задетый замечанием, — скажу: многое непонятное в сегодняшней стратегии удается мне прояснить хотя бы для самого себя именно ленинизмом как наукой. К примеру, многих берedit наше отступление, особенно вот таких молодцов с желтыми ртами...

— Ну, генерал? — сказал Стронский, наклонив голову, и его глаза попали в тень от его крутых надбровниц. — Слушаю...

— А что слушать? Перечитай внимательно Сталина. Все тебе ясно станет, как на высокой горе в ясный майский день. Что он говорил об основах политической стратегии? Повторю своими словами. При неизбежности отступления, когда враг силен, надо отступать, маневрируя резервами. Надо отступать, если принять бой, навязываемый противником, заведомо невыгодно, когда отступление при данном соотношении сил становится единственным средством вывести авангард из-под удара и сохранить за ним резервы. Цель такой стратегии, как говорил Сталин еще в двадцать четвертом году, — выиграть время, разложить противника и, слушай-ка, Стронский, накопить силы для перехода потом в наступление. Разумнее, обстоятельнее ничего не придумаешь для объяснения нашего сегодняшнего стратегического положения. В каких бы военных учебниках, изысканиях генштабистов ни копался, ничего не подберешь, уверяю тебя, как-никак, плохо, или хорошо, успели-то академии кончить, перегрызли немало всяких Клаузевицев, Мольтке, Шлиффенов да и наших некоторых военных теоретиков... Собственно, стратегический замысел остается неизблежным, а именно: выиграть войну. А тактика меняется в зависимости от обстановки. Можно разными путями выиграть то или иное сражение, ту или иную кампанию. Тактика — только часть стратегии, ей подчиненная, ее обслуживающая.

Столь длинная речь, повидимому, утомила генерала. Его покрасневшее лицо стало отходить кругами, пожелтели стариковски обрюзгшие щеки, резче про-

ступили глубокие складки у рта, возле ушей. Шувалов, по-моему, чувствовал какую-то душевную неловкость оттого, что свои соображения высказывал в присутствии рядового.

— Что же, с вами можно согласиться, — Стронский глядел впереди себя, сложив руки ладонь к ладони и сжав их между худых, костистых колен, что делало его очень гражданским человеком и одновременно милым, семейным; он напомнил мне почему-то Устина Анисимовича, несмотря на разницу лет и полное внешнее несходство.

— Здесь только моя интерпретация, применительно к запросам дня, так сказать...

— Стратегия революционной борьбы, — продолжал Стронский вполголоса, не изменив положения, — сродни стратегии военной, тем более, что и война-то сейчас ведется тоже фактически за сохранение революции, война-то классовая ведется. Фашизм — противник не только военный, а и классовый...

— Тем он и опаснее, — сказал Шувалов; повернулся ко мне и, глядя глаза в глаза, строго добавил: — Делай выводы. Послушай, другим передай. Секретное здесь никаких не говорилось, и пойми: настоящий боец — не тот, кто проявляет мужество при победных боях, но тот, который находит в себе мужество и в период временных неудач, отступления, даже в период поражения, кто не теряет голову и не дрейфит при неудачах, при успехах врага, кто не ударяется в панику и не впадает в отчаяние в трудную минуту... Это, брат, не мои слова. До меня они были сказаны, — Шувалов приблизился к столу со стороны своего кресла. — Если перейти к твоему делу, ты много болтал, будоражил мозги.

— Я никому не болтал, товарищ генерал... я...

— Не отказывайся, — Шувалов нагнулся к столу, перелистал дело в желтой клейменной обложке, остановился на какой-то бумажке, каллиграфически выписанной чернилами. — Вот... нашел... На теплоходе «Абхазия», отвалившем из Севастополя двадцать первого ноября, ты собирал группами матросов и гражданских лиц и говорил им, что воюют не по-твоему... — генерал

сердито и наставительно постучал по бумажке твердым ногтем.

Догадка, будто молния, пронзила мой мозг:

— Это Фесенко, товарищ генерал, Фесенко.

— Как говорится, подпись неразборчива, — генерал вчитался. — Так ловко выписана бумажка, а вот подпись завихляла. Да. Кажется, Фесенко. А что? — он строго взглянул на меня. — Значит, было дело, раз узнал адресат.

— Я говорил ему только одному... Я хотел отвести душу... — сбивчиво начал я.

Глухим голосом пересказал я смысл моего разговора с Пашкой Фесенко.

Шувалов не перебивал меня. Мое горло сдавило от волнения и обиды. Стронский спросил:

— Следовательно, разговор происходил с глазу на глаз?

— Да, — сказал я, — с подветренной стороны, в кормовой части, примерно в... тридцати милях от берега.

Стронский наклонился к генералу и тихо говорил с ним.

Квадратные световые клетки от оконного переплета, прошитого скупыми лучами зимнего солнца, лежали перед моими ногами. Казалось, очень далеко кричал пароходный гудок осипшим, простуженным баритоном. По улице протаскивали пушки. Тяжело тянули тракторы. Натужно били лепехи траков о бульжники, так что подрагивал фундамент. В открытую форточку потянуло знакомыми аэродромными запахами сожженного лигроина и автола.

Стронский отошел к окошку.

— Решение такое, Лагунов, — сказал Шувалов, — тебе надо учиться. А так как самоучкой в такое дикое время до толку не дойдешь, определим тебя в военное училище. Выучишься, сделаешься командиром, грамотно повоюешь, разберешься, передашь другим свои знания, опыт... — Шувалов присел к столу, почистил перо о щетинку. — А все эти парашютисты, диверсанты, джиу-джитсу, кинжальчики — хорошо, конечно, не вредно, но все же для тебя, человека со средним образованием, это паллиатив. Да и политически тебя в учи-

лице подкуют. В военно-пехотных училищах комсомольские организации, как правило,— сильные организации, верные помощники партии. Там тебя обкатают. Нет, нет! Матросскую шапочку придется снять,— как бы угадывая мое желание остаться моряком, с усмешкой сказал генерал.

Кончив писать на своем именном блокноте, генерал с треском оторвал листок, перечитал, сунул в конверт.

— Хорошее имеется пехотное училище. Перевезено на Кубань с Украины. Отличный там начальник Градов, вдумчивый полковник. Формальности с флотом я беру на себя, Стронский.

Стронский кивнул головой.

— А лжеца,— генерал постучал ладошкой по желтой папке,— послать ближе к настоящему делу. Что он в тылу и в тылу?.. Всю жизнь не любил клеветников. В школе, бывало, мы их заворачивали в одеяло и били сапогами. Брали сапог за голенище и молотили. По-моему, Стронский, отправить этого Фесенко к майору Балабану, и пусть он научит его, как надо вести себя на войне. Там с него дурь быстро соскочит. А ты, Лагунов, можешь итти. Нет, нет, меня не благодари, не надо...— Шувалов указал глазами на Стронского:— Его благодари. Ладно, что тебе такой вот Савельич попался...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НА ПЕРЕВАЛЕ

После соблюдения необходимых формальностей мне было разрешено до двадцати четырех часов распоряжаться собой по своему усмотрению.

Дислокацию дивизиона торпедных катеров, конечно, невозможно было скрыть от внимания местных жителей, и потому я надеялся без труда разыскать пирс, у которого базировались «тэ-ка» Михал Михалыча. Я твердо решил разыскать Фесенко. Разыскать, чтобы прямо посмотреть ему в глаза и чтобы он посмотрел и объяснил: что же произошло?

Зачем он оклеветал меня, сообщил о моих искренних словах, пусть неверных? Почему же он тогда, на корабле, не объяснил мне, что я не прав, а пожал мне руку и просил снова считать его своим другом.

Возле штаба ходил часовой — моряк с пухлыми щеками, в широком клеше, как парус хлопающем в такт шагам.

На противоположной стороне, у жестяного знака, означавшего место стоянки автотранспорта, стоял наш потрепанный «ЗИС-5», увешанный банками для бензина, лопатами и веревками, скрученными у бортов.

Я подошел к машине.

— Мне подписана увольнительная до двадцати четырех часов, — сказал я конвоиру, — передай дежурному.

Я шел к порту.

По пути попадались обгорелые стены недавно разрушенных бомбежкой домов, воронки, опоясанные кирпичной пылью и рваными бумажками, плохо одетые люди, нагруженные домашним скарбом. На обгорелых камнях висели плакаты, призывающие к борьбе с врагом.

Море шевелилось, словно кто-то ритмично поднимал его снизу могучими ладонями и опускал. Через протараненный авиабомбами мол заходили волны и быстро рассасывались в бухте. Близ берега догорала широкая ржавая баржа, набитая пшеницей. На барже копошились вымазанные сажей люди. Запах пригоревшего зерна устойчиво держался вместе с запахами преющего дерева, веревок и ацетоновой вонью кипящего вара.

У деревянных пирсов зацепились швартовыми пароходы, посапывая незагашенными машинами. Возле пароходов струился поток людей. Кто-то сказал, что караван снова идет на Севастополь и сейчас принимает закавказскую пехоту.

— Ты что же тикаешь от нас? — вдруг раздался возбужденный голос Дульника. — Еле врезались на твой курс.

Он тормозил меня своими хваткими руками и гля-

дел на меня так радостно, так преданно, что я расцеловал его.

— Я хочу обрадовать тебя: здесь Камелия.

— Я действительно здесь! — услышал я знакомый голос.

Передо мной стояла девушка, которую я встретил на борту теплохода «Абхазия». Смущенный неожиданностью, я неловко прикоснулся к ее узкой руке, не осмеливаясь пожать ее своей лапой, огрубевшей от постоянного общения с металлом, гаечными ключами и минеральной смазкой.

— Я хочу вас поблагодарить, Камелия... — взволнованно начал я. — За то...

— Довольно, довольно! — перебила она меня. — Просто-напросто я немного, на полмизинчика, отблагодарила вас... А потом мне это ничего не стоило. Прибежал ваш друг, разговорились, составили план действий...

Приморский ветерок откидывал ее мягкие длинные волосы; на алых мочках ушей сидели, как козявки, зеленые камни, охваченные длинными золотыми усиками.

Дульник не сводил своих пылких глаз с ее ноги, обтянутой тонким чулком, сквозь который просвечивала розоватая кожа, какая бывает у очень здоровых, рожденных на юге блондинок.

— Все же ваш «полмизинчик» пришелся так кстати, Камелия! — сказал я.

— А может быть, мой гребешок? — Камелия приоткинула назад свою голову.

Ветер подхватил волосы, и зеленые камешки засверкали под лучами солнца.

По моему предложению, мы пошли вдоль причальной линии к пирсу, где стояли торпедные катера.

— Мы предполагали семейно провести остаток дня, — шептал мне Дульник. — Если ты хочешь предложить что-либо пооригинальнее, выкладывай.

— Мы разыщем Пашку Фесенко, а потом...

— Зачем тебе Пашка Фесенко?

— Пашка меня оклеветал...

Дульник подпрыгнул на месте:

— Ага, что я тебе говорил?

Дульник принялся развивать теорию о пагубности обречения большим количеством друзей, ибо настоящие чувства в человеке, которые он может отдать другим, не так уж обильны, чтобы распылять их по крошкам. Дульник был сторонником ограниченного круга близких друзей, но за них готов был, если нужно, на куски разорвать свое сердце.

— Неужели ты решил устроить с ним расправу? — спросил Дульник. — Не советую, Сергей. Подобное представление днем, на свежем воздухе, грозит повторением кирпичного амбара.

— Я хочу одного — глянуть ему в глаза и определить: что же в них? Зачем он решил оклеветать меня? Что же побудило его так поступить?

Часовой не пропустил нас в расположение дивизиона, хотя мы козыряли своим знакомством с командиром. Нам был виден недавно сколоченный пирс, дощатая постройка на нем, откуда доносились звуки патефона и запахи кухни. Там, видно, расположилась столовая военфлотторга.

Над пирсом возвышались поставленные на сторожевых катерах пулеметы и мелкие пушки. На пристани готовились к погрузке дымовые корабельные шашки и известные мне плоские ящики с трассирующими снарядами для эрликонов.

Из столовой выходили люди. Палуба дощатого пирса скрипела под их грубыми сапогами. Я проглядел глаза, чтобы не пропустить Пашку. И вот, наконец, он вышел из столовой с кульком подмышкой, держа об руку толстенького моряка в командирской фуражке и боксовом реглане. Я подбежал к будке часового у каютки, позвал Фесенко.

Пашка остановился, пригляделся, что-то покричал мне и юркнул за кухню.

— Видишь, — сказал Дульник, — догадливый человек: весьма продуманно, разумно избежал неприятности.

Наш путь пролегал вдоль вытасненных на берег баркасов, фелюг, моторных лодок. Клепалось, заваривалось, ремонтировалось дрянное пловучее хозяйство, может быть, подготовляемое к десанту. Быть может, среди этих рыбацких суденышек находились памятные

мне баркасы отцовской ватаги. Война столкнула, сцепила, вновь сжала в кулак разбросанные человеческие судьбы и материальные ценности.

Дульник сказал:

— Если у тебя есть деньги, надо бы по пути купить что-нибудь. Мы пойдем в дом к Камелии, а там не густо, я был сегодня, Сергей.

— Нет, Дульник, милый. Мне, да и тебе надо спешить в полк.

— Успеем.

— Мне не улыбается попадаться лишний раз в руки патруля.

— Что же будем делать?

— Прощаться с девушками и попутным грузовичком или в крайнем случае на бензоцистерне добираться в полк.

— Нет, нет! С таким трудом собранный вечер не может рассыпаться. Может быть, на радостях разопьем бутылку вина...

Грозоздкие облака прижались к горам. Над морем, как в вагранке, горело предзакатное пламя. Черными птицами прошли патрульные истребители. Где-то резко били склянки.

— На радостях? — переспросил я. — Ты знаешь, нам придется расстаться.

— Нам? Расстаться? — Дульник растерянно остановился, сбил на затылок свою черную шапочку. — По каким же причинам?

Я взял его об руку и пересказал разговор с генералом.

— Так, — протянул Дульник, — ты не сумел замолвить за меня словечко. Имеется, мол, такой маленький, преданный, неказистый дружок, некто Дульник.. Он, мол, готов расшибиться в доску за приятеля и только с принципиальных позиций... Он никогда не совершит подлого поступка вразрез со своей комсомольской совестью, он... тоже должен учиться военному ремеслу... Он очень неграмотный и неразумный, он только восприимчив сердцем, а сердца у него хватит на... Ты не мог, конечно, этого сказать им, Сергей. Тебя так окрутили, где было вспоминать о маленьком чортике!.. Что же, я не оставлю тебя, не променяю даже на девушку,

которая вонзилась в мое сердце навеки. Пойдем, Сергей, и вместе проведем последние часы, отпущенные нам. Не будем изменять дружбе!

...Двухмоторный бомбардировщик унес меня через горы, охваченные снежными метелями. Мы ушли с тылового аэродрома, открытого в войну на границе Абхазии, удобного для базировки тяжелых бомбардировочных машин.

В штурманской кабине сквозь засахаренный инеем плексиглас я тщетно пытался уловить извилистые очертания горной дороги, по которой некогда переваливал хребет наш семейный фургон. Передо мной на полу полулежал в шлемофоне, меховой куртке и унтах из меха кавказской овчарки прославленный штурман, отвоевавший бои над Пиренеями, Желтой рекой, Халхин-Голом, Финляндией и теперь продолжавший сражаться там, куда посылал его приказ командования.

Пулемет также покрылся инеем. Самолет задрожал. Продувая окошко в бортовом стекле кабинки, я видел бледные, мохнатые от инея машины, набиравшие высоту вслед за флагманом, почти не отрывая крыла от крыла своих соседей по строю.

Где-то там, далеко за нами, на аэродромном поле, у зеленых бананов, остался мой верный, нетребовательный друг Дульник. Встречусь ли я с ним еще когда-нибудь?

Непривычная армейская форма колом сидела на мне. Все топорщилось. Осмотревшись в зеркало, в которое смотрелись когда-то девицы Мариинского института, я по тем же полам, где носились их легкие девичьи ноги, простучал сапогами к кабинету начальника училища полковника Градова.

Малоразговорчивый, внешне суховатый, с ломким, отрывистым голосом, привыкшим к пехотным командам, Градов не внушал симпатий к себе. Я стоял перед ним навытяжку, и у меня перехватывало дыхание от неприязни к этому щелкающему каблуками, отутюженному, приглаженному щетками и щеточками спортсмену с немигающими светлыми глазами.

— Генерал-майор Шувалов просил сделать из вас человека, — сказал Градов. — Не обещаюсь... но командира постараюсь. Все, курсант Лагунов!

В казарме меня поджидал Виктор Нехода, на две недели раньше попавший в училище.

— Ну, как? — испытующе спросил он, попрежнему проявляя ко мне покровительственное отношение вожака.

Я молча отмахнулся.

— За полковника Градова любой курсант, если только он, конечно, не олух, готов броситься с седьмого этажа на булыжную мостовую. Понял?

— Нет, не понял, — ответил я. — Чем же он может обворожить?

— Абсолютной честностью, партийностью, отсутствием любимчиков, фантастическим презрением к подхалимам всех оттенков. Мало тебе? Градов — грамотный в военном деле человек, несмотря на сухость; любит инициативу. Мало? Скажу еще, что его видели в бою при отходе школы. Полное презрение к смерти. Его обожают курсанты...

— Чорт знает что! — не сдавался я. — Почему же он сразу не открывается?

— Заметь, Сергей: люди, которые сразу кажутся идеальными, редко оправдывают первое впечатление. Сколько еще людей мягко стелют, а жестко спать!

— Попадались такие, попадались, — согласился я.

Виктор криво улыбнулся, подтянул голенища сапог. Я видел его стриженный под бокс белесый затылок, загорелую шею, плотно охваченную воротом отлично сшитой гимнастерки с тоненьким кантиком подворотника, пришитого с присущей Виктору аккуратностью и бережливостью к вещам.

— И еще будут попадаться, — сказал он.

Виктор вытащил из кармана мягкую папиросную пачку, закурил последнюю папироску.

— Ты стал много курить, Виктор.

— Да... как видишь.

— Мы, помнишь, давали зарок не курить.

Слабая улыбка тронула губы Виктора.

— Мало чего! Детство, особенно наше, — это сплош-

ная фантастика, если смотреть на него с позиций сегодняшнего дня. Все плохое ведь забыто, и в памяти осталось только хорошее из нашего счастливого детства, в горах, у горной реки, так близко к нетронутой природе... А как было чудесно в пионерии, в комсомоле, Сережа... Да... расскажи лучше о себе, все без утайки, что произошло с тобой, после того как мы расстались, после того как началась эта война. У нас есть сегодня время поговорить.

Я рассказал Виктору все, что произошло со мной за эти годы.

Виктор внимательно, строго слушал меня, не перебивая.

— Сколько пришлось пережить, Виктор, — закончил я, — сколько...

Он окинул меня серьезным взглядом, лицо его посуровело, стало старше, и после продолжительной паузы Виктор сказал:

— А я видел, как горела Полтава.

— Ну?

— Делай сам вывод.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПРОЩАНИЕ

Жаркий июль с короткими дождями сопровождал последним яростным учебным атакам нашего военнопехотного училища среди пшеничных полей, изнемогавших под ношей урожая, и золотых квадратов наливного подсолнуха...

На западе виднелись горы, будто омытые у подошв своих миражами знойной закубанской степи.

За горами угадывалось море; там после оставления Севастополя временно затихли кровопролитные бои.

А у подножья хребта, где-то совсем недалеко, затонувшая в струйчатом мареве, лежала моя родная Пескупская станица.

Родительский дом был так недалеко. Когда я разворачивал в боевые порядки свой взвод на запад

и полз, обдираясь о кусты тернов, я думал, что я приближаюсь к моему дому.

И вот меня, наконец, отпустили домой. В отлично пригнанном обмундировании, с двумя кубиками на петлицах, с орденом Красного Знамени на груди за бои у Чоргуня, с пистолетом в желтой кожаной кобуре и в сшитых по ноге хромовых сапожках я сошел с автобуса и направился домой.

Мне хотелось появиться дома внезапно. В моем распоряжении было всего-навсего двадцать четыре часа, отпущенных мне на свидание с родителями. Вместо того чтобы идти обычным путем, по главной улице, я достиг реки Фанагорийки, прошел над ее берегом, а потом уже направился к себе. Старая, искривленная груша попрежнему стояла на глухой, непроезжей улице. Желтенькие плоды усыпали землю под ней. Я потрогал ладонью шершавую кору дерева, заглянул в дупло, где когда-то оставлял записки, вздохнул от нахлынувших на меня воспоминаний. Дойдя до нашего забора, я остановился в раздумье. Вспомнил, как мы строили этот забор с Илюшей, как обжигали на костре и заваривали смолой дубовые столбы, как сбивали кожу на руках, вгоняя гвозди в твердую древесину штакета. На перелазе виднелись следы засохшей грязи. Может быть, это мама, как и всегда, ходила с бельем к реке.

Я перегнулся, поставил свой чемодан в траву, а сам ловко, как тренировали в военном училище, перепрыгнул через забор и очутился в саду. Кому приходилось возвращаться к местам детства, к родительскому крову после долгой разлуки, тот поймет обуявшие меня чувства. Спазмы перехватили мое горло, волнующие образы обступили меня..

Я видел аллею, любовно выхоженную моими руками. Приветливо встречали меня разноцветные георгины, дававшие от одного щедрого стебля десятки цветов, и резные листья еще не раскрывшегося дубка, цепко охватившие тугие, незрелые бутоны, и яркие канны — не поймешь даже, что лучше в них: просторный экзотический лист или смело брошенный вверх багряный цвет. А как пленительно и мягко, узорами афганской шали раскинулись панычи, смешанные с пахучим мелкоцветом фиалки-медовки!

Из зарослей вон той колочей акации и шарово подстриженных тернов мы, пионеры, с барабанным стуком и резкими призывами горна шли в поход на осиное гнездо.

Мы зажгли костер мести: ведь осы не давали поднести нам ко рту ни одного сладкого кусочка. Осы кружились, сгорали и падали.

И мы трубили в горн, били в барабан — Витька Нехода, Яша Волынский, братишка Коля и даже Илюшка... А когда продолбили дыру, притаившиеся в норе осы вылетели роем за нами. Я упал в кусты, и осы пронеслись надо мной, преследуя остальных. Как они разделили Илюшкин затылок и спину Витьки!

...Я вдруг увидел в саду, между яблонями, светловолосую девушку.

Незнакомке, пожалуй, было не больше шестнадцати лет, хотя она старалась казаться взрослой.

Но не скрыть ей угловатых движений подростка: еще как-то по-детски расставлены локти и взлохмачены волосы.

Лучи полуденного солнца, проникавшие через листву, положили на ее фигуру мягкие лапчатые тени.

Я люблю цветы цикория, или питрива батига, как его называют на юге. Питрив батиг все лето цветет светлосиреневыми цветами. Присмотритесь к этому удивительному, легкому, как полет бабочки, цветку — и покажется вам, что из темной травы глядят на вас широко раскрытые, чистые и не знающие еще горя глаза девушки.

Вот такие глаза, глаза, полные немного удивления и душевной чистоты, глядели на меня.

Девушка смотрела на меня. Она, видимо, не понимала, почему я так долго рассматривал каждую травинку сада.

— Может быть, вы угостите меня яблоками? — сказал я.

— Я не имею права распоряжаться в этом саду, — ответила она, потупив глаза.

Ее пальчики начали перебирать оборочку ситцевого платица, легко облежавшего ее развившуюся фигурку. Перламутровые с красным отливом пуговицы; нашитые от выреза груди до красненького пояса,

то опускались, то поднимались. Ее глаза все же искоса наблюдали за мной и, конечно, видели мой пистолет в апельсиновой коже кобуры. Недаром я старался стать так, чтобы мое оружие было доступно ее взору.

— Итак, девушка, если вы категорически отказываетесь угостить меня яблоками, я возьму сам.

— Как хотите, — девушка вспыхнула. — Яблоки не ваши и не мои. Есть хозяева — надо спросить.

Но я принялся рвать самые спелые яблоки и укладывать их в чемодан.

— Я не разрешаю вам рвать чужие яблоки! — сказала девушка и сделала ко мне первый храбрый шаг.

Выйдя из-под дерева, она попала на солнце, и ее светлые волосы, завившиеся по лбу, засветились, как венчик. Очарованный этим новым видением, я замер, но девушка повернулась и быстро пошла к дому, который виднелся сквозь деревья своими яркопобеленными стенками.

Я быстро пошел за ней по аллее и остановился у беседки, увитой виноградом изабеллой и мелкими розами. Я увидел у летней печки мою маму. Она разговаривала с девушкой, держа в руках глиняную тарелку и полотенце.

Я видел, как дрогнули мускулы на лице матери, как замерли ее руки, кружившие в полотенце мокрую тарелку, ее беспокойный взгляд устремился в мою сторону: вряд ли она уже слушала девушку. Материнское сердце! О, как далеко оно чувствует!

Не отрывая глаз от заплетенной виноградом стены, словно взору ее не мешало ничто, мама направилась ко мне, медленно переставляя ноги.

Вот она приостановилась, увидела меня — и тарелка со звоном полетела на землю.

— Сережа!

Я подбежал к ней. Я целовал ее щеки, гладил дрожащей рукой ее плечи в ситцевой кофточке, ощущая исхудавшее тело.

А отец сидит за столом. Он не хочет мешать нашей встрече. Он тоже растроган, отворачивается и грубым жулаком вытирает слезы.

— Серега, а ты совсем вояка! — восклицает отец, подавив волнение.

Откинув голову, он рассматривает мою награду.

— Сравнились, сынок, сравнились, — говорит отец. — Вишь, аккуратней стали их делать. «Пролетарии всех стран» — так же, а внизу, вместо того, как у нас, «РСФСР», теперь «СССР»... У Илюшки уже пара таких, а Колька-то, Колька тоже отхватил Красную Звезду! — отец садится рядом со мной за стол, кладет на мое колено свою тяжелую, горячую ладонь.

— Лишь бы были живы, — говорит мать, — лишь бы были живы!

— А где же Анята? — спрашиваю я. — Может быть, тоже отпустили на фронт?

— Пусть посидит дома, — с каким-то испугом шепчет мать, — нельзя же растащить всю семью.

— Анята пошла на речку, — отвечает отец, уже успевший вернуться из дому с бутылкой вина. — Кому же теперь купать собаку?

Я оставлял дома старую Мальву и ее дочь, тоже Мальву, отличную черноморскую овчарку. Старика Лоскута нет. Его загрыз матерой волк, пришедший за добычей к колхозной овчарне. Теперь не услышать мне предостерегающее его рычание при металлическом шелесте змеи, уже не выскочит он впереди меня ночной порой на незнакомой тропе, чтобы телом своим преградить путь к пропасти.

— Сколько же ты не был дома? — спрашивает отец, хотя с присущей ему аккуратностью отмечает каждый день моего отсутствия в клеенчатой записной книжке. — Рядом же была твоя школа, а приехать не сумел. А из Туапсе не потрафил никто самолета? Ведь летают же сейчас через перевал такие козавки. Мог бы сесть у станицы, на толоке.

Перескакивает беседа с одного на другое. Так бывает всегда в минуты кратковременных встреч. Кажется, переговорили обо всем, а глядишь, главное-то и не сказали.

Отец говорит с горечью, что Илюшка отходит со своей танковой частью по Южному фронту. Но потом, встряхнувшись, добавляет:

— Может, будет так, как пришлось нам: отгры-

заться от немца до Царицына, а там скружить город железной подковой и молотить чистого и нечистого, собираясь с большими силами. Хотя далеко еще до Сталинграда. Не дай бог, если немец появится у Волги! Вот тут, у горла, есть такая артерия, Сережка. Перехвати ее и «тамом болды», как говорят узбеки,—конец. Вот это Царицын, или Сталинград. Займут этот город — и начнется мамоево царство. Вон и Устин Анисимович говорил: держал Мамай у Царицына, у Ахтубы, свою столицу...

— Да где же Устин Анисимович? — спрашиваю я.

Отец предостерегающе помаргивает мне, показывая глазами на девушку, стоящую поодаль.

— Устин Анисимович-то попал, бедняга, — тихо говорит отец, наклонившись ко мне.

— Куда попал?

— Вздумал перед самыми черными днями провести своего брата, в Феодосии, там, где воспитывалась дочка. А туда немцы. О нем ни слуху теперь, ни духу, Сережа. Может, жив, а может... кто его знает. Ведь коммунист. Хотя в Феодосии могли и не знать, что он коммунист. Может, как-нибудь перебежится до наших. Стар только он стал, болезненный. А эта девочка, что тебя встретила, — дочка его Люся.

— Люся?!—воскликнул я.

Люся громко расхохоталась.

В это время вошла мама с блюдом, вывершенным пирожками, как хороший стожок.

— Как же ты не узнал Люсю? — с улыбкой сказала она.

— Как же ее узнать, мама? Ведь Люся была вот такая...

— Верба идет, верба растет,—мать поставила пирожки на стол. — А помнишь, как вы в детстве царапали друг друга щеки?

— Как же ты выросла, Люся!—сказал я, близко подойдя к ней; я слышал ее дыхание, видел легкий пушок на мочке зардевшегося уха.

Мы сидели за столом рядом. Иногда наши локти соприкасались. В беседе Люся обнаружила острый ум, умение быстро схватывать и связывать невидимым узелком тонкие нити беспорядочно высказанных мыс-

лей. Она казалась слишком рассудительной, взрослой для своих шестнадцати лет. Но вдруг она заливалась громким смехом, для которого не было причины. Шестнадцать лет брали верх, и тогда куда девалась и рассудительность ее и выдержка: Люся становилась тем, чем она была, то есть девочкой-подростком, непосредственной и милой своим чисто ребяческим, угловатым озорством.

И вот, наконец, наш гонец, соседский мальчишка, привел Анюту. Она вбежала во двор с лучистыми, широко раскрытыми глазами, с протянутыми навстречу мне руками. В светлокаштановых ее волосах, оплетенных косичкой по лбу, торчали полевые цветочки.

Анюта плавала в реке, когда раздался истошный крик нашего посланца. Она накинула кофточку, на ходу застегнула корсажик юбки и полетела сломя голову к дому.

Все это она вздохом рассказала, и все время глаза ее смеялись, а по щекам текли слезы.

— Ты не смотри, Сережка, такими глазами на меня. на дуру, — бормотала она, кривя губы, — наслушаешься, начитаешься... Во сне даже такого насмотришься, как в кино. Ну что же, что же ты молчишь? — затеребила меня Анюта. — Ну-ка, дай я тебя осмотрю. О, какой ты новый... замечательный, Сережка!

— Покажи язык, Анюта.

— Нема, нема детства, Сережка. Как гляну иногда на наши карточки, что мы снимались, помнишь? Какие мы были все смешные! Да я сейчас принесу, — она побежала в дом и вернулась с альбомом.

Быстро перебросав листы альбома, остановилась на фотографии, где мы все были сняты перед путешествием к Черному морю.

— Какие смешные! Мальчишки. Не узнать. Тогда у меня была голубенькая майка, — сказала Анюта.

— А это кто? — спросила Люся. — Илюша?

— Конечно, Илюша, — сказала опечаленная мать. — Помнишь, отец, мы купили ему эти баретки на красном базаре.

Илюшка стоял, важно прислонившись к скале, — нога за ногу, видимо выставляя на всеобщий показ

новые ботинки. В руке он держал папироску, что было верхом шика для всех нас. Мои сверстники в то время прятали папиросы в тайниках и при встрече со взрослыми зажимали недокурки в рукаве, отчего не раз прожигалась подкладка.

Возле меня сидел Витя Нехода в беленькой майке, обнажавшей его угловатые руки, в сандалиях на босу ногу и в узеньких штанах. За ним держался Фесенко, подняв навывтяжку правую руку, а второй рукой подбоченившись. Возле девчат стоял Яша Волынский с вытянутой шеей и большими глазами. Брат Николай махнул головой и дернул рукой, так что кисть его руки стала похожа на веер. Все мы казались теперь какими-то маленькими, убогими, худенькими, с выдавшимися ключицами и слишком длинными шеями.

— И все эти дети воют, — сказала мать, — а давно ли...

— Да... А где Яша Волынский? — спросил я. — Так и не взяли его в армию?

— Не взяли, сколько ни просил, — ответила Анюта. — Да и куда ему в армию?

— Уехал вместе с Устином Анисимовичем в Крым, — сказал отец. — У Якова там дядя, директор среднэй школы.

— Зачем же?

— Чтобы быть ближе к фронту, — сказала Люся.

— Это он тебе говорил? — спросил я, смотря на Люсю.

— Да. Перед отъездом. Я даже провожала его до автобуса.

— А Витя не мог приехать? — спросила Анюта.

— Его не отпустили.

— Жаль, — сказала Люся и что-то тихо шепнула Анюте.

Мы попросили отца, и он принес из дому баян. Мы тихо запели. Это была грустная украинская песня, прикочевавшая на Кубань еще с Запорожской Сечью.

Вот отец снял расшитый ремень с плеча и отставил баян.

— Твой черед, Анюта, — сказал он.

Анюта взяла гитару и запела.

Я так и не знаю до сих пор, кто написал эту песню, сопровождавшую многих из нас в тяжелых походах:

И зимой и весной аромат полевой
И цветочная пыль в магазине,
Ни кузнец, ни пилот от меня не уйдет
Без фиалок в цветочной корзине.

Сероглазый танкист и лихой футболист —
Все спешат в магазин за цветами.
Потому что цветы, и любовь, и мечты —
Это счастье, возвращенное нами.

Как-то ранней весной лейтенант молодой
Взял корзину цветов в магазине,
Взором, полным огня, он взглянул на меня
И унес мое сердце в корзине...

Зайдите на цветы взглянуть —
Всего одна минута,
Приколет розу вам на грудь
Цветочница Анюта.

Там, где цветы, всегда любовь,
И в этом нет сомнения,
Цветы бывают ярче слов
И краше объяснений.

Без любимого я сама не своя,
Так томительно время проходит,
Я не знаю причин, только в наш магазин
Молодой лейтенант не заходит.

И вдруг Анюта громко зарыдала, охватила руками лицо и побежала к дому. За ней бросилась Люся. Хлопнули двери.

— Что такое?—спросил я, хотя догадка уже мелькнула в моем мозгу.

Мама махнула рукой, скорбно улыбнулась:

— Ничего, пройдет, Сереженька.

Отец наклонился к моему уху:

— От Виктора-то ничего ей не привез?

Обрадовавшись отпуску, я не мог дожидаться Виктора, который был занят в артиллерийском классе. Я не мог ожидать даже нескольких лишних минут. Часы на моей руке безжалостно быстро отсчитывали отпущенное мне время.

— Я не подумал о сестре. Я был занят только собой; эгоист, — ругал я себя.

— Сейчас куда, Серега, после отпуска? На фронт? — с тревогой спросил отец.

— Останусь работать в училище, папа.

— Преподавателем?

— Нет... Просто... Может быть, командиром взвода...

— Как же так? — недоверчиво сказал отец. — Молод больно. Со мной не хитри, Серега. Решил соврать, что в училище остаешься, ну и что же. Соврем и матери сообща. Пусть утешается...

Утром меня провожали. Анюта передала Виктору письмо в маленьком конверте.

Я увидел слезы на глазах Люси. Тоска сдавила мое сердце, когда моя рука, крепко пожавшая подрагивающую руку девушки, почувствовала задерживающее движение ее пальцев. Мне было тяжело покидать родные места, дымок над летней кухонькой, вершины акаций у дома. С них по октябрьскому ветру сыпались мелкие пожелтевшие листочки на крышу из дубовой щепы. Еще сильнее заныло сердце, когда за последним поворотом у реки скрылись и дымок и акации и только попрежнему, в вечной невозмутимости, стояли темные горы.

Я сошел с автобуса полный разных дум. Мне хотелось поскорей увидеть Виктора. Но что же произошло? Я не верил своим глазам. Наш лагерь снялся и ушел. Колышки палаток, следы автомобильных баллонов. вмятины маршевого похода, вытопанные кулиги с пожелтевшей по закрайкам травой вместо спортивных снарядов, раций, писарских столов...

Я быстро вернулся на шоссе. По дороге катила машина с сеном. Машина имела знаки нашего училища. Я остановил ее.

— Где же наш лагерь? — спросил я шофера.

— В город ушли.

— Давно?

— Ночью. Срочный приказ, товарищ лейтенант.

— Чего бы вдруг?

— Жмет враг, — шофер пригласил меня к себе в кабину. — Мы тоже в город. Добирали остаточный фураж, товарищ лейтенант.

Мы мчались к городу по шоссе.

Наше училище готовилось к погрузке. И курсанты и выпускники — аттестованные командиры — были «в котомке». Я разыскал Виктора.

Он возился с упаковкой оптики орудий своего огневого взвода.

— Хорош, нечего сказать, друг! — пожурил меня Виктор. — Не мог забежать на секунду.

Он увидел в руках моих письмо и вздрогнул, узнав почерк Аняты.

— Что же ты молчал?! — Виктор вскочил, вырвал из моих рук письмо Аняты, прочитал первую строчку. — Иди, иди, Серега. До встречи в эшелоне.

— Не знаешь, куда мы едем?

— Знаю одно: приказ грузиться и отправляться. В дороге узнаем... Иди, иди...

Оглянувшись у порога, я увидел Виктора, склонившегося над письмом.

Заветъ
ТРЕТЬЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

КУРСАНТЫ

Наше училище, вооруженное по последнему слову техники, прошло двумя эшелонами Тихорецкую и повернуло по Сталинградской ветке на Сальск. Теперь не нужно было гадать о маршруте следования. Мы шли на Сталинград. Кроме нас, туда же двигались так же хорошо вооруженные и экипированные курсанты других пехотных училищ.

Курсанты были одеты в новенькое летнее обмундирование, яловые сапоги на толстой подошве, курсантские шинели в талию с разрезом, пилотки с алыми звездами.

У нас было много оружия: автоматы «ППД», винтовки обычные, винтовки со снайперскими прицелами, ручные пулеметы, станковые «максимы», «ДШК», пулеметы «ДС» со скорострельностью в тысячу выстрелов в минуту и, кому полагалось, личное оружие, пистолеты «ТТ».

У нас были минометы, полковая и полевая артиллерия, средства связи, вплоть до полевых радиорепродукторов, военно-медицинское имущество, саперные вспомогательные части и многое другое.

На бой двигались выученные, веселые, решительные молодые люди, горевшие желанием не допустить врага к великому городу.

Безлунной, глухой ночью мы высадились на одной из степных станций.

Полынные запахи шли от степи, еще не остывшей от дневного зноя, — неясные запахи больших и бесплодных пространств.

А где-то вдалеке вспыхивали и гасли зарницы, как далекая гроза. Приложившись ухом к гулкой земле, можно было слышать отдаленный рокот орудий и чувствовать дрожь земли, как сейсмические колебания земной коры.

С потушенными огнями уходили опорожненные поезда.

Мы получили приказ закапываться в землю.

Начальник училища полковник Градов вызвал нас, командиров, в здание багажной станции.

Сухим, отчетливым голосом полковник прочитал нам приказ и погасил электрический карандаш, при слабом свете которого едва разбирал строчки.

Из анализа приказа можно было вывести заключение, что мы прикрывали как бы щитом левый фланг фронта, чтобы не дать противнику распространиться в просторы Ставрополя и западной Прикаспийской низменности. Конечно, задача выполнялась не одними нами.

Смыкаясь плечом к плечу, протягивались войска до самой Волги. Таким образом, нижнее течение реки тоже прикрывалось железными цепями батальонов, полков и дивизий.

Паролем нашей борьбы был Сталинград.

Виктор покинул меня. У нас были разные тактические задачи. Мне, как командиру разведывательного взвода, начальник училища приказал находиться при нем. Виктору же — готовить огневые позиции, для орудий.

Уходя, Виктор сжал мою руку выше локтя и тихо пропел:

О, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы!

На зорьке мы уснули в неглубоких и еще не разветвленных окопах. Курсанты, утомленные фортификацион-

ными работами, тревожно спали, расстегнув крючки воротов и ослабив пояса.

Полковник прилег на полыни, наломанной нами. Градов был неразговорчив. Его природная молчаливость теперь очень успокаивала наши возбужденные нервы.

Вторая половина ночи прошла для нас, а особенно для начальника училища, беспокойно. Связисты подключали фланги. Полковник лично проверял подход соседей, отмечал на карте их расположение. Тонкий луч электрического карандаша освещал карту, и я видел только белые пятна поверх шинели — кисти рук полковника.

До утра по цепи полков, протянутых на десятки километров, человеческие голоса сталкивались короткими, как шифр, фразами. Почти зримо начинала ощущаться эта цепь вышедших на боевые рубежи частей, скрытых под разными позывными.

Утром курсанты продолжали рыть окопы в грунте, крепком, как камень, спекшемся под знойным солнцем, прогревом на большую глубину. Разветвлялись ходы сообщения, углублялись траншеи, закатывались на огневые позиции орудия, минометы. В овраги заводились автомашины, прикрывались маскосетями, унизированными пучками полыни, почти единственной травы этих мест.

Полынью маскировали выброшенную землю.

Знойное солнце, не положив ни одной тени, быстро поднималось вверх. Я, не отрывая бинокля от глаз, запоминал все, что представлялось моему взору.

Ничто пока не радовало меня. Степь только кое-где была покороблена неглубокими овражками. Вправо я видел неясную, залитую миражными озерами какую-то грядку и странный для этих мест лесной массив. Я проверил по карте — это было лесничество. Вблизи его были удобные для обороны высоты, господствующие над степью, и даже озеро.

Днем не унимался рокот артиллерии. Дорога к Волге пока еще была прикрыта. Оперативная сводка фронта, полученная полковником, говорила о стойкости наших войск, выдерживавших натиск сильных авангардов армии противника.

Советская Армия наращивала сопротивление,

выполняя приказ Родины, подписанный Сталиным. Этот приказ повторяли, как лучшее политическое пособие, многие его знали наизусть. Под отдаленный рокот тяжелых калибров мы давали клятву сохранять в чистоте молодое знамя нашей военной школы.

И вот пришел памятный нам всем день, августовский день.

Мы проводили занятия на отражение танковой атаки. Боевые гранаты летели во «врага», настоящие танки утюжили окопчики-щели, где засели истребители танков. Курсанты привыкали к шуму танковых моторов, к стрельбе танковых пушек, разрыву гранат, к короткому, хозяйскому голосу «регулирующих» противотанковых ружей: «Ду-ду-ду».

Во время короткого привала мы услышали приближающийся гул. Это было похоже на шум высоких верхов норд-оста, еще только переваливших горы.

Гул приближался оттуда, от врага. Многие из курсантов знали, что такое воздушные налеты. Новичков можно было пересчитать по пальцам. И все же, бросив папироски, курсанты, как по команде, повернули головы к западу. Теперь нарастающие звуки авиационных моторов доходили уже, как заглушаемый коротким расстоянием шум штормового прибоя.

Эшелонированная на большую глубину, воздушная армия тяжелых вражеских бомбардировщиков, прикрытая комариными стаями истребителей, шла на Сталинград.

Воздушная армия заполнила своим рокотом бледно-голубое небо древней России, небо, видевшее рати Дмитрия Донского, половецкие станы, крикливые конные орды Батия и Мамай, слышавшее звон мечей о шеломах и панцири.

Здесь была дорога крови и насилий и одновременно дорога русского мужества, опаленная суровым пламенем возмездия. Здесь были какие-то, не дающие покоя завоевателям, условные проходы с Востока на Запад и с Запада на Восток, какие-то кровавые ворота, куда с безрассудным упоением и алчностью проходили и не возвращались разные завоеватели — от темников Чин-

гиз-хана до обманутых всадников генерала Краснова.

На Сталинград, загадочный город, который мне так и не удалось увидеть в своем степном цветении, шли по воздуху уверенные в себе и в своих командирах фашистские молодчики в кожаных шлемофонах, летных крагах.

Не больше пятидесяти километров отделяло нас от великого города.

Мы были подготовлены к этим взрывам, к этим столбам дыма, поднявшимся над городом. И все же наши сердца сжались от горечи, ужаса и даже какого-то безотчетного страха.

Мне казалось, что рушатся не только стены Сталинграда, а рушится вся наша жизнь, развеиваясь вместе со столбом черного дыма, поднятого пожарами к безоблачному небу, рушатся мечты Человека, заложившего в городе этом фундамент нашего государства. Его приказ жег мое сердце, как призыв, как укор.

Седой наш командир поднял курсантские батальоны, прошел перед строем и затем, повернув по команде нас всех лицом к горящему городу, торжественно сказал:

— Клянемся! Мы отомстим!

Градов отдал команду, и мы двинулись в поход. Мне казалось, что сейчас мы быстро пробежим своими молодыми ногами по степи и появимся у стен города. Мне казалось, что при нашем подходе зазвучат какие-то серебряные трубы, будут плакать жители города от радости и благодарности к нам.

В пути мы повстречали машины нашей хозчасти, ездившие в Сталинград за продуктами. На привале мы узнали подробности воздушного нападения. Город в пожарах, горят не только мелкие сосновые дома пригородов, но и крупные здания. Горят приволжские нефтесклады. Шоферы выбирались из горящего города с раскрытыми дверками кабинок, чтобы можно было в любую минуту выпрыгнуть из машины. Население уходит за Волгу по речным переправам, на Красную Слободку и острова Крита. Подступы к городу занимают пехотные войска, танки, артиллерия. Выходят организованные в боевые дружины рабочие сталинградских заводов, причалов, перевалочных баз. Чем-то знакомым повеяло

от этих рассказов. Почти так, по рассказам отца, было тогда, в восемнадцатом.

Мне казалось, что я чувствую запахи гари. Мне хотелось прижаться своим плечом к плечу товарища; теперь я понимал: наша победа только в сплочении.

На дороге повстречалась остановившаяся на привал хорошо экипированная часть сибирской пехоты. Это были коренастые парни с веселыми глазами. Сибиряки занимали оборону рядом с нами. На таких соседей можно было опереться.

Мы отбили шаг, проходя мимо гвардейского знамени. Сибиряки уже успели кое-кому наломать рога. Возможно, эти части из отважных сибирских корпусов, разбивших под Москвой фон Бока и Гудериана. Нам некогда было их расспрашивать.

Вскоре голова колонны достигла леса, который я видел еще в бинокль и принял было за мираж знойной степи. Здесь росли дубы, сосны, берест с густым подлеском и кустарниками. В ложине, между лесом, текла речка-малютка, кое-где расширенная искусственными озерами. Ни одной птицы не пролетело над нами: птицы ушли на восток, за Волгу.

Границы лесничества проходили по высотам, будто самой судьбой приготовленные для обороны.

Подойдя к высотам, мы сразу, с марша, принялись за работу.

Обманчива прикрытая песочком сталинградская земля. А копни ее глубже! Много веков сушили эту землю ветры-суховей и калило солнце, пока она не стала такой крепкой, будто схвачена цементом.

Наши ладони покрылись волдырями. Водянки лопались, и кожа прилипала к черенкам саперных лопат. Невыносимая жара, сухие, пыльные ветры, недостаток воды усиливали наши физические страдания.

Я не слышал ропота, но ночами, когда в южном небе зажигались звезды, я наблюдал, как ребята измощенно откидывались спинами к стенкам траншей и молчаливо глядели вверх, на эти звезды, и сухие губы их жадно ловили чуть-чуть посвежевший к ночи воздух. Потом мы забывались коротким, беспокойным сном. Люди бредили, кричали, командовали, смеялись.

У нас был приказ генерала Шувалова, в котором

были такие слова: «Совершенствою оборону, вы не только выполняете приказ своих командиров, но предохраняете сами себя от глупой, пустой смерти. Стать насмерть не означает умереть. Если вы умело станете насмерть, вы победите, а смерть найдет враг».

Разведывательные самолеты противника заметили нас. В первые дни немцы, занятые Сталинградом, не беспокоили нас. А потом ежедневно начали приходить шестерки «Юнкерсов». Они бомбили наши расположения на покрытие и с пикирования. Мы точно выполняли приказ нашего полковника: не открывали при налетах свои огневые точки, хотя нам было трудно удержаться и, располагая сильным оружием, не ответить врагу.

Авиация зачастую приходила ночью, чтобы засечь систему и характер обороны. Огневые вспышки — анкета обороны. Мы не заполняли для врага этой анкеты.

Вечера почти не приносили с собой прохлады. Горел Сталинград. Черный столб дыма постепенно затягивался южной сумеречью. Дым распластывался по небу, как грозовая туча. К вечеру особенно сильно полыхало зарево, окрашивая неустойчивым багрянцем нижние слои дыма.

Ко мне пришел Виктор и, сняв пилотку, прилег на своей шинели рядом со мной. Он был грустен и неразговорчив. Мне тоже недоставало слов, чтобы рассеять друга. Нам хорошо было находиться просто близко друг к другу. Я смотрел на белобрысого, стриженного под бокс Витьку, на его затуманенное лицо, на сильные, загорелые до коричневого цвета руки, на пистолет в обношенной кобуре и сравнивал его с предводителем озорной оравы на берегу Фанагорийки.

— А почему ты до сих пор ни разу не поинтересовался, что же мне тогда написала Анюта? — вдруг спросил он.

— Считаю неудобным спрашивать.

— А ты знаешь, она мне не написала ни слова. Своего — ни одного слова. Она мне прислала песню.

— Какую?

— «Песню Анюты».

— Но это ее задушевная песня, Виктор. Как она разрыдалась, когда пропела ее!..

Виктор сжал мою руку. Близко возле своего уха я услышал его сдавленный шопот:

— Я очень, очень люблю твою сестру! Она хорошая девушка. Я буду хорошо драться, чтобы победить, остаться жить и встретиться с ней. В этой любви, Сергей, заключена для меня частица большого понятия — Родина. Ты должен меня понять. Я знаю, меня не поймет, к примеру, политрук нашей батареи: он догматик и сухарь.

По ходу сообщения послышались чьи-то шаги. Кто-то поднимался на наблюдательный пункт. Виктор умолк.

Снизу, от балки, доносилось пофыркивание полъехавшей машины.

Послышался знакомый шуваловский — отрывистый, хрипловатый — голос.

— Ваша земля под подошвой, полковник. Позади ни вершка. Войти, как столбы, в эту землю, чтобы никакими клещами не вырвать! Что? Э, нет, братец, никаких серафимов и херувимов не будет. Не волен над ними генерал Шувалов. Думаешь дожить до дня ангела — держись...

— Прощай, Сережа. Я проскользнул вниз вот этой тропкой, чтобы дожить до дня своего ангела, — сказал Виктор.

Он не успел ускользнуть.

Генерал Шувалов преградил своим полным телом путь отхода.

Мы стали во фронт по всем правилам строевой выправки, выработанной у нас полковником Градовым.

— Кто? Кто же будете, молодцы? — спросил Шувалов, приостановившись, чтобы перевести дух.

Я отрапортовал.

— Лагунов?! — удивленно протянул генерал. — Ишь, где мы с тобой повстречались! Здравствуй, здравствуй, Лагунов!

— Здравия желаю, товарищ генерал!

— Не так официально. Лагунов, — генерал подал мне руку, и я увидел близко возле себя его глаза с добродушной хитринкой. — Ну, как дела, индивидуалист?

— Отлично, товарищ генерал.

— Еще бы... уже произвели? — генерал пригляделся к значкам различия на моих петлицах. — Поздравляю, лейтенант. Не забыл Карашайскую долину?

— Всегда буду помнить Карашайскую долину...

— Не забывай, верно, — генерал обратился к Градову: — Севастополь! Крым! — генерал помолчал, посмотрелся в зарево Сталинграда, пошевелил губами.

Тревожные тени прошли по лицу генерала, и дрогнули его тяжелые веки.

На компункте попискивал зуммер. В темноте левее нас звенели лопаты. Генерал снял фуражку, вынул цветной платок, как-то лениво, почти по-стариковски вытер им шею, лоб.

— А это тоже твой орел, полковник? — генерал указал фуражкой на Виктора.

Полковник назвал фамилию Виктора и его должность по боевому расписанию.

Шувалов приблизился к Виктору, внимательно изучая его лицо.

— У меня-то двое сорванцов, — сказал он грустно. — Вот таких же ребятшек. Мои тоже на фронте, в двух разных местах. Один... он и стишки пописывал, Коля. Вот там, где и ты, Лагунов, дрался. А сейчас сведений не имею... Второй-то жив, прислал письмо, — генерал поднес свою короткую полную руку к карману кителя. — А Коля... Не встречал, Лагунов, нигде Николая Шувалова?

— Не встречал.

— Да что человек в войне?.. В такой войне! Как иголка в стоге сена, — генерал тяжело вздохнул, обернулся к сопровождавшим его командирам, столпившимся в узком зигзаге хода сообщения, — я даже стишки стал сегодняшние читать. Везде, где только увижу журнал, газету, ищу стихи. А вдруг стишок-то сыном написан?

Генерал пошел вперед. Виктор крепко сжал мою ладонь:

— Что там наши, Сережа?

— Кто именно?

— Ну, девушки.

— А... ты вот про что!

— А ты не стесняйся. Не стесняйся. Люся, значит,

уж Люся... Посмотрит другой на наших любимых, скажет: «А что тут особенного?» А потому так он скажет, Серега, что... не воспитал высокого чувства любви и, если хочешь, преклонения... — Виктор невесело рассмеялся. — Солдатская лирика. Прощай...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВЫЙ БОЙ У ЩИТА СТАЛИНГРАДА

Утром на Сталинград прошли крупные соединения бомбардировщиков. Раскатыстые громы артиллерии усилились. Попрежнему над городом поднималось облако дыма.

Командир отделения моего взвода разведки Ким Бахтиаров только что разделил на капустных листах выданные взводу мясные консервы. Это были остатки провизии, полученной еще в Сталинграде. И этот скромный завтрак остался нетронутым. Меня вызвал к себе полковник, и я направился к нему на наблюдательный пункт.

Градов сидел на патронном ящике у стереотрубы.

— Посмотрите, лейтенант. Помните, вы делились со мной... Не похоже ли это на прелюдию к Карашайской долине?

Я взялся за рычаги стереотрубы и направил линзы по указанному полковником сектору обороны.

С наблюдательного пункта открывалась полынная степь, прорезанная удобными для нас балками, перпендикулярно расположенными к линии обороны. Балки простреливались нами и потому не годились для накопления пехоты.

На горизонте было видно степное село, похожее издали на овечью отару, а ветряные мельницы казались задремавшими чабанами.

По степи от села в нашем направлении протянулось несколько белесых полос, удлинявшихся на моих глазах, и следом, как повторный страшный сон — Карашайская долина! — черные точки головных машин и характерная для быстроходных танков пыль, накрывавшая колонну.

— Наконец они вспомнили о нас,—сказал Градов. — Они хотят серьезно над нами поработать.

Прошло около года; тактика противника не изменилась. Повторялась точная схема танковой атаки, рассчитанной прежде всего на психическое воздействие. Вначале удавалось... Я вспомнил своих товарищей, вооруженных только винтовками, пулемет с перекошенной лентой. — так было тогда, в карашайском ликбезе.

Теперь схема нашей обороны лежала передо мной, как на рельефной карте учебного класса. Я угадывал впереди себя предполье — минные поля, заложенные в двойном шахматном порядке и замаскированные под сусличьи норы. Я мог мысленно определить позиции противотанковых орудий и ружей, так и не рассекреченных воздушной разведкой, лисьи норы с запасом «каэс», траншеи стрелковых рот и скрытые за ними танки «Т-34».

Позади нас искусно врыта в панцирную почву артиллерия разных калибров; там стоит артиллерийский командир Виктор Нехода со своими четырьмя скорострельными пушками.

Градов отдавал приказания по телефону. Начальник штаба лежал спиной ко мне на шинели и говорил по телефону с соседями. Потом они о чем-то переговорили между собой, не отпуская от глаз биноклей.

— Вы останетесь здесь, лейтенант, — приказал мне полковник. — Постарайтесь раскрыть систему противника. Ваш взвод пусть находится здесь, в резерве.

Я отдал приказание Бахтиярову подтянуть взвод ближе к наблюдательному пункту и остался с полковником.

Танки развернулись в боевые порядки в степи против высот и пошли в атаку.

За танками двигались машины с пехотой, зенитные установки, полевая артиллерия на механической тяге.

— Они презирают нас, — сказал Градов улыбаясь, — они не желают даже проводить артиллерийской подготовки.

Он отдал какое-то условное короткое приказание по телефону. С флангов поднялись ракеты. По танкам противника, достигшим минных полей, ударили пушки. Огненный шквал — прицельный, массированный — был

неожиданным для врага. Несколько танков остановилось, высыпав черные фигурки своих экипажей, другие подорвались на минах. Остальные повернулись, и этот поворот, сделанный на коротких огневых дистанциях, для некоторых из них был последним. Противотанковые орудия с сухим, ломким, автоматическим стуком били по слабой бортовой броне.

Затем позади авангардной танковой колонны начали подниматься черные столбы, то прямо, то косо падающие на землю.

Прорезая воздух, ложились и ложились снаряды, отсекая атакующую пехоту от головной группы танков.

Дежурный на «эмпэ» вцепился пальцами в землю и приговаривал, сверкая от счастья глазами:

— Так! Так! Так! — и слезы текли по его щекам.

Земля глухо подрагивала от разрывов. В ушах стоял грохот, прослоенный неумолкающей трескотней пулеметов.

Противник отходил, нарушив свои строгие штурмовые порядки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАЗВЕДКА

Пришла ночь, южная, звездная. К полынным запахам примешивались запахи сгоревшей краски, резины, жженого железа и разбрызганной по травам клейкой выхлопной гари моторов.

Сегодня училище осталось без горячего ужина. Курсанты доедали консервы и сухари неприкосновенного запаса. Воду к переднему краю подносили ведрами из лесных родников. По ходам сообщения выносили тяжело раненных, и тихо, с помощью санитаров, двигались легко раненные...

Я последний раз инструктировал свой взвод перед разведкой. Дневные наблюдения на «эмпэ» позволили мне установить систему немецкой полевой обороны, расположение огневых точек, изучить топографию местности, примерно установить схему боевого охранения. Но замыслы противника можно было выяснять

только при более близком с ним знакомстве. Нам было приказано проникнуть в глубину обороны, разведать силы, предположения, постараться добыть «языка».

Начальник школы приказал не зарываться, в бой не вступать, вернуться без потерь, доносить то, что видели, а не то, что показалось.

Гуськом спустились мы к речушке, перешли ее и балочкой, достигавшей села, дошли до окраины. Мы легко проскользнули мимо танковых дозоров, расположившихся на возвышенностях. Несмотря на поучительный бой, немцы все же не учли урока. Они попрежнему пренебрежительно к своему противнику построили боевое охранение. Если в Крыму я испытывал безотчетный страх перед неизвестным врагом, о могуществе которого слишком много кричали, то сейчас я шел на выполнение задачи не только как равный, но и с чувством превосходства своего над противником.

Танкисты принимали своими рациями фокстроты. Черные тени разведчиков следуют за мной. Мы бесшумно достигаем домика на окраине села, минуем его огородами и подходим ко второму дому. Я высылаю вперед дозорную тройку и приказываю расположить ручные пулеметы на пути возможного отхода. Со мной остается четыре человека. Это выученные и смелые курсанты, призванные из сечевых станиц Краснодарского края. На них можно вполне положиться. Я слышу их дыхание. Я называю это в разведке мореходным термином—«розой ветров»; кажется, что меня одновременно обдувают четыре ветра. По этому морскому коду я называю своих спутников: «Норд», «Вест», «Ост» и «Зюйд». Может быть, кто-нибудь и посмеется над нашим молодежным кодом, но мы действовали именно так.

«Четыре ветра» окружили домик. В сфере наблюдения четыре стены, угловые стыки и все, что за спинами разведчиков.

В разведке до крайности обострены все чувства и восприятия. Иногда кажется, что ты, как зверь, чуешь запах следов человека и машины, вдруг возвращаешься к первобытному.

Озверевшие люди возвращают нас к временам варварства, нас, познавших благородство и радость труда. Когда же остальной мир поднимется до нас?

А пока я, сжимая в руке пистолет, стучу в дверь колхозного дома.

Дверь открыла старая женщина с накинутой на плечи шалью. Откинув засов, она направилась в комнату, где горела коптилка.

Я переступил порог и негромко окликнул хозяйку. Она быстро обернулась ко мне, приподняла коптилку, глядя в меня. Я видел радость и страх на лице женщины.

— Сынку... гут фашисты... сынку, — прошептала она.

Где? — я притворил дверь, чтобы не привлекать внимание к свету.

— У нас. В этой хате... только-только вышли.

— Куда?

— Не знаю, куда. Закололи кабана, велели готовить ужин и вышли.

— Вашего кабана?

— Нет. Тут рядом баз. Сотни две свиней. Приготовил колхоз гнать за Волгу, к Ахтубе, а тут танки...

Из кухни доносились запахи варившегося мяса. Я проглотил слюну. Мои голодные ребята сейчас быстро бы расправились с кабаном.

У меня созрело решение — взять свиней. Старушка, приблизившись ко мне, сказала:

— Их много, дюже много. Свинья идет не швидко... Гоните, сынку. Дай боже вам удачи!

Выйдя во двор, я вызвал трех шустрых курсантов из пулеметного заслона и объяснил им свое решение.

Свиное стадо, тихонько хрюкая, вывалило из загона. На наше счастье, недалеко начиналась балочка, приведшая нас к этому дому.

Мы подождали, пока разведчики ушли подальше от села, и продолжали разведку.

Огородами проникли в село. В огородах росла кукуруза. Я шел впереди, раздвигая стебли с тугими, надломившимися початками.

Так, огородами, мы прошли до квартала, примыкавшего к главной площади.

Вот дом под светлой крышей из оцинкованного железа. Поодаль дома службы — амбар и длинный лабаз, как называются на Ставропольщине сараи для хранения повозок и сельскохозяйственных орудий.

Во дворе было тихо. Перед домом по улице ходил часовой. Мы слышали его равномерные шаги у забора, сделанного в тройную разрядку из обычной сосновой дюймовки.

Я рассредоточил своих людей, а сам вместе с «розой ветров» подполз ближе к забору. Рядом со мной был «Вест» — надежный Ким Бахтиаров, рядом с ним пришедший к щелке забора «Зюйд» — Данька Загоруйко, сын предколхоза из Каневского района, смышленный мелкорослый курсант, а левее меня, за кустами сирени, залегли плечом к плечу два брата Гуменко, Кирилл и Всеволод, призванные в училище из приазовской станицы. Они дополняли друг друга отвагой, решительностью и каким-то вихревым напором. Им вполне подходили их позывные — «Норд» и «Ост».

Луна поднялась выше акаций, которые росли по обеим сторонам улицы. Бледный, подрагивающий свет луны струился, как тело медузы.

И вот я услышал слева мерный шаг приближавшейся к нам пехотной колонны:

Туп-туп-туп! Топ-топ-топ!

Колонна приблизилась. Впереди шел офицер и первая четверка солдат.

Немцы были в стальных, поблескивающих под луной шлемах.

Скрипели их сапоги, пояса, ружейные погоны, и казалось, скрипели опущенные под подбородок ремни крупновских касок.

Колонна прошла — топ-топ-топ...

Часовой снова стал шагать возле забора. Если этот дом охраняется, значит в нем остановилась более важная шишка, чем этот солдат.

Оставив «четыре ветра» наблюдать за солдатом, я осторожно пробрался к черному крылечку. Сквозь затемненное окно пробивался свет. Я тихо постучал в окно.

Через дверь я услышал молодой женский голос:

— Кто там?

— Свои, — тихо ответил я.

— Ты, Петя?

Дверь приоткрылась, и голос радостно и в то же время испуганно зашептал:

— Ой, боже ж мой, Петя! Уйди, уйди, швидче, Петя! Ой, боже ж мой! У нас на квартире офицер.

— Дома он?

— Нема зараз, ушел, — женщина, видимо, поняла свою ошибку. — Да кто это вы такой? Вы не Петя!..

— Откройте, — тихо сказал я, — мы русские... красноармейцы.

Дверь полуоткрылась, и я увидел девушку с нерасплетенной косой, небрежно отброшенной на обнаженное белое плечо, со скрещенными на высокой груди смуглыми руками. Дешевые сережки виднелись в мочках ее ушей.

Я кратко объяснил девушке, что нас интересует, и она близко наклонилась ко мне и, обжигая меня своим дыханием, рассказала, где стоят зенитные пулеметы и орудия, сколько вчера и сегодня прибыло вражеских машин и какие на них были написаны поразившие ее чуждые знаки. Она много узнала, разыскивая своего Петю, пропавшего сразу же с приходом врага.

Она искала его мертвым в Подсолнечной балке, — а там стояли танки; она искала его среди пленных, согнанных к ветрякам, — и там видела орудия на резиновых шинах...

Попросив ее позорче наблюдать и пообещав еще наведаться в село, я сказал ей «до свидания» и отошел от крылечка.

И вдруг девушка сбежала с крыльца и сунула мне в руку записку. Я положил бумажку в карман и, наполненный какой-то гордой радостью, проскользнул на прежнее место, стараясь держаться в тени сарая и высоких грушевых деревьев.

Часовой медленно, в дремотную развалку, прошел к дому.

— Надо брать его, «Вест», — сказал я Бахтиарову.

— Мне нужен «Зюйд», — прошептал он.

— Хорошо!

Бахтиаров стал у кустов сирени, перебросившей через забор свои ветви. Эти темные ветви и падающие от них глухие тени скрывали Кима.

«Зюйд»-Загоруйко присел у ног его.

Правее Бахтиарова, застывшего, как чугунная тумба, лежали братья Гуменко. Часовой приближался.

Вот он почти у сирени. Сделай он шаг в сторону — и схватить его будет трудней. Еще одна длительная секунда, и... «Вест» рубит ребром ладони по горлу часового. Это отличный прием джиу-джитсу. Ким напрягается всем своим сильным телом, будто свитым из стальных тросов, поднимает пленника и бросает его на землю у корней сирени. Ким тяжело дышит, сопит, придавливая часового коленом. Проворный «Зюйд» быстро и плотно заталкивает в рот пленника паклю.

Луна побледнела. Скоро рассвет, пора возвращаться. Но на рассвете мы не сумеем пройти той же дорогой. Танковые дозоры нас не пропустят. Мы возвращаемся удлинненным маршрутом — через болотистую низину степного озера Цаца, примыкающего к нашему району обороны.

Бахтиаров несет пленника. «Язык» весит не меньше восьмидесяти килограммов. Ким молча тащит его и только изредка, когда нужно перебросить «языка» на другое плечо, толкает его в бок кулаком.

Отдыхая, Бахтиаров кладет пленника лицом к земле и коленом придавливает его спину. Мы подходим к озеру. Впереди идущий дозор обнаружил проволоку, которую противник успел навить на подходах к камышам. Обойти ее некуда.

По моему приказанию Загоруйко режет проволоку ножницами. Слышится характерный щелчок ножниц. Слева поднимаются ракеты. Неужели заметили? Пластаемся у земли, почти не дышим. Ракеты освещают местность. Надо брать правее, к камышам, и тогда держать круто на восток, чтобы попасть к своим высотам.

Погасли ракеты. Мы побежали к озеру и достигли берега. Позади нас заработал пулемет. Несколько разрывных пуль фыркнули у кустов зеленоватыми, магнитными огнями.

Мы выбрались к озеру. Легкий холодноватый туман поднимался над водой. Хотелось пить и есть.

Мы двигались вдоль берега в камышах по тропке, очевидно, проматой охотниками. Пленник шагал вместе с нами.

Отрывисто, сварливо залаяли собаки. Мы прилегли. Лай доносился оттуда, где за выкошенной осокой вид-

нелась приозерная высотка. Отсюда можно было заметить контуры зенитных орудий, пока ради маскировки пригнувших стволы к земле.

У зенитной батареи, вероятно, расположился сторожевой пост полевого караула.

Собаки — самое неприятное для разведчиков. Их очень трудно провести.

Мы идем вброд, осторожно раздвигая камыши, чтобы не сломать ни одной камышинки. Замыкает «Зюйд»-Загоруйко, так как мы идем на север.

И тут я вспоминаю о записке.

Что может писать мне эта девушка? Я вижу влажные, испуганные глаза, блестящие, словно смородинки, обмытые теплым дождем. А потом я вспоминаю другие глаза — полевые цветочки — образ, запечатленный в моем сердце!

Я бреду по пояс в воде, с трудом поднимаю ноги, а мысли снова возвращаются к записке.

У камышевой просеки мы остановились. Уже было светло. Я определился по закрепленному азимуту.

Нужно пересекать протоку. Я раздвинул молодой камыш. Трава на берегу была затоптана и пожелтела. На берегу никого не было видно. Но крутой пригорок вызывал недоверие: место было удобно для пулеметной установки. Пулемет мог быть размещен и повыше. Как же перейти около двадцати метров открытой воды?

Я вспомнил детские свои годы и интересные рассказы Устина Анисимовича. Мои предки, древние славяне, по словам доктора, умели обманывать врага, пробирались под водой, дыша через полую камышинку. И вокруг нас стоял камыш, старый, твердый, как стекло. У нас имелись острые ножи и ружейные шомполы, чтобы очистить камыш изнутри. Подготовка к переходу протоки была завершена быстро.

Я решил первым перейти протоку.

Прежде чем погрузиться в воду, я снял пилотку и засунул ее за пояс, чтобы она не могла всплыть. Приказав итти тотчас, как я перейду протоку, итти не разом, по-двое, я погрузился с головой в воду. Я двигался по дну, согнувшись в коленях. Камышинку я прикусил зубами за косо срезанный конец и плотно охватил

губами, чтобы не наглотаться воды. Я двигался с открытыми глазами и видел темнозеленую воду, речную траву — чмару, причудливыми кустами поднимающуюся кверху. Несколько раз из-под моих ног ускользнули черепахи, какая-то мелкая рыбешка испуганно промелькнула возле ствола моего автомата. Очень длинными показались мне эти двадцать метров подводного перехода.

Наконец я наткнулся на осклизлые палки камыша, затем камыш погустел, всгал стенкой. Я сделал еще несколько шагов, высунул голову и жадно глотнул воздух. Молоденький тритон, сидевший на поверхности речной травы, изумленно приподнял головку и нырнул в воду. Несколько пиявок успело присосаться к моим рукам и шее.

Мои разведчики уже переходили протоку. Я видел срезанные концы камышинок и пузырьки воздуха.

«Язык» с немецкой аккуратностью исполнял все требования могучего Кима.

И вот в приозерной низине, у ветел, мы увидели огни бездымных костров, которые умели разводить наши училищные кашевары. Мы были у себя дома. У двух раки, напоминавших мне пристань на Фанагорийке, я увидел курсантов караула. Они заметили нас и следили за нашим передвижением в высоких осоках. Я поднял руку и крикнул: «Свои!» Кто-то охватил меня сзади и гаркнул над ухом: «Пароль?» Виктор стиснул меня в своих объятиях:

— Сережа, милый!

Мы смотрели друг на друга и, кажется, не могли наглядеться.

— Еще в полночь твои ребята пригнали свиней, — рассказывал Виктор. — Трофейное стадо всполошило вторую роту. Успели ребята прихватить по кабану. Мои артиллеристы тоже не растерялись. Сейчас видишь дымки? Жарят свинину.

— Не попадет ли мне от полковника, Виктор?

— За свиней, что ли?

— Мне было приказано не отвлекаться.

— Но задание, я вижу, выполнил? — Виктор указал на пленного.

Я вспомнил о записке.

Я читал ее с некоторым разочарованием. Девушка обращалась к какому-то товарищу Каратозову:

«Товарищ Каратозов, прошу принять мое письмо и дочитать его до конца. Мне письмо это писать важно, фашист на постое и каждый час глядит на меня. Простите, товарищ Каратозов, ежели што не так написано, пишу ночью, при лампочке. Я бы не стала к вам обращаться, кабы вы не проехали перед отступом по нашему селу и не сказали речь. Вы сказали: «Оккупанты—явление временное, мы скоро возвратимся, будьте начеку». Мы остались потому, что не было коней забрать всё с кошары, а бросить нельзя было. А шпанку угнали за Ахтубу, как нам объяснили. А потому, как угнали овец, угнали все показатели моего звена. А вы, наверное, знаете, что нас приготовили отправлять в этом году на выставку в Москву. Вот мы, девчата, боимось, что разойдутся наши показатели по-за Ахтубой по степу, бо степ там великий, и возвратитесь вы обратно, а как же с выставкой? Пишу мелко, разберете, бо керосину мало и нема бумажки на письмо. В точности все знает Антон Перехватов, которому поручена наша отара второго звена. Если помните меня на слете в районе, так пишет Вам Катерина Протасова из колхоза Семнадцатого съезда».

Я сидел мокрый и грязный. Я испытывал голод и физическую усталость. Мне хотелось спать, но светлые мысли волновали меня. Я думал о девушке, которая верила, что скоро снова откроется выставка в Москве и в просторных стендах вывешат для обозрения всей страны показатели ее замечательного труда.

И в этом письме, просыхавшем на прикладе моего автомата, я почувствовал понятную мне радость крестьянской, колхозной работы. Далеко был мой дом. Не знал я, что стало с моими родителями, с крышей, с яблонями, возвращенными нашими детскими руками. Но знал я, находясь здесь, у малоизвестного озера Цаца, что семя жизни не затоптано в прах. Я видел отца, он пришел ко мне, пошатываящийся от огнестрельной раны, и снова я услышал его клятву: «А, ничего... не брошу... не сойду».

Виктор взял письмо.

— А ты знаешь, Серега, она-то нам верит... Я сове-

тую, передай это письмо нашему замполиту. Он и сумеет этого самого Каратозова разыскать и письмо использовать в обороне и в наступлении.

Меня потребовали в штаб, куда уже был отведен пленный. Полковник встретил меня стоя, подал руку.

— Молодец! — сказал он и ласково оглядел меня с ног до головы. — Когда пригнали свиней, испугался я, Лагунов. Думал, увлекся. А теперь ничего, оправдался. Садись.

Я сел напротив него за дощатый стол, уставленный телефонами. На каждом аппарате был наклеен бумажный ярлык — цифра роты. Ярлыки были сделаны аккуратно. Края бумажек обрезаны ножницами. На столе лежала папка «К докладу», на ней — вытисненное золотыми буквами название нашего училища, янтарный мундштук полковника и футляр от очков. Очки полковник держал за ушки в руке и глядел на меня своими светлыми пристальными глазами.

— Вот и опять вижу тебя... — он запнулся, поиграл очками, — Сережа.

Никогда меня так не называл он. Я смутился.

— Мой возраст и положение позволяют мне называть тебя именно так... — и, словно оправдываясь, полковник добавил: — ...иногда, — он встал, прошелся по землянке и, положив мне руку на плечо, сказал: — Сейчас ты расскажешь все, что видел, а не то, что тебе показалось.

Я описал картину ночного похода эсэсовской части. Полковник спросил: действительно ли солдаты держали шаг? В самом ли деле скрипели у них сапоги и ремни? Не показалось ли нам?

Он вслушивался внимательно в мои ответы, одобрительно кивал головой.

— Еще один вопрос. Вот тебе, именно тебе, молодому человеку, когда ты близко видел их... не было тебе страшно?

— Нет, товарищ полковник.

— Подумай. Ты слишком быстро ответил.

Я снова перебрал все в памяти.

— Нет, — твердо ответил я.

Градов кивнул головой:

— Это все рассказывай людям. Всем людям,

не только товарищам... Чем больше, тем лучше. А сейчас, — он подал мне руку, — иди отдыхай. Это что у тебя в руке?

— Письмо девушки, о которой я говорил, товарищ полковник. Может быть, передать письмо комиссару? И еще я просил бы наградить Бахтиярова. Он изловил «языка».

В землянку вошел начальник штаба — высокий сутуловатый майор из бывших кавалеристов.

— «Языка» поймали добротного. Первый класс «язык»! — весело сказал он, помахивая полевой сумкой. — Словоохотливый господин.

Это было в восемь ноль ноль. А ровно в десять противник снова атаковал наши высоты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОБЕДУ НАДО ГОТОВИТЬ

Ночью, пока мы были в разведке, училище усилили тремя дивизионами реактивных минометов — «катюш». Кроме этого, генерал Шувалов подкрепил приданную нам артиллерию еще одним артполком резерва главного командования. Шувалов ожидал повторного удара, на таран, именно на нашем участке.

Тягачи, доставившие тяжелые орудия, скрылись. В блиндажах артиллеристов, на боевых планшетах-столах, расположили приборы точной механики, спокойные регуляторы артиллерийского боя.

Подул сильный западный ветер. Вражеские танки, поднимая косые пенные гребни, катились на нас по степи.

Враг стал осторожней, бронеколонны рассредоточились для атаки. Были оставлены интервалы для маневра танков. Вот и опять, как в детстве у моря, я вижу гребни шторма, только не с белой, а с серой штормовой пылью, смешанной с сизыми выхлопными газами, — это шторм войны. Я видел штормяги. Мне ведомо, что не надо страшиться этой отдаленной угрозы. Я знаю, как подкатывает к берегам волна с седым завитком, кружит стальными ребрами.

Если тогда, у грозного моря, я был бессилен, будь я храбрый или трус, то сейчас я сладостно слышу чудесный голос наших орудий, как будто чьи-то огромные руки перебирают туго натянутые струны гигантской гитары.

Потом всем показалось, что откуда-то с тыла пришли самолеты, сбросили бомбы на наши окопы. Даже Ким Бахтиаров испуганно прилип к земле, а глаза его вонзились в меня.

— «Катюши»! — кричу я Киму. — «Катюши»!

Лицо Кима расплывается в улыбке. Ему немного стыдно за свой испуг. Я вижу, как начальник тоже прислушивается к этим клокочущим звукам. Он нагибается к микрофону, откуда идут нити репродукторов на передовые траншеи, снимает фуражку и громко кричит:

— Курсанты! Работают наши гвардейские минометы!

Его голос сейчас услышала вся оборона. Везде стоят мощные усилители. Потом полковник звонит в штаб, и микрофоны передают через адаптер песню Исаковского «Выходила на берег Катюша...». Мы слышим звуки этой песни, улыбаемся друг другу.

Гром погас. Поле покрыто черными клубами разрывов реактивных снарядов. Так могут сгорать заросли небитой земли, покрытой сухим будяком, верблюжатником и песьим цветом. Когда дым рассеялся, мы увидели квадраты будто только что поднятой тракторами черной земли.

Сделав залп, «катюши» меняют огневые позиции. Все это делается незаметно даже для нас. Там, где они стояли, южнее лесничества, еще устойчиво густое облако, белое поверху и темное снизу. По облаку идет бомбежка. Шестерка пикирующих ходит по кругу, и один за другим бросаются книзу.

Пикирующих вражеских бомбардировщиков прозвали «козлами». У «Юнкерсов» усилена лобовая часть, и штурманские кабины напоминают головы приготовившихся бодать козлов, когда они кладут рога почти параллельно туловищу. Сейчас пикировщики бьют по пустому месту, так как «катюши» уже давно переменили позиции. Дважды крутится пластинка в радиотрубке. Снова гремят реактивные установки. «Юнкеры» ухо-

дят. Вслед им мчатся наши истребители. Кажется, это новый тип «Яков». Сюда доносится звонкое пение их моторов. Белые полосы разрезанного самолетом воздуха, как буквами, покрывают небо, и кажется, ястребки пишут на небе: «У нас не было авиационной промышленности, теперь она есть».

Противник продолжает атаку. Загоревшиеся танки подняли в небо факелы дыма.

Но атака не прекращена.

Машины теперь разведены пожже. «Язык» не обманул при допросе. А вот танки-макеты. Их на ходу бросают буксирные машины и уходят зигзагами.

А позади идут простые автомашины для счета. «Язык» сказал: это для того, чтобы нас запугать обилием техники. Пугать нас, владельцев тысяч машинно-тракторных станций!

Начальник предупреждает всех курсантов по радио: «Машины для счета! Их можно жечь, как свечки!»

Пехота противника идет в атаку, на высоты. Ее накрывает сосредоточенный пулеметный огонь. Ведут огонь отличники-курсанты. Это хорошие курсанты, первыми в училище сдавшие зачеты на значок «ГТО» 2-й степени. У них сильные мышцы и в карманах билеты Ленинского комсомола. Клятвы, подписанные пулеметчиками, лежат в полевом сейфе комсорга, у знамени нашего училища, где, изнывая от бездействия, дежурят ассистенты.

Вражеская пехота не выдерживает шквальных очередей кинжального огня. В бинокль видно, как падают, принимают к траве, взмахивают из-под локтя саперными лопатками, пытаются окопаться. Взять землю трудно. На наших лопатах оставалась кожа наших ладоней, пока мы прикрылись этой бетонной землей. Лопаткой с такого положения ее не возьмешь!

Отличники продолжают огонь из скорострельных пулеметов.

На поле густеют трупы. Я жду атаки эсэсовцев. И вот появились черные мундиры. Эсэсовцы идут в атаку на вторую роту. Еще и еще спрыгивают с танков. Атака производит внушительное впечатление. Молодые люди «СС» идут хорошо. Они пытаются восставить тот самый шаг, которому их учили на плацах

своей родины для вступления в чужие, завоеванные города.

Атака становится все напряженной. Полковник подробно договаривается с номером тридцать, командиром дивизиона «катюш». Градов педантично выясняет, не зацепит ли залп расположение второй роты.

Окончив разговор, полковник принимает к бресту. Я вижу его сильную спину, сбегавшиеся гармошкой рукава, чистые манжеты шелковой рубашки и позолоченные запонки с зеленоватыми камешками яшмы.

Черные мундиры рассчитывают на психическое воздействие. Может быть, поэтому Градов был внимателен при опросе разведки. Градов верит второй роте. Там хорошие, смелые ребята. Там лучшие спортсмены, взявшие первенство по снарядной гимнастике и прыжкам.

Я заражаюсь волнением полковника. А что если ребята из второй роты подведут и дрогнут? Они должны принимать противника с близких дистанций. А с близких дистанций курсанты разберут все: и каски с ремнями, и новые сапоги, и амуницию, и мрачные шевроны «СС».

Полковник придвигает к себе квадратик микрофона, охватывает его руками и отдельно произносит, стараясь сохранить полное спокойствие своего голоса:

— Я Градов! Я Градов! Курсанты! Их всего триста двадцать рядов по четыре!

Полковник повторяет свою информацию, на минуту смолкает, смотрит в стереотрубу и снова у микрофона: «Огоны!»

Рокочущий голос «катюш» заглушает залповый винтовочный и шквальный пулеметный огонь. Градов машинально вынимает из кармана янтарный мундштук и кусает его.

— Они добрые ребята, — тихо говорит полковник о второй роте.

Атака отбита. Над степью горят черные костры. Вот какие костры мы зажгли на твоих степях, Катерина!

Еще день штурма высот и... тишина.

Звонил генерал Шувалов: «Спасибо, курсанты!»

И утром четвертого дня над нами появилась птица.

Заблудившийся в шуме и грохоте сражений, парил подорлик над нашей крепкой военно-пехотной школой.

— Птица! — кричали курсанты обрадованно. — Птица!

Подорлик парил долго над нами.

Через час птицу отогнал от нас самолет.

Самолет сбросил листовки:

«Курсанты! Вы храбро сражались с немецкой армией. Мы видим теперь, что из вас будет толк. Но только не на стороне Советов. Вас посылают на смерть, не сделав из вас офицеров. У нас вы уйдете в тылы. Закончите образование и примете командование соответственно вашим талантам. Мы сделаем из вас полководцев».

Снова звонил Шувалов:

— Гвардейцы-сибиряки получили приглашение поступить в немецкие военные школы. Как ты думаешь, полковник: не плохо ли у них дело, раз они уже из Сибири вербуют себе офицеров?

Мы хоронили убитых в мертвых пространствах наших высот.

Мы хоронили их в курсантских шинелях, сшитых в талию, с высоким, фасонным разрезом, с пилотками на груди, так, чтобы они могли прижать последний раз своими руками красные звезды. Мы не плакали над их могилами. Нам нельзя было плакать. Мы не давали салютов, чтобы не спугнуть тишину. Так мы хоронили своих друзей, погибших у щита Сталинграда.

А враг уходил. Коловорот крутился вдоль берега своими стальными ребрами. Враги старались проверить дыру в нашей обороне. Сибиряки их не пустили. Не пустили их курсанты Грозненского и Краснодарского училищ, не пустили курсанты города Орджоникидзе! Но враги стремились к своей цели и где-то своей обесцененной кровью прорвали стыки и начали обтекать нашу оборону.

Ночью мы покидали высоты и походным, форсированным маршем, рассчитанным на встречный бой, уходили ближе к Волге, чтобы включиться в сталинградский оборонительный пояс внешнего обвода.

ВЫСОТА КОММУНИЗМА

Если кому-нибудь угодно будет искать высоту 142,2 по военно-топографической карте, определяйтесь левее Песчанки, что близ Сталинграда.

Здесь дрались наши дивизии. Здесь немало погибло советских людей.

Бои у Песчанки отсасывали силы врага от Сталинграда. Этот подвиг совершался во имя Родины, во имя боевого товарищества, по продуманному в мельчайших деталях сталинскому стратегическому плану. Мы честно выполнили там свой воинский долг и не нарушили присяги.

Я расскажу теперь обо всем по порядку.

Из сводок Информационного бюро мы знали, что противнику удалось форсировать Дон и выйти в пределы Краснодарского края.

Виктор одним из первых сообщил мне плохую вест, что наша станица упомянута в сводке. Противник, заняв Краснодар, перешел Кубань и подошел к восточным отрогам той части Кавказского хребта, которая тянулась в пределах Кубани. Мы были отрезаны от своих семей линией фронта. Враг шел к Моздоку — Грозному — Владикавказу. Это был путь на Баку и Тбилиси.

Судя по закрытой информации, все попытки горнострелковых частей неприятеля форсировать перевалы не удались.

Мы с Виктором ничего не знали о судьбе своих родных. Успели ли они уйти или оккупированы? О чем бы мы ни говорили с Виктором, дело заканчивалось неутешительными предположениями: что там?

Наша дружба еще больше окрепла от горя. Не проходило дня, чтобы мы не встречались, используя по службе самые разнообразные предлоги. Если мы расставались, тянуло к телефону, хотелось услышать голос друга.

И Бахтиаров потерял связь с семьей и Гуменко. Загоруйко получил письмо от своего дальнего родственника, воевавшего у Моздока. Он сообщал, что семья

Загоруйко не успела уйти. Шаланды с эвакуированным гражданским населением были перехвачены где-то у Приморско-Ахтарской. Загоруйко написал в Бузулук, в правительственную комиссию по розыску, но там, естественно, ничего не знали о семье Загоруйко, так как им были известны только адреса эвакуированных в тыловые районы.

Я не мог найти выхода своему горю. А тут еще военно-пехотные училища вывели в резерв фронта. Из оставшихся курсантов сформировали сводный полк. В бой пока нас не вводили. Из курсантского полка, как из резервуара, генерал Шувалов черпал офицерский состав. Мы ждали и томились.

В то время как другие дрались на фронте, мы занимались строевой, тактической и политической учебой, ходили в учебные атаки, срабатывались ротами, батальонами, полком.

Решение уйти на передовую созрело не только у меня. Над этим задумывались и Бахтиаров, и Загоруйко, и братья Гуменко, и Виктор. Конечно, нас, в конце концов, двинули бы в бой, пришло бы свое время. А когда оно настанет?

И вот я был уполномочен для переговоров с полковником. Градов принял меня в глинобитной кибитке. Как и всегда, на грубо сколоченном столе стояли телефоны. На патронных ящиках, сложенных в углу, лежал кожаный несессер полковника, полотенце в сумочке и стояла бутылка узбекского красного вина.

Полковник держал в руках книгу. Пригласив меня жестом садиться, он положил книгу на стол и во время нашей беседы изредка заглядывал в нее.

Градов внимательно выслушал мои соображения. Он не перебивал меня. Задал несколько вопросов — они касались семьи. Когда я сказал об аналогичной просьбе Неходы, а также своих разведчиков, Градов остановил меня: «С ними я переговорю отдельно».

Я сидел близко к столу и во время беседы мог заглянуть в книгу, которую читал полковник. Градов читал «Хаджи-Мурата». Зачем он перечитывает эту повесть? Зачем он подчеркивал некоторые места? Может быть, нам уготовано отступить в Дагестан, в горы? Я считал Градова человеком военным до мозга костей,

с чисто утилитарным военным мышлением. Что же подчеркивал Градов?

«На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награду и уважение здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялись его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых».

Заметив, что я читаю подчеркнутое им, полковник улыбнулся уголками губ, отодвинул свою руку с длинными пальцами и старательно вычищенными ногтями.

— Поэтическое представление о войне, — произнес Градов, как бы отвечая каким-то своим мыслям.

Снова легкая улыбка скользнула по его тонким губам.

Мы молчали. Градов встал, откупорил штопором перочинного ножичка бутылку вина, налил два стакана. Один стакан подвинул ко мне.

— Выпьем за твою удачу, Лагунов, — тихо сказал он.

Я выпил вино залпом и отставил пустой стакан. Полковник отпил немного вина из стакана и изучающе взглянул на меня.

— Ты слишком взвинчен для передовой, — сказал полковник, — так легко совершить опрометчивый поступок. А на войне всякий необдуманный поступок — кровь. А необдуманный поступок командира — еще и кровь его подчиненных.

— На передовой я успокоюсь, товарищ полковник.

— Нашел бромистый препарат, — сказал полковник, покачивая головой. — На передовую надо приходиться спокойным, разумным и немного... обозленным, — он налил мне еще вина и немного подбавил в свой стакан. — Я знаю, что ты в отличие от толстовского Бутлера далек от поэтического представления о войне. Ты слишком близко познакомился с ремеслом, каким вынуждены были поневоле заниматься наши молодые люди.

У меня тоже была семья, Лагунов, — Градов прикусил губу, нервно дернулись мышцы его лица; это была очень короткая вспышка. — Моя семья захвачена в Риге. Я коммунист. Оставить в Риге, с ее неуравновешенными еще политическими страстями, семью... И кому? — полковник закурил от зажигалки. — Я разрешу вам уйти от меня... тебе и твоим товарищам. Но я должен в одиночку поговорить с каждым из них. Я давно команду школой. Так повелось: наступает момент — и из гнезда навсегда вылетают птенцы, укрепившие свои перья и клювы. Может быть, эта привычка обязательно расставаться с учениками и помогает мне теперь. Хотя сейчас хуже... Я лишился семьи, а с вами я сжился, ребята. Каждого, почти каждого как бы усыновлял своим сердцем. Особенно после боевого крещения у высот Тингуты...

Я был растроган. Мне хотелось много, очень много сказать этому человеку, которого мы несправедливо считали суховатым.

Он встал, и я тоже поднялся. Полковник подал мне руку.

— Желаю удачи, — сказал он, — я уверен, что ты не подведешь своих преподавателей. Мне кажется, ты сумеешь командовать ротой.

И вот я у высоты 142,2.

Я команду стрелковой ротой обычного стрелкового полка, не имеющего еще ни одного ордена на своем знамени, не имеющего звания гвардейского, — обычного стрелкового номерного полка.

У меня в подчинении есть молодые ребята, каспийские рыбаки, сильные, загорелые парни с особыми привычками жителей приморских поселений, все равно будь это ребята из Ланжерона, Порты-Хорлы, с Керченского полуострова или из Дербента. Это смелые парни, даже излишне смелые, певцы и балагуры, любящие носить пилотку так, что кажется, ее вот-вот снесет легким ветерком. Ребята, выработавшие свой приморский жаргон, свою походку в раскачку, обтянувшие свои мускулистые торсы тельняшками, стремившиеся подражать подошедшим к нам на стыке морякам Тихоокеанского флота.

Наряду с этими молодцами можно встретить кол-

хозных дядек, спокойных и рассудительных, с пшеничными, выгоревшими усами, с аккуратными сундучками в обозах, с вышитыми рушниками в вещевых мешках, в удобно пригнанном обмундировании, не на фасон, а на носку, с починенными сапогами, где все взято в присмотр, вплоть до шпильки на подошвенном сгибе. Эти люди по колхозной привычке держатся вместе: ведь они привыкли и в мирной жизни к бригадам, к звеньевой цепи, к взаимной поддержке друг друга, к доброму надежному чувству сильного локтя. Они пришли под Сталинград, как на косовицу или на молотьбу.

Они посмотрели из-под своих заскорузлых ладоней на клубы сталинградского дыма, безустали поднимавшегося к небу, определили: нефть уже не горит, а горят дома, и то редко. Они прощупали пальцами землю, помяли ее в жмени, установили: родит трудно, копать долго, но, зарывшись в нее, можно не бояться вражеского металла, прикроет от врага, матушка, выручит сейчас, в бою.

Они тщательно смазали свое оружие, пригнали ружейные ремни: сейчас сидим, а может, пойдем и пойдем. Помогли освоиться в этом деле молодняку пополнения. Они правдами и неправдами заполучили побольше патронов, перетерли их, смазали и снова уложили в картонные пачки.

Любопытство привело их на батареи — посмотреть пушки: можно ли и на них иметь надежду? Оглядели огневые позиции пушкарей и кое-что посоветовали своему брату-рядовому. Ведь что-что, а машины, стоящие на земле-матушке, им близки, и они умели в мирной жизни применяться к разным местностям, чтобы поставить щиты для задержки снега, чтобы посадить курагу против суховея, чтобы раньше комбайна косами взять быстрее созревающие по южному припеку пшеницы.

Если они увидят танк, проверят обязательно распросами и командиров и товарищей: а сколько у него лошадиных сил, а на каком топливе работает, а как его завести на холоде, не вымотан ли моторный ресурс?

Люди эти вполне доверяют технике. Кто же их привел к счастью? Не эти ли заводы, вынужденные делать танки, раньше снабжали их тракторами — снарядами,

разорвавшими крестьянскую кабалу индивидуализма и чересполосицы? Этих крестьян в шинелях сталинградских воинов не нужно долго убеждать держаться возле танковой брони в атаке, пусть даже потом поноют ноги, побитые на долгой крестьянской работе. Они знают: танк предохранит от шальной пули, осколка, от разрывной гранаты и проложит дорогу, подмяв под себя и пулеметное гнездо и навиток толстой германской проволоки, которую трудно брать даже ножницами, похожими на ножницы для стрижки овечьего руна.

Воины эти надежны и дальновидны. Они мечтают поскорее возвратиться к своим колхозам, быстрее заняться полезным трудом, уж они не будут мямлить в бою и тянуть дело победы.

К ним присмотрятся ребята-лихачи и кое-чему научатся у них так же, как эти колхозники позаимствуют у каспийцев и резвости и веселости в предчувствии смертного часа, от чего никто не застрахован в бою.

Эти мудрые политики все взвесили на своих подкованных мозолями ладонях. Они разобрали трофейное оружие до винтика-шплинтика и похвалили рабочих, приславших им оружие, отнюдь не хуже, чем у неприятеля. «Ишь, ты, бисовы дети, не только вилы, комбайны, трактора, плуги умели мастерить, а готовили всякую зброю!»

И надо было видеть, как внимательно они обучали простому, но одновременно и сложному делу молодого осетина или аварца, попавшего в стрелковую роту! Привыкшие к земледельческому полевому инструктажу, колхозники находили слова и понятия, чтобы доходчиво все объяснить, чтобы, в конце концов, загорелись надеждой глаза потомков Шамиля и Хаджи-Мурата, чтобы они также поняли силу боевого коллектива — людей разных наций и языков, но одинаковой мысли.

У каждого из них были свои радости и еще больше было горя. Но стоило мне закручиниться, сейчас же кто-нибудь из них старался рассеять мои мысли о родных, попавших в неволю, либо соленой каспийской шуткой, либо крестьянским, разумным и весомым, как золотое зерно, словом.

Нашим соседом в траншеях, подрывных чуть ли не у подошвы высоты 142,2, была первая рота. Такие же чудесные люди были и во второй роте. Но командир первой роты Андрианов сразу же не пришелся мне по душе. Это был человек тридцати трех лет от роду. Пользуясь правами старшего в звании — он был капитаном, — Андрианов пытался поучать меня. Вначале я внимал его советам. Училище воспитало нас в духе уважения к старшим командирам, к нашим довоенным кадрам офицеров. Постепенно я убедился в сумбурности его советов, хотя подносились они громким голосом, в безапелляционном тоне. Я с молчаливой тоской выслушивал его громкий, как патефон, голос. Может быть, в военном деле он разбирался и лучше меня: он шел с армией от самого Днестра. Но меня поражало в капитане Андрианове непонятное для нашего времени отношение к своим подчиненным. Я ни разу не слышал, чтобы капитан ровным голосом отдал какое-нибудь приказание, будь оно даже совсем обыденное. Все приказания он, как правило, подкреплял нецензурной бранью. Когда я стал рассказывать ему о моих боях, он раскатисто захохотал, вытащил фляжку, алюминиевый стаканчик и, прервав меня, сказал: «Давай-ка лучше тапнем по одной!»

С детства мне прививалось отвращение к водке и к людям пьющим. Мое отвращение к выпивке служило предметом постоянных язвительных насмешек капитана Андрианова.

Даже внешний облик Андрианова не внушал чувства симпатии. Представьте себе неряшливого черноволосого человека, в широченных галифе, с непропорционально удлиненным торсом. Его глаза никогда не смеялись, хотя капитан всегда хохотал громче и дольше всех своих собеседников. Мне казалось, что глаза капитана Андрианова всегда зорко выискивали повод для сквернословия.

После короткой встречи с капитаном Виктор сказал:

— Как ты можешь работать рядом и надеяться на такого человека?

— Я не видел еще его в бою, — сказал я, — может быть, в бою он орел?

Виктор покачал головой:

— У него перья не орлиной расцветки.

Нехода командовал батареей 76-миллиметровых пушек. Его батарея занимала позиции позади нашего полка. Виктор доказывал необходимость при штурмовых действиях стрелковых рот выдвигать полковую артиллерию к переднему краю и, маневрируя огнем и колесами, оказывать поддержку пехоте. Подобный метод был не нов, о нем записано и в уставах. Но командир нашего полка был осторожным человеком. К тому же на личном примере, как говорили старожилы полка, ему хорошо было известно, что потери пушек чреваты для комполка неприятностями чисто служебного свойства.

Все же боевое рвение своего командира батареи он не гасил и обещал в следующем «настоящем» бою разрешить более близкие дистанции для артиллерии непосредственной поддержки.

Я замечал, что Виктор внимательно присматривается ко мне, как к командиру роты. Он частенько задавал мне тактические вопросы разного характера. Это не было похоже на экзамен моей командирской зрелости. Я чувствовал озабоченность друга: как справляюсь я со своей новой ролью?

Однажды Виктор сказал:

— Мне хотелось бы быть ближе к тебе, Сергей, в бою... Моя батарея — сильная штука. Посильней твоих ротных минометов.

— Ты будешь поддерживать нас в бою, Виктор.

— Я хочу, чтобы ты был жив, Серега. Понимаешь? Поэтому придумываю возможности, не нарушая устава и синхронности боя, практически помочь в трудную минуту именно тебе, своему другу. Поэтому я внимательней приглядываюсь к вашему Андрианову.

— Ты успел уж обменяться с ним «любезностями»?

— Успел. Он говорил тебе?

— Товарищи говорили, командиры.

Виктор задумался, молчал. Мы выпили с ним крепкого чая.

— Мне кажется, Сергей, — задумчиво говорил он, — что при назначении комсостава необходимо все же учитывать и психологические моменты в комплекто-

вании частей. Примерно я бы на их месте вот в подобной комбинации Лагунов—Андрианов поступал по-другому...

— Командование должно тогда изучать не военную администрацию, а психологию и, пожалуй, иметь что-то вроде термометров для измерения дружеских предрасположений.

— Нет, я не шучу, Сергей, — строго сказал Виктор. — Может быть, я не сумел объяснить тебе мою мысль. Короче сказать, побольше настоящих людей. А в таком деле, как война, люди должны быть кристально чисты и перед своим государством, и перед партией, и перед самими собой.

И вот в один из сентябрьских дней снова должна была штурмоваться высота 142,2.

Сталинградцы просили сшибить противника с этих высоток и оседлать прикрытую высотами дорогу, питающую правофланговую группу войск противника.

После разбора задачи у командира батальона мы, командиры рот, и наши замполиты возвращались на исходный рубеж. Рядом со мной, поминутно задевая меня кобурой своего пистолета, шагал Андрианов. Сегодня он был молчалив. По пути он несколько раз отступался, что я отнес отнюдь не за счет темноты. Еще на совещании Андрианов, подсев ближе ко мне и обдав запахом спирта, шепнул: «Серега, держи хвост морковкой».

Сейчас, в предчувствии важного дела, когда решались вопросы жизни и смерти, когда бойцы должны были видеть своего командира в состоянии полной духовной и физической собранности, поведение Андрианова меня оскорбило.

Я старался не говорить с ним, чтобы хотя этим показать свое презрение к нему.

— Э, брат, молодой ты, — пожурил меня капитан на прощанье, — еще как привыкнешь к зелью! Попал бы ты, как я, посчитать, десять раз в окруженье, — азотную кислоту стал бы глотать...

— Послушайте, товарищ капитан, вы хорошо запомнили смежные ориентиры? — спросил я, боясь, что у него из головы выветрятся результаты тщательной подготовки боевой задачи.

— Серега, за меня не волнуйтесь, капитан Андрианов — не Суворов и не Ганнибал, но свое дело знает, на полсантиметра не выйбьюсь из створов своих ориентиров... Война — это, брат, как карточная игра. Условились на казенных не прикупать — и держись... Пока... Я тебе позвоню, Серега. Подбодрю... Держи хвост морковкой, как говорили уланы.

Мы расстались с ним на развилке хода сообщения. Он ушел по своей фосфоресцирующей стреле, я — по своей.

Придя на исходный рубеж, я обошел свою роту. Я забыл сказать, что «роза ветров» была отпущена вместе со мной. Градов выполнил свое обещание. Произведенные в лейтенанты, мои сметливые разведчики работали в роте.

Бахтиаров принял первый взвод, Данька Загоруйко — третий; братья Гуменко разделились: Всеволод, длинный и гибкий, как хлыст верболоза, командовал пулеметчиками; каспийцами, молодыми парнями, великолепно понимавшими своего командира-приазовца, Кирилл Гуменко попросился к ротным минометам. Я исполнил его просьбу, поручившись за него перед комбатом. Я был уверен, что этот слитый из мускулов крепыш, сам похожий на крупную мину, будет на месте в новой должности.

В расположении первого взвода я увидел бойцов, столпившихся возле худого и длинного капитана интендантской службы, начфина полка. Служебное рвение и собственный беспокойный, рачительный характер привели его на передний край. Бойцы столпились возле начфина с единственной целью — связаться, может быть, последний раз со своими родными. Кто сдавал ему деньги, тщательно пересчитывая их, кто передавал письма.

— Кто организатор этого похоронного бюро, Бахтиаров? — спросил я.

— Так принято в этом полку.

Мы приблизились к пожилому красноармейцу в деловито нахлобученной пилотке, в хорошо пригнанной поношенной шинели.

Это был известный мне Якуба из ставропольцев, из села Надежды.

У Якубы были большие короткопалые кисти рук. знакомых с чепигами аксайского плуга, умевших правильно зацепить тройчатками навилень и умело вывершить любой скирд. Такие руки хорошо берут *грудку* земли, дают ее, проверяя на сырость, на россыпь.

В этих руках теперь были деньги — две пухлые пачки.

— Ты что делаешь, Якуба? — спросил я.

Занятый подсчетом своих сбережений, Якуба был захвачен врасплох. Ему хотелось вытянуть руки по швам и отпрапортовать — так привык отвечать Якуба. Но могут перепутаться разложенные по купюрам деньги, зажатые в обеих руках.

— Треба сдать гроши, товарищ командир, — смущенно ответил Якуба.

— А что, у тебя их так много, что они отяжеляют карманы?

— Ни, не заважут, — виноватая улыбка скользнула по его небритому лицу и исчезла.

— А что?

— Браг силен, товарищ командир. Как на его выйдем, сплошняком начнет ставить огонь. Грошам-то не пропадать... Семье тоже двойной убыток... А товарищ начфин душевно и аккуратно все доведет...

— Что же, ты не думаешь выйти целым из боя?

— Каждый думает выйти, — уклончиво ответил Якуба, поглядывая за продвигающейся в порядке очереди спиной своего товарища и чьей-то другой фигурой, втиснувшейся к начальнику без очереди; Якуба подтолкнул втиснувшегося бойца кулаком с зажатými в нем деньгами. — Спешит к богу в рай... Так ось как, товарищ командир, — Якуба смущенно мялся. — У вас-то, мабудь, никого нема сродствия, товарищ командир?

— Почему же ты так решил, Якуба?

— Ни письма не пишете, ни завета, ни гроши не сдаете. Некому, выходит, товарищ командир, — Якуба не вытерпел, прикрикнул вперед: — Нестеренко, я за тобой, а то втискался в борщ якой-ся овощ!.. — опаматовавшись, сказал извинительным тоном: — Люблю, шоб во всяком деле порядок.

— А вот в самом себе ты не ищешь порядка, Якуба.

К нам собирались заинтересованные разговором бойцы, и это начинало смущать Якубу:

— Як так, товарищ командир?

— Обрекаешь себя раньше времени на смерть.

— Чему быть, тому не миновать, товарищ командир. Кабы в орлянку играли, — другое дело, а то, по всему видать, лобовая атака.

— Ты спросил меня, почему я не пишу завещания, не сдаю деньги, не готовлюсь, стало быть, отправиться на тот свет...

— Был такой вопрос...

— Я не думаю помирать, Якуба.

— Слово знаете?

— Уверен в том, что останусь жить... даже в лобовой атаке.

— Оно так-то так, товарищ командир, — уклончиво начал Якуба. — Вы — дело другое...

— Почему «другое»?

— Командир роты. Все же не взводный командир, тем более не рядовой.

— А вот я пойду в атаку рядом с тобой, Якуба. Хочешь? А хочешь, пойду впереди тебя. Первая пуля — моя. Почему же я буду итти впереди тебя, не думая о смерти, а ты будешь итти позади и думаешь погибнуть? Ведь не может же пуля пробить сразу двух человек?

— А може, две пули у них найдутся, товарищ командир? — отшутился Якуба, окончательно расстроенный не своими словами, а тем, что очередь потеряна и начальник финансовой части, чуя приближение времени атаки, старается свернуть свои операции и скорее убраться по добру, по здорову.

Я вспомнил, что у меня во фляжке имеется водка, на всякий случай припасенная моим ординарцем.

— Давай, Якуба, лучше выпьем с тобой по глотку, — предложил я, — а вторые два глотка сделаем после атаки.

Окружившие нас бойцы оживились, пересмеивались. Нестеренко подтолкнул Якубу под бок, крикнул, расправил усы.

Якуба спрятал деньги в карманы шинели, руки его были теперь свободны.

— Никто не бачив, щоб вы пили, товарищ лейтенант.

— А вот с тобой выпью глоток... Гроши спрячь, Якуба. Будем, может, в рукопашке. Я знал случай, как фашист пырнул штыком одного бойца и угодил в бумажник. Застрял в деньгах штык, ни с места... Спасли вот такие бумажки, Якуба, жизнь человеку.

Якуба приложился к моей фляжке. Улыбка заиграла на его губах:

— Та хай им бис, тим грошам, товарищ командир! Сколько тих грошей? Миллиен чи шо? А заколют на той высотке? Шо сто лет мне жить... а семье поможет колхоз... Вы чулы, мабудь, до войны гремел на Ставропольщине колхоз «Новое життя». А для чего итти попереду? И кто же вас пустит попереду, товарищ командир?

Я не хотел умирать. Мне казалось, что это будет ужасно несправедливо. Мне хотелось еще многое сделать, побольше вычерпать свои силы. Я не допускал, чтобы здесь, на виду полыхающего огнем Сталинграда, в таинственной предгрозовой тишине атаки может закончиться мой жизненный путь. Я обязательно должен увидеть солнце, степь... Я хочу увидеть восход с высоты 142,2.

Я вырвал из полевой книжки бланк полевого донесения. Там, где стояло «место отправки», я написал: «Близ высоты 142,2». И дальше: «Прошу принять меня в ряды Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, партии Ленина—Сталина... Клянусь умело и мужественно выполнить свой долг перед Родиной. Если суждено погибнуть в бою, прошу считать меня коммунистом...»

Передав заявление парторгу, я подумал, не похоже ли это заявление на поступок бойцов, окруживших начальника. Нет. Я взывал к жизни. Я обращался только к ней.

В оперативном отношении бой за высоту 142,2 сводился к прорыву обороны противника.

Основная тяжесть решения задачи лежала на пехоте. Мы должны были быстро и безостановочно продвигаться вперед и как можно скорей вступить в

схватку с резервами противника, находившимися в глубине обороны.

К участию в прорыве были привлечены артиллерия, танки, саперы... Для ведения огня прямой наводкой выдвинулись артиллерийские батареи. Поэтому Нехода уже четвертые сутки находился вблизи меня со своей батареей. Нами были изучены разминированные проходы, по которым должны были влиться пехотинцы для атаки, намечены наблюдательные пункты, произведена тщательная разведка. Командир полка старался тщательно подготовить полк. Неудачи первого наступления на высоту 142,2 заставили его подробно изучить всю систему вражеских укреплений, выяснить дневной и ночной режимы обороны и силы и средства противника на своем направлении и возможность маневрирования огневыми средствами и резервами.

Для проведения боевой подготовки комполка выводил нас побатальонно в ближайшие тылы. Мы подбирали участок местности, сходный с тем участком, на который мы должны были наступать. Таким образом, у нас в тылу появилась дублирующая высота 142,2 со всей системой обороны противника, которую мы должны были преодолеть. Здесь мы отрабатывали тактику наступательного боя с боевой стрельбой, с участием приданных и поддерживающих средств усиления — артиллерии, танков.

Командир полка наблюдал, чтобы пехота врывалась в траншеи противника вслед за переносом артиллерийского вала с первых траншей на следующий рубеж, чтобы не получалось разрыва, используемого обычно противником для выхода из укрытий и для начала шквального огня по приближающимся нашим цепям. Для предупреждения таких явлений график артиллерийской подготовки разрабатывался с расчетом, чтобы противнику трудно было отгадать время переноса артиллерийского огня. Мы отрабатывали бесшумную атаку, без криков «вра», с броском, не превышающим ста пятидесяти метров от нашей траншеи исходного положения до переднего края противника.

Особое внимание уделялось броску автоматчиков, их стремительности, их умению пускать в ход ручные гранаты и без задержки достигать вторых траншей.

Разведка доносила, что противник заложил минные поля не только впереди, а и позади своих траншей первой и второй линии, что усложняло задачу стремительного продвижения в глубину обороны.

Пленные румынские саперы рассказали систему минных полей. Чтобы не рассчитывать только на саперов—их было маловато,—мы обучали своих бойцов приемам разминирования.

Война требовала большого мастерства. Одной лишь храбрости становилось недостаточно. Верховное командование требовало, как никогда, совершенствования войск, командиров, боевой выучки.

Генерал Шувалов следил за учебными атаками, заставлял повторять их и на наши сетования говорил: «Был, товарищи, один штабс-капитан в старой армии, который двадцать лет на маневрах брал одну и ту же горку и все время ошибался».

Сорок танков «Т-34» заняли исходное положение. Еще были открыты бронелюки, чтобы наполнить воздухом стальные коробки, где, изнывая в жаре и грохоте, ожидали сигнала танкисты.

Танки залегли в земляных укрытиях, положив на землю стальные стволы своих расчехленных орудий. Сила Урала пришла на поле сражений. Рабочие прислали нам плоды своих бессонных ночей и как бы благословляли нас: «Мы не спали. Мы не виделись со своими друзьями. Мы плохо ели. Мы рано старели. Теперь примите наш труд и мужайтесь».

И когда загрела сталь, заговорила уральскими пушками, когда застонали снаряды, выточенные на заводах Сибири, когда фейерверком взлетела взрывчатка Березников и Соликамска, мы пошли в атаку на высоту 142,2.

«Слава тебе, рабочий, великий народ! Слава тебе, партия, вдохновившая народ на борьбу за независимость Родины!» — с этой мыслью я поднимаю свою роту в атаку.

Якуба бежит впереди. Но у меня резвее ноги, чем у этого пожилого ставропольского крестьянина. Я обгоняю его. Вижу мельком его шинель, заложенную концами за пояс. Я бегу без шинели, налегке, с одним пистолетом.

Я увидел и сразу потерял Даньку Загоруйко, проворного, как ящерица. Его взвод, наступавший правее, должен сцепляться с третьей ротой. Левее меня наступает Андрианов. Моя рота атакует в центре и пока точно выдерживает ориентиры. Мой приказ командирам: «Как можно быстрее на высоту!» исполняется точно. Мы движемся, прикрытые артогнем, танковой броней, пулеметным огнем роты Всеволода Гуменко, через наши головы летят мины Кирилла Гуменко. Пулеметно-минометный «норд-ост» исправно делает свое дело.

Моя рота атакует, не снижая темпа. Я смотрю на часы: мы точно выполняем расчеты штурма. Первая и третья роты отстают от нас. Они отстают не потому, что мы зарвались, а потому, что они с опозданием в полторы минуты выбросились из траншей и не успели вплотную за артиллерийским валом. Мы вышли вперед и остались в одиночестве. Вторая рота вдруг оказалась на острие какого-то произвольно образовавшегося клина.

Андрианов, повидимому, решил не спешить. Правofланговая рота — сосед — неожиданно залегла. Противник открыл артиллерийский огонь. Намерение врага было ясно: врезаться в стыки, это был проверенный прием при отражении нашего штурма на высоту, неизменно приносивший ему удачу. Сегодня этот прием оказался устаревшим: мы не снижали темпа атаки и выходили на сближение в центре высоты.

Противник начал постепенно передвигать огневой вал с расчетом накрыть мою роту.

Огневой вал приближается. Это густой, стремительный шквал 88-миллиметровых снарядов.

Что делать?

Продолжать идти в своих ориентирах? Эти ориентиры лежат передо мной, как на планшете. Сколько раз приходилось ломать голову над ними! Как все казалось ясным и на макетах и на учебной местности! Как отлично срабатывались роты! Как великолепно, почти в полный рост, шел в атаку Андрианов, короткий, мускулистый, черный! Теперь его не видно. Андрианов подвел. Андрианов опоздал. Огневой вал приближается к нам. Еще мгновение — и огонь сметет

мою роту. Вот вспыхнули вилочные разрывы мелких калибров, обозначающих границы переноса огня.

Надо спешить!

Я отдаю приказ: войти в ориентиры андриановской роты и, несмотря ни на что, идти к своей цели.

Рота уклоняется влево, как бы маскируясь дымовой завесой, снаряды фугасного действия поднимают много пыли.

Противник накрывает огнем прежние ориентиры моей роты и, не имея артиллерийского наблюдения, не изменяет прицела. Мы бежим вверх в пыли, скользя по твердой земле, по таким же скользким, проволочным травам.

Автоматчики достигли противотанкового рва. С глухими звуками, как будто кто-то бьет ладонью по картонной коробке, рвутся гранаты. Мы тоже поднимаемся на бруствер и соскальзываем вниз.

Я вижу вражеского офицера. Он сидит на ящике, расставив колени. Возле него санитар, помогающий офицеру обвести вокруг головы — на ней кровь — широкий бинт индивидуального пакета. И офицер и санитар застыли в изумленной, неподвижной позе. Руки санитара так и не сделали очередного витка вокруг головы, а офицер, поднявший свои руки вверх, чтобы поправить повязку, так и оставил их в этом положении, как будто просил пощады.

Мне некогда заниматься пленными.

Бахтиаров недалеко от меня. У него на спине от воротника и до пояса разодрана гимнастерка. Обнажились кирпичная шея и синяя спортивная безрукавка.

Подбегаю к Бахтиарову. Решаю: достигать по рву основной обороны и вламываться сбоку. Остальное доверяю сообразительности Кима. Оборачиваюсь, чтобы проверить свое «хозяйство» атаки.

Вражеский офицер, не сходя с ящика, схватил гранату, автомат в руках санитара, и приклад уже у плеча...

Я быстро упал на землю, навзмашку прицелился и выстрелил в офицера. Он упал навзничь.

Санитар уже вскинул автомат. Я выстрелил в него дважды...

Якуба, опередивший меня, ворвался в траншею вме-

сте с Бахтиаровым и бойцами первого и второго взводов.

Я увидел теперь с высоты 142,2 долину, до этого скрытую за высотой, рокадную дорогу, обозы на ней, высокое дымовое облако Сталинграда...

Я прислонился потной спиной к стенке траншеи и начал писать донесение.

Мое сердце как-то обмякло, ноги дрожали, во рту пересохло. Моя рука, напряженно державшая тяжелый пистолет, устала, пальцы не повиновались мне. И все же в моей душе что-то торжественно пело и переполняло меня восторгом победы.

Чей-то грубый крик вывел меня из этого восторженного состояния.

Передо мной стоял взбешенный Андрианов.

— Наконец-то я разыскал тебя, мальчишка! — закричал он, сжимая свой волосатый кулак.

— Я не понимаю вас, товарищ капитан.

— Ты меня заставил людей потерять! — заорал Андрианов. — Высочка! Карьерист!

— Объясните, товарищ капитан, — сказал я, — почему вы кричите в такую минуту?..

— Ты влез в мои створы, и меня накрыли огнем!

— Не отставай! — сказал я, угрожающе приблизившись к нему.

— А ты не беги вперед, — капитан сделал шаг в сторону, одернул гимнастерку, — что тебе здесь, — он потопал ногой, — медом намазано?

Тогда я подошел к нему еще ближе и, еле сдерживая закипавшую во мне ярость, сказал:

— Не мешай мне выполнять боевой приказ. Понял?

— Я тебе не прошу, Лагунов!

— Не мешай мне, капитан Андрианов! — крикнул я, глядя в упор в его глаза.

Андрианов обозленно взглянул на меня, хотел что-то сказать, махнул кулаком и быстро пошел от меня к своей роте.

Чувствуя невыносимую усталость, я сел на землю. Ко мне подошел радостный ротный парторг Федя Шапкин, чудесный стеснительный паренек, бывший рабочий Ростовского сельмаша.

— У тебя кровь на лице! Что с тобой, Сергей?

Я провел рукой по лицу — ладонь была в густой, липкой крови.

Шапкин разорвал индивидуальный пакет, сделал мне перевязку.

— Тебя довольно глубоко процарапало осколком. По-моему, тебе надо немедленно отправиться на перевязочный пункт.

— Нет... я не оставлю позиций. А вдруг тут осложнятся дела?

Вернулся связной. Он передал мне записку командира батальона: «Благодарю, Лагунов». А ниже: «Зволил генерал, присоединяется».

Три дня мы закреплялись на высоте 142,2.

На третий день после штурма, вечером, меня вызвали в партбюро, в штаб, расположенный в овраге, близ Бекетовки.

Я с большим волнением направился по вызову. Со мной пошел в Бекетовку Якуба, уполномоченный бойцами за покупками в полевом отделении Военторга.

Попутно, повинаясь неудержимому желанию встретиться с другом, я завернул в землянку Неходы.

Виктора я застал за чтением «Красной звезды». Отложив газету на столик, уставленный кожаными коробками телефонных аппаратов, Виктор прищурился на меня своими острыми глазами.

— Андрианов — скверный человечиска. Он успел, где только возможно, оговорить тебя, — сказал он. — Пятьдесят, мол, человек потерял из-за Лагунова убитыми и ранеными.

— Война — карточная игра, — сказал я. — Условились на казенных не прикупать — и держись.

— Чьи это афоризмы? Андрианова? По запаху чувствую, — сказал Виктор.

Он быстро сбросил чувяки, натянул хромовые сапоги, аккуратно заложил ушки за голенища.

— А ты куда собираешься, Виктор?

— Пойду с тобой...

— Ради меня?

— Ну, пусть не ради тебя, а ради истины. Если только Андрианов отстоит там свою карточную теорию, придется вообще отказаться от всякой разумной инициативы. Мало ли что решено перед боем! Бой —

быстро текущая и быстро изменяющаяся штука. В бою не только надо учесть свои ориентиры, а и замыслы противника. Ты одно решил вначале, а необходимо найти мужество быстро подыскать другое, правильное решение, вытекающее из новой обстановки и оправдывающее конечную цель. А какая у нас конечная цель? Победа... Главное, тебе не нужно ни перед кем извиняться и не признаваться в мнимых ошибках. Держись твердо своих принципов. Ведь ты уже заколебался, уже думаешь: «Может, и в самом деле я спутал карты, испортил наступление?» Думаешь так?

Трехдневное раздумье поколебало меня. Я признался в своих сомнениях.

Но, припоминая картину атаки: как отстали роты и застряли, как вперед ушли танки, как было потеряно прикрытие—артиллерийский вал,—как приближалась ко мне огневая завеса противника,—я думал: «Нет, я не мог подставить под огонь своих бойцов. Не имел права».

Виктор помог мне утвердиться в своей правоте и, главное — спасибо другу! — найти оправдание своей совести. У порога, который предстояло мне переступить, я хотел быть чистым.

Я вошел в землянку, где собралось партийное бюро батальона. Здесь был и Андрианов. Он писал что-то, положив блокнот на колено. При моем появлении он не поднял головы.

Федя Шапкин приветливо кивнул мне, покраснел. Возле нашего пожилого комбата я увидел благородную седоватую голову полковника Градова. Начальник училища одобряюще улыбнулся и что-то сказал мне, чего я не расслышал от волнения.

Присутствие начальника училища на партийном бюро ободрило меня.

Комбат взгляделся в меня, приподняв над головой настольную аккумуляторную лампу.

— Батенька ты мой! — сказал он. — Дайте-ка сначала лейтенанту умыться. Человек-то дрался, а не в бирюльки играл.

Мне принесли воды в ведерке и тазик. Я умылся душистым мылом, вытерся насухо бязевым чистым полотенцем.

— Серьезная рана, Лагунов? — спросил комбат.

— Царапины.

— Царапины! — проворчал комбат, продувая усы.— Прямо-таки Печорины какие-то.

Я сел на лавку. Рядом со мной, касаясь коленом, сидел Виктор. Через дощатую дверь доносились звуки артиллерийской стрельбы нашей дальнобойной артиллерии, работавшей с левобережья, с Волжско-Ахтубинской поймы.

Шапкин, заменявший убитого в последнем бою секретаря, открыл заседание бюро.

Немного запинаясь, он прочитал мое заявление о приеме в партию. Закончив чтение, он сказал:

— Расскажи, как после подачи заявления в партию ты сдержал свое обещание мужественно исполнить свой долг перед Родиной.

Я встал и дрожащим от сильного волнения голосом стал рассказывать, как командовал своей ротой в бою. Мой искренний, хотя и сбивчивый рассказ, вероятно, расположил в мою пользу членов партийного бюро.

Конечно, мне нужно было остановиться и закончить на этом свое выступление. Но тут я увидел пренебрежительный взгляд Андрианова, его искривленные в улыбке губы. Кровь бросилась мне в голову... Теряя самообладание, я заговорил о том, что у меня накопилось на сердце. Разноцветные круги носились в моих глазах, все погрузилось в туман. Кто-то дергал меня за руку, пытаюсь остановить. Я увидел встревоженное лицо Виктора.

— Довели беднягу, — сказал комбат, — довели до белого каления.

— Он ранен, — сказал Градов беспокойно, — вы видите, он ранен!

Шапкин протиснулся ко мне, взял мою руку:

— Сергей, может быть, перенесем на следующее заседание? Тебе не совсем хорошо.

Мне дали воды.

— Мне хорошо, Федя, — сказал я. — Прошу тебя не откладывать... Если отложишь, мне будет гораздо хуже.

Слова попросил Андрианов.

— Не перебивай его, — шепнул мне Виктор, — ты и так наговорил всякой околесицы. Имей выдержку, Сережка.

Андрианов застегнул ворот гимнастерки и раскрыл исписанный блокнот.

Я запомнил на всю жизнь этот блокнот оранжевого цвета, загнутый с середины, желтенький черенок карандаша, которым Андрианов для убедительности помахивал в такт своей размеренной, спокойной речи.

Андрианов ни разу не упрекнул меня, ни разу не повысил голоса, но выходило так, что мой поступок был не чем иным, как мальчишеским зазнайством, что все объясняется моей недисциплинированностью, неумением командовать ротой.

— Я чрезвычайно удивлен, — закончил он, — что командование нашими советскими замечательными бойцами доверяется малышам, думающим, что на войне также играют в бабки... Жизнь человека — это не костяшка, товарищи. Ее нельзя швырять о землю, каков бы кон впереди ни был. Война — это не картежная игра, где дело только твое, прикупил ты к семнадцати туза или остановился на казенных...

Впоследствии, знакомясь с жизнью, я не раз замечал, как иногда убедительно действуют такие речи, направленные к разгрому своего личного противника, но построенные формально на самых лучших пожеланиях ему и общему делу.

Вслед за Андриановым выступил Виктор. Он неторопливо отводил удары, нанесенные мне капитаном. Я вслушивался в слова Виктора — так это же мои мысли, только я не сумел изложить их. Виктор говорил о методике наступательного боя мелкими соединениями, о шаблоне и инициативе, о скорости и натиске, о впереди идущих и увливающих...

— Что же, выходит, надо судить меня? — выкрикнул Андрианов. — С больной головы на здоровую?

Виктор, указав на мою перевязанную голову, сказал:

— Именно с больной головы на здоровую.

Все улыбнулись.

— Мальчишки! — воскликнул Андрианов.

Виктор потемнел, его глаза прищурились в сдерживаемом гневе.

— Я не советовал бы никому называть мальчишками строевых командиров Красной Армии, товарищ Андрианов, — раздельно сказал Виктор. — И мы, так

же как и вы, товарищ капитан, командуем людьми. И никто не сбавляет нашей ответственности из-за нашей молодости.

— Погудел бы ты подошвами от западной границы, понял бы, что такое ответственность! — сказал Андрианов. — Мало каши поели.

— И это не довод, капитан, — спокойно возразил Виктор. — Мул Евгения Савойского прошел вместе с ним двадцать походов, а так и остался мулом...

Градов наклонился к командиру батальона, сказал:

— Запомнили, а ведь насчет мула я же мельком им сказал.

В мою защиту ему не пришлось говорить, хотя он и порывался выступить. Кроме Неходы, меня отстояли: заместитель командира полка по строевой части, комроты 3.

Командир батальона взял слово только для того, чтобы объявить о награждении меня за овладение высотой 142,2 орденом Красной Звезды и присвоении очередного звания старшего лейтенанта.

Это было как бы заключительным аккордом той чудесной песни, которую оборвал грубый окрик капитана Андрианова на высоте 142,2.

Я был взволнован до слез. Виктор с шутливой напыщенностью сказал: «Слезы полились из его глаз и поскакали, не впитываясь в задубелую материя военной рубахи».

Я не стыдился своих слез. Я шел, окрыленный и счастливый, к высоте 142,2 — к высоте коммунизма, как я назвал ее в час моей радости, потому что здесь я стал коммунистом и отсюда увидел грядущее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЕС

Хуже нет затишья, разве только час, когда сменяют наш батальон и обжитые траншеи, где запомнилась каждая вмятина от локтя, молчаливо и деловито занимают бойцы полка-сменщика, а мы уходим на отдых. От войны нельзя отдохнуть. В свободное время сильнее

точит душу тоска, и нет ей ни конца, ни краю... Где родные? Какие страдания постигли мою добрую мать? Да жива ли она? Как примирился с несчастьем отец? Оставил ли свою землю или борется за нее?

Припоминается все: и гибель баркаса «Медузы», и слезы матери, быстро постаревшей после безвременной смерти моего старшего брата, и червонный закат у Черной скалы, и глухие удары волн в скальные пещеры, и такие же глухие удары кирпичи... Неодолимы воспоминания детства в часы затишья, когда остаешься наедине с самим собой.

Перед глазами моими голубой, сверкающий камень утренней звезды. Низкий туман, поднявшийся от Фанагорийки, затопил тополя, яблони, закрыл от меня хребет Абадзеха. Обильная роса покрыла седой влагой травы, и склонились они под ее тяжестью. Бьет резкие трели древесная лягушка, и, как бы отвечая ей, трещит сверчок.

А у домов, что прилепились к скалам, захлебываются тревожным лаем кавказские овчарки, почуявшие приближение волка.

Скоро выйдут на водопойную тропу олени заповедника. Заметив на тропе медвежьи следы, они будут пугливо перепрыгивать их — красивые, тонконогие, с ветвистыми рогами.

Неясыть почувствовала приближение утра, она воет и хохочет. В отчаянном испуге, будто проснувшись от жуткого птичьего сна, вскрикивает птица ракша...

Нет, нельзя отдохнуть от войны.

Впереди деловито вышагивает Якуба, он снял пилотку и заложил кончики шинели за хлястик, и я вижу его изрытую глубокими морщинами крепкую шею, затылок, заросший жесткой щетиной. Возвышаясь в тумане, неподвижно несет свою большую голову Бахтиаров. Позади я слышу говор пулеметных колес. Слышно, как номера подхватывают на руки «максимы», чтобы перевалить через ровчаки дожdestоков и попадающиеся на пути ямы для экскрементов.

Чем дальше в лощину, в тылы, тем разговорчивей люди. Они рады тому, что на сегодня избежали смерти.

Я завидую Якубе: вчера почтальон вручил ему серый конвертик, склеенный из кооперативной оберточ-

ной бумаги. Якуба сказал: «Не от жены... Небось, опять чего-сь перевыполнили в колхозе. Отчитываются...»

От жены Якуба получает письма в треугольных конвертах. Жена пишет Якубе чистым почерком, закругляя каждую букву. Она кончила семилетку, работает звеньевой, и колхоз, отчитываясь перед Якубой, рассказывает подробно о трудовых подвигах его «солдатки» в гребенском селе, у равнинного течения Терека.

Якуба затеял стирку на волжском берегу, спустившись к воде по дюралевым обломкам сшибленного вражеского самолета. С ним пристроились еще бойцы, чтобы отмывать подпалины окопного пота; тут и балагуры-каспийцы, и потомок Хаджи-Мурата, и абхазец, с тоской наблюдающий мутные, с нефтяным накатом, воды великой русской реки.

Мы сидим с Виктором у Волги, играем в дурни. Быстро надоедает бездумно швырять толстые, замасленные карты. Смотрим на небо — плывут рваные кучевые облака, пригнанные московским прохладным ветром. Левее от нас, у завода «Баррикады», шестерка «Юнкерсов» пытается накрыть цель. Ее атакуют: ревут яковлевские истребители. Эскадрилья яковлевцев лихо дерется с «Юнкерсами». Иногда ястребок исчезает в клубах сталинградского дыма, и тогда с тревогой думаешь: «Не обожгло ли его легкие крылья?»

— Мне иногда кажется, Серега, что все это сон, — говорит Виктор со страдальческой прихмурью. — А потом треснет над тобой земля, посыплется с потолка — понимаешь: наяву...

Виктор как будто читает мои думы.

— Иногда не верится, Виктор. Часто задумываюсь... Думаешь, думаешь, так это же война! Война! Когда-то только в кино смотрел или отец рассказывал. А теперь на глазах смерть, могилы и наши родные места оккупированы... И мы с тобой в сталинградских степях нюхаем полынь, дышим гарью и запахами трупов... И так хочется ощутить материнскую ласку. Тебе не смешно то, что я говорю?

— Нет... не смешно... говори.

— А потом накапливает такая злоба! Кто, кто вино-

ват?! Возьмешь снайперскую винтовку, заляжешь и вдруг заметишь его... А-а, вот он, мучитель! Одного стукнешь, а из-под земли еще лезут... Сколько их?

— А ты втихомолку... того... плакал? — вполголоса спросил Виктор.

— Я... видишь, ли...

— Только не таись, Сергей. Плакал?

— Да. Только для себя. А чуть рядом шорох, — глаза уж сухие...

— И у меня так было...

Виктор сидел, обняв колени, замасленные от постоянного лазанья в узкую горловину батарейного блиндажа, и глядел на реку. Много обломков жизни несла тогда Волга: обгорелые доски и хлопок; целлулоидные куклы; а то вдруг вверх ножками вынырнет стул, а его догонит ящик или набухшая туша коровы, похожая на огромный винный бурдюк; мелькнет в волнах пилотка красноармейца, оторванный шинельный рукав со звездой политрука или обращенный к донным глубинам лицом труп неприятельского гранадера.

Катит Волга свои воды мимо нас, невдалеке от Ахтубинской поймы, за ней степи и засыпанные пеплом веков дворцы татаро-монголов, решившихся именно здесь поставить стены степной кровожадной столицы покоренного мира.

...Мои бойцы заметили что-то черное, нырявшее по течению. В руках у Якубы багор. Таким же багром, только подлиннее, вооружился и Бахтиаров. Два дагестанца побежали вдоль берега на перехват плывущей по реке бочки. Да, это бочка, и не пустая. Вот волна обкатала бока. Бочка плыла, будто поддразнивая нас клейменными по днищу знаками и железными обручами.

— Цепляйте навкидок, товарищ лейтенант! — слышится азартный голос Якубы.

Бахтиаров надвязал пожарный багор канатом и мечет его, как гарпун. Багор с брызгами падает, не долетев. Бочка вяло переворачивается на другое, тоже клейменое, днище и продолжает свой путь.

— Не тратьтесь, хлопцы! Волной прибьет! — уверяет чей-то зычный голос.

— Кому только? — мрачно выкрикивает Якуба.

Он стягивает вместе с бельем гимнастерку, бросает ее своему приятелю, сумрачному солдату Артюхину.

— Гляди, Артюхин! — приказывает он грозно. — На гимнастерке медаль, в штанах тыща сто тридцать.

Якуба топчется на месте, по-петушьи дрыгает ногами и уже в одних исподниках целится нырнуть в воду.

— Гляди там, где-сь «мессер»-упокойник! — кричат ему зенитчики, привлеченные суматохой.

— Башку разломишь! «Мессер» туда нырнул!

Якуба уже в воде. Он плывет, броско работая крепкими руками. Видно, как играют мускулы на спине и предплечье. Тело у Якубы совсем белое. Черны только кисти рук, лицо и шея, и кажется, что Якуба плывет в перчатках. Вот он шлепает рукой по боку бочки. Грудью Якуба ведет добычу к берегу. Артюхин хочет бросить конец каната. Якуба уже на отмели, придерживает бочку.

— Попалась, курица! — визгливо кричит он.

Дагестанцы что-то советуют Якубе гортанными голосами.

Бахтиаров шурует багром, помогает Якубе вытащить добычу. Сбегаются бойцы и нашего полка, и зенитчики, и тихоокеанцы-матросы, изучавшие под навесом лесопилки «пехотный самовар» — миномет.

Через полчаса к нам поднимается веселый Бахтиаров. Промятое пальцами масло лежит глыбой на его больших ладонях.

— Бочка масла, — басит Бахтиаров. — Рыбье счастье на отдыхе, а?

Во мне просыпается ротный хозяин:

— Проследи, Ким, чтобы не разбазарили всяким зевакам.

— У Якубы не выпросишь, — Бахтиаров смеется, набивает котелки маслом. — И вам принесем на батарею, — обещает Неходе.

— Спасибо, Бахтиаров. Еще не раз огоньком подержу.

Происшествие с ловлей бочки рассеивает печальные мысли. Или вернее: они снова заходят в глубину, прячутся в тайники души.

Стрелковый полк, пришедший на отдых после боев под Сталинградом, располагается в землянках сменщика.

Я вижу молодых измученных бойцов в летнем обмундировании, вымазанном глиной и копотью; скатки шинелей похожи на обручи только что выловленной бочки. Люди нервно пересмеиваются, жадно курят, расспрашивают полчан-соседей: как у них? Распустив пояса и сняв гимнастерки, расстилают шинели, чтобы погреться на скупом сентябрьском солнце.

Медленно, будто обнюхивая рельсы, ползет бронепоезд. Он только что отработал на поддержке из всех своих орудий и тоже должен отдохнуть. На броне вмятины, на балластных платформах битком раненые, попутно вывозимые с передовых перевязочных пунктов. Раненых рассортируют и вечером, чтобы не выдавать переправ, перебросят на ту сторону, в Россию левого берега Волги, где зеленеет деревьями пайма.

Бойцы из Сталинградского полка уже столпились у двух баянов. К нам доносятся слова популярной песни. Мы знали только два первых куплета этой песни, занесенной солдатами 62-й армии генерала Чуйкова. Виктор вынимает полевую книжку.

— Ты запоминай две вторые строчки, я — две первые, — говорит он, записывая.

Песню начинал голосистый дуэт, и сотни голосов подхватывали ее дружным хором. Пелась она людьми, только что пришедшими с линии боя, и пели ее то как торжественный и устрашающий гимн, то как песню печали, тоскуя о погибших, то снова звучала в ней вера в победу. Хорошо ложатся на сердце такие песни!

Есть на Волге утес,
Он бронею оброс,
Что из нашей отваги куется.
В мире нет никого,
Кто не знал бы его, —
Тот утес Сталинградом зовется.

На утесе на том,
На посту боевом,
Стали грудью орлы-сталинградцы.

Воет вражья орда,
Но врагу никогда
На приволжский утес не взобраться.

Там снаряды летят,
Там пожары горят,
Волга-матушка вся почернела,
Но стоит Сталинград,
И герои стоят
За великое, правое дело.

Там, в дыму боевом,
Смерть гуляла кругом,
Но герои с постов не сходили,
Кровь смывали порой
Черной волжской водой
И друзей без гробов хоронили.

Сколько лет ни пройдет,
Не забудет народ,
Как на Волге мы кровь проливали,
Как десятки ночей
Не смыкали очей,
Но врагу Сталинград не отдали.

Бойцы пели, взволнованные пережитым, все как
один, будто по команде, повернувшись к Волге:

Эй ты, Волга-река,
Ты сильна, глубока,
Ты видала сражений не мало.
Но такой лютый бой
Ты, родная, впервой
На своих берегах увидала.

Песня звучала, как клятва, и неугасимой верой светились мужественные лица солдат исторического сражения.

Мы покончим с врагом,
Мы к победе придем,
Солнце празднично нам улыбнется,
Мы на празднике том
Об утесе споем,
Что стальным Сталинградом зовется.

Наконец-то я получил письмо от брата Ильи.

Радости моей не было конца. Он не мог, конечно, точно назвать место боевых действий своего танкового полка. Но существует армейское подсознательное чувство, которое по ряду второстепенных намеков может подсказать точный адрес части.

Мне было ясно, что Илья находится в районе Сталинграда.

Теперь я не мог равнодушно пропустить ни одного танка. Если танки проходили далеко мимо меня, я всматривался в надежде все тем же чутьем узнать, не там ли Илья. Когда танки пришли к нам на поддержку, я наведалься к танкистам, расспросил их. Да, Илью знали танкисты... Илья находился здесь, под Сталинградом. Его полк стоял за Волгой; переформировывался, пополнялся, подготавливался. Второе письмо от Илюши было проникнуто наступательным духом: «Идем в бой с надеждой, что разгромим наглого врага».

Теперь я не оставлял без осмотра ни одного подбитого танка. Часто, обнаруживая обожженных до неузнаваемости танкистов, я проверял документы погибших. И всегда дрожало мое сердце: «А если он, Илья?»

Иногда мне приносили документы танкистов разведчики поисковых партий. Нет, Илью хранила судьба.

Илья спрашивал меня в письме о судьбе родителей. Я не мог ничем его успокоить. Я знал, что бои идут на перевалах, в районе нашей станицы, в верхнем течении Фанагорийки, где река делила позиции вражеских и советских войск, прикрывших подступы к морю.

Кончался краткий отдых. Нам прислали пополнение. Многие были выписаны из госпиталей. Это были бывалые воины, державшие оборону Ленинграда, сражавшиеся в Волховских болотах, под Москвой и Ростовом.

Среди новых бойцов были люди, которым я годился в сыны. Замечал, ко мне присматриваются с удивлением: «Молодой командир. Каков он?» Спасибо моим старым боевым друзьям: они поддерживали мой авторитет, хвалили,—и мне не пришлось отращивать бороду для солидности.

Ко мне пришел Якуба, чтобы выяснить вопрос: «Есть ли английские войска под Сталинградом?»

Якуба держал письмо в руках и смотрел на меня лукавыми своими глазами, ожидая ответа.

— А ты видел англичан под Сталинградом?

— Нет. А на что они тут?

— Я тоже так думаю, Якуба.

— А може, за Волгой? Каспием подали из Персии, через Гурьев?

— Откуда у тебя такие вопросы? — удивленно спросил я. — Даже указана трасса?

— Пишут из дому. Фашисты, мол, листовки бросали на станицу, на Терек, товарищ старший лейтенант.

— Кто же листовкам гитлеровцев может верить? Ведь они наши враги. Их подпирает писать всякую брехню. Остановили их, бьем — вот и начибают оправдываться.

— Я тоже так думаю, да вот из колхоза пытаются.

— А как же жінка узнала, что ты воюешь именно под Сталинградом? Писал ей?

— Ни. Разве можно?

— А как же?

— Просто, товарищ старший лейтенант, -- ответил с улыбкой Якуба, — по догадке.

— А как же она могла догадаться?

— Простым путем. Мыслью. Ось я ничего еще не знаю, а могу сказать точно: поступил приказ нашей роте выходить на передовую.

— Откуда ты узнал, Якуба? Кто сказал?

— Сам догадался.

— Каким же образом ты догадался, Якуба?

— А таким, шо вы переобули хромовые сапожата на юхтовые, — раз...

— А два?

— А два? Бумажки лишние из карманов выкидываете. Известно... Ежели якое несчастье, для чего давать врагу надругаться над нашими думками и заботами. Я теж ни одного письма с собой на передовую не тяну. Медаль начищу и гроши возьму... и все...

— А деньги же зачем?

— После того случая, товарищ старший лейтенант. После разговора с вами, перед высотой 142,2. Може, штыком пырнет — и в гроши, — Якуба подмигнул мне и рассмеялся коротким смешком. — Разрешите итти, товарищ старший лейтенант?

— Иди, Якуба. Начищай медаль, выкидывай из кармана лишние бумажки.

— Есть!

Чтобы не повторяться, я не буду описывать еще один бой. Может быть, противник решил, что на смену подошли менее стойкие части, может быть, уже тогда Манштейн, находившийся на Кубани — Ставрополье, пробовал пощупать огнем и металлом стенки сталинградского «котла».

Заняв передовую перед рассветом, мы выдержали до вечера шесть крупных атак, поддержанных артиллерией и авиационной бомбежкой. Моя рота понесла небывалые для нее потери — больше двадцати процентов состава. За весь день у нас во рту не было и маковой росинки.

Враг сумел вклиниться на участке андриановской роты, на бахчу. Раздавленные белокорые арбузы алели перед нами, как маки. На бахче быстро вкопались в грунт штурмгруппы вражеской пехоты. Андрианова нервировало столь близкое соседство противника. Он звонил мне. В сухом тоне его голоса, принятом им в служебных разговорах со мной, сегодня проскользнули тревожно-просительные интонации. Я понимал положение капитана Андрианова и подбодрил его от имени всей своей роты: не подведем, примем удар товарищески, как и подобает сталинградцам. Сочтемся обидами после победы.

Я не мог переносить личные отношения на служебную почву. Мне кажется, в нашем обществе, объединенном коллективным началом, общностью государственных интересов, не место тем, кто сводит личные счета.

Федя Шапкин, слышавший мой разговор с капитаном Андриановым, молчаливо его одобрил. Я научился понимать его по глазам.

Гитлеровцы редко наступали ночью. Они боялись наших ночей. Отдав приказание на ночной бой, я пошел с обходом. Люди крепко вымотались за этот день. Уже не определишь глазом, были ли они на отдыхе. Люди снова приобрели окопный вид. Санитары выводили раненых, которые смущенно, будто прося извинить их, смотрели на меня. Старшины не успели доставить продовольствие.

Пожилой человек, в новенькой, но измятой, в складках шинели, в новых, вымазанных глиной обмотках, угрюмо приветствовал меня.

Я ответил на приветствие, остановился. Боец, не мигая, смотрел на меня. Взгляд его глубоко заправших глаз был безразличен. Вяло подняв худую руку со следами смоляной дратвы на наружной подушечке ладони, красноармеец что-то смахнул со щеки, опустил глаза, прикрыл веки.

— Что, отец? Чего голову повесил? — спросил я.

Человек устало, лениво отвел глаза в сторону траншейного внутреннего среза, поврежденного снарядом. Еще не успели оправить бруствер, не доверху засыпали ямку, еще не успели затоптать следы смерти.

— Чего же ты пригорюнился? — повторил я вопрос.

— Да что, товарищ командир, — ответил он вполголоса, — деремса, знаете... недавно из госпиталя. Весь день без пищи... В госпитале терпеть отвык... там режим...

— Желудок свое просит?

— Конечно, товарищ командир, — вялая улыбка прошла по его лицу. — Вымотанный человек на что гожд? А ежели опять начнет?

— Не начнет он ночью. А начнет — встретим. Встретим же?

— Уставший человек хочет отдохнуть, товарищ старший лейтенант.

Меня начинала раздражать его физическая и моральная растерянность от одного боевого дня. Но красноармеец был вдвое старше меня. Мне не хотелось его обидеть. Тем более он был из пополнения.

— Ничего. Сейчас подвезут горячую пищу, покупаем, — сказал я и протянул ему фляжку. — На, попей, отец. Глотни с устатку.

Боец взял фляжку, сделал несколько глотков; под морщинистой кожей его перекачивался большой кадык. Выпив, он возвратил фляжку, поблагодарил.

Я попросил у связного сверток с пюре, развернул бумагу:

— Закуси.

— Что вы! — солдат изменился в лице. — Я не

потому... Еще можете плохо обо мне, товарищ командир... Я под Москвой два ранения получил...

— Кушай, кушай, дружище. У меня еще есть.

Боец взял пюре:

— Спасибо, товарищ старший лейтенант. Кабы в госпитале не приучили...

Боец жадно ел. Быстро справившись с пиццей, он смотрел на меня с благодарностью и смущением.

Передо мной стоял Якуба — веселый, подтянутый. Его даже не погнуло после шести контратак, поддержанных с воздуха множеством «Хейнкелей», «Юнкерсов», «Мессершмиттов».

— Как дела, Якуба?

— Без англичанки управились с покосом, товарищ командир, — весело ответил он, вытянувшись по всем правилам устава. — Только мертвяки дух дают, товарищ командир. Вражеские... Может, обратиться к ним по радио, хай уберут...

— Этого нельзя, Якуба.

— Жалкую. Який баштан занавозили! Дивлюсь и не пойму, де кавун, де эсесовский гарбуз, шо они на своих плечах носят.

— Настроение у тебя, я вижу, боевое?

— А шо нам впервой, товарищ командир? Надо як-нибудь выкручиваться.

— Влияй на остальных, поддерживай дух. Харчи подвезут, патроны доставят, а вот дух, самое главное — дух.

— Духу хватит, товарищ командир, — серьезно, с чувством ответственности сказал Якуба. — Я договорился с командиром взвода: бочку масла, что в Волге поймали, поделим и старослуживым и пополнению.

— Правильно, Якуба. Только не делитесь на старослуживых и пополнение. Они тоже повоювать успели. И под Москвой, и под Ленинградом, и в других местах.

— Тут добрый в нашем взводе сержант молдаванин Мосей Сухомлин. Був под Ленинградом. Як зачнет балакать про Ленинград, — спина холонет. Месяц без росы прожить можно... Какие там страсти, товарищ командир! — Якуба наклонился ко мне и полушопотом произнес: — Чуете, ось он, Мосей Сухомлин? Бачите, як билия его народ сучковался?..

Якуба буквально за руку подвел, подтянул меня к кучке людей, окруживших рассказчика.

Я всматривался в лицо сержанта. Где же я видел его? Где слышал этот правильный, тягучий, немного гортанный говор?..

Да это же тот самый молдаванин, который перевез нашу семью на фургоне через хребет!

Да... Это был он, человек, искавший пути в жизни. Вспомнилось, как он, сидя у костра, спрашивал у моего отца: «Кто же повернет жизнь? Коммуны?» И гордый ответ отца: «Колхоз».

Этот сержант был самым дорогим мне человеком: ведь он хорошо знает моих родителей. С ним говорил мой отец в горной ночевке, тогда еще молодой и сильный. С ним говорила моя мама, у которой тогда были веселые, милые глаза рыбаки.

— А потом мне пришлось на фронте сопровождать товарища Сталина, — продолжал Сухомлин ровным голосом. — Товарищ Сталин ходил по окопам, по болотам, был на передовых позициях. Видел, что не поломать врагу наш народ. Это точный факт, — сказал твердо Сухомлин, — точный факт.

В разговор вмешался молодой солдат и, напирая на букву «о», горячо заговорил:

— А слышали, в Москве было заседание по случаю годовщины Октябрьской революции в метро на станции «Маяковская». Там выступал товарищ Сталин и говорил с народом. И радио из-под земли разносило его слова. Вы эти слова знаете все... Съезжались тогда на заседание в поездах. Я сам строил станцию «Маяковская», облицовщиком был. Для меня нет больше чести: на моей станции сам товарищ Сталин выступал...

Молодого перебил пожилой солдат, видимо, из рабочих:

— А потом на параде что сказал? Враг кругом, в бинокль глядит, а товарищ Сталин ему в ответ: жавая у тебя машина... На годик хватит, а там погорят коренные подшипники...

— Не так же говорил товарищ Сталин! — строго сказал пожилой колхозник из далекой Умани.

— А я так, как понимаю. Я моторист.

— Моторист! — укоризненно покачал головой Якуба,

обратив ко мне свое лицо, выражающее неодобрение. — Оци ж мини мотористы!.. «Коренные подшипники».

— Каждый понимает товарища Сталина сообразно... — убежденно сказал Сухомлин.

— Сообразно?

— Сообразно своей жизни. К своей жизни применяет, к своей профессии, к своему мускулу. Так я понимаю.

— Так и балакай, — согласился колхозник с Уманщины, — а то вон тот моторист заладил: «коренной подшипник, коренной подшипник»...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СМЕРТЬ ВИКТОРА

Если бы слабый человеческий разум знал хотя бы на двадцать четыре часа вперед, что произойдет с ним и с его близкими! Сколько бы тогда великих подвигов самопожертвования прибавилось к повести о величии человеческого духа! Разве я не закрыл бы телом своим друга моего Витю Неходу, сверстника детских забав и юношеских страданий?

Еще лежали на бахчах белобокие арбузы, еще не завяла резная огудина, еще цвели малиновые чалмы татарников, но пчелы не собирали капли пахучего меда, так далеко по округе война уничтожила пчел.

Передо мной лежит последняя шутливая записка Виктора: «Ах, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы?» На столе у меня фотография нашего школьного похода на Джубгу и увеличенный со снимка в партийном билете портрет Виктора, с внимательными, задорными глазами. Губы его плотно сжаты, — больше никогда они не вымолвят ни одного слова. Широкая грудь его перехвачена ремнем портупеи, и два кубика на петлицах...

Мой замечательный друг! Какими словами может выплакаться моя пораженная смертью твоей душа? Как скован язык человека! Как мало ему отпущено слов на радость и еще меньше — на горе!

Виктор командовал батареей прямой наводки, яростно поддерживавшей нас на следующий день яростного

штурма. Вражеский снаряд легко ранил двух артиллеристов, погнул броневой щит, отсек панораму и смертельно ранил в грудь и живот командира батареи Виктора Неходу.

Его смерть скрывали от меня до ночи.

И вот, возвращаясь в землянку после удачно отбитой последней атаки, я услышал зуммерный вызов командира полка. Я знал: полковник звонит по своему телефону в исключительных случаях. Обычно он связан с нами через комбата.

Я пришел в землянку. Неясные предчувствия томили меня.

Телефонист протянул мне трубку:

— Командир полка, товарищ старший лейтенант.

Я не могу поднять руки. Я чувствую: что-то тяжелое должно лечь на мои плечи. Я делаю усилие — и трубка у меня в руках. Полковник Медынцев говорит: «Сережа!» — и умолкает. Это бывает, когда он позволяет пробиться наружу отцовским чувствам, когда мы для него уже не подчиненные, с которых нужно жестоко требовать во имя присяги, а ребята, его собственные дети.

Я не слышу ни одного слова из всех его утешений. Я слышу только одно... Это одно гудит, как колокол: что-то случилось с Виктором. Что же, что?! Рука, сжавшая трубку, немеет. Пальцы не разжать. Я слышу:

— Сережа, Виктор Нехода убит.

Сегодня мы должны были встретиться. Виктор, переступив порог блиндажа, пригнулся бы под накатным бревенчато-рельсовым сводом и снял бы пилотку со своей белобрысой, стриженной под бокс головы...

Пришел Федя Шапкин. Пришел Ким Бахтиаров, пришли Гуменко, Загоруйко.

«Виктор убит». — думал я, и в голове моей мгновенно созрел план мести.

«Я веду роту, — сказал я себе. — Я веду ее независимо от приказа. Мы сделаем вылазку с гранатами «РГД». Мы ворвемся к врагам. Я знаю, как это сделать. Они не наступают ночью. Я дорвусь до их подлых сердец, я буду бить из пистолета в правый, в левый глаз, в сердце, в затылок... Я доведу свою роту до их артиллерии!»

Федя Шапкин, выслушав мое бессвязное бормотание, спокойно сказал:

— Ты так не должен поступать, Сергей.

— Нет... не мешай мне!.. Я так должен поступать!.. Именно так! Мы мало их бьем, мало душим, мало уничтожаем! Они прекратили атаки, и мы — тоже... Мы работаем, как в заводской смене!.. Это тебе не Сельмаш, Шапкин!.. Уйди от меня!

— Ты хочешь повести людей в бой?

— Да... Не мешай мне.

— Это же люди, Сергей!

— Я обращусь к их чувствам... Не мешай!..

— Но где же рассудок, Сергей? У твоих людей есть отцы, матери, дети, жены. Они доверили тебе своих любимых, своих кормильцев. Ну вот, пойдем мы в бой мстить за Виктора Неходу. Погибнет Бахтияров, упадут вниз лицом братья Гуменко. Ведь они хорошо исполнят твой приказ и будут свирепо сражаться... Ты безрассудно бросишь в бой сержанта Сухомлина, а у него, ты знаешь, пятеро детей... Сергей, что же ты делаешь? Сергей!

В землянку входят Медынцев и наш командир батальона. Они молча усаживаются. Повинуясь кивку головы командира полка, из землянки уходят все, кроме Федя Шапкина.

— Сергей, — сказал командир полка, — так нельзя. Если бы мы переживали так все, у нас не оставалось бы ни сердца, ни соображения, ни физических сил драться с врагом.

— Но...

— Не говори, Сергей, — продолжал полковник, не повышая голоса. — Враг только этого и желает. Чтобы возле одного, павшего геройской и правильной смертью, свалилось от необдуманных поступков с десятков его слишком нервных друзей...

— Товарищ полковник...

— Помолчи. Я знал, что произойдет после моего звонка. Потому и пожаловал в гости. Ты хотел бросить роту в бой? Не отвечай. Хотел, конечно. Нехода был спокойней тебя, а ты слишком горяч. Ты знаешь, как поступил бы Виктор Нехода на твоём месте, Сергей? Виктор Нехода, а мы его знаем все, не проронил бы ни

одной слезы. Он сжался бы весь, как стальная пружина. Он сохранил бы свою месть на долгое время, на годы борьбы. Он проверил бы вначале самого себя, как проверяют механизм, а потом уже принял бы решение. Он нашел бы коэффициент полезного действия своей ненависти и использовал бы каждый грамм ее разумно и точно, без паники, без смятения души, как и полагается коммунисту... Молчи... Выходит, мы зря тебя принимали в партию, а? Может быть, прав капитан Андрианов? Молчи... Завтра мы решили похоронить Неходу в Бекетовке... Сегодня ты можешь проститься с ним. Он у меня на «капэ», а завтра мы отсалютуем в Бекетовке... — Полковник встал. — Пойдем-ка, Сергей. Пойдем со мной...

Я вышел вслед за командиром полка из блиндажа, споткнулся на дощатой ступеньке. Остановился, прислонившись плечом к земляному траншейному срезу. Мне не хватало дыхания, хотя здесь, в узкой щели траншеи, стоял прохладный сентябрьский воздух, наполненный степными запахами. Полковник дал мне отдышаться, а потом взял за руку и повел за собой.

Я шел, ощущая это властно-отцовское прикосновение, чувствуя запах табака и сырого ремennого снаряжения, запах, который всегда приносил с собой наш полковник.

— Вот здесь отдохни, — сказал он в коренном траншейном ходе.

Над нами лежал вал бруствера и поверху стеблевая сетка полынного дерна.

Ярко светила луна, неподвижной и холодной тяжестью повисшая над землей. Бойцы моей роты, сидевшие на окопных завалинках, поднялись.

Я заметил, как они сочувственно глядели на меня. У каждого из них было свое личное горе, но они разделяли и горе, постигшее их командира. Во взглядах, в поворотах голов, в коротких красноречивых жестах я ощущал это содружество нашего боевого коллектива, содружество душ, которое может быть сильнее танков.

Мы шли по ходам сообщения к полковому наблюдательному пункту. Прикрытые возвышенностью, соединительные траншеи позволяли идти в полный рост. Теперь я видел лежавшую вправо от нас высоту,

занятую противником, срезанную артиллерийским огнем рошу и развалины каменных строений. А Виктор уже никогда не увидит ни этого звездного неба, ни своей старой матери, которая ждет и будет ждать долгие годы своего сына, не веря в его смерть...

Неподвижно лежали трое, прикрытые плащ-палатками. Мне никто еще не объяснил, кто из этих трех человек, опрокинутых навзничь и прикрытых зеленым грубым хаки, лейтенант Виктор Нехода.

Я сам узнал его и сбросил набрякшую от росы плащ-палатку.

Вот он, мой друг!

Виктор лежал вверх лицом, с полузакрытыми глазами, в разорванной и залитой кровью гимнастерке, с темными пятнами на тех местах, где раньше он прикалывал орден и значок «Отличному артиллеристу».

Одна его рука была согнута в локте, и сжатый кулак лежал на груди, вторая рука вытянута вдоль туловища.

На загорелой и, показалось мне, худенькой, тонкой, как у выпускника-десятиклассника перед экскурсией в Джубгу, шее светлела узенькая каемка подворотника.

— Витя! Витя! — позвал я, все еще надеясь, что он откроет свои задорные, смелые глаза.

— Сергей, — прикоснувшись ко мне, строго сказал полковник, — держи себя в руках.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О „ЧУДЕ“ НА ВОЛГЕ

Войска Сталинградского фронта готовились к контрнаступлению, готовились тщательно, упорно, накапливая мощные силы для смертельного удара.

Пришли стойкие континентальные морозы и ветры. Здесь сходились карские циклоны, как бы скользящие по кромке Уральского хребта, и среднеазиатские шурганы, эти своеобразные бураны степного океана, раскинувшегося от Памира до Волги и от Волги до предгорий Кавказа. Для нас это была зима-матушка, противнику она казалась зимой-генералом.

Но хотя зима была нам знакома и добра к нам, у нас зябли руки, носы, плохо заводились моторы танков и самолетов, обледеневали дороги, и продвижению автомобильных колонн мешали глубокие снега. Но мы чувствовали заботу о нас благодарных соотечественников.

Если ко мне в теплую землянку приходил рядовой боец Якуба, я видел его краснощекое лицо, улыбку отлично отобедавшего человека. Вместо шинели он носил теперь ватную фуфайку с поддетым под нее меховым жилетом; под гимнастеркой — теплое белье, стеганые штаны заправлены в голенища сибирских валенок. Вместо пилотки — шапка-ушанка из цыгейки, а на шее шарф.

...Машины с провиантом буксуют по глубокому снегу. Ничего. Им мигом подсобят солдаты. Везут эти машины хлеб, мясо, колбасу, «горючее» для внутреннего употребления, консервы, шоколад, табак и даже апельсины.

Выходя на пятачок, утопанный возле наблюдательного пункта, я видел расставленные за снеговыми буграми орудия разных калибров, начиная от батальонных пушек до осадных орудий, нацеленных с заволжских позиций, с такими стволами, что каждый из них, пожалуй, вместит великана Бахтиярова.

Надо мной летают истребители, неумолчно гудят пикирующие бомбардировщики, с методической точностью долбящие притихшего противника. Иногда я слышу радиоразговоры летчиков. В самом тоне их чувствуется теперь хозяйская уверенность, отсутствует горячность первых месяцев войны. Я слышу этаким спокойным басом: «Саша, придется разменять фашиста. Нажмем на гашетки».

Вон, взметая снежную пыль, будто торпедные катера в пенном море, несутся на исходные рубежи окрашенные белым танки. Пусть будет счастье Илюше! Ведь где-то в этой снежной метели идет и его танк.

Эти грозные машины присланы надежными нашими помощниками: колхозниками Иркутска, Джамбульской области, Грузии, Армении, Подмосковья, Вологды, учеными Академии наук, комсомольцами и пионерами Поволжья и Свердловска, артистами Большого театра,

художниками, шахтерами Кузбасса... Их адресами расписана бортовая броня боевых машин.

На дымных конях подходили казаки в полушубках из белой овчины, а впереди конных колонн гарцовали на ахалтекинцах и донских скакунах командиры в маковых бапльках поверх черных бурок.

По железнодорожной линии ходили бронепоезда.

Ночью вереницами, будто связки бус, тянулись к передовой автоколонны. Машины везли и везли и заваливали балки реактивными снарядами, прозванными «Иван Грозный». А когда тихо подошли полки трехосок «катюш», или, как их сейчас шутливо называют, «раис», мы поняли: приблизилось время, когда, проминая подошвами отбитую землю, мы пойдем вперед и вперед.

Эпизоды первых боев у щита Сталинграда и заключительного сражения, где мне посчастливилось быть участником, позволили мне прийти еще тогда к следующим выводам.

Отход к Волге был совершен планоно, чтобы завлечь противника, истрепать его небольшими силами маневренной обороны, приблизить свои и удлинить коммуникации неприятеля, проходящие по враждебной ему территории, а потом бить врага наверняка, подтянув мощные стратегические резервы, скрытые в опорных пунктах советского тыла.

Некоторые очевидцы, находившиеся на излучине Дона при отходе от Лисок и Миллерова, склонны были уверять, что отход совершался беспорядочно, что якобы наши армии были деморализованы быстрым, рассекающим движением вражеских наступающих армий. Конечно, у нас кое-где были тогда неудачные военачальники, допустившие панику в своих войсках, среди которых неустойчивых частей. Рассказывали о пуганице, якобы происходившей в наших войсках.

У нас в полку, во втором батальоне, был кашевар Мирон Апушкин. Люди, видевшие его во время отхода дивизии, рассказывали о нем много разных историй. Стоило только прослышать ему, что где-то наступает противник, или почуять артиллерийскую стрельбу не впереди, а сбоку, как он немедленно бросал ложку большую ложку и кричал: «Окружили, продали!»

Его недоверие к командирам распространялось от заведующего продскладом, откуда он получал муку на галушки, консервы и лавровый лист, до командующего фронтом. Даже храбрость командиров внушала ему подозрение: «Сговорились, небось, с противником. Их-то не тронет, не то что нашего брата!»

У кашевара быстро менялись настроения. Он стремительно переходил от крайней паники к экзальтированной храбрости при удачах. Я невольно вспоминал этого кашевара Мирона, когда вслушивался в рассказы некоторых очевидцев. Так и чувствовалась спрятанная где-то за их спиной длинная поварская ложка. Но, присматриваясь к таким рассказчикам, я вспоминал наше сражение на Тингутовских высотах, отход к Волге, вспоминал таких командиров, как генерал Шувалов или полковник Градов... Шуваловых и Градовых было больше, чем ротозеев.

С нами впритык стояли сибирские полки. Они подошли по незнакомой им местности, ловко вкопались в землю, заложили минные поля, раскатали звонкие катушки провода, прирастили свои провода к нашим и стали надежными соседями.

Слаженно и солидно подошла морская пехота Тихоокеанского флота. Я любовался этими здоровыми, мелкими парнями, похожими на моих любимых черноморцев. В их руках бесперебойно работали машины, как называли они пистолеты-пулеметы, или «самовары»-минометы.

Впоследствии появились зарубежные теоретики, писавшие о «чуде» на Волге. Стараясь снизить значение сталинградской победы и оперируя историческими аналогиями, любители чудес вспомнили о «чуде» на Марне.

На Марне, с точки зрения этих теоретиков, произошло чудо. Там стратегия воюющих сторон зашла в тупик и, потеряв разумное управление, начала подчиняться случайностям. Выпавшие из рук безвольных, растерявшихся полководцев вожжи стратегии были подобраны неким «высшим существом» — и совершилось чудо.

На Волге не было чуда. Здесь было все заранее продумано, подготовлено и решено. Не в один час и не

в один месяц появляются в резерве главнокомандующего десятки свежих дивизий, обученных, экипированных, стойких, не в один день и месяц изготавливаются тысячи орудий, не так скоро изготавливается танк. Танк и орудие — конечное производное сотен заводов, домн, вскрытых руками человека недр — результат напряженной работы миллионов тружеников.

Людские вооруженные массы и материалы все же не решают сами дело победы. Надо сочетать их разумно и предусмотрительно: когда необходимо — быть скупым, когда потребуется — стать щедрым.

Что было бы, если бы разум вождя не предугадал того, что складывалось у нас в результате десятков лет созидательной работы мускулов и ума, способного к высокому философско-политическому обобщению и предвидению?

Что было бы с нами, если бы у нас не было во главе государства дальновидной коммунистической партии и ее вождя?

Уроки этой войны пригодятся и на будущее. Пусть народы садятся за парты и изучают пройденный нами курс.

У Германии даже ко дню нашего генерального подхода на Берлин было в достаточном количестве стали, редких металлов, бензина, алюминия, взрывчатки, оружия, орудий и пулеметов. В достаточной мере производились боевые припасы. Теперь известны данные Шпеера, доложенные Гитлеру. Союзники не причинили серьезного, губительного ущерба промышленности Германии. Они также не оттянули на себя достаточно сил, и германский генштаб гнал войска только к востоку, почти не поворачиваясь на запад.

Что же произошло? Живая сила врага была разгромлена еще до нашего подхода к его жизненно важным центрам. Советский урок, преподанный врагу под Сталинградом, противником не был учтен. В нужную минуту у гитлеровских полководцев не оказалось необходимых для контрнаступления дивизий. Побеждала сталинская стратегия, неизмеримо более высокая, несопоставимая с консервативным мышлением германского генштаба, с его устарелой стратегической доктриной, идущей еще от мануфактурного периода войн.

В блиндажах, оборудованных в родной земле, мы, офицеры Советской Армии, спорили и горячились, доказывали и опровергали, казнились от досады, если что-либо ускользало от нашего понимания, но мы всегда помнили, что нашим спасением, нашим будущим мы обязаны великому человеку, который воспитывал нас в великих сражениях у высот коммунизма.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

АТАКА

...Незадолго до зимнего рассвета меня разбудила орудийная канонада.

Стальной пояс окружения начал сжиматься. Пришедшее из древности понятие «Канны», сотни лет не сходившее со страниц военных учебников, уступало место новому синониму стратегического окружения и разгрома — «Сталинград»...

Через несколько часов к нам поступило первое сообщение: взято в плен тринадцать тысяч солдат и офицеров. Итак, «непобедимая» армия, прошедшая Европу, маршировавшая по Антверпену, Брюсселю, Парижу, начала разрушаться под ударами советских войск.

Мы целовали друг друга. Мы не стеснялись наших чувств. Успех наступления был налицо, и мы торжествовали.

А потом в бой вступила и наша дивизия. Наконец-то прекратилось тягостное затишье!

Командир батальона собрал командиров рот и заместителей по политической части в своем блиндаже и, покашливая, тихим от ангины голосом объявил нам приказ. Комбату было за сорок пять. В последнее время он часто прихварывал. А тут еще случилось несчастье: где-то в Средней Азии, в эвакуации, умерла его старшая дочь. Но комбат, как всегда деловито и спокойно, провел совещание.

Этой же ночью мы повели свои роты к исходному рубежу в ложину. Сразу же после выхода из траншей попали на материковые снега. В таких снегах мы должны были скопиться перед броском. Глухая ночь

помогала нам. Красноармейцы были одеты в маскхалаты, оружие прикрывали, чтобы оно не чернело на снегу. Противник не ожидал именно здесь, на нашем участке, активных боевых действий. «Языки» — обычно румыны — показывали на допросах, что гитлеровцы уверены в стабильности нашего направления.

Оставив проходы для танков поддержки, командиры рот собрались ко мне. Первой ротой командовал Бахтиаров. Андрианова перевели в другой полк. На третьей роте стоял Загоруйко. Четвертой ротой командовал кадровый капитан, вдумчивый и хладнокровный узбек, которого мы называли Атаке, то есть Отец.

Еще перед выходом на исходный рубеж мы надели маскировочные халаты. Теперь здесь, в снежной ложине, продуваемой ветром, мы зябко поеживались, склонившись головами друг к другу; мы обсуждали: кому из нас выпадет честь встать первым во весь рост, крикнуть, как мы решили: «За Родину!», «За Сталина!» — первым броситься вперед, увлекая за собой весь батальон?

Бахтиаров сказал своим мягким баском:

— Пожалуй, придется мне, товарищи.

— Почему же тебе? — недовольно возразил Загоруйко.

— Ты очень высокий, Ким, — сказал я, — тебя сразу убьют. Ишь, какая заметная цель для врага!

— Не пугай Кима, — заметил Атаке, — его все равно не испугаешь. А потом артиллерия начнет, «райсы» начнут, танки начнут, минометы начнут... Куда там вглядываться в разные пехотные фигуры ошалелому фашисту!

— Поэтому должен начинать я, — сказал Ким, обрадованный поддержкой Атаке.

— Что ты за персона, Бахтиаров! — нахохлился маленький Загоруйко. — Если бог дал тебе рост, это не значит еще, что он прибавил сюда же и удачу. Батальон поднимаю я.

— Объясни причины! — горячо возразил Бахтиаров. — Не балагурь, Загоруйко!

— Я маленький, увертливый — это, во-первых. А во-вторых, недавно команду ротой. Надо же мне перед своими-то бойцами отличиться...

Мне тоже хотелось поднять батальон. Настало время, наконец, для того, чтобы отомстить за смерть Виктора Неходы и за страдания семьи, за все то горе, что принес враг в мою жизнь. Мне казалось, что на высокоом кургане, в морозном утреннем рассвете будет стоять и смотреть на нас человек, имя которого я должен буду произнести перед атакой вместе с именем Родины. Я был уверен, что он где-то здесь.

— Нельзя так, товарищи, — строго сказал Атаке. — Мы сделаем по-другому. Мы сделаем, товарищи, справедливо. Мы бросим жребий. Согласны?

Получив наше одобрение, Атаке разорвал на четыре части листок, вырванный из полевой книжки, начертил на одной бумажке крестик и положил в шапку. Взмахнув своей курчавой головой, мгновенно обвившейся паром, Атаке сказал:

— Руки!

Четыре руки опустились в шапку. Я нащупал бумажку, развернул. На моей бумажке стоял крест.

— Вот и решили, — сказал Атаке, надевая шапку. — Поднимать Лагунову, — он взял мою руку повыше кисти и крепко сжал. — Ничего, Сережа, — сказал он, — ты встанешь на полсекунды раньше нас. А потом поднимемся все мы, как на пружинах. Пусть пуля тогда ищет тебя среди всех...

Федя Шапкин, теперь мой замполит, которому я рассказал о жеребьевке, поглядел на меня из-под воротника шинели, закрывавшего его от бокового ветра.

— Ты-то теперь не робеешь, Сергей?

— Конечно, нет... А почему ты задаешь такой вопрос?

— Обычно так получается: хорохоришься, хорохоришься при людях, а внутри... Как внутри, Сергей? Холодно или жарко?.. — не дожидаясь моего ответа, Шапкин уверенно сказал: — Ничего, и на этот раз повезет, Лагунов.

Шапкин посмотрел на часы.

Томительно тянется время. Волнение проходит. Я думаю не о том, что сейчас произойдет. Я думаю о Викторе, о моем погибшем друге. Я чувствую, что именно эти мысли помогут мне подняться без страха и без страха идти вперед. Меня воспитали в любви

к человеку, но мое сердце сейчас полно ненависти, созревшей во мне в дни моего горя. Я поднимусь сейчас в атаку не только против Н-ского батальона, Н-ского пехотного полка какой-нибудь там Вестфальской или Баварской дивизии — я поднимусь против мрака и злобы, против будущих войн. Я поднимусь против убийц Виктора Неходы.

Я готовлю гранату «РГД» 1942 года. Она дает светлый столб пламени, прослоенного мельчайшими осколками. Я хитро, по-звериному, вкопался в снег, притаился. Я долго лежу в снегу, заметаемый снегом. Но близится рассвет, близится час возмездия.

Ветер дует нам в спину и несет снежный поток в лицо гитлеровцам.

И вдруг словно тысячи южных гроз разразились — бьет артиллерия всего кольца. Близкие громы сливаются с дальними. Рокот сталкивается, расходится, и снова звуковые волны ударяются друг о друга — гремит симфония войны: только медь и барабаны, барабаны и медь.

Залпы «катюш» прикрывают нас.

Мы ползем в снегу ближе и ближе к траншеям врага. Вал огня впереди нас. Мы ползем, разрывая своими телами наметаемый косыми валами снег. Каждый спешит. Нет отстающих. Это — не принуждение, не слепое исполнение устава: это подвиг тысяч по велению собственного сердца.

Вверх взвиваются две ракеты: зеленая — это цвет наших полей, и красная — цвет нашего знамени. И я, поднявшись во весь рост, кричу: «За Родину! За Сталина! За друга!» — и бегу вперед, туда, где бушует огонь.

Федя Шапкин уже впереди, с пистолетом в руке — коренастый, небольшой, но сейчас он кажется мне великаном.

— Бей! — кричит Шапкин. — Бей!

Якуба бежит в белом халате, не поворачивая головы. У него в руках винтовка, нацеленная трехгранным штыком вперед. Сибиряки-зверобои ходят так на медведя и бьют его в сердце, пронзая твердую кожу, заросшую густой шерстью.

Я одновременно с Якубой проваливаюсь в занесен-

ную снегом траншею. Черные тени фашистов сбились вправо, уходят. И я кричу Якубе и подбегавшим к нему солдатам:

— Ложись!

Я бросаю гранату и падаю в снег грудью.

И вслед за глуховатым треском разрыва быстротечная траншейная схватка. Мы добиваем тех, кто продолжает сопротивляться.

Федя Шапкин кричит в ухо:

— Сережа! Комбат приказал не задерживаться в траншеях! Траншеи промоет вторая волна! Танки уже впереди, Сергей!

Федя почти тащит меня. Мы обходим труп нашего бойца с расплзающимся пятном крови на маскхалате, перепрыгиваем через пулеметное бетонированное гнездо с кучей гильз на снегу и свистками собираем роту для броска.

Нас обгоняет лыжный батальон — физкультурники-комсомольцы, прибывшие под Сталинград по специальному отбору.

Веселые, краснощекие ребята проносятся лыжным, еще не сломанным строем мимо нас, как озорной ветер.

Это они — хлопотуны и спорщики, танцоры и певцы на вечерах самодеятельности, недавние пионеры, шумные посетители стадионов, кино, литературных вечеров.

У них пистолеты-пулеметы на груди, диски с мелкими автоматными патронами, как семечки в шляпке подсолнуха.

Лыжники несутся по степи, словно буера под белыми парусами.

Высокий, веселый, в развевающемся белом халате оборачивается ко мне, может быть, и не ко мне, и кричит:

— За Сталинград!

Лыжные батальоны врезаются, как ракетные снаряды, в глубину вражеской обороны. Вот высокий, веселый свалился, упал на спину. Парус-халат сорвало порывом ветра. Пятно крови на парусе-халате покрывается по краям щетинкой инея.

— Вперед!

На лыжах несутся девушки-санитарки, собравшие пучками косы на затылке, с глазами-фиалками. Ишь

какими цветами расцветает сталинградская выюжная степь! Девушка-санитарка бросается к упавшему. Вот парус снова поднят над снежным ветренным морем. Шатается, обвисает в слабых девичьих руках. Не умирай, паренек! Ты еще должен увидеть в своей жизни фиалки! Открой глаза!

Вперед!

Вперед, чтобы скорее прийти к труду, чтобы скорее сбросить маскировочную одежду, чтобы вытряхнуть из кармана патроны, чтобы 'омыть, 'омыть руки! Чтобы омытыми руками принести солнце Родине. Пусть вечно нам светит!

Пистолет в моих руках. В первой траншее румыны. Они поднимают руки. Мы знаем, что основной удар надо наносить по второй траншее: там сидят спешенные танкисты дивизии «Викинг». Оттуда шла стрельба по румынам и по нашей атакующей пехоте.

Я знаю, как сражаться с эсэсовцами. Ни за что не доверять поднятой руке: вторая нацелена на тебя. Ни в коем случае не доверять... Если он повернулся спиной, не думай, что он не следит за тобой. Это прием, уловка хитрого, вымуштрованного зверя. Это сделано для того, чтобы отвлечь твоё внимание, обмануть.

Якуба держится вблизи меня, отстреливается скупой, сберегая патроны. Он явно охраняет меня. Если я что не замечу, заметит Якуба. Если мы вдвоем что-либо проглядим, поможет Мосей Сухомлин: он считает меня как бы своим сыном после того, как мы вспомнили путешествие с фургоном.

Нам трудно достаются танкисты «Викинга». Ко мне подбегает Федя Шапкин, говорит, что ранен Бахтиаров, на его глазах свалился замполит батальона, что рота Загоруйко еще дерется во второй линии траншеи... Федя кричит на ходу. Его рваные, хриплые фразы вылетают вместе с паром.

Атаке опережает нас. Его рота молча добывает вторую линию, растекается по ходам сообщения в глубину обороны. Я один раз увидел Атаке. Он стоял на белой вершине бронебункера, взорванного прямым попаданием «эрэса», и энергично махал рукой, направляя бойцов по ходам сообщения, покрикивая по-узбекски, и улыбался.

Подражая Атаке, я тоже вскочил на бруствер, чтобы направить людей в глубину. Шанкин сбил меня с бруствера. Я упал рядом с ним под свист пуль, обметавших бруствер: работал скрытый до этого пулемет. Пошла лента разрывных пуль.

Если ночью рвутся «дум-дум», красиво: разноцветные по коронке разрыва букетики. Днем же только короткий хлопок и пискливый разлет крошечных, ядовитых осколочков.

Траншей сообщений вывели нас к ложине. Мы достигли балки Купоросной. Не нарваться бы на минные ловушки! Поэтому мы достигаем третьей линии вслед за отходящими фашистами. Мы выдавливаем их из соединительных траншей, как из тюбика, и завязываем рукопашный бой в стрелковых и пулеметных ячейках — осиновых гнездах, наклепленных в норах балки Купоросной. Хорошо, что здесь уже поработали наша авиация, артиллерия и минометы. Снег почернел, обрызганный землей, выброшенной взрывами. Много свежих трупов, лыжных следов и звездочек лыжных разворотов. Попадают убитые лыжники. И вон — я отворачиваю глаза, и сердце мое становится, как комок железа, — девушка-санитарка... Глаза-фиалки залиты кровью, губа рассечена. Кровь заливает обнаженную девичью шею.

Высокий, с сильной проседью гитлеровец, с погонями младшего офицера, будто прикованный к размятой глине войлочными на деревянной подошве ботами, с блеском золотых зубов из-под приподнятой верхней губы, с автоматом в обмороженных руках, с ввевшимися в пухлое мясо перстнями...

Я загляделся на секунду дольше, чем нужно было, на убитую девушку. В секунду можно сделать два выстрела, одной секунды достаточно, чтобы нажать спусковой крючок автомата.

Я нырнул в снег в тот миг, когда из ствола автомата появился характерный для зимней стрельбы дымок. Обмороженные руки офицера тупо водили этим задымившимся стволом. Пули засвистели возле меня, поднимая снежную пыль.

Я почувствовал, как пуля ударила в правую мою ногу — и нога мгновенно занемела, и какое-то гнетущее состояние неизвестности пришло ко мне.

Я выстрелил из пистолета.

Офицер покачнулся, опустился на колени и упал лицом вниз. Я видел его голову, спутавшиеся волосы, оборванный хлястик шинели.

Я хотел приподняться и не мог.

Возле меня никого не было.

Невдалеке слышалась татакающая дробь магазинных немецких винтовок, характерные звуки, столь отличные от нашего разрыва ручных гранат.

Я попробовал ползти. Онемение прошло. В ногу вступила боль. Хотелось кричать от этой боли. Может быть, и крикнул. Возле меня очутился Якуба. Подполз, разлепил забитые снегом губы:

— Товарищ старший лейтенант, як же так?

— Кажется, ранен, Якуба, — я силился подняться.

Якуба навалился на меня. Я почувствовал запах махорки и чеснока. Якуба держал меня за плечи, а мою грудь придавила его винтовка.

— Нельзя. Пристрелялись... Лежать...

Якуба не выпускал меня из-под себя, одновременно ощупал мою раненую ногу. Я почувствовал выше колена резкую боль: пальцы Якубы дошли до раны. Я застонал. Якуба отпустил руку и тихо, обдавая меня своими теплыми запахами махорки и чеснока, пробормотал:

— Пуля. Бо, если осколок, порвал бы шинель. Самому вам не дотянуть до сестер.

— Доползу, Якуба.

— Ни... Давайте лягайте на меня. Я вас дотяну до балочки. Ни... ни... не подымайте голову.

Якуба как-то очень ловко надвинул меня на себя, приказал держаться руками за плечи и потащил меня по целине. Он полз в снегу, отфыркивался, тяжело дышал.

И когда Якуба дотащил меня к спуску в ложину, я увидел своего замполита. Шапкин встал, бросился к нам.

— Убьют! — досадливо бормотал Якуба. — Як же так? Да рази можно таким дитям быть на фронте?

Шапкин подбежал, нагнулся, схватил меня на руки и понес. Его широкое, курносое и всегда застенчивое лицо склонилось ко мне. Его брови были в инее, шерстяной ворот подшлемника прикрывал рот.

— Так же нельзя, Сережа, нельзя, — говорил он, прерывисто дыша. — Балку-то почти очистили. Противник усилил сопротивление у Воропоново. К нам опять подтягивают сибиряков... Сейчас опять начнет артиллерия, и пойдем... вперед! Эх, ты... Генерал Шувалов приказал брать противника техникой в первую очередь. Приказ Сталина. А ты? Эх, ты, Сережка!..

Я слышал рокочущий хозяйский голос нашей артиллерии, рев штурмовых самолетов.

Шапкин прыгнул в сугроб с обрывчика. Теперь мы были в безопасности.

— Где Якуба? — спросил я.

— Сестру, — приказал Федя, — быстро сестру!

— Я тут, товарищ старший лейтенант, — отвечал Якуба.

Он стоял возле меня.

— Як же так?.. Политрук мог загубить и вас и себя. Чи я теж не мог вас понести руками?.. Теж не тактика... Ладно, шо обошлось, а кабы... — Якуба укоризненно махнул рукой.

Пришла медсестра. Она прощупала ногу, что-то сказала Шапкину. Федя принялся освобождать меня от снаряжения, расщелкивать пряжки.

— Брюки не снимайте, — просил я.

— Надо перевязать. Много крови, Сергей.

— При ней не могу, Федя. Прошу тебя...

— Брось ты! — прикрикнул на меня Шапкин. — Какой кавалер!

Вот тогда я впервые увидел рассвирепевшим моего доброго друга.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГВАРДЕЙЦЫ

Автоматная пуля прорезала мясо, уткнулась в кость и контузила ее. Кость не раздробила и застряла в мышцах. Как говорили мне хирурги в Бекетовке, куда меня доставили, пуля, очевидно, шла по снегу, потеряла силу, что спасло ногу.

Кольцо сжималось. Наш полк вплотную подошел к Ельшанке, пригороду Сталинграда. А я лежал. Ко

мне забегал Шапкин. Он вздохнул, с азартом рассказывал о наступлении, о пленных, об успехах, а я лежал и скрипел зубами от досады. Я доказывал, что нельзя меня держать в госпитале, просился в роту. Шапкин посоветовался с доктором. Доктор устал не столько от работы, сколько от бесконечных просьб раненых о досрочной выписке. Доктор побранил Шапкина.

— Покомандую пока я ротой, Сережа, — сказал Федя.

— Я хочу со своей ротой войти в Сталинград.

— Успеешь еще.

— Успею? Вы же быстро идете.

— Не так, чтобы быстро. Дело солидное. Сжимаем аккуратно обручи. Так сжимаем, чтобы без отдушины.

— А зачем пленным берете?

— Сдаются, Сережа, — с нарочито наивной улыбкой отвечал Шапкин, — потому и берем.

— Врагов надо уничтожить.

— Кто не сдается, так и поступаем.

— Надо всех...

— Если сдаются, нельзя.

— Сам Сталин сказал: смерть немецким оккупантам.

— Оккупантам — да... Но если он сдался, — значит он отказался оккупировать нашу территорию.

— Все равно.

— Нет, — Шапкин стеснительно, но с упрямцей убежденного человека доказывал мне. — Уничтожить надо врага, который не сдается. Сдался — оставить. Они не одни... Сколько еще армий у Гитлера? Узнают, что мы их варим в котлах с мясом и костями, будут драться до последнего. Нам же будет потом труднее, Сергей.

— Ты стал защищать немцев, Федя. Я тебя не узнаю. Что ты говорил раньше?

Шапкин улыбнулся мило и светло:

— Раньше мы отходили, а теперь наступаем. Нам нельзя становиться на одну доску с ними. Нас воспитывали по-другому. Мы... — Федя помолчал, как бы подбирая слово, — гуманисты. Мы их должны убедить

оружием, превосходством своего духа, ну, если хочешь, своей идеей. Нам их еще придется перевоспитывать. Ведь у них не только Гитлер или Геринг, у них и Тельман и Карл Либкнехт, Сережа... В общем это разговор, как говорится, на потом. А теперь поправляйся...

Федя уехал на передовую. День и ночь перекатывались громы артиллерии. В стекла окон бил сыпучий, метельный снег. Стекла разводило прелестными узорами. Через эти узоры я немного видел, что делалось там, на воле. Я слышал своим привычным ухом даже отдаленное передвижение автомашин, подвозивших боевые припасы. При проходе танков казалось, что с самого фундамента подрагивает госпиталь.

Вереницей проходили передо мной образы прошлого, воспоминания детства. Снова повелительно вторгался в мои думы Виктор. Я мысленно продолжал разговор с Шапкиным об отношении к врагу. Его взгляды были новы и неприемлемы для меня. Могли ли мы еще несколько месяцев тому назад говорить о гуманных чувствах к врагу? Не могли. Так могли рассуждать люди, уже почувствовавшие себя победителями. Тогда же перед нами был страшный враг, которого мы должны были только ненавидеть и истреблять.

Я перечитывал теперь слова Сталина: «...Красной Армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину. Красная Армия, как и армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожать поработителей своей родины, независимо от их национального происхождения».

Рокотали танки и орудия. Я смотрел в морозное окно, страдал от бездействия.

...И вот однажды в мою палату вошел Илья. Я не поверил своим глазам. Казалось, все кончено, все разьединено, разбито и развеяно войной. Потеряна семья, разрушен дом.

Илья стоял передо мной в белом госпитальном халате, со шлемом танкиста в руках, с суровой, незнакомой мне улыбкой. Узнав окольными путями о моем ранении, он забежал ко мне на десять минут. Он разыскивал меня по всей Бекетовке, видел Бахтиярова, также изнывавшего от бездействия. Ким и направил его сюда.

Я предлагаю стул. Илья садится. Медицинская сестра, полненькая, веснушчатая и милая девушка, по фамилии Бунина, оставляет нас вдвоем.

Мои товарищи по палате понимают, что у Ильи времени в обрез, и поэтому стараются не мешать нам поговорить между собой. Легко раненные ковыляют в коридор, тяжелые прикрывают глаза или отворачиваются к стене.

Мы сидим друг против друга и молчим.

Я внимательно рассматриваю брата. Как он изменился! Лицо и по своему очерку стало другим. Где его пухлые щеки, улыбка, раздвигавшая губы? Морщинки разбежались по лицу, углубились лапками у глаз, прорезали переносицу. Очертания рта посуровели, может быть, от этих крепко сжатых, обветренных губ, от складок, очертивших рот с двух сторон. И глаза стали другими — настороженными, с запятанной в глубине какой-то злой, скрипучей тоской.

Илья мало говорил, больше слушал, внимательно глядя в меня.

— Два ордена, — сказал он, поглядывая на тумбочку, где я нескромно держал свои ордена. — Твои?

— Мои, Илюша.

— Молодец!

— А у тебя?

— Тоже есть, Серега. Расскажи о гибели Витьки Неходы, — попросил он.

Во все время моего рассказа Илья сидел, опустив голову.

Он помолчал, внимательно и строго поглядел на меня.

В стекло стучала ледяная крупа. Слышался немолчный гром артиллерии. В палату заглянула Бунина, приподняла свои круглые, темные бровки, ушла.

— Где Устин Анисимович, Сергей?
— В Крыму, в Феодосии.
— Плохо. И Фесенко в Крыму?
— Нет, только Яшка оставался дома, а Фесенко воюет.

— Да, мне писал еще в сорок первом об этом Николай.

— Больше не имел сведений о Коле?

— Его видели под Миллеровом. Хорошо, говорят, отходил. Жив ли теперь, не знаю... А Виктора жаль. Очень жаль Виктора! — Илья закурил папироску. — У вас курить, конечно, нельзя, но на ветру нехватает на одну затяжку, выдувает. Извинись уж за меня...

— Хочу уйти из госпиталя, Илья.

— Не надо.

— Полк-то дерется!

— Успеешь. Войны на всех хватит, надоест.

— Сталинград... Пойми, Илюша!..

Илья хорошо посмотрел на меня:

— Сам командир, решай.

— Спрашиваю, как у старшего по званию.

— Ты не моей части. Распоряжаться не волен, — Илья задумался. — Отца жаль, маму. Хорошие они у нас, Серега. Побереги себя для них хотя бы, Серега. Это пуля заблудилась случайно, а вторая может угадать.

Илья смял недокуренную папиросу в руках, сунул в карман своего полушубка и поцеловал меня в губы, лоб и щеки: так делала мама, укладывая нас спать. Последний раз я увидел его плечи с наброшенным на них накрахмаленным белым халатиком, обернувшееся ко мне лицо, кивок головы, и... мне захотелось безудержно и горько заплакать. Сдержался силой воли. Увижу ли когда-нибудь еще брата Илью? А может быть, это был последний поцелуй, последнее прикосновение руки...

Пришла Бучина. У нее в руках ножницы. Косынка завязана кокетливо, виднелись аккуратно подвитые на височках каштановые локоны. Она подошла ко мне

своей валкой походкой, как ходят полные девушки, присела на то место, где сидел Илья.

— Он попросился со мной за руку, — сказала Бунина и приподняла, будто в ожидании ответа, свои круглые бровки.

Я ничего ей не ответил. Мне было приятно, что место, оставленное Ильей, не осталось пустым, что какой-то живой, расположенный к тебе человек оказался на этом месте.

— Спасибо, — сказал я, находясь все еще в плену своих дум.

— За что? — смущенно покраснев, спросила Бунина. — Он сам первый подал мне руку. Да... Дайте-ка мне теперь свои руки, Сережа.

Она взяла мою руку, положила к себе на колено, погладила. Затем, будто одумавшись, вспыхнула и принялась маленькими ножницами стричь мои ногти.

Мне были приятны ее частые прикосновения, ощущение теплоты ее кожи, ее пальцев, и вообще приятно было чувствовать возле себя именно такую юную, застенчивую, милую девушку.

— У меня тоже есть сестра, замужем за командиром-артиллеристом, — она мягко посмотрела на меня и снова опустила глаза, — у нее большое несчастье, очень большое.

— Кто-нибудь погиб?

— Да... И не только. Вы помните, как был первый налет на город?

— Помню, хотя я был и не в самом городе.

— Так вот... мою сестру — Юлечка ее звать — решили эвакуировать вверх по Волге, на Камышин-Вольск. Кое-как посадили на пароход, пароход отправился вверх. А в это время фашисты сбросили пловучие мины. Пароход натолкнулся на мину, начал тонуть. У Юлечки было двое детей: мальчик пяти лет и девочка — двух. Что же будешь делать, Сережа? Пароход взорвался, вот-вот потонет. Все бросаются в воду. Сестра взяла девочку, посадила к себе на плечи, решила с ней прыгать в воду. А мальчику говорит: «Петя, а ты сам прыгай!» Он сказал: «Хорошо, мама. Только дай я тебя поцелую». Поцеловались они и бросились

в воду. Не знаю, как, но сестра с дочкой остались жить. И не помнит Юлечка, как произошло. Подобрали их в лодку. А мальчик, Петя, утонул. Бросился в воду и сразу пошел ко дну... Ведь всего пять лет ему было, Сережа! — в глазах Буниной показались слезы, она вытерла их платочком, покусала губы. — Встретил сестру муж. Узнал, что сын погиб, заплакал и ушел от Юлечки. Не разговаривает с ней, ненавидит ее. Почему, мол, погиб Петя? Как допустила? Необычайно он любил Петю. Сам не свей стал, почернел, как уголь. Сейчас Юлечка живет в Ленинске, за Волгой. Лучше бы, говорит, я тоже утонула. Такое горе у нее, Сережа! Ну, скажите: кто же из них прав?

— Никак нельзя было спасти мальчика?

— Ну как же? Ведь когда сестра прыгала в воду, разве она думала остаться жить? Надо представить весь ужас: пароход тонет, сверху стреляют «мессера». Юлечка говорит, что она не помнила себя. Взяла бы двух — утонули бы все трое...

Эта картина неотступно преследовала меня и после того, как ушла Бунина, и когда притихла морозная ночь и уже не доносились звуки пальбы. Я не мог уснуть до самого утра.

Утром Бунина снова пришла с улыбкой на своих полных губах, с аккуратно подведенными бровями, с кокетливыми локонами, выглядывавшими из-под чистенькой косынки, на которой алел знак Красного Креста. Какую-то страшную, гнетущую тревогу заронила в мое сердце эта девушка. «Хорошо, мама. Только дай я тебя поцелую».

Они пришли сюда и убивают наших детей. Почему же мы склонны так быстро прощать?

Петя преследовал меня. И мне невольно было находиться здесь, вне событий, вне Волги, где дрались моя рота, мои друзья.

Доктор назначил мне еще неделю. А потом комиссия, а потом? Я не повторял больше своих просьб. Надо было усыпить бдительность. Я решил бежать, не дожидаясь ночи. Нетрудно было получить свои вещи, шинель. Оставался в складе только лишь пистолет, как обычно, отбираемый у раненых при поступлении в госпиталь. Его невозможно было добыть.

Я решил пожертвовать своим пистолетом, лишь бы бежать!

Я сбежал из Бекетовки в кабинке грузовика, доставлявшего мины к передовой. Добрался до своего полка. Прихрамывал первое время. А потом все зажило на ходу.

...Мы наступали. Пришло время, когда мы застучали прикладами в чугунные стекла «котла». Пройдя окраинами Ельшанки, мы вступили в разрушенный, забаррикадированный упавшими зданиями город.

Город, где прошла боевая юность отца.

Я дрался в развалинах Сталинграда, на этажах, в подвалах — везде. Только семнадцать человек из своей роты я довел до того дня, когда горнисты протрубили отбой.

В последний день мы взяли в плен двести сорок два немца. Враги вышли к нам из подвалов, жалкие, обмороженные. Да, таких нельзя убивать.

Как были непохожи эти солдаты, однообразные от грязи, обмороженной кожи, темной щетины, на тех ночных солдат, которые вышагивали бравой поступью в лунной ночи Ставрополя!

Я подошел к одному пленному, спросил его имя.

— Мерельбан, — ответил он, — Фридрих Мерельбан.

У Мерельбана были сильно отморожены руки. Пожалуй, мало сказать, сильно. Руки его были просто ужасны, покрытые уже инеем по мерзлому гангренозному мясу. Обшлага рукавов его мундира стали узки, примерзли к мясу и лопнули. Пальцы торчали, словно деревянные. Я взял его палец, и вдруг... палец, не загнувшись кверху, надломился. Я отдернул руку. Немец почтительно закивал головой. Он не чувствовал боли.

— Ничего, ничего... — говорил он.

Это было не то русское «ничего», которое изумило Бисмарка при посещении им загадочной России. Это было угодливое «ничего» немца, потому что ему не было больно. Другое, совсем другое «ничего» было произнесено русским крестьянином, поднимавшим на глазах изумленного Бисмарка сломанным плечом свою телегу, сваленную в овраг царской каретой.

— Ничего, — успокаивающе бормотал немец. — Русские сделают мне железные руки, чтобы задушить Гитлера.

— Отведите пленных в штаб, — приказал я Сухомлину и Якубе, — только в настоящий штаб. И не смейте их даже тронуть! Ты не смотри так на меня, Якуба, — я обернулся к Шапкину:—Мы, Якуба, с тобой не только солдаты, но и великие гуманисты...

Село Песчанка близ Сталинграда.

Генерал Шувалов зачитывал войскам, построенным в резервную колонну, приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта:

«Донской фронт.

Представителю Ставки Верховного Главнокомандования, маршалу артиллерии, товарищу Воронову.

Командующему войсками Донского фронта, генерал-полковнику, товарищу Рокоссовскому.

Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия.

Верховный Главнокомандующий И. Сталин.

Москва, Кремль, 2 февраля 1943 года».

Генерал Шувалов поднял руку и крикнул:
— Ура!

Войска отвечали криками «ура» великому Сталину.

Гремело «ура» в морозном воздухе сталинградского села Песчанки.

Коленопреклоненные, мы принимали гвардейское знамя. Слово за словом мы повторяли за своим командиром слова клятвы. Не только полк, но все армии, действовавшие в районе Сталинграда, получили гвардейские знамена.

Мы еще не знали, как в дальнейшем к каждому из нас обернется боевое счастье, но мы знали одно: гвардейцы обязаны сражаться еще лучше.

В апреле мы шли на Курскую дугу. Там было определено место нашей армии.

— Летите, спасайтесь, солдаты курских лесов! — сказал шагавший рядом со мной Федя Шапкин. — Другие песни мы там запоем.

На Курскую дугу двигался полк Градова. Мы видели его, проезжавшего на автомобиле мимо нашей колонны.

Его глаза разыскивали знакомых. Вот он увидел меня и поднял приветственно руку, а мне хотелось броситься к нему и, не стесняясь, обнять, как отца...

Вот он заметил высокого Бахтиярова, идущего с перевязанной головой, и приветственно махнул ему рукой. Градов приложил руку к козырьку, увидев Загоруйко и братьев Гуменко. Затем машина скрылась в донском глубоком овраге. Градов догонял Медынцова.

Я не знал еще, что придется нам снова встретиться в самой необычной обстановке, что снова его стальные глаза обласкают меня и он поделится со мной еще одной суровой частицей правды.

Мы идем к древним городам России, еще занятым врагом, — Белгороду и Орлу. Идем лицом на запад.

Заветъ
ЧЕТВЕРТАЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На площади, возле взорванного Краснодарского вокзала, стоял рейсовый автобус на Псекупскую. Шофер в полинялой безрукавке, обнажавшей загоренные на солнце руки, покрытые рваными шрамами, доедал каймак из стеклянной банки.

Женщина с кошелкой стояла возле него на самом припеке и ожидала, пока водитель закончит еду, отдаст посуду и деньги.

Увидев меня, шофер отбросил со лба потный чубчик:

— Сейчас тронем, товарищ гвардии капитан. На побывку?

Автобус был набит людьми, узлами и мешками.

Говорили тихо об урожае, о хлебе, о фронте. Недавно летали самолеты противника, и поэтому люди торопились выехать за пределы города.

— Пятьсот шестнадцать лучших зданий развалил, а все мало, — сказал человек, похожий на учителя, — вот в газете написано: пятьсот шестнадцать.

— Какие же здания? — спросил я.

— А вы город-то знали раньше?

— Знал.

— И после освобождения не были?

— Нет.

— Любопытно было бы вам проехать. Я, как вер-

нулся из эвакуации, сразу обошел весь город, хотя сам из станицы. Грустная картина, товарищ капитан. Простите... — он присмотрелся к моей груди, увидел значок гвардейца, — гвардии капитан... Зимнего театра нет, крайисполкома, медицинского института, педагогического, бывших духовного училища и Александровского реального, Госбанка. На Госбанке только кариатиды висят над улицей, горсовет взорван дотла — это бывший дворец наказного атамана. Красивое было здание и хорошо стояло в ансамбле со сквером. Похозяйничали иностранцы...

— А здание нашего училища?

— Тоже. Все жилые дома, построенные при советской власти, как правило, в воздух. Как посмотришь на этого иностранца и не веришь, что человек — высшее и разумное существо. Убивает и взрывает. Жрет, пьет, рыгает... Протоплазма какая-то... хочется давить подошвами, как слизняков! — учитель вздохнул глубоко, отвернулся с брезгливой гримасой, снял очки.

Водитель вытер руки паклей, прикрыл дверь, погудел. Автобус тронулся.

Через полчаса мы подъехали к Кубани. Вода шла мутная и быстрая. Фермы моста упали в реку. Возле железных конструкций плескались усатые коряги, кружились водовороты. Пестрые шуры низко носились над водой. На левый берег переехали на пароме и стали на дамбу, ведущую в пределы Адыгеи. Вековые вербы у дамбы были спилены: гитлеровцы боялись партизанских засад. В пойме гнездились утки. Охотников не было, и утки безбоязненно проносились над поймой.

За дамбой все шире и шире пошли перелески. Островки сплетенных, как кружева, южных деревьев будто оторвались от лесистого кряжа Кавказа, видневшегося на горизонте ломаным очерком вершин и перевалов.

Местность становится все живописней и живописней. Реки в своем беге к Кубани прорезали глубокие каньоны в глинах и мергельных пластах. В густой зелени садов белели меловыми стенами хаты аулов и хуторов.

Торчали колеса на шестах, и между спицами суши-

лись кувшины и глечики. У плетней, заросших хмелем, высунулись разноцветные мальвы на своих длинных стеблях. Вымазанные в грязи свиньи бродили у дороги. Иногда провожал нас испуганным, неурочным «кукареку». молодой петушок, взъерошиваясь, как ежик. Не отрываясь, я смотрел на эту милую жизнь, стараясь ничего не пропустить, и дышал полной грудью.

По дороге шли воловь упряжки. На мажарах, разведенных во всю длину, везли спиленный в горах строевой лес. На бревнах сидели в войлочных шляпах черные остроглазые адыгейцы или казачьи деды с седыми бородами, кружовно раскинувшимися по наглухо застегнутым чекменям.

От хребта шли грузовики с лесом и дровами. Вверх, к горным промыслам, колоннами бежали автомашины с буровым инструментом, трубами, продовольствием. Скрипели и стучали настилы мостов, сделанных еще саперами. Под баллонами тяжело нагруженных многотонных машин выдавливались колеи в мягком грунте довоенного грейдера.

— Нефтепромыслы восстанавливают, — говорит учитель, — ведь нефть-то какая здесь! Авиационные сорта бензина вырабатываются из кубанской нефти! Говорят, уже пошла снова нефть на Кура-Цеце и Асфальтовой горе...

— Больно быстро! — возразил мужчина в нанковой куртке. — Скважины здорово забивали при отходе.

— Кто забивал скважины?

— Мы, нефтяники. Враги ни одного килограмма нефти не сумели взять. Мы каждый промысел окружили и чуть что — налет, разнесем и снова в лес.

— Не допускали, стало быть?

— Не допустили.

Впереди горы. Стойкие облака увеличивают их, кажется: хребет наполовину засыпан пухлым снегом.

Вот яворы, как мачты со свернутыми парусами, — машина бежит между ними, и по обеим сторонам толевой аллеи обшарпанные войной домишки родной станции.

Автобус останавливается невдалеке от санатория. Памятника Ленину нет. Чьи-то варварские руки зубилом срубили на граните слова посвящения.

Здесь начинались испытания первого трактора, тогда я не превышал ростом своим обычного штакетника, а теперь штакет забора мне чуть повыше пояса. Крыша клуба провалилась от пожара.

— Не узнаете, товарищ гвардии капитан? — сказал шофер.

— Не узнаю.

— Так и мы возвращались. Не узнавали, кручинились два дня, а потом принялись наводить порядок. Залечим, товарищ гвардии капитан. Найдется стрептоцид на любую болезнь.

Мать ничего не писала, цел ли наш дом, и свои письма я посылал по нашему старому адресу. Я попрощался с шофером и пошел к дому. В моих руках был чемодан, а в нем паек по аттестату и ивановский ситчик, подарок маме, купленный в Лисках.

Как страшно вдруг увидеть пустоту между деревьями на том месте, где стоял родительский дом! Вначале я не поверил глазам. Может быть, ошибся? Может быть, попал не на ту улицу? Но вот висит ржавая жестянка номера на единственном столбе у ворот; вон старая груша в задах огорода, виноград, упавший на разбитую печь-лётник. Мальчишки палками сбивали незрелые плоды с наших яблонь. Между деревьями паслись козы. Бешенюка, обсыпанная тюльпанными цветами, прикрывала фундамент.

— Да не Лагунова, председателя, вы сынок? — раздался позади меня женский участливый голос.

Я обернулся и увидел незнакомую пожилую женщину, которая жалостливо рассматривала меня.

— Да, Лагунова, — ответил я. — Не скажете ли вы, где сейчас живет Антонина Николаевна?

— Ваша мама?

— Да.

— Пойдем, пойдем, я доведу, — женщина пошла через улицу, смело ступая по колючкам своими босыми, огрубевшими ногами. — Живет ваша мама у Неходихи — Виктора, вашего друга, мамы. Ой, какие типы фашисты, вот типы! Потерзали нас, потерзали. Скрутили за какие-то полгода так народ, что думалось, не раскрутимся обратно. Винтами скрутили. Вот жуткие типы! А вы, мабудь, Сережа будете?

— Да.

— Колечку-то вашего жалко. Смирный был паренек. Вы-то на виду, а Колечка ваш смирный... Только и видим бывало — с выпаса не выходит. То с конями, то с козами. В дудочку играет один...

— А что с Колей? — нетерпеливо перебил я.

— А вы... — женщина спохватилась, — ничего не слышали?

— Он пропал в сорок первом — на Дону.

— Убитый ваш Коля, — женщина остановилась, — убитый. На Украине убит. Письмо прислали. И могилку расписали и погребение. Там блюдут могилку хорошие люди. Вот и дошли...

Женщина оставила меня у калитки. Домик, где жили Неходы, стоял близ горы. Ручей протекал у подножья ее по неглубокому овражку позади дома, окруженного ореховыми и персиковыми деревьями. Старая айва росла прямо у окон.

Никого не увидев во дворе и за деревьями, я открыл калитку, пошел по дорожке. Цветы золотого шара поднимались вровень со мной. Под ногами лежали обмытые дождями сланцевые плиты. Две пекинские утки булькали желтыми носами в корыте, на деревьях пели птицы, клевали плоды. На крыше внакат сушились фрукты; медовый запах сушки напомнил мне о Викторе; всегда, забегая к нему, я ощущал этот пряный запах.

Я остановился у айвы. Какая-то женщина показалась у окна, взгляделась в меня. Через минуту на веранду поспешно вышла маленькая, сухонькая мать Виктора. Она, узнав меня, заторопилась и приникла лицом своим к моим ладоням. Я ощутил теплоту ее слез. Ее натруженные руки сжимали мои руки. Мне хотелось успокоить ее, но слов не находилось. Я нагнулся и прикоснулся губами к ее платку, волосам, морщинистой ее щеке.

Мы сели возле дерева на лавке.

— Как у него, была шинелька-то? — спросила она таким озабоченным тоном, будто этот вопрос больше всего мучил ее.

Я сказал, что тогда еще было тепло и мы обходились без шинелей.

— Под Сталинградом было вьюжно, вьюжно, — говорила она, — нам привозили кино, показывали. Ой, какая там была вьюга!

Скрипнула калитка.

По дорожке палисадника шла мама.

Вот она увидела меня, остановилась. Солнечные пятна от листьев легли на нее. Я видел выбившиеся из-под платка совершенно седые волосы матери. Я бросился к ней. Мама не плакала, но все ее исхудавшее тело дрожало, и я ощущал этот трепет сдерживаемого волнения. Мама была такая маленькая, такая обиженная и строгая. Хотелось взять ее на руки и унести куда-то далеко-далеко, где нет проклятого, цепкого горя.

Ее руки ощупывали меня — шею, щеки, волосы, руки. Она будто не верила, что я вернулся и она, наконец, не так безжалостно одинока.

Слезы вдруг хлынули из моих глаз. Я склонился возле матери, как делал в далеком, невозвратном детстве, чувствуя соленый и сладковатый привкус крови от прикушенных губ.

А глаза матери были сухи. Ее душевные силы оказались попрежнему выше моих, она, старательно подбирая слова, размеренно и строго сказала:

— Ты стал большой, хороший... тебе было трудно, Сережа. Трудно, Сережа. Успокойся, успокойся... Так не надо, мой Сереженька, не надо...

Она заставила меня снять гимнастерку, умыться с дороги, снять сапоги. Она подала мне отцовские ночные туфли, сшитые им из шкуры дикого козла.

— А где же отец, мама?

Мать подняла глаза:

— В Крыму, в партизанах... Приезжал человек в станицу от Стронского, ты его знаешь. Тогда отец был жив, а сейчас... не знаю.

— А Анюта?

— Угнали... Последний раз ее видели на погрузке в Анапе.

— А Люся?

— Тоже угнали... вместе с Анютой, — мама задумалась, встрепелась, — в комнате неуютно, Сережа. На дворе летом лучше. Ты уж извини, что принимаем у дома...

Вскоре задымил самовар. Запах древесных углей смешался с запахом сушеных фруктов. Подрагивающими, не успокоившимися еще пальцами я открыл чемодан, вынул консервы, печенье, сахар, хлеб, шоколад.

— Возьмите, мама, это вам.

— А тебе? В дорогу?

За чаем я узнал, что наш дом сжег Сучилин, стрелявший в отца, ставший по возвращении в станицу кем-то вроде помощника военного коменданта, так как станица была прифронтовой и гитлеровцы гражданскую власть не назначили.

Перед отступлением, когда от Волчьих ворот провралась морская стрелковая бригада, Сучилин сжег десятка два домов, облив их бензином из опрыскивателя «Вермореля», употребляемого обычно для борьбы с табачной филлоксерой. Случайно остался нетронутым только дом Устина Анисимовича.

— Как же вы жили, мама?

— Приказали мне каждый день, в девять утра, отмечаться в комендатуре. Каждый день все мы по три часа стояли в очереди. Полгода изо дня в день,—мама сжала губы, отвернулась. — Трудно было последнее время. Станицу обстреливали с гор наши пушки. Фашисты прятались, а мы стояли...

— А кто сейчас в колхозе председателем, мама?

— Бывший бригадир первой полеводческой. Ты его знаешь. Орел Федор Васильевич. Вернулся... Рука у него ранена, и в голове осколок. Хозяйствует, но ждет отца...

Я попросил маму рассказать о Николае. Она молча встала, сгорбилась, ушла в дом и принесла отцовский бумажник, вынула из него письмо.

— От хорошего человека с Украины. Нашла-таки я могилку Николая... — она подала мне письмо.

На линованной бумаге крупным, усердным почерком было написано:

«...Мы ваше письмо получили 23 июня, в котором вы просите, щоб я рассказав, когда он ваш сынок Николай убитый. Он убитый 6 сентября 1941 года, похоронен 9 сентября. Трое суток писля боя лежали в поле убиты пока герман вперед ушел некоторых подбирали и адресов у некоторых не було, ну а у вашего адрес

быв. А бамах нияких не було вже хтось карманы потрусив.

Братскую могилу сделали хорошую над шляхом, выкопали яму, звезли 20 человек бойцов уси молоди, наклали соломы в яму, положили усих в яму, потом закрыли лицо шинелями, опять тогда соломы и закидали землей и сделали могилу. Огорожена зараз красным щикетом там скотина не топче нехто не заходе. Кажну весну приходят бабы и плачуть и могила вся в порядке.

До свидания Нестор Романович Птаха».

Бедный Коля! Тихим и незаметным рос он в нашей семье и так же незаметным ушел туда, откуда нет возврата. Многого не видел Николай, от многого был отрешен. Учеба давалась ему трудно, в чем виновны были не его способности, а только условия жизни. Николай больше всех нас пристрастился к крестьянскому труду и искал такую работу, где можно было оставаться в одиночестве. Он не выходил с выпасов, дичился сверстников... А может быть, были виновны мы: не пригляделись к нему.

Мама тревожно смотрела на меня.

Она уже победила свое горе и боялась теперь за меня. Она заговорила со мной впервые, как со взрослым.

Все будет возрождено, соберут крохи и куски, сделают новое, сойдутся семьи и протянут к очагам свои озябшие, уставшие от оружия руки.

Я рассказал маме о Сталинграде, о битве под Курском, где танки, казалось, плавились, как воск, и земля так напилалась металлом, иногда казалось, что даже стрелка компаса бешено плясала, и трудно было определиться по карте.

Потом я бродил одинокий по родным местам. Все было, как в детстве, даже камни лежали на прежних местах, их не тронуло течением. Но река казалась мне теперь маленькой, очень мелкой и совсем не загадочной: я видел Волгу и Дон. В реке купались дети, они так же кричали, как и мы с Виктором, так же подшмыргивали носами, обсыпались песком. Они кричали: «Здравствуйте, дядя!» Я отвечал им с горькой улыбкой, слышал позади себя восхищенный шопот: «То Красное

Зная, а то Красная Звезда, а то не орден, то гвардейский значок».

На том месте, где впервые я увидел Виктора, удил рыбу мальчишка, напоминавший Яшку. Такой же кукан был привязан к помочам его штанишек, такие же тонкие ножки и такие же глаза. А на том берегу желтыми плахами лежали спиленные немцами вербы и густо-густо рос краснотал по золотым, промытым пескам.

Возле реки цыгане раскинули свои латаные шатры. Горели горны, стучали по наковальням молотки. Цыгане сидели на траве, голые по пояс, с нерасчесанными бородами. Возле шатров копошилась голопузая цыганская детвора.

Какая-то фанагорийская Земфира с гортанной песней собирала в подол щепки. Ее яркожелтая юбка и смуглые голые ноги быстро мелькали среди вербняка.

— Офицерик, дай руку, погадаю на твой милый интерес, на барышня, на чернявый! — закричала она издали и замахала руками, унизанными серебряными колечками.

Горящие глаза молодой цыганки вызывающе вонзились в меня. Она потрянула головой и плечами, зазвенели монетки ожерелья.

— Какое-то у тебя горе, молодой офицерик! Дай погадаю, не будет горя...

Женщины носили ведрами воду в яму, где другие женщины месили землю и солому для самана своими смуглыми ногами. Так возрождались жилища.

Берега реки были ископаны траншеями, ходами сообщения. Можно было безошибочно узнать вражескую систему обороны водных рубежей — пулеметные гнезда, позиции минометов, противотанковых ружей, стрелковые ячейки. Словно огромные черепа, торчали полузасыпанные глиной железобетонные пулеметные гнезда с пастями амбразур и поржавевшей арматурой.

Не снимая сапог, я перешел речку и сел на камне; здесь мы говорили с Люсей о моих соперниках — сказочных королевичах.

Река обмелела, появились тихие заводи. Только на середине журчал ленивый поток. Трещали цикады, опоенные зноем, летали крупные зеленые мухи. Осы

сгибались своими тонкими туловищами, цеплялись за цветы белой кашки. Разрисованный черными и желтыми полосами, шмель был похож на толстяка в бархатном камзоле. Толстяк в камзоле издавал прерывистое добродушное гудение.

Я сломал хлыстик и бездумно, с каким-то иссякшим чувством горечи, чертил на песке имена: «Люся, Витя, Анюта». Писал, затирал и вновь писал.

Отсюда я видел верхушки наших яблонь. Вправо и влево от них белели заплаты из новой дранки на крышах, вероятно, тронутых осколками артиллерийских снарядов. Спускалась к броду лесная дорога, изрезанная колесами, обросшая мальвами и ожиной. На той стороне дорога уходила к улице, куда спускался наш огород. Там я был пойман Устином Анисимовичем. С островка верболоза, лежавшего ниже по течению, свистели мальчишки. Оттуда взлетели яркие удода, низко пройдя над обрывами...

Вот из улицы, что на той стороне, показалась линейка. Чулкастые кони, скаля рты, вынесли линейку к броду, влетели в воду, остановились.

Федор Орел, теперешний председатель колхоза, правил лошадьми. Рядом с ним, у крыльев линейки, стояла цыганка в своей ослепительно желтой юбке.

— Где же он, Мариула? — спросил Орел своим крикливым баском.

— Офицерик! Офицерик! — звала цыганка, махая руками.

Орел ударил вожжами — и горячие кони одним махом вынесли линейку на берег. Орел бросил вожжи цыганке, подбежал ко мне.

— Сергей Иванович, обыскались вас, обыскались! Так же нельзя, ай-ай-ай!.. — сказал он прерывистым от волнения голосом. — Как-никак, а надо бы сразу к председателю артели, в правление... ай-ай-ай!..

— Федор Васильевич, я хотел пройтись, повидать родные места...

— Да какие же могут быть прогулки без хорошей выпивки и закуски! Надо с народом повстречаться, рассказать, что и как... ай-ай-ай, Сергей Иванович!

Мы сели в линейку; лошади, как бешеные, ворва-

лись в реку, вынеслись на станичный берег и с храпом, брызжа слюной, помчались по улице.

— Двадцать шесть таких зверюг выходили, трофейных, — покрикивал Орел, — матросы подарили, Сергей Иванович! Как благодарим, до гроба жизни! Подкинули венгерскую кавалерию. А на что матросам кони? А?

— Нам бы в табор такие кони! — сказала цыганка, сверкая глазами. — Дай-ка, я поправлю, дай, братику!

— А что, возьми! Не жалко!

«Земфира» схватила вожжи, кнут, привстала на одно колено и гикнула со степным, диким озорством. «Венгерцы» рванули вперед. Улица заklubилась пылью. Мы промчались мимо дома Устина Анисимовича.

Орел вырвал вожжи у цыганки, сдержал коней:

— Чужого не жалко!

Цыганка сверкнула зубами, засмеялась и на ходу спрыгнула с линейки, крикнув:

— Прощай, офицерик молодой!

— Пожар-девка! — сказал Орел. — Так вот шумит, а молодец, строгая, — он снял шапку с синим верхом, прошитым фасонным кавалерийским гарусом.

Я обратил внимание на глубокие шрамы у него на голове.

— Голову ранили под Ростовом, — ответил Федор Васильевич на мой вопрос, — по льду Дон форсировали, бурки разостлали, лед был тонковат, — и по буркам. Враги и не ждали, как мы с конно-артиллерийским дивизионом ворвались. Вот была панихидка! У Олимпиадовки меня по черепку стукнуло... Три месяца буровил, чорт его знает что... — он натянул шапку поглубже на голову. — Два осколка еще сидят, ноют... Вышел в инвалиды, на хозработу, в колхозы, мать честная. А казаки-то наши уже на Украине из фашиста юшку пускают, а?

Мы подъехали к дому, где уже ждали колхозники. Меня усадили рядом с матерью за накрытый стол под айвой, налили вина. Мама грустно и радостно наблюдала за мной. На столе было много снеди: ее снесли со всего села. Орел поднял стакан за здоровье отца, за его скорое возвращение.

— Тридцать тысяч пудов по одному нашему кол-

хозу мы сдали, — сказал он, — и всеми силами — быками, конями, тракторами и лопатами — вспахали, засеяли и убираем новину. Помните, бабы? Бабы работали, девушки, юные пионеры, комсомольцы, школьники — все. Брала чем? Сообща, гуртом, ну, словом, коллективом, как и полагается... А выпьем за Ивана Тихоновича, пусть поскорее возвратится и все по полочкам разложит. Все же без хозяина плохо...

Люди все подходили: было воскресенье. Стемнело, под живой зажгли керосиновые фонари.

Пришли цыгане: оказывается, они ковали лошадей для колхоза.

С ними пришли Мариула и села возле меня на лавке. Орел подвинул ей стакан вина, но она пренебрежительно отодвинула его смуглым своим локтем.

— У тебя есть милая, — шепнула она мне.

— Откуда ты знаешь, Мариула?

— Ни на кого из девушек не смотришь.

— И на тебя?

— Я что? Я, как ветер, меня глазами не поймает, — она засмеялась, — не хотел погадать, а вот скажу тебе неплохо.

— Что?

— Разыщешь свою.

— Поверить тебе, Мариула?

— Как хочешь. Мое дело — сказать, твое — слушать или нет.

— Зачем я-то тебе нужен?

— Узнал? — она толкнула меня локтем, засмеялась, откинув голову.

— Узнать нетрудно.

— Ты угадал, — сказала она и опустила глаза, — возьми меня к морю.

— Почему ты решила, что я еду к морю?

— Отсюда туда путь.

— А зачем тебе к морю?

— Я никогда не видела моря, а мой... Понимаешь, кто мой? Там, возле моря. Не поможешь, я сама прикичу к морю.

— Трудно. Там война.

— Я вольный ветер, — Мариула засмеялась, ударила меня ладошкой по руке, — а ветер летает, где хочет.

Цыганка поднялась, потянулась, подняла вверх руки, сложила их ладонь к ладони и запела вначале тихо, а потом громче и громче. Ее песню подхватили цыгане, будто так все было заранее подготовлено. Мариула вышла из-за стола, не прекращая песни, перевернула плечами и начала таборную пляску «романес».

Песню поддерживали гитары. Цыган с черной бородой — отец Мариулы — схватил бубен, выкрикивая, как птица, быстрые, kloкочущие слова песни.

Сад наполнился шумом, смехом.

Мариула устало села возле меня, в круг вошел Федор Васильевич, заказал наурскую и пошел по кругу. К нему присоединилась молодайка с такими широкими юбками, что казалось, пестрые паруса носили ее под ветром.

— Ой, жги, коли, руби! — выкрикивал Федор Васильевич и плясал неустойчиво.

А мама все смотрела на меня. Ее глаза стали веселее, — вот такие у нее были глаза, когда пахал первый трактор, и она шла за ним с тревожной и неясной еще радостью, и донники оставляли на ее ногах желтую цветочную пыль.

— Надо довоевывать правильно, Сережа, — сказала она, взяв мою руку. — Ничего... русский человек крепкий не горем, а радостью...

Гости разошлись поздно.

Постель мне была уже приготовлена на веранде, как называли навес у домика, крытый щепой, на столбах, вбитых в землю.

На заре я проснулся. Мама сидела у моего изголовья, прикрыв глаза. Стоило мне пошевелиться, она поправляла одеяло, подушку.

— Мама...

— Сережа! — она нагнулась ко мне.

Под ветерком шумели чинары. Луна освещала гору, вершина которой была скрыта за навесом, и мне казалось, что мы отгорожены от какого-то неизвестного мира отвесной стеной, заросшей мохнатыми, тысячелетними мхами.

Невесело было у меня на сердце. Мне вспомнились и развалины Арчеда, и опаленные засухой поля Ставрополя, и матери, поджидавшие сыновей... Я думал

о нашей семье, разбросанной войной, о пепелище нашего дома, о поломанных яблонях. Думал с болью о том, что труды моих рук превращены в пустырь. Но я молчал, чтобы не расстраивать маму этими горькими думами.

— Тебе еще многое предстоит, Сережа, — сказала она. — Самое главное — не склоняйся сердцем... Держись крепко, хотя трудно; смелое сердце, как голубь.

— Мама, мне-то ничего... Вам как? Вам?

Тогда мама рассказала мне о затоптанной вербочке.

Весной, после освобождения, мама шла у реки с колхозного поля и увидела на дороге затоптанную веточку вербы. Казалось, никаких признаков жизни не было у этой веточки. Все соки были выпиты солнцем, кора раздавлена. Мама подняла веточку, принесла ее в дом, поставила в воду. И всего через несколько дней веточка набухла, брызнули листочки, затянулись раны на коре, и от сломленной веточки пошли корни. А теперь растет вербочка, большие на ней листья, крепкие корни, хоть высаживай в землю. Только приходилось ухаживать за ней, менять воду в кувшине и держать ее не в темноте, а ближе к солнцу...

— Спасибо, мама, — я поцеловал руку матери, сухую и темную, с синими веточками набухших вен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧЕРНЫЕ ПАРУСА

И вот прошло уже около трех месяцев после нашего разговора с мамой. Уже был взят штурмом Новороссийск, прорвана «Голубая линия» и освобожден Таманский полуостров.

Я находился вначале при штабе партизанского движения, а в конце сентября перешел в группу Балабана, где меня встретил с восторженной радостью мой милый Дульник.

Ему удалось снова попасть к Балабану, и тот, как всегда требовательный к преданным ему людям, не щадил своего воздушного старшину. Дульник выполнял наиболее сложные по замыслу и опасные по исполнению

задания и пока благополучно выходил целым из всех приключений. Несколько новых орденов мелодично позванивали у него на груди, прибавилось важности.

Мне стало известно, что капитан Лелюков после оставления Севастополя пробился с небольшим отрядом матросов и солдат с Херсонесского мыса и ушел в горы, где возглавил партизанское соединение, успешно действующее в восточном секторе Крымского полуострова. У Лелюкова работал начальником штаба известный мне Кожанов, бригадой командовал Семилетов, а одним из отрядов, составленным из молодежи и входившим в бригаду Семилетова, командовал не кто иной, как Яша Волинский.

Кожанов и Семилетов, с которыми мы расстались в крымском лесу после боя в Карашайской долине, так и не могли соединиться с войсками 51-й армии и остались партизанить. Чудовищные лишения переживали они в первую и особенно во вторую зиму. Склады продовольствия, горючего и оружия были выданы врагу татарами и разгромлены. Партизаны жили только тем, что им сбрасывали самолеты, и отдельными посылками с Большой земли, которые доставляли смельчаки-пилоты, рисковавшие посадить тяжелые самолеты на горных полянах.

Потери партизан от голода и холода были гораздо выше, чем от ббев. Но выжившие окрепли в лишениях и боях и составили стойкое ядро партизанского соединения Лелюкова. Туда же, к Лелюкову, по воздуху был переброшен мой отец еще до того, как морская стрелковая бригада, переправившись через Фанагорийку, штурмом захватила Псекупскую.

Отца перебросили вместе с группой партизан, действовавших в горах Кавказской гряды. Этому по старой дружбе посодействовал Стронский после долгих и настойчивых просьб отца, который рвался в Крым, куда фашисты увезли Анюту.

Я нигде не мог найти сведений об Анюте. Она не значилась в списках партизан, и след ее был для меня потерян. Никто также не мог ответить мне, где находится Люся, схваченная вместе с Анютой, хотя разведывательные данные собирались тщательно и из разных источников.

После освобождения Тамани нас направили на кратковременный отдых в Гудауты. Такие перерывы были введены в парашютно-диверсионных частях, работавших на предельном напряжении всех физических и духовных сил.

Мы расположились в палатках возле деревни Бамбуры. Сейчас же мы с Дульником отправились к морю вместе с радисткой Асей, расположились на пляже. Ася натянула на голову резиновый шлем и пошла в воду. Вот она погрузилась по колено, остановилась, похлопала ладошками по волне, нырнула и поплыла сильно и ловко.

— Странная человеческая жизнь, — говорит Дульник, — сплошные недоразумения...

— Именно?

— Встретишь дивчину, размечаешься, ан, глянь, и разлетелось все, как осколки от ручной гранаты.

— О Камелии тоскуешь?

— О ней! А у тебя с Люсей разве не одно и то же? Как ты расписал мне ее глаза! И вот какой-то подлец, иностранец, шуцман, разве он увидит, какие чудесные глаза у наших девушек?!

— А увидит — еще хуже.

— Еще хуже, верно, — Дульник перевернулся на спину, солнце радужно играло на его эластичной оливковой коже. — Ты должен знать, как я скучал по тебе, Сергей. Потому — ты мне друг...

Возле берега, на кромке прибоя, стояли кипарисы, похожие на фоне совершенно голубого неба и недалеких светлосиних гор на обросшие мохом утесы. Тут же росли олеандры, а выше — зонтичные пальмы.

Ребятишки в соломенных шляпах, с бамбуковыми веслами в руках, на каучуковой лодке яркожелтого цвета заплыли к тросам, где рыбаки сушили маты для ловли кефали, привязали лодку к тросу и покачивались на зеленых волнах, пронизанных солнцем. Море еще не успокоилось от недавнего шторма, и волны еще продолжали нести песок, взлохмаченные водоросли, пахнущие иодом.

Ася бредет на берег, широко расставив руки, и нарочито, будто от усталости, сгибает ноги в коленях.

— Помочь, Ася? — кричит Дульник.

Ася строго улыбается, шурша галькой, проходит мимо нас и ложится на горячие камни; возле нее заструилось легкое маревцо. Ася считает себя некрасивой и поэтому сторонится мужчин, не любит никаких вольностей и требует относиться к ней только как к военно-служащему. На самом же деле Ася обаятельна вот именно этой своей здоровой, девичьей строгостью. Балабановцы любят Асю, берегут ее и в обиду не дадут...

— Мы кончим войну, Сергей, — мечтает Дульник, — и построим хороший мир.

— А почему построим? Мир придет сам.

— Раньше мне тоже так казалось, а теперь — по-другому. Почему-то мне представляется, что мир тоже нужно выстроить с такими башнями, как, помнишь, башня Зенона на Херсонесе.

— И опять бойницы в стенах?

Дульник подумал, сдвинул брови:

— А что ты думаешь? Конечно. Мир-то нужно тоже охранять.

— И пулемет из амбразуры?

— Конечно.

Кончается наш отдых. На шлюпках мы подходим к транспорту, поднимаемся вверх по шторм-трапам и отходим ночью к фронту. Возле нас купаются в волнах сторожевые катера. Постепенно теряются очертания гор, и только кваканье гудаутских лягушек и близкий плач шакалов показывают, что караван идет впритирку к берегам.

— Мне надоело жить в темноте, — говорит Дульник, — мне противно всегда маскироваться, дожидаться ночи и плыть с кинжалом в зубах под какими-то черными парусами.

— Ты чудак, Ваня! — говорит Ася.

Она стоит с нами на юте, у поручней, и смотрит на фосфоресцирующие волны. Кажется, мы плывем в огненном море и только чудом еще держимся, не пылаем сами.

— Вот тебе подсвечивает море, — говорю я Дулинику, — ишь, как фосфорится!

— Мертвый свет! — брюзжит Дульник. — От такой иллюминации у меня по позвоночнику ползут мурашки.

На ют выходит Балабан, стоит один, огромный, молчащий, значительный. О чем думает? Может быть, вспоминает времена, когда его именовали на всех водоплесках отчаянным капитаном, когда его стремительный кораблик летал по морю в жадном поиске фелюг контрабандистов?

Зорькой мы обогнули скалы Черного паруса и те места, где прошло мое раннее детство. Непередаваемое словами волнение овладело моей душой. Мне казалось, что я снова, до мельчайших граней, вижу слова, высеченные руками отца, и вижу желтый утесник, вцепившийся корнями в скупую землю, нанесенную береговиком в расщелины скал.

Золотые косяки солнечного света побежали от ущелий, но Черные паруса стояли грозной громадой, не получив ни одного луча.

Моим глазам представились пустынные пляжи, где рыбачили наши ватаги. Тщетно среди эвкалиптовой рощи я разыскивал крышу нашего дома. Волны, тяжелые и ровные, катились на берег и забрызгивали пеной позолоченные восходом камни. Это те же самые волны, которые несли на своих вечных гребнях корабли Одиссея и Митридата, Ушакова и Нахимова, пиратские рейдеры «Гебен» и «Бреслау» и ушедший на дно теплоход «Абхазия», на котором мы везли свои незрелые, юношеские мысли.

Черные паруса еще долго стоят на горизонте, потом пропадают. Корабль огибает узкий мыс. Пальмы склонились у самого причала.

Я слышу рев моторов, и над берегом проносятся игольчатые тела истребителей со скошенными, узкими крыльями и поджатыми, как у птиц в полете, лапами.

Дульник выходит с полотенцем на плече, мылом, зубной щеткой и тюбиком пасты в руках. Он в телняшке с закатанными рукавами.

— Я так и знал, что ты на палубе, Сергей,— издали с широкой улыбкой говорит он. — Здравовался с родными местами? Тебе везет, твоя земля свободна, а вот у Дульника...— и он вздыхает, глядя в морскую даль, — где-то там его родная Одесса.

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ

Багровое зарево заката догорело над морем. Горы почернели, насупились. Над землей, над кустами можжевельников и тамарисков пронесся легкий ветер, закружил бумажки и пыльцу.

Грузовые машины с десантниками были пропущены часовыми на аэродром. Опустился шлагбаум. Автомашины прошли к самолету, скрылись в темноте. На одной из машин, в кабине шофера, сидел Дульник, командир диверсионной группы.

Мы на своем легковом автомобиле свернули вправо и поехали за получением последних инструкций к штабу. Кроме меня и Балабана, была вызвана Ася за получением таблицы кода. Она молча сидела рядом со мной в машине, сняв шлем, и волосы ее, вымытые перед полетом, рассыпались, издавая запах земляники.

В подземный блокгауз вели ступеньки бетонированного входа. Часовые-матросы внимательно и быстро просматривали наши пропуска. Вот последняя металлическая дверь с заклепанными швами, и мы в штабе. Горели электрические лампы, слышались характерные шумы засасываемого нагнетателями воздуха. Коридор с занумерованными дверями по одной стороне привел нас в просторную комнату, где за столами работали офицеры военно-морской авиации.

В правом углу, на возвышении с перилами, за письменным столом сидел длиннолицый худой полковник с глубокими залысинами. На стене была устроена рельефная карта черноморского бассейна со световыми сигналами, указывающими движение бомбардировщиков. Светящиеся цифры по обеим сторонам карты показывали число действующих самолетов. Возле телефонов находился радиомикрофон для переговоров с авиафлагманами открытым текстом.

Полковник кивком головы попросил нас подождать, отдал несколько приказаний по телефону и обратился к нам:

— «Дабль-Рихтгофен»! Этот аэродром противника приобрел за последнее время очень важное значение,—

полковник закурил папироску от настольной зажигалки, — на нем они сгруппировали все свои ночные истребители. Там же базовые склады горючего, авиабомб. Оттуда они режут наши балканские трассы. После того как они активизировали этот аэродром, мы вынуждены почти прекратить поддержку партизан восточного сектора. Партизанский район блокирован наземными войсками и авиацией. Вот, достаточно беглого взгляда на карту, чтобы представить себе полную картину, — полковник подошел к рельефной карте, нажал кнопку.

Зелеными огнями вспыхнули аэродромы противника в восточном секторе Крыма от Керчи до Солхата и Карасубазара. Над одним из зеленых огоньков, недалеко от вылепленного из папье-маше горного рельефа, были припилены буквы «WR». Полковник курил, молчал, пока мы изучали радиусы действий истребителей-«ночников», перехватывающих наши трассы, условные знаки посадочных площадок в долинах и на горных плато, где торчали черные флажки.

— Здесь мы уже не можем посадить самолетов, — сказал он, указывая на черные флажки, — контролирует противник. У Лелюкова пятьдесят три человека тяжело раненных. Если же выведем «WR» из строя, тяжело раненных можно будет эвакуировать морем. Мы договорились с командованием флота — они вышлют за ними катера... Все зависит от исхода операции, Лагунов. Пока Лелюков не отобьет посадочные площадки, поможем с моря, а потом, как и раньше... будем выполнять приказ и обеспечивать партизан с воздуха.

— Рация Лелюкова молчит? — спросил Балабан.

— Вторые сутки молчит. Последнюю шифровку приняли о тяжело раненных. Судя по сводке штаба 17-й немецкой армии, партизанам пришлось выдержать тяжелый бой, — полковник обратился к Асе: — Сегодня ночью вы должны передать об исходе операции на «Дабль-Рихтгофен».

Полковник подошел к столу, протянул руку к разноцветной клавиатуре звонков, нажал зеленую пуговку своим длинным пальцем с отшлифованным ногтем.

— Сейчас вы получите код, время и длину основной и запасной волны, — полковник внимательно изучал Асю, — и очень прошу: работайте только в указанные

нами часы. Каждый день будете работать в разное время.

Явившийся на вызов капитан с седоватыми коротко подстриженными усами, с острыми глазками, которые так и сверлили из-под нависших бровей, посторожился, пропустил Асю и пошел вслед за ней к металлической двери с цифрой «12».

Полковник пригласил нас к столу, потер виски и, как бы только сейчас вспомнив, обратился ко мне:

— Командир воздушно-десантного батальона, — он указал глазами на Балабана, — передавал мне, что у вас имеются свои соображения по практическому решению порученной вам операции.

Балабан опустил глаза, улыбка тронула его мясистые, большие губы. Он вытащил из кармана свою трубочку, кожаный кисет с табаком.

— Но эти соображения, товарищ полковник, расходятся с точкой зрения штаба.

— Может быть, вы аргументируете ваши предложения?

— Говори, Лагунов, — Балабан, не поднимая глаз, набивал трубочку «золотым руном», медленно и нехотя, будто для того, чтобы найти себе какую-то работу в неловком положении.

— Во-первых, я считал необходимым усилить группу...

— Этого нельзя, — полковник остановил меня, — вы должны провести диверсионную операцию, а не парашютную, армейскую. Ваши задачи локальны. Продолжайте...

— Первое свое требование, — продолжал я, — я уже снял тогда, когда выслушивал ваши указания по характеру операции, и понял все по вашей отличной карте...

— Вы возражали против создания двух боевых групп — диверсионной и прикрытия?

— Такие соображения у меня были в связи с малочисленностью десанта, необходимостью быстро и решительно всеми имеющимися средствами решить операцию.

— Были, а теперь?

— А теперь я лично считаю, что можно оставить две группы, товарищ полковник, но попрошу разрешить

мне усилить диверсионную группу за счет прикрытия.

— Почему?

— Объектов много, и они разбросаны: ангар-клуб, склады горючего и авиабомб. Диверсия должна быть совершена быстрым темпом, товарищ полковник, пока противник не пришел в себя и не разобрался в наших силах. Поэтому надо заняться всеми объектами одновременно, а для этого нужно иметь больше людей...

— Так, так... продолжайте, — полковник откинулся на спинку кресла и продолжал следить за мной со все усиливающимся любопытством.

— Группа прикрытия с пулеметами оседлает дороги, особенно эту, — я подошел к карте, указал шоссе на Солхат, — откуда возможен подход подкреплений. Шоссе надо сразу же минировать.

— По настоянию Лагунова я разрешил захватить мины, — сказал Балабан, посасывая трубочку.

— Самолеты будете брать зажигательными бомбами? — спросил полковник.

— Зажигательными и гранатами. Самолет-истребитель можно вывести из строя также гранатой... И, самое главное, это тактика выхода из боя.

— Я вам докладывал, товарищ полковник, — сказал Балабан спокойно, — Лагунов хочет выйти не группой, а в одиночку... а для этого...

Полковник движением руки остановил Балабана:

— По-моему, надо будет решить первый вопрос. Об усилении диверсионной группы. Лагунову все же видней, так как ему непосредственно придется решать операцию. А вот насчет выхода из боя попрошу меня убедить:

— Противник выработал свою тактику окружения и уничтожения принявшей бой десантной группы, товарищ полковник. Мы имели уже случаи, когда удачно справившиеся с задачей парашютисты уничтожались при отходе. По-моему, надо изменить тактический прием, распылить внимание противника, дезориентировать его... Воспользоваться тем, что враг мыслит шаблонами. Надо будет либо в одиночку или по двое — трое, не больше, выскользнуть из его рук, в лес, в горы, а они там рядом...

— А где же вы их соберете потом?

— В условном месте. Так примерно поступают кавалерийские разведотряды.

— Вы служили в кавалерии?

— Я не служил в кавалерии, товарищ полковник, — ответил я, — мы проходили тактику борьбы с конницей в военно-пехотном училище.

Полковник взял трубку, вызвал «Байкал», назвал кого-то по имени и отчеству:

— Сумеет ли «комарика» послать к партизанам... К кому именно? На Джейляву. Задание ответственное — принять на условном месте наших молодцов. По радио? В том-то и дело, выключилось. Посылаем, посылаем... Асю посылаем... Значит, можно? Только надо сейчас же... Условное место подберем с Балабаном.

— Успеет? — спросил Балабан.

Полковник подошел к карте, подумал:

— Успеет. Он вылетит раньше вас, дотарахтит, опустится. А там Лелюков вышлет партизан к условному месту... Кстати, условное место — сожженное село Чабановка. Еще в прошлом году сжег его Мерельбан. В районе Чабановки, Лагунов.

— Есть, товарищ полковник.

— По-моему, — сказал полковник Балабану, — надо будет согласиться с Лагуновым. Там они наковыряли столько огневых точек, подвижных бронепостов, что нет смысла устраивать сражение. Побьем зря народ. Не на смерть же посылаем, Балабан. Желаю успеха!

Ася поджидала нас в отдалении. Балабан задержался у полковника. Мы поднялись из штаба, остановились у тамарисков.

Звездное небо опустилось над хребтом Маркхот, над его лесистой грядой, над невидимым ночью Толстым мысом, куда уходили густые, плескучие волны, игравшие отражением звезд.

Вместе с Балабаном мы поехали на аэродром.

Отряд расположился на траве, возле самолетов. При нашем появлении парашютисты вскочили. Среди этих неуклюжих от парашютов фигур я заметил Дульника, подозвал его, чтобы передать ему дополнительные данные.

Мы шли на операцию на трех грузовых самолетах.

Каждый парашютист имел три зажигательные двухкилограммовые бомбы, автоматы и кинжалы; у офицеров и старшин — пистолеты. Каждый имел по четыреста патронов и по семь ручных гранат.

Из продовольствия — кило двести граммов шоколада, триста граммов галет, фляги, наполненные спиртом.

Все документы, ордена, все бумажки и письма были сданы в штаб. Наша форма — комбинезон, ботинки, шлем, ранец. Балабан был одет так же, хотя сегодня он должен был только отвезти группу, сбросить и вернуться обратно.

— Теперь мы еще раз можем восстановить в своей памяти уроки отчаянного капитана, — сказал мне Дульник, усаживаясь на железную лавку внутри самолета. — Парашютно-диверсионное дело чрезвычайно интересное, дерзкое, где и группе и каждому индивидуально предоставляется большая свобода действий.

— Запомнил, — удовлетворенно сказал Балабан, поймавший своим острым слухом слова Дульника.

— Кое-что этот жулик, — Дульник постучал пальцем в свою грудь, — запомнил еще с Херсонеса, товарищ подполковник.

— Ну, ну, злая же у тебя память, старшина! — шутливо укорил его Балабан.

— Диверсанту нужна память, так как он лишен карандаша и бумаги, — сказал Дульник, — писчие принадлежности у Аси, в ее ящике.

— Нашли канцелярский магазин! — сказала Ася.

Девушка тихим ласковым голосом инструктировала запасного радиста — молоденького паренька, присланного из школы связи и впервые идущего в операцию. Паренек глядел на нее изумленными, немигающими глазами.

— Когда нас сбрасывали на Озерейку, — сказал Дульник только мне, — второй радист оказался предателем, и она сама с ним расправилась. Только ей ни-ни: Ася не любит подобных воспоминаний. Этот галчонок, видно, информирован. Видишь, с каким испугом он на нее глядит.

— А по-моему, с обожанием...

Завибрировала дюралевая обшивка самолета. Бор-

товой механике задрал грузовой люк, осмотрел на окнах светомаскировочные шторы, прошел в кабину:

Горели две лампочки в плафонах. Десятники сидели один возле другого с автоматами у колен. У турельного пулемета на висячем сиденье скорчился стрелок. Дверка в кабину была полуотворена. Лунным светом фосфоресцировали циферблаты приборов управления.

Моторы взревели сильнее, под ногами дрогнул пол.

Я вижу локоть пилота и половину его спины. Локоть делает какое-то движение, чуть сгибается спина. Баллоны гудят по щебенчатому грунту, по брюху машины бьют камешки — и все. Мы в воздухе. Смог-рим на часы, чтобы засечь время до одной минуты. Теперь мы вступили в строгое расписание операции. Вслед за нами пробегут по летному полю вторая и третья машины и лягут на тот же курс. Посты наблюдения пропустят наши воздушные бригады, летящие под «черными парусами», без сигнальных ракет. Так таинственно уходят в бой отряды парашютистов-диверсантов.

И все же Большая земля не оставит нас. Какие-то условные знаки, как шифр марсиан, будут идти с бортов наших воздушных кораблей. Большое оперативное хозяйство включается в наш маршрут. Так в механизме часов пружина приводит в движение десятки передаточных шестеренок.

Из радиорубки доходят птичьи писки передатчика, и вслед за однообразными ти-та-та, ти-та-та в эфир уходят пятизначные группы кода.

К этому татаканью с профессиональным вниманием прислушивается Ася, потом закрывает глаза и сидит с опущенными ресницами, выгоревшими от солнца. Ее мальчишеское курносое лицо, забрызганное веснушками, почтительно рассматривает сидящий рядом с Асей молодой радист и постепенно обретает спокойствие. Мы понимаем чувство этого паренька: каждый из нас уже испытал это перед первым боем.

Ребята наблюдают за ним. Их лица, с упавшими по обеим сторонам рта складками морщин, с нахмуренными бровями, начинают просветляться, складки у рта разглаживаются. Радист вначале не замечает этих

взглядов, так как он занят своим духовным миром, но потом магнетическая сила притяжения заставляет его повернуться, — он краснеет, блестят капли пота на его лбу, сдавленном тугой кожей шлема. Ребята пересмеиваются, парнишка опускает веки, и ресницы его подрагивают, словно крылья мотылька.

Самолет идет над морем и только в районе Феодосии должен круто переменить направление на полуостров.

Я слежу по компасу, вношу поправки, узнаю: идем пока на востовом курсе. Скоро повернем к земле, чтобы проскользнуть между Феодосией и Коктебелем, где у врага слабее противоздушная оборона. Оттуда мы летаем редко, и штаб осмотрительно выбрал этот необычный маршрут. Я замечаю: ремешок компаса потерся, дырочки разносились, в них свободно ходит шпилька пряжки. Эту досадную оплошность уже не исправить.

Последний раз мы сговариваемся с Дульником о деталях операции. Пока трудно все предусмотреть, поправку внесут обстоятельства, но все же мы распределяем точно все объекты: ангар-клуб блокирует и поджигает пятерка, возглавляемая Студниковым, бензохранилища достаются на долю второй пятерки Парамонова, бывшего подводника, самолеты поджигает сам Дульник, я беру на себя взрыв отнесенных в сторону от аэродрома складов авиабомб.

Все уже сами чувствуют время—подталкивают локтями друг друга, спрашивают, который час. Ася двумя пальцами, чисто по-женски, заворачивает рукав комбинезона, смотрит на циферблат своего хронометра, переводит глаза на меня. Слабая улыбка трогает ее широкие губы. Скоро, скоро...

Самолет болтает сильнее, — видимо, вступили в полосу горных, восходящих потоков. Я вспоминаю рассказы о планерных соревнованиях у Коктебеля.

Балабан появляется в дверях кабины и, придерживаясь за потолочный трос, подходит ко мне, нагибается: — Приготовиться!

Я повторяю команду Дульнику, и от уха к уху команда облетает всех.

По данным разведки мне известно: в этот час на

аэродроме «Дабль-Рихтгофен» проходит концерт фронтового театра, прибывшего из городка Солхат. Концерт проходит в ангаре из дюралевого гофра в трехстах метрах от аэродрома, в дубовой роще. Самолеты группы «WR» сегодня не выходят на задания: летчики отмечают какой-то нацистский праздник.

Потом мысли перелетают к родным, к Люсе, и эти волнующие мысли прерваны свистом ветра. Двери грузолюка открыты. Балабан согнулся у входа. На миг блеснули звезды. Я подаю команду, товарищи бегут к двери и начинают вываливаться наружу.

Самолет маневрирует. Сильная болтанка, но ребята ловки и опытни. Такой, вероятно, кошачьей цепкостью обладали матросы парусного флота, привыкшие бороться со штормами при помощи своих рук, ног и грубой парусины, распятой на мачтах.

Вот прыгает Дульник, что-то крикнув, просто из озорства. Я вижу его голову в шлеме, приклад пистолета-пулемета.

Десантники стучат подковами по полу, подбегают к дверям, сжимаются и ныряют подобно тому, как ребята ныряют в речку со старой ракиты.

Балабан держится одной рукой за ребро люка и, прижимаясь спиной к стенке хвостового отсека, другой рукой похлопывает каждого из ребят по плечу, пересчитывает.

Деловито подбегает Ася, делает характерный девичий жест рукой, будто поправляя локон, и прыгает вниз ногами, расставив руки в локтях. Молоденький радист колеблется одну минуту, падает при крене на колени. Балабан ободряет его, хотя сейчас парнишка вряд ли что-либо в состоянии услышать. Я подталкиваю его плечом, он быстро на коленях приближается к люку, разевает по-рыбьи рот, кричит, но ветер гасит крик, и мальчишка вываливается из самолета.

Наступает мой черед. Машину водит, как суденышко в крепкую бурю. Десант обнаружен. Подпрыгивающими цветными шашками летят снаряды эрликонов — впереди красные, зажигательные, потом бронебойные и осколочные. Огонь прожектора врывается к нам. Поток электрического света ослепляюще зали-

вает внутренность самолета. Огненные брызги отлетают от отражающих квадратов плексигласа, от заклепок шва.

Балабан откидывается всем корпусом к отсеку, машет рукой. Я помогаю себе руками и ногами, прыгаю на огонь, с затяжкой прорезываю своим собранным в комок телом прожекторный луч, выхожу из него и тогда открываю парашют. Меня дергает так сильно, что я переворачиваюсь два-три раза. Я расставляю ноги, проверяю оружие и быстро опускаюсь среди светящихся жучков — трассирующих пуль.

Я вобрал голову в плечи, как всегда при снижении, огляделся. Сброску произвели два самолета. Третий только подошел и развернулся над аэродромом. К нему полетели светящиеся шашки зенитных снарядов. Теперь, расставшись со своим самолетом и ревом его моторов, я снова обрел слух. Я слышал стрельбу, гул моторов нашего третьего «Ли-2».

Я шел на снижение. Все мое внимание было отдано земле. Мне показалось, что аэродром сильно вспахан воронками. Неужели его отбомбили до нас? Смотрю: воронки движутся. Что за наваждение? Ищу причины, поднимаю голову, догадываюсь: это не воронки, а тени от парашютов. Вот тени пропадают, на их месте возникают тюльпаны шелка, отделяются фигуры людей, вспыхивают тонкие жальца огоньков автоматов и ручных пулеметов. Десант уже действует, но противник держит под обстрелом воздух. Жучки летят, отчетливо слышатся щелчки, как будто пробивают бумагу: это пули просекают шелк парашюта.

Я намечаю место для приземления, набираю на себя тросы, приготавливаю тело к соприкосновению с землей. Местность ровная, удобная.

Мои подошвы ударяются о траву, я делаю несколько толчков вверх, чтобы рассчитать падение. Парашют подтаскивает меня ближе к тозаришам, и я, привалившись на бок, кинжалом отсекаю вытяжной парашют — кусок шелка примерно с квадратный метр, удобный для перевязки, взамен платка. Прячу его за пазуху. Быстро изрезав парашют, свистком собираю людей, и мы бежим к аэродрому.

На наших глазах третий самолет подбивают. На

фоне неба отчетливо видно, как его ревуший силуэт загорается языковым, разлетным пламенем и самолет круто идет на снижение. Теперь уже пламя сбито к хвосту, удлинилось. И оттуда, из горящего самолета, прыгают люди. При лунном свете мы насчитываем двадцать парашютов. Один парашют вспыхивает, черное тело, как чугунная кукла, со свистом несется книзу и неожиданно с каким-то мокрым, всплескивающим звуком ударяется о землю.

Дальнейшие события разворачиваются быстро. Успех зависит от темпов. Если десант обнаружен в воздухе и наземная охрана аэродрома открыла огонь и запустила прожекторы, нельзя отчаиваться. Это только первая фаза атаки. Противник ошеломлен, стрельба не всегда прицельна, число парашютистов обычно преувеличивается. К тому же надо учитывать психологию солдата, обученного встречать врага строго против себя. А здесь противник может появиться и впереди, и позади, и с боков.

Когда приземляется последний парашютист и десант переходит к активным наземным операциям, наступает вторая фаза.

Противнику надо встречаться с десантниками уже на земле, причем десант целеустремлен, подчинен определенным задачам, место операции агентурно разведано. Оборона же застигнута врасплох, деморализована, разъединена. Мы знаем своего врага — он боеспособен в группе, совершенно теряется в одиночку. Младшие офицеры лишены инициативы, и стоит нарушить связь между старшим и младшим начальником, начинается паника — залог успеха диверсии.

Дульник точно выполняет мой приказ. Его группа разошлась по объектам. Студников блокирует ангар-клуб, забрасывает его зажигательными бомбами. Оттуда слышится сухой рокот наших ручных пулеметов. Парамонов должен вот-вот зажечь склады горючего. Дульник продвигается к аэродрому. Я догадываюсь об этом по столбам пламени, злой перестрелке короткими очередями и треску гранат.

У Дульника выработался свой почерк диверсии: он идет к цели с оглушительным шумом, не жалея гранат

и патронов, и с криками на русском и немецком языках.

В моих руках все управление и контроль над операцией. Время ограничено, и связные совершают только по одному рейсу. Три человека, использованные в диверсии, прибегают ко мне с сообщениями о выполнении заданий по объектам, три связных из группы прикрытия, успевших уже минировать дорогу, уходят с моими приказаниями к Дульнику, и они заместят посланных из диверсионной группы.

Я поджигаюкрытие ближе к аэродрому. Выходим к складам авиационных бомб. Черные бугры, преградившие нам путь (мы их приняли за капониры), оказались копнами. Из-за одной копны открывает огонь крупнокалиберный пулемет. Двое матросов, маскируясь копнами, добираются к пулеметному гнезду, забрасывают его гранатами; мы поднимаемся и бежим к складам. С нами ящики с толом. Подрывники-минеры уходят вперед, пока мы расправляемся с охраной складов.

Подрывники закладывают заряды и подползают ко мне. Склады авиабомб наполовину врезаны в землю и сверху прикрыты маскосетями и дерном. Что-то похожее на крупное овощехранилище.

Я слышу треск мотоциклов на восточной окраине аэродрома. Стрельба вражеских пулеметов становится более ритмичной. Мы уходим от складов. Густая копоть горящих маслобаков опускается на наши лица, на руки, дышать сладко и тошно.

На аэродроме один за другим возникают взрывы и характерные, ослепительные очаги пожаров: это горящий бензин охватывает металлические конструкции машин, и они горят разноцветными, быстрыми и почти бездымными огнями.

Я хотел проверить время, но часов на руке не оказалось, не было и компаса. Вспомнил: приспособиваясь руками к прыжку с маневрирующей машины, я, вероятно, оборвал часы и компас. Узнал время у Аси. Срок задания истекал. Я приказал дать сигнал отбоя. Сухой треск ракетницы — и в небе вспыхивают два рассыпчатых зеленых огня.

В помощь вражеским пулеметам открыли наземный

огонь эрликоны. Слышен воющий, рассекающий воздух свист зенитных снарядов.

К аэродрому мчались вражеские мотоциклы. От капониров, где горели самолеты, промелькнули транспортеры. Лучи автопрожекторов побежали по траве.

Мы отходили к опушке. Не доходя до нее, услышали пулеметную и автоматную стрельбу: пробивался Дүль-ник.

Пулеметы, поставленные на опушке, отрезали нам дорогу. С тыла нас тоже обходили. Транспортеры, вероятно, уже сбросили пехоту. Незримые щупальцы охватывали нас: Уничтожить пулеметы нельзя: луна выдала бы наши намерения. Я приказал отходить севернее, где оставался единственный проход к лесу. Быстро продвигаясь к северу, мы выходили с участка стационарной обороны аэродрома.

По шоссе приближались автомашины. В темноте вспыхивали и гасли фары. Повидимому, подъезжали подкрепления из Солхата.

Пока дорога к лесу была не отрезана, надо было спешить. Ася и радист шли быстро. Я нагнал их, на ходу передал текст радиограммы: «Успешно идем на Джейляву». Девушка тихонько, на прощанье, подсвистнула и пошла беглым шагом.

Высокая сухая трава могла при случае выручить, но пока затрудняла движение, к тому же часто попадались сусличьи норы, которые могли быть и замаскированными минами. По каменистым, бестравным пролысинам подошвы скользили, как по льду. Спасительная опушка леса приближалась.

Вдруг из леса вылетела грузовая машина. На машине стояли солдаты и ругали шофера, который, может быть, спросонок, рывками вел машину, и людей в кузове бросало из стороны в сторону.

Силуэты радистов пропали из глаз. Я упал в траву. В случае опасности для Аси и ее спутника надо было прикрывать их отход. Я нащупал в кармашке запалы гранат, приготовился.

Грузовик остановился. Я ожидал, что сейчас солдаты спрыгнут и оцепят опушку. Офицер открыл дверку кабины и сердито покричал на солдат. Шум среди сол-

дат прекратился. Снова хлопнула дверка. При свете луны был виден ствол автомата, заискрившийся от выстрелов. Солдат для порядка решил прострелять опушку разрывными пулями. «Дум-дум» вспыхнули в бурьянах разноцветными огоньками. Затем очередь прошла у подлеска. Казалось, о деревья разбились, как о стекло, какие-то огненные ночные птички.

Машина ушла. Теперь можно было довериться слуху. Нигде не было слышно нашего оружия, а только то там, то здесь испуганно и нервно стреляли вражеские автоматчики. Так стреляют обычно без цели. Значит мой народ расплылся и вышел в лес.

Я поднялся, вошел в лес, отсчитал сто шагов, присел. Взрыв потряс воздух. Казалось, ураган огромной силы налетел на деревья, тряхнул их так, что затрепали стволы, и унесся с воем и грохотом. Оглушенный, я поднялся с земли и пошел вперед и вперед. Успех придавал мне силы. Я двигался, подчиняясь тому инстинкту, который приводит лошадь к жилью в метельное бездорожье.

Зарево пожара еще долго сопровождало меня.

Жажда мучила меня. Деревья засыпали землю осенней листвой. Шуршали ящерицы. Я попал в ложину. Может быть, она меня подведет к родникам? Опустился к сухому руслу, напомнившему мне места возле Богатырских пещер. Такое же смутное, настороженно-тревожное ожидание опасности сопровождало мне и сейчас, как и тогда, в ночном походе.

На камнях крошился и обваливался сухой мох. Все же я принялся поднимать камень за камнем, чтобы найти под ними сырой песок или глину. Земля была тоже суха. Я принялся копать кинжалом под камнем, но воды не было.

Надо было спешить к условному месту, куда, очевидно, уже подходили мои люди. Я вытащил карту, фонарь, определился по мху на деревьях.

Над местом сбора отряда стоял синий кружок. Чабановка находилась примерно в десяти километрах. Я шел до рассвета. Мне нестерпимо хотелось пить, но я усилием воли подавлял мысль о воде.

ПОСЛЕ „ДАБЛЬ-РИХТГОФЕН“

Вскоре тропинка привела меня в старый ореховый сад. Надо мной шатрами повисли длинные ветви, покрытые яркими желтеющими листьями. Орехи, похожие на недозрелые мандарины, пучками висели между пряных, будто проявленных листьев. Я нарвал орехов, легко отделил верхнюю кожуру, нашел камешек. Орехи были приятны на вкус, но не могли заглушить жажду.

Вблизи ореховых садов должно было находиться селение. Чтобы точно определиться по карте, нужно было узнать название села. Проверив автомат, я пошел по саду, маскируясь крупными стволами. Трава шуршала под ногами, ночью не выпало ни одной капли росы.

Вправо от сада поднимались крутые трахитовые и сланцевые глыбы и за ними — террасами горы. Сад опускался в ложину, между ветвей блеснул ручей.

Путь к воде преграждали домики татарского селения, прилепленные к крутому берегу, с плоскими крышами, смазанными глиной, ступенчато опускавшимися книзу. Из труб, сплетенных из хвороста и обмазанных глиной, поднимались дымки. На той стороне ручья прилепились такие же домишки, выше виднелись огороженные камнями виноградники.

Перейдя дорогу, проложенную вдоль околицы, я прилег в канаву. Сухие репейники скрывали меня и позволяли оценить обстановку.

На первый взгляд, в селении не обнаруживалось признаков противника. Не было видно автомашин, военных лошадей, часовых и дыма полевых кухонь. Где-нибудь в Белоруссии или на Украине этого было достаточно, чтобы доверчиво войти в селение, в Крыму же приходилось быть вдвойне осторожными.

В крайнем дворе послышалась тихая украинская песня. Из ворот вышла босая девушка, почти подросток, с двумя медными кувшинами и обычным русским коромыслом. Девушка остановилась, кувшины звякнули, она взяла их одной рукой, а второй перебросила на

плечо коромысло. Девушка продолжала тихонько напевать, и в ее песне было много приглушенной лирической грусти.

Я высунул голову из бурьяна, окликнул девушку. Она не испугалась, а только настороженно оглянулась и подошла поближе.

— Не подымайтесь, не подымайтесь, — тихо сказала она, — а то кто-сь побачит.

Я спросил ее о противнике. Она ответила, что в селе только два солдата, но сами татары держат самооборону от партизан. Она назвала мне это село, но о сожженной Чабановке не слыхала.

— А есть ли вблизи партизаны?

— Не знаю, — сказала она, попрежнему беспокожно оглядываясь по сторонам; ее тело дрожало, и кувшины позванивали друг о друга своими выпуклыми боками. — Партизаны были, но их отогнали. Был большой прочес.

— Куда отогнали?

— Ой, не знаю, товарищ, — прошептала она, — в лес и горы. Куда же? Я здесь ничего не знаю. Вроде партизаны там, — ее худенькая рука махнула в горы.

— Ты не сумеешь ли меня напоить? Очень хочется пить.

— А может, вам вынести язымы? То такой кислый, кислый овечий творог с водой.

— Нет, уже лучше угости меня водичкой, дивчина...

— Зараз принесу. Только вы спрячьтесь обратно в бурьяны.

Девушка быстро пошла вниз по улице. Я снова опустился в канаву. Из улицы вышли козы. Они на ходу схватывали головки сухих репьев. Солнце поднялось над лощиной. Где-то заскрипела телега. Густо и протяжно замычал буйвол. Девушка, запыхавшись, вернулась. Я взял у нее кувшин, с радостью ощутил мокрую и холодную кованую медь и жадно прильнул к узкому горлу.

Никогда вода не казалась мне такой вкусной. Без сожаления вылив на землю спирт, я наполнил флягу водой, вытащил из сумки две плитки шоколаду.

— Возьми, дивчинка.

— Да зачем же, зачем? — девушка спрятала за спину руки.

— Ах, какая же ты! Возьми, да возьми же! — мне хотелось непременно вручить ей шоколад.

Наконец она взяла мой подарок и, не зная, куда его девать, смущенно держала шоколад в руках, улыбаясь, краснела... но вдруг глаза ее испуганно округлились. Я быстро оглянулся. За моей спиной стоял пожилой, жирный татарин с гладко выбритым лицом, в распахнутом на груди красивом восточном бешмете.

У татарина в руках была веревка, а на локтевом сгибе висел ременный бич с короткой ореховой рукояткой. Повидимому, татарин не меньше нашего был поражен неожиданной этой встречей. Его лицо выражало испуг, залоснилось потом. Татарин переводил взгляд своих черных быстрых глаз то на меня, то на девушку.

— Сабан-хайрес! Сабан-хайрес! — поздоровался он и приложил руку к груди.

— Ты откуда идешь? — спросил я резко.

— Мой корова в лес водил, дрова рубил...

— Ладно, иди отсюда...

Татарин засеменил от нас и скрылся в улице.

— Ой, шо вы наробили, товарищ! — зашептала девушка. — Это сам Осман-бей! Он зараз приведет карателей. Они вас догонят! Идить, идить швидче в лес! Держитесь праворучь, шоб попасть к партизанам. Там позавчера гудели пушки! Били их!

Я попрощался с девушкой и быстро направился к лесу. Бегом, миновав ореховый сад, я очутился на горной гужевой дороге.

Дорога, как обычно бывает в горах, была проложена по оврагу. По обеим сторонам поднимались обомшелые известковые скалы, а сверху раскинулись ветви деревьев. Солнце почти не достигало сюда.

Вдруг позади послышался осторожный топот. Я спрятался за выступ скалы и увидел перебегающих дорогу четырех вооруженных татар и двух немецких солдат. Среди татар не было Осман-бея. Это были молодые парни в немецких пилотках, сатиновых рубашках и штанах русского военного покроя.

Я побежал, стараясь лавировать так, чтобы не

попасть на прицел моим преследователям. Тогда вдогонку сразу несколько голосов закричали мне по-русски, приказывая остановиться.

Не обращая внимания на крики, я во всю мочь бежал по дороге. Сознание опасности придавало мне силы. Ранец и оружие становились все тяжелее и тяжелее. Но вот вверху просветлело, скалы уменьшились, дорога вывела меня на пригорок. Солнце освещало поваленные буреломом стволы буков.

Татары выскочили вслед за мной, остановились и кучкой бросились наперерез, к лесу. Их замысел был понятен: они хотели схватить меня живьем и поэтому не открывали огня. Немецкие солдаты что-то кричали им повелительно.

Я перепрыгнул поваленное дерево, попал ногой в ямку, упал. Пистолет выскочил из-за пояса при прыжке. Я перегнулся, схватил пистолет, прилег, но время было потеряно.

Враги считали, вероятно, мою песенку спетой и надеялись на легкий успех. И татары и немцы громко галдели, разыскивая меня.

Еще в период Сталинграда мы, офицеры, усиленно упражнялись в стрельбе из пистолетов системы Токарева. Преследующие меня находились на близком расстоянии. Я хладнокровно прицелился и один за другим сделал несколько выстрелов.

Немец и два татарина упали плашмя, как обычно падают насмерть сраженные люди. Остальные залегли, открыли стрельбу. Пули с визгом рвали воздух, просекали листву. Надо было уходить. Зарядив пистолет, я сунул его за пояс, откатился от поваленного дерева, на локтях прополз между кустами, поднялся и скрылся в ложине. Теперь погоня не была страшна. Лес и густые кустарники скрыли меня от погони. От свитера было жарко, пришлось распустить до самого пояса молнии комбинезона, ослабить наплечные ремни ранца и быстрее идти все вперед и вперед, в том направлении, куда указала молоденькая украинка. Мне казалось теперь, что все опасности позади и наконец возле Чабановки я встречу своих боевых друзей.

Вскоре лощина перешла в ущелье. Слева встали скалы, сложенные ребрами наружу из тяжелых плит

юрского известняка. Солнце ослепительно освещало эти будто разлинованные скалы, ударяя в них своими лучами. Надо мной в синем небе лениво парили орлы. Я шел, по солнцу угадывая нужное мне направление. Мне помогали навыки детства, научившего меня не пугаться леса и гор, не задумываться над способом перехода ущелий, над спусками по сухим водопадным руслам, когда, разнося эхо, катятся вниз каменные обвалы и, растревоженные шумом, яростно и многоголосо орут разные птицы. В пути я съел плитку шоколада, напился из каменной чаши, выдолбленной руками человека, куда капля за каплей стекала чистая, как хрусталь, вода. Встретилось еще несколько таких чаш, где жителями бережно хранится вода. Ведь здесь нет колодцев.

Сверившись по карте, я определил, что вблизи должны быть армянские горные поселения. Вскоре, продвигаясь по козьей тропе, я почувствовал запах горелой шерсти и увидел над деревьями редкий дым.

Ползком по земле, заросшей сон-травой и мышехвостником, я пробрался к опушке. Селение было сожжено, — догорали последние бревна. На пепелище валялись обгоревшие, вздувшиеся от огня туши коров. Ни одного человека вокруг. Высоко в небе ходили орлы, а ниже, над вершинами леса, с пронзительными криками летала стая южного воронья.

Запахи мяса пробудили голод. Шоколад не мог заменить привычной пищи. По опушке я обошел все пожарище. На дороге отпечатались следы твердых, гусматических шин бронеавтомобилей и конских — кованых и некованых — копыт. Поодаль, почти на опушке, лежала молочная корова красномастной породы. Очередь из автомата пунктирно просекла ее кожу.

Я надрезал кинжалом и закатал кожу на задней лопатке, вырезал несколько толстых кусков филейного мяса. Принести головешек было делом одной минуты. Я сложил костер, подсыпал углей и, насадив на кинжал кусок мяса, изжарил его и съел с галетами. Утолив голод, завернул остальное мясо в кусок парашютного шелка, положил в ранец.

В таких случаях Дульник обычно говорил: «Самочувствие хорошее, настроение бодрое». Где сейчас мой милый друг? Сомнения в благополучном исходе опера-

ции закрались ко мне. Может быть, вот так, по одному, скитаются люди десанта? Может быть, никого уже не осталось в живых, так как, судя по всему, карательные отряды деятельно блокируют партизанский район, выжигают села и безбоязненно охотятся за одиночками.

После полудня я добрал до заброшенной лесодачи, отмеченной на двухверстке домиком лесника. Одинокий домик стоял посреди огорода. Возле дома валялась разбитая «эмка». Над трубой не поднималось дыма. Казалось, что жилище лесника необитаемо, но недавно сюда наезжали кавалеристы. Десятка два белых леггорнов копошились в конском свежем помете.

Прикрывшись лопухами, я лежал возле сложенных в поленницу дров, прораставших уже не первый год молочаями и чесночником.

Когда солнце упало с зенита, из домика вышел старичок с седенькой взлохмаченной бородкой, в кепке и ботинках. На старике была холщевая рубаха с расстегнутым воротом, на груди — медный, староверский крест.

Старичок покричал на кур, бросил им что-то из рук и направился к лесу, в мою сторону. Он шел, опустив голову, сгорбившись, и, как это бывает с людьми со слабым зрением, тщательно всматривался себе под ноги. Когда старик приблизился, я тихо окликнул его. Он боязливо остановился, осмотрелся, сказал:

— Выходи, выходи, ежели добрый человек.

Я вышел из засады, положив руку на рукоятку пистолета.

— Ты меня не бойся, — сказал старичок, приподнял кепочку, поздоровался.

— А кого бояться, папаша?

— С кем воюете, того.

Я почувствовал доверие к старику, и он — ко мне. Казалось, мы давно были знакомы, близки душами и сейчас просто и невзначай повстречались.

— Вы лесник, папаша?

— Нет, лесник уехал в город, в Солхат.

— А не видели ли вы случайно партизан?

— Были партизаны, прогнали. И сюда наведывались. Большой прочес проходил, много здесь шарило войска, ушли партизаны.

— А лесник не знает?
— Он знает, но ты ему шибко не доверяйся.
— Плохой человек?
— Стал плохой.
— Русский?
— Русский, а снюхался и с немцами. Последнее время стал совсем не такой, как был.
— Вы его и раньше знали, папаша?
— А кабы не знал, разве пришел бы к нему?
— Зачем?
— Переждать.
— А про Чабановку что-нибудь слышали?
— Спалили Чабановку.
— Далеко отсюда Чабановка?
— Как сказать... Ежели спрямить через лес — не так далеко, верст двенадцать. Ежели кругом — все двадцать пять наберется, — старик оглянулся. — Нам нельзя на виду, сынок. Наведаются опять гости, пропадем оба. Их время еще не кончилось, день.

Мы зашли под деревья. Старик глядел на меня дружелюбно из-под своих седеньких нависших бровей:

— Ты иди-ка, сынок, в Ивановку, туда часто навевались партизаны, а оттуда, если надо, любой тебя отведет в Чабановку. Только в Чабановке ни одного жителя. Сорок сел уже спалили в окрестности. Подходят к Крыму наши, а?

— Подходят, папаша.

— Слыхали, что подходят... Тамань забрали?

— Забрали.

— Новороссийск?

— Тоже.

— Я-то с Новороссийска, сынок. Так волной меня и прибило, сначала в Керчь, потом в Феодосию, а потом вспомнил про своего знакомого лесника, сюда дотянул. Будем еще зиму при них горевать? А? Как скажешь?

— Как придется, папаша.

— Нельзя, не отвечай, — знаю. Я сам когда-то в Богучарском гусарском служил. Давно это было. Два с половиной фунта хлеба тогда давали каждому гусару, а помимо хлеба — приварок.

Распрощавшись со стариком, я направился к Ивановке. К вечеру подошел к селу. Встретил паренька

с дровами, который безумно меня испугался. Пришлось долго втолковывать ему, что я русский и не сделаю ему никакого вреда. Наконец он пришел в себя и с юношеским жаром отсоветовал мне даже приближаться к их селу, так как туда пришел татарский добровольческий батальон в пятьсот человек.

— Давно пришел батальон? — спросил я, чтобы проверить.

— Вторые сутки... Сюда сгоняют девчат, а отсюда погонят их на яйлы, в татарские кошары, в зимовники.

— Зачем же их туда погонят?

— Как зачем? Овец пасти, доить, готовить брынзу. А вокруг Ивановки ловят партизан. Уже один сидит в подвале, в погребе.

— Какой он из себя?

— Одет так же, как вы, только еще моложе, совсем без усов.

— Я тоже без усов. Только вот второй день не брит. Паренек снисходительно улыбнулся:

— А тот еще совсем не брился, вот так, как и я, — он провел ладошкой по своему лицу.

Вместо Ивановки, я пошел на Чабановку. Ночью сбился с пути, повернул на артиллерийскую стрельбу и, пробродив до зари, снова очутился у домика лесника. Постучал в окошко, вызвал старика. Старик недолго собирався, вышел на стук, выслушал меня:

— Вымотаешься ты так, сыночек. В ногах правды нету. Жалко мне тебя.

— А что делать?

— Давай так... подожди здесь, пока кто-нибудь из партизан подойдет, потом уже сами разберетесь.

— А не лучше было бы, если бы вы меня сами довели до Чабановки?

— Доведу, только надо лесника дожидаться. А то он схватится меня и догадается. Да и дом его нельзя бросить, — старик помолчал, что-то обдумывая. — Вот что... Там вон яр большой с жимолостью. Иди туда и где-нибудь спрячься на день. А я буду идти по воду, и ежели кто из партизан наклонится, по ведерку постучу. Тогда выходи. А где ты спрячешься, сам знай. Мне нет дела до твоего места.

В кустах жимолости я и спрятался. Снял ранец, под-

ложил под голову, обнял автомат и крепко заснул. Карагачи отбрасывали длинные, за полдень, тени, когда я открыл глаза. На тропке, ведущей к ручью, ходил старик и постукивал по ведерку.

— Что же ты так крепко спишь?—укорил он меня.— Пока ты спал, случилось несчастье.

— Несчастье?

— Утром, часиков в десять, приезжали татары, и во главе немецкий офицер, — взволнованно, с оглядками, рассказал старик, — забрали всех курей живыми в мешки, сняли с меня ботинки, видишь, босиком, и котели меня расстрелять. Но офицер сказал: еще огород не убран, пусть уберет. А когда уберет, тогда найдем ему пулю... Уходи, сынок, как бы они облаву не устроили, ежели догадаются, что ты здесь. От них тогда не уйдешь. Татары все уголки вырыскали еще с малолетства. У них такие суруджи — проводники...

— Когда же мне уходить? Сейчас?

— Нет, сейчас нельзя. Днем они рыскают по лесу. Надо итти ночью, когда они боятся. А уходить отсюда надо на закате, сынок.

— А вы со мной пойдете?

— Теперь мне нельзя уходить, имущество разнесли, курей у человека забрали. Придет — решит на меня. Нельзя уходить при таком случае. Как солнышко зайдет за те вон дубы, приходи к сапетке, кукурузной сушилке, левее от дома, по тропке, сразу найдешь. Я тебе на дорогу хорошего продукта припасу. Такого продукта дам, что ты месяц его с собой будешь носить и не испортится.

— Какой же это продукт, папаша?

— Тогда увидишь.

Тут я вспомнил о говядине, сбегал в кусты, принес мясо,

— Нельзя мне его брать, сынок, — отказывался старик, — что я с ним буду делать? Нагрянут опять, увидят: откуда взял? Такое подозрение будет, до огорода убьют.

Он отдал мне принесенные в ведре картошку, чурек, печеный кабак и отдельно, в ситцевом кисете, крупную сакскую соль.

Пришлось дожидаться захода солнца за вершины дубов. На поляну легли скупые прохладные тени. Я под-

тянул снаряжение, направился к сапетке. Остатки недоверия к старику, продиктованные специфичностью моего положения, окончательно рассеялись, когда мне предстала замечательная, незабываемая картина. Возле плетеной кукурузной сушильни, на фоне будто отчеканенных закатными лучами червонных листьев граба, на ивовой корзине сидел старичок, поджав под себя босые ноги и упираясь бородкой в колени. Он сидел в мирной, безмятежной позе, лучи солнца обрызгали его и будто изнутри просветили его щуплую фигурку и осияли его седые, растопыренные волосы и чистые, несмотря на глубокую его старость, глаза.

Старик не замечал меня. Я тихо окликнул его. Не меняя позы, он посмотрел в мою сторону из-под ладошки, подозвал меня к себе. В его руках была плетеная корзинка, наполненная сушеным черносливом, который испокон веков любили богатые татары Крыма.

— На тебе, сынок, никогда не испортятся, будешь кушать и меня вспоминать.

Я снял ранец, вынул оттуда патроны, насыпал чернослив, патроны запихал в карманы и за пазуху. Сверху чернослива положил мясо. Решив как-то отблагодарить старичка, я оторвал от вытяжного парашюта полкуска.

— Возьми на память, папаша, — сказал я.

Старик взял шелк, помял его в руках, спросил:

— А что это, с платья, не иначе?

— Это парашютный шелк, папаша. На таком шелке я прилетел в Крым.

Старик еще раз помял его в руках, подумал что-то про себя, но не отказался и спрятал в карман.

— Таковую вещь найдут, будет мне худо. Но я спрячу его в надежном месте, в лесу похоронок много. А теперь иди... — и старик рассказал мне, как идти наверняка, чтобы не сбиться с пути. — Ну, смотри, сынок, пройдешь? Сам пройдешь?

— Пройду, спасибо.

— Как? Разобьем фашиста?

— Разобьем, папаша. Обязательно разобьем.

— Я тоже так думаю. Ежели бы он думал побеждать, не стал бы корень из-под себя выжигать. Сколько деревень спалил, ужас! Иди, сынок. Очень уж люб ты мне был эти дни, так бы и не отпускал тебя, но у ка-

ждого свое дело впереди, нельзя его забывать. Войну кончим, приезжай ко мне в Новороссийск, живу я возле цементных заводов, домик-то мой, наверное, разбили. Все равно приезжай, в адресном городском столе узнаешь, приходи в гости.

— Под какой фамилией искать?

— Ларионов — моя фамилия, сынок. Спросишь, где живет Михаил Архипович Ларионов. Не забудешь?

— Не забуду, Михаил Архипович.

Старик заплакал, прощаясь со мной. Я поцеловал его заплаканные щеки и быстро пошел в лес. Через час я находился недалеко от Чабановки. В сумерках, когда еще различимы предметы и цвета, я прошел окраиной татарского селения, вышел на гору, обозначенную на карте под цифрой уровня, остановился отдохнуть. Горы волнами уходили от меня, поднимаясь все выше и выше. Кое-где, как кабаньи клыки, торчали голые скалы. Глухо шумели вершины высокоствольных чинар. Собирались дождевые тучи.

Мне стало грустно и досадно. Где-то недалеко, в какой-то из этих впадин или на одной из вершин, расположился лагерь Лелюкова, стойкие отряды вооруженных советских людей. Где-то здесь находятся мой отец и Яшка Волынский со своим отрядом молодежи, и, может быть, вот там, у тонкой струйки дыма, сидит Люся, только попрержнему ли она ждет своего сказочного королевича?

И вот я почувствовал, что из кустов боярышника за мной наблюдают. Кто это был, зверь или человек, я еще не мог отдать отчета. Но обостренные чувства мои подсказали, что я не один на этой высокой скале. Наблюдали за мной со спины, и поэтому, не оглядываясь, чтобы не обнаружить свои намерения, я перевел на бой свой автомат. Ждал. В кустах и в самом деле зашелестело. Я быстро нырнул за камень.

Трое в комбинезонах парашютных войск вышли из кустов и пошли ко мне навстречу.

Я облегченно вздохнул. Это были Студников и Пармонов, командиры пятерок диверсионной группы. Они рассказали мне подробности нападения на аэродром, ангар и бензохранилище. Ушедшая в эфир радиogramма о выполнении задания отвечала действительности.

Третий — подрывник, закладывавший заряд тола в бурты авиабомб. У ребят были часы и компасы, и теперь мы могли определиться с абсолютной точностью.

— Ниже у скалы — пещера, — сказал Студников. — Видно, монахи проживали.

Облака, еще днем бродившие по небу, к ночи, наконец, собрались в дождевую тучу. Похолодало. И, как обычно бывает осенью в горах, быстро испортилась погода.

Мы спустились к пещере, чтобы дожидаться ночи. Впереди шел Парамонов, великолепный диверсант, молчаливый и исполнительный. Студников был высок, силен и гибок. Он привязал шлем к поясу, а на голове лихо заломил бескозырку, на которой потемневшей бронзой было выдавлено название погибшего корабля, прозванного «голубым экспрессом» за быстроходные рейсы к осажденному Севастополю.

Монашеский скит представлял собой пещеру, выдолбленную в крутой скале, с узким входом, заросшим кустарниками. Площадь пещеры примерно два на два метра, высота в человеческий рост. В стене был камин с дымоходом наружу. Над камином довольно искусно высечен крест над чашей.

Начался дождь.

Товарищи запасли заблаговременно сухого валежника, коры и мха. Спичек не было. Студников имел ракетницу и семь ракет. Он умело отобрал заряд, выстрелил, добыл огонь. Пещера наполнилась дымом от костра и пороха. Поужинали мясом, которое только чуть-чуть обжарили на огне. Ребята после ужина закурили. Лежать было негде, мы сидели, прижавшись друг к другу. Они рассказывали свои приключения, я—свои. Их так же, как и меня, поразило повсеместное уничтожение русских поселений и предательство крымских татар.

— Трудновато здесь партизанить, — сказал Студников, — боясь немца и, выходит, еще больше татарина.

Мы вышли из пещеры. Моросил дождь. Где-то в стороне с ровными промежутками постреливала гаубица. Спускались с трудом, цепляясь за кусты и корни. Чтобы пройти на Чабановку по более торной дороге, надо было вернуться назад и обойти то самое село, которое я уже раз обходил в сумерки. Студников сказал, что надо

перейти речку, но, как он выяснил, броды заминированы, а мост охраняется. Решили идти над рекой, поодаль от берега, пока представится случай перебраться на ту сторону. Над селом часто взлетали ракеты. Наши ноги скользили по камням. Дождь припустил сильнее. Вода стекала по телу, комбинезон и свитер намокли, лямки ранца сильнее давили плечи.

Наконец мы увидели деревья, сваленные буранами в воду. На четвереньках и ползком, обнимая мокрые стволы, мы перебрались на левый берег и сразу попали на дорогу, по которой и решили идти.

Изредка резкими голосами вскрикивали птицы. Деревья и скалы приобретали причудливые очертания.

По моим расчетам, надо было уже свернуть на боковые тропки к Чабановке.

Вдруг впереди послышались крики, стук кованых копыт. Фыркнула машина, заскрежетала передача. Мы свернули с дороги, присели в кустах. Вскоре между деревьями показались два всадника, разговаривавших между собой по-татарски. Винтовки лежали у них на луках седел. Запахло взопревшей лошадиной шерстью. Всадники проехали мимо нас, за ними ехал еще один верховой, румын, на высокой лошади.

Вслед за ними показалась колонна медленно идущих людей. Впереди колонны ехала штабная бронемашина с низкими бортами и приплюснутым радиатором. Сидевший в машине немец изредка оборачивался и, как по привычке, выкрикивал безучастным голосом: «Шнель! Шнель!»

Отжимая арестованных от кустов, цепью, один за другим, ехали татары на своих мохнатых, выносливых лошадаках, покрикивая, щелкая плетями.

Машина проехала возле нас, и затем в просветах между всадниками конвоя мы увидели медленно бредущих по дороге женщин. Они шли в колонне по три. Некоторые несли на руках детей. Вот ребенок вскрикнул испуганно, как птица, и мать прикрыла ему рот, но тут же конвойный ударил ее плетью.

— Шнель! Шнель! — слышалось впереди за поворотом.

Женщины шли молча, и только один женский голос вдруг прозвучал сдавленно от неизбывного горя:

— Ой, маты, моя маты...

Нас было четверо. У нас были гранаты и автоматы. Я мог отдать команду атаки, и ребята бы страстно выполняли ее. Но я не имел права на это.

Сквозь какой-то туман я видел татарина в мохнатой папахе, вольно, как степной кочевник, развалившегося в седле, услышал его веселый окрик:

— Бэкир! Вон ту, мамашку!

Послышался свист плети, и чей-то голос звонко выкрикнул из колонны:

— Сволочи! За шо ж мы вас годували, проклятых!

— Опять мамашка! Бэкир!

Колонну замыкали немецкие драгуны в стальных шлемах, в накидках, с перевернутыми вниз дулами карабинов. Они проехали звеньями, сонные, огромные и мрачные. На каждое звено посредине был вьючный пулемет.

— Шнель! Шнель! — как эхо, доносилось издали.

— Бэкир! — кричал тот же веселый голос.

В эту крымскую ночь мне пришли на память слова украинской думки, слышанные мной от кубанских слепцов:

Зажурилась Украина, шо нигде прожиты,
Гей, витоптала орда киньми маленькии диты,
Ой, маленьких витоптала, великих забрала,
Назад руки постягала, пид хана погнала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПАРТИЗАНЫ ДЖЕЙЛЯВЫ

Ночью мы натолкнулись на одну из застав Молодежного отряда, выставленного для охраны сборного пункта у Чабановки.

Партизаны окликнули нас, спросили пароль, осветили карманными фонариками и привели на вырубку, с четырех сторон обставленную высокими буковыми стволами.

Командир Молодежного отряда сидел на пне к нам спиной. Несколько партизан стояли возле него, положив руки на автоматы или опершись на винтовки. При свете карбидного фонаря, лежавшего у его широко расстав-

ленных ног, командир метал игральные кубики на целлулоид летного планшета.

Сопровождавшие нас остановились в почтительном отдалении, нерешительно переглянулись.

— Доложите командиру, — попросил я.

Молодой человек с круглым лицом, в берете со звездочкой, с автоматом и плеткой в руках, посмотрел на меня. Видимо, он колебался, и лишь после того, как я нетерпеливо повторил свою просьбу, он какой-то подпрыгивающей, осторожной походкой, будто не касаясь земли ногами, обутыми в мягкие, буйволовые постолы, подошел к командиру со спины, пригляделся к тому, что тот делает, и вернулся.

— Одну минутку, товарищи, — сказал он строго, — командир сейчас занят.

— Чем же он занят?

Партизан в берете скользнул по мне своими быстрыми глазами:

— Гадает.

— Гадает? — удивленно переспросил я.

— Так точно. Гадает на своего друга, гвардии капитана Лагунова.

Дело в том, что я не мог, кроме пароля, назвать заставе свое имя.

И вот теперь Студников не удержался:

— Это и есть гвардии капитан Лагунов.

Командир отряда, сидевший ко мне спиной, обернулся, встал. Свет фонаря падал теперь на него снизу вверх, и я сразу же узнал Яшу Волинского. Это его антрацитовые глаза, всегда излучавшие какое-то теплое сияние, его нижняя, немного оттопыренная губа, его привычка стоять, чуть склонив голову набок, будто прислушиваясь.

Яша поспешно раздвинул партизан, не понимавших, в чем дело, и бросился ко мне.

Так встретились мы после долгой разлуки.

Над нами нависло ночное небо. Тяжелые капли падали с ветвей буков и стучали, как ртуть. Возле карбидного фонаря, на мерцавшем целлулоиде планшета, лежали игральные розовые кубики с белыми точками на гранях.

Яша отпустил, наконец, мою руку.

— Кости-то правильно сказали! — произнес он. — Вот что значат, ребята, кости из греческой кофейни!

В ответ послышался тихий смех, рассчитанный с партизанской точностью, чтобы и отдать должное шутке и не привлечь врага.

На поляне вместе с Яковом находились только бойцы дежурного отделения, остальные же люди отряда и наши парашютисты спали невдалеке, в лесу, в наспех смастеренных из ветвей и травы шалашах, которые с изумительной быстротой умели строить партизаны.

— Вот теперь мы можем с чистым сердцем покинуть Чабановку, — сказал Яков, — все как будто на месте, — он хотел отдать приказание, но я остановил его.

— Разреши мне немного задержать выход, Яков. Надо проверить свою группу и, кстати, скажи, где командир диверсионной группы?

Дульник? Скажу я тебе, чертовски же вымотался парнишка, спит, небось, без задних ног...

— Как сказать, — незаметно подошедший Дульник втиснулся между мною и Яковом, теперь он обращался только ко мне: — Жаль, что наша встреча после операции немного испорчена... Ждать своего боевого друга, спать без задних ног?..

— Ну, не сердись, — с командирским великодушием перебил его Яков.

— Справедливости ради надо было доложить, товарищ командир отряда, что парнишка Дульник подсобил проверить наличный состав группы, перевязать раненых и... удержал вас от опрометчивого шага: они, Сергей, хотели сниматься отсюда, не дожидаясь тебя, этих вот ребят...

— Ну, ты, Дульник, ядовитая спичка, — дружелюбно сказал Яша, — кое-кого оставили бы.

В операции на «Дабль-Рихтгофен» мы потеряли убитыми четырех человек, ранено было шесть, двое из них тяжело. Радист, помощник Аси, оказывается, попал в плен уже на пути к Чабановке. Вызвали Асю для объяснений.

— Он попал в руки жителей, татар, — сказала она, — пошел проверить дорогу, доверился им, а они толпой напали на него.

— А как же вы... смотрели? Не помогли товарищу

в беде? — упрекнул девушку Яков.

Ася метнула на него глазами, видимо, хотела резко ответить, сдержалась:

— А я? Поступила так, как нужно. Они были вооружены. Со мной радиостанция и ее питание. Я не могла рисковать.

Яша смягчился:

— Пожалуй, вы поступили правильно.

— Спасибо, — Ася обратилась ко мне: — Как же поступить?

Я вспомнил рассказ паренька возле селения Ивановки о пойманном парашютисте.

— Где это случилось, Ася?

— Возле Ивановки.

Тогда я сказал Якову, что, повидимому, радист, схваченный возле Ивановки, и парашютист, сидевший в подвале, по рассказам встреченного мною паренька, --- одно и то же лицо.

— Трудновато, конечно, — сказал Яша, — сейчас там почти не осталось русских... Все же мы постараемся его выручить. Коля!

Один из молодых партизан, с которыми мы пришли сюда, сделал шаг вперед. Это был паренек в берете:

— Я, товарищ командир!

— Ты слышал?

— Слышал, товарищ командир!

— Попытка — не пытка, Коля. Надо выручить.

— Есть выручить!

— С тобой пойдет Борис Кариотти.

— Кариотти?

— Именно, — твердо сказал Яков. — Кариотти!

Отозвался молодой худой грек в пилотке, в немецкой военной куртке с красным бантом над карманом.

— Ты пойдешь с Шуваловым, Кариотти... — приказал ему Яков.

Кариотти кивнул головой, снял бант, сунул в карман.

— Исполняйте! По исполнении возвращайтесь на Джейляву.

Коля, как после выяснилось, тот самый сын генерала, о котором Шувалов говорил при посещении нашего «энпэ» под Сталинградом, и Борис Кариотти, или Ривера, грек из Балаклавы, исчезли в темноте.

— Они его вытащат, — уверенно сказал Яша, — вытащат, лишь бы был еще жив.

— Опасно, — сказал я.

— Ну, эти ребята ищут опасности. Вот увидишь, они славно проведут операцию. Такие дела им не впервые.

Подошел комиссар отряда, казанский татарин Баширов, познакомились. Яков мимоходом сказал ему о своем решении послать Шувалова и Кариотти. Баширов молча кивнул головой и пошел в голове отряда.

От Чабановки до центрального лагеря партизанского соединения, как выяснилось, было не так уж далеко. Яков обещал доставить нас к утру.

Крутые горы, пустые леса, грозные обнаженные скалы — тут было свое царство.

Двигались вперед цепочкой, осторожно, но уверенно, по едва приметным чужому глазу тропам, через взбухшие потоки. Бойцы Молодежного отряда были физически подготовлены к горному маршу, их мышцы натренированы, глаза видели остро и ночью различали всякие условные заметки.

Обычно в подобных условиях страшны камнепады, вызываемые естественным разрушением горных пород. Но я заметил, что комиссар, идущий в голове колонны, избегает проходов под крутизнами, быстро пересекает желоба, избегает ломких скал.

Дождь усилился. Пришлось идти медленней, осторожней. Тропинки, травянистые склоны стали скользкими, одежда еще больше намокла, затрудняла движение. Бойцы Якова не суеились, не перекрикивались, а уверенно и ловко шли один за другим. Якову досталась отлично сработавшаяся часть. Я сказал ему об этом.

Яша ответил:

— Почему ты думаешь, «досталась»? Мне, знаешь ли, самому пришлось срабатывать отряд... Правда, это мне было легче сделать потому, что у меня молодежь, комсомольцев среди них больше семидесяти процентов, и партийное ядро весомое. Люди привыкли и в мирной жизни к дисциплине, к организации. Но все же пришлось поработать, чтобы все детали притерлись...

Мы прошли молча по осклизлым камням, миновали их, начали подъем.

— Видишь, Сергей, — сказал Яков, — камни у по-

дошвы склона без почвенного покрова, без травы, и желоб, заглаженный камнепадами, — это, по-нашему, «ведьмина щель»: месяц тому назад в этом местечке одному хорошему солдатику начисто голову камнем срезало.

— Значит, потери бывают у вас и от природы.

— За ней надо следить. Тут, брат, птичек не слушай, на цветочки меньше заглядывай, не степь, — тропинка расширилась, и Яков пошел рядом со мной. — Вот что, Сергей, отряд относится ко мне, как к... командиру, — он старался подыскать слова, — приличному командиру, доверяет мне...

— К чему этот разговор, Яша? — спросил я, почти догадываясь сам, к чему он клонит.

— Ну, следовательно, командир отряда для них — не тот Яшка, который... ты понимаешь меня?

— А-а-а, понимаю, Яша...

— Нет, нет, ты только ничего такого не подумай.

— Я ничего плохого и не думаю. Да и в самом деле, ты теперь не тот...

— Тот, Сергей, тот... но... — Яша опять замялся, — не пойми меня превратно... еще раз прошу.

— Понимаю тебя правильно. Каждый из нас, не только ты один, вырос, вступил в жизнь. Вот я приехал домой, в нашу Псекупскую, пошел на то место, где ты, помнишь, ловил бычков и чернопузов?

— Ну, как же не помнить!

— И, представь себе, ребяташки мне говорят: «Здравствуйте, дядя!» Ты тоже стал дядей, Яков.

— Хорошо, что ты меня понял и не рассерчал на меня. Иногда находит на меня такая вот душевная робость, как затмение. Вдруг покажусь я себе таким ничтожным, мальчишкой, заморышем. Даже пот прошибет. Думаю, а не обманщик ли я? Обманул людей — ни много ни мало восемьдесят пять человек — целый отряд, командиром прикинулся, а кто я? Закрою глаза и увижу ту самую нашу Фанагорийку, камешки, мордатых бычков и мальчишек — Виктора и Пашку Фесенко... Ну, что тебе рассказывать, у тебя такие же негативы в мозгах отложены. Иной раз действительно пот прошибет, Сергей! Все же эта забитость в детстве нет-нет, да и отыгнется...

— Кстати, Яша, — спросил я его, — Баширов рассказывал мне про Пашку Фесенко. Значит, он в твоём отряде?

— В порядке нагузки.

— Точнее.

— Его швырнули к нам с Большой земли. Вначале я ему обрадовался: как-никак земляки. А когда я принял Молодежный отряд, напросился он ко мне. Пристал и пристал, ты же знаешь этот пластырь! Взял его и мухаюсь по сей день, Сергей.

— Плохой боец?

— Иногда ничего, ведь у него медали есть «За отвагу», на первом этапе войны получил. А больше шелопащничает... Продовольственные операции ему еще доверяем, а боевые — не очень. Дисциплинка у него хромает. Прибыл к партизанам, как на курорт.

— А где он сейчас?

— Баширов разве не все тебе рассказал?

— Я понял, что Пашка ушел с поста. Так я понял?

— Так, — Яков нахмурился. — Ведь он тоже вышел тебя встречать под Чабановку. Двое из заставы вернулись, а он где-то отстал. Если не вернется, — дезертир.

— А может, его убили или он попал в плен, как радист?

— Убить не могли, мы бы знали. Он ушел вперед из заставы и как в воду канул. Ты представляешь, какой позор для отряда? Я тебе даже не хотел говорить, Сережа. Ну, раз Баширов сказал... Лелюков такого березового пара нам задаст...

Мы стали на узкую тропинку с боковыми ответвлениями. Яша пропустил меня вперед, отдал по цепи команду подтянуться. Теперь близко от меня дышали поднимавшиеся в гору люди.

Тропинка сузилась, и приходилось буквально продираться сквозь колючий кустарник. Рассветало. Где-то кричали мелкие птички. Дождь почти перестал идти, кусты были мокры, от прикосновения к ним осыпались листья, пахло прелью, сыростью и размоченным известняковым камнем.

Я очень устал, мне хотелось, наконец, закончить поход. Яша неутомимо шел вперед. Я наблюдал, как он ловко несет на себе оружие, будто всю жизнь с ним не расставался, и так же ловко и сноровисто ступает свои-

ми буйволовыми постолами по корням, обходит камни. На его давно не стриженных черных с курчавинкой волосах щегольски сидела суконная пилотка подводника, черная с белым кантом, короткая курточка подпоясана широким ремнем, «вальтер» в кобуре из толстой кожи, кинжал с самодельной ручкой из авиастекла, на груди автомат, шаровары из парусины, шарф на шее, левая рука вразмашку, а правая — согнута в локте, и пальцы накрепко охватили шейку ложа пистолета-пулемета. Рядом с кинжалом запасный диск, низко спущенная на наплечном ремне сумка-планшет. У пряжки пояса две гранаты, а курточка приотстегнута, чтобы быстрее выхватить из кармашка капсюли, и виден мех поддевой под куртку безрукавки.

Это шел совершенно другой Яша, совсем не похожий на моего друга детства, к которому до последнего класса все же стойко удерживалось среди нас покровительственное отношение.

Туман после дождя скрывал пейзаж. Горы потеряли яркие цвета и поднимались серые, как осенние облака. Сейчас не отыскать Чатыр-дага! Справа от меня кусты поредели. Заглянув, я увидел пропасть, острые скалы, поднимавшиеся снизу, как гигантские кактусы, шумел поток.

— Мы подходим, — сказал Яша. — Видишь теперь, куда нас черти занесли.

Где-то послышался отдаленный, сходный с грозой гул артиллерии, Яша высказал предположение, что это утренний бой в партизанском соединении Кузнецова, и похвалился, что ему удалось познакомиться лично с ним и с прославленными партизанами, командирами его соединения: Котельниковым, Федоренко и каким-то Октябрем Аскольдовичем.

— Прочес за прочесом, — сказал Яша. — Нас стараются завинтить, как гайку. Сужают район действий.

— А чего добывается германское командование?

— Вытеснить все партизанские отряды в трущобы. Они боятся сейчас активных десантных операций черноморцев и Приморской армии и дрожат за свои коммуникации.

Очевидно, это была та самая Джейлява, где располагался последнее время лагерь Лелюкова. Каменистое,

с неровной поверхностью, плато кое-где поросло ковылем с намокшими султанами. С западной стороны поднимался утес, весь в трещинах, и возле него росли большие дубы с сильно разветвленными кронами, с толстыми ветвями, искривленными от восточных ветров.

Наконец мы остановились на поляне.

Чавкая по траве, к нам подошел какой-то белобрысый заспанный парень в плащ-палатке. Это был телохранитель Лелюкова — Василь. Он, позевывая, переброялся с Яковом несколькими словами, сказанными с украинским акцентом, и попросил меня идти за собой.

Василь молчал, сопел и, несмотря на мои попытки разговаривать с ним, не ответил мне ни на один вопрос. Поляна была пустынная и не вытоптана: ходили только обочь ее, чтобы не открывать лагерь воздушной разведке. Мы же шли, не считаясь с общими правилами, и дошли до скалы и дубов. Невдалеке из-за кустов яростно захлебнулась лаем собака. Василь цыкнул, и она умолкла.

В скале оказался вход треугольником, один из углов переходил в расщелину. Возле щели был вырыт очаг с потухшими, мокрыми углями; лежала колода, иссеченная топором, и металлические прутья шампуров для шашлыка, тронутые легкой ржавчиной.

Василь обратил внимание на шампуры, недовольно покачав головой, собрал их с земли в пучок, провел по одному пальцем, потом осмотрел ржавчину на пальце, вздохнул.

— Заходи, — пригласил он.

Вход, как в крепостях, представлял собой траншею, врезанную между стенами расщелины. Траншея оканчивалась дверью правильной формы, высотой в рост человека. Слабый утренний свет, достигавший сюда, помог мне увидеть заржавевшие следы давних железных скреп по обеим ее сторонам.

Вход был завешен ковром. Я откинул его и вошел в пещеру. В глубине ее, на возвышении из дикого камня, горели крупные бревна. Где-то был устроен отличный дымоход, дрова горели жарко, и в пещере почти не ощущалось дыма.

Слева по стене были вырублены ниши с наплывами высохшей сталактитной массы. Несколько бочонков с

ржавыми обручами стояли возле ниш. На крюке, вбитом в стену, висела баранья тушка. Там, где был вбит крюк, можно было заметить неясные остатки фресок и надписей на церковно-славянском языке.

Справа от костра, на каменном возвышении, напоминающем надгробие, кто-то спал на сене, прикрывшись буркой. Виднелись только ноги в сбитых сапогах.

Рядом, на чисто выметенном каменном полу, лежали дрова и на них кожаная тужурка и небрежно сброшенное оружие — револьвер с ремнями наплечных портупей, трофейный рожковый автомат. На полу термос с надетым на него стаканом и раскрытая на середине толстая книга, какие в юбилейные даты выпускает издательство художественной литературы в Москве.

Василь замер у входа и не ответил на мой вопросительный взгляд. Тогда я решил ждать. Снял автомат, ослабил ранец, распустил молнии комбинезона. И вот из-под бурки показались руки, блеснула браслетка часов, и пучок электрического света потянулся ко мне в затемненный угол.

— Здравствуй, Лагунов, — послышался знакомый голос Лелюкова. — А ты, Василь, выйди!

Василь вышел. Лелюков погасил фонарик, сбросил бурку, встал, подошел ко мне, просто, как будто мы с ним расстались вчера, пожал мне руку, с улыбкой пощупал ладонью отросшую мою бороду.

— Спасибо за операцию. Сработали правильно. Сейчас зайди к комиссару и поспи. На тебе-то лица нет, или это от дровяного света, а может, от щетины. Прежде чем к комиссару, надо тебе, друг мой, побриться.

— Мне хотелось обсудить...

— После, после, Сергей, — остановил меня Лелюков, — мы теперь скитские монахи, у нас времени много...

Лелюков крикнул:

— Василь!

Василь был тут как тут.

— Наведи бритву, да не солдатскую, что шкуру дерет, а мою «генеральскую», понимаешь, Василь? А вода в термосе.

— Есть!

Быстро, не дав нам времени на разговоры, Василь принялся за дело и умело побрил меня «генеральской бритвой». Любовно оглядев труды своих рук, Василь побросал бумажки с мыльной пеной в огонь и подморгнул командиру. Тот улыбнулся и сказал:

— Давай.

Василь извлек на свет чемоданчик и достал оттуда флакон с одеколоном. Скрипнула пробка, и Василь, приблизив к моему лицу пульверизатор, начал брызгать меня одеколоном, надувая свои полные, розовые щеки.

— Как в аптеке, — сказал Василь, закончив процедуру.

— Почему, как в аптеке, Василь? — переспросил Лелюков.

— Извиняюсь, товарищ командир, как в парикмахерской!

— То-то. А теперь проводи-ка гвардии капитана к комиссару.

— Товарищ Лелюков, а как же мои люди? Вы так огорошили меня...

— Все в порядке. Людей развели по таким вот «квартирам», — он церемонно обвел руками свое жилище, — накормят, напоят, обсушат, дадут отдохнуть. Ну, а тебе, как старшему начальнику, придется еще немного помучиться... В общем, иди-ка к комиссару!

В промокшей одежде и обуви снова я ушел от Лелюкова.

И вот в шалаше, не похожем на пещеру Лелюкова, я увидел человека в очках, сидевшего на чурбане у ящика и что-то писавшего при свечке. На полу, на ветвях, войлок и на нем подушка и аккуратно сложенное верблюжье одеяло. Ближе к входу ящики с винтовочными патронами и, очевидно, недавно опорожненные «цинки». Возле седла, лежавшего вверх потником, стопка потрепанных газет, книг, брошюр и волшебный фонарь на специальном штативе. На фанерной, переносной доске был наклеен плакат с новым гимном Советского Союза.

Видно было, что с боеприпасами туго, раз выдачу их производил сам комиссар. Газеты, вероятно, выдавались, как книги, и в лесу не шли на раскур.

Волшебный фонарь заставил меня улыбнуться: мне

казалось нелепым возиться с этим громоздким способом наглядной пропаганды в условиях суженной блокады.

И пока я рассматривал жилище, бородатый человек, сидевший у стола, повернул голову и внимательно оглядел меня с ног до головы из-под седых, нависших на оправу очков бровей. Затем он снял очки, погладил знакомыми мне движениями усы, и я узнал отца.

Я бросился к нему, чтобы посмотреть в его глаза, чтобы ощутить крепкое пожатие его руки и почувствовать отцовский запах, которого не могло быть ни у какого другого человека.

Мы расцеловались, и оба сразу же отвернулись, чтобы по-мужски справиться со своими чувствами.

— Переодевайся, Сережа, — сказал отец, посмотрев на обувь, — переобувайся... Ишь намок-то, от тебя пар!

— Послушай, отец, ведь я пришел к комиссару...

— А что же, комиссар будет против?

Я переоделся в сухую одежду, будто заранее подготовленную для меня, и уселся рядом с отцом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ БУХТА

Вот теперь-то мне стало понятным поведение Лелюкова. Оставив на время деловые разговоры, он помог мне сразу же повидаться с отцом. Судьба вновь столкнула их, и они понимали друг друга. Пока не пришел комиссар, мы говорили с отцом. И вначале говорили о делах, отодвигая то важное, что каждый из нас знал о семье, на последнее, ибо к нему-то и трудно было сразу прикасаться.

Отец расспросил меня коротко обо всем, начиная с того времени, как мы простились у автобуса в Псекупской, до операции на «Дабль-Рихтгофен». Он внимательно выспросил меня о сталинградском сражении, о каждой балочке, высотке и селе, где все было ему знакомо издавна; расспросил о возрождении города; о смерти Виктора отец знал еще на Кубани, в партизанах.

Он горько покрутил ус и сказал:

— Про Николая тоже знаю. Сообщил Стронский...

Я не стал передавать ему содержания письма колхозника Птахи.

Отец спросил о матери и начал крутить и кусать ус:
— Все бы ничего... — одна.

Узнав о том, что я встречался с колхозниками, он попросил меня рассказать поподробнее и обрадовался, узнав, что Федор Васильевич Орел ждет возвращения его на прежнюю работу.

— Бригадир Федор Орел — ничего человек, но до войны был непослушен, речист, — сказал отец. — Венгерских коней сумел заполучить? Выходили?

— Выходили. Кони хорошие.

— А клин над речкой, за вербами, засадили пропашными или колосовыми? Не заметил?

— Что-то не заметил.

— Там земли нежные, брал я их всегда осторожно, не приневоливал. Каштановые почвы. Их нужно поднимать чуть ли не на пальцах, как хороший лекальщик... Говоришь, с лопатами выходили в поле?

— Выходили с лопатами.

— Да... ерунда. Представить только, к примеру: вот сейчас мы воюем пулеметами, аэропланами, танками и вдруг перешли бы на фитильное ружье. Вот так и в колхозном хозяйстве. Когда начинали тракторами, помнишь? А теперь опять лопатами. Ведь страшная вещь, если здраво разобраться. Пришли из-за границы и повернули нас назад, от машины к лопате.

Отец прошелся по шалашу, сутуловатый, хмурый. Ветки ломались под его ногами. Ватная куртка залоснилась от ремней, из-под нее виднелись выдавшая виды гимнастерка, орден Ленина и прежний боевой — Красного Знамени, крепко привинченный, врезавшийся в материю.

Перешли на партизанские дела. Надо было выяснить поведение начальника штаба — Кожанова. Мне предложили присмотреться к Кожанову, определить его дальнейшее использование на этой должности, так как сведения о нем поступали неутешительные.

По словам отца, Кожанов растерялся при последнем большом прочесе, поставил под удар бригаду Семилетова, откуда и тяжело раненные. Коммунисты соединения не сомневаются в Кожанове, но нужно его выпра-

влять. Между комбригом Семилетовым и Кожановым идет глухая вражда, что отражается на деле. Семилетов — хороший командир бригады, Кожанов же развинтился, и не мешает подвернуть ослабленные шурупы.

Задание, поставленное предо мной командованием, было чрезвычайно щекотливым. Оно усугублялось тем, что Кожанов был кадровым офицером, давно, с начала войны, ходил в капитанском звании, я же был молодым офицером. К тому же я, хотя и мало, знал Кожанова, слышал его рассуждения о войне, очень здравые и разумные.

Если в начале войны, когда многие растерялись, Кожанов вел себя хорошо, то что за причина происшедшей в нем перемены?

На мой вопрос отец ответил не сразу, хотя, видимо, Кожановым здесь занимались. Отец считал, что Кожанов слишком долго был оторван от непосредственного общения с Большой землей и мог за суровыми заботами, за голодом, холодом и боями «на отгрызку» потерять чувство уверенности. Такие превращения, оказывается, кое с кем бывали. Достаточно же было перебросить их на материк, люди возвращались оттуда бодрыми, морально заряженными.

Выяснилось, что Кожанову не дают покоя мысли о семье: в Сталинграде погибла его мать, потеряна невеста. В таком душевном состоянии немудрено допустить непродуманные решения.

Перешли к общим делам. Я попросил рассказать мне о положении соединения. Отец говорил со мной откровенно, и передо мной вырисовалась подлинная картина всей обстановки.

— Нас здорово сейчас зажали, — говорил отец, — уходим все в глушь и глушь. Круче, безлюдней, бесплодней, а ведь питаем отряды с корня. Подходит зима. А зимы перед этой были страшные: из ста гибли семьдесят от голода. Уходили в заставы обутыми, приходили босыми, съедали постолы... А сейчас у врага есть приказ выжигать все села в горной части, и выжигают.

— Видел своими глазами.

— А выжгут, очутимся в лесу, как звери. Надо пить, есть, нужны патроны, соль, спички, табак. Дальше в глушь — хуже с приемом самолетов. Не посадишь же на гребешок? Самое главное — татары поддерживают врага.

— Я сам наблюдал. Активно поддерживают.

— Факт, активно. А некоторые из начальства, работники Крыма, думают, что мы к ангелам чертячи хвосты подрисовываем. Занимайтесь, мол, политической работой среди коренного населения! Ты видел этих османов, Сергей, — отец сжал кулаки и весь сердито нахохлился, — скажи, ты теперь коммунист, и нам нечего в жмурки играть, какой политической агитации ты подвергнешь этого живореза Осман-бея или тех молодцов, что кричали: «Бэкир, вон ту мамашку!» А? Ты им азбуку коммунизма, а они тебе кинжал в пузо. Мечетей сколько пооткрывали, муллы появились, как со дна морского. Из Турции агитаторы приезжают, теперь-то Стамбул — Севастополь — Ялта, пожалуйста!

— Неужели и из Турции приезжают?

— Ловим мы всякий народ. Прежде чем отправить его в гости к аллаху, успеваем кое о чем расспросить... Ты сутки поскитался, а чего насмотрелся. А наши ребята по три года возле них страдают. Сначала подходили и так и этак, прислонялись и с одной и с другой стороны, а что вышло? Какие кадры потеряли! Я позже сюда приехал, а спроси Степана Лелюкова или поговори с тем же Семилетовым, да что с Семилетовым, поговори по душам с Яшкой. Перед тем, как напросился к тебе, в Чабановку, вот на этом же месте душу отводили. Что он говорил? Выпадут снега, высоко, ненадежно, сурово, пропитать большие отряды трудно, не запасешь теперь и того, что было, — сырого зерна и конины... Суджуки приведут фашистов и выловят всех, как дудаков на гололедке. Ты знаешь Яшку, хотя ты его мало теперь знаешь, он сформовался и на кружале и в огне, как поливанный глечик, так и Яков призадумался. Ты думаешь, мы с жиру взмолились насчет этого проклятого «дабля»? Ведь уже по одному нас было начали щелкать. Летит и охотится, как на джайрана. А теперь двое суток уже не летают, дышим...

Отец достал новую свечку, обжег фитиль. Аккуратно соскоблил ножиком старые свечные наплывы, скатал шарик. Мне становилось непонятным присутствие отца в шалаше комиссара в такой хозяйской роли. Не назначили ли его на должность ординарца?

Спросить в упор неудобно. Поговорили о раненых, сколько их, когда можно запрашивать корабли. Раненых было теперь не пятьдесят три, а семьдесят два. Вывозить лучше у Коктебеля, где охрану держат румыны.

И, наконец, когда обо всем, наиболее важном, было переговорено и я почувствовал себя вполне подготовленным к беседе с комиссаром, я спросил отца:

— Да где же комиссар? Извещен ли он о моем приходе?

— Извещен, извещен, Сергей. А как же... Лелюков — командир точный.

— А где же он?

— Перед тобой.

— Как передо мной?

— Да я-то и есть комиссар, Сергей.

— Отец, ты шутишь?

— В таких делах не шутят.

— Мне называли другую фамилию...

— Кличка, Сергей, кличка. Работаем незримые.

— Значит, мне придется с тобой говорить?

— О чем?

— О делах.

— Так мы уже обо всем поговорили, — отец уже без улыбки встал, посмотрел на меня, притянул к себе, поцеловал куда-то в плечо, отвернулся и, не поворачиваясь ко мне, сказал:

— Иди к Лелюкову. Теперь ты ему нужен. Возвращайся сюда, вот это тебе и кровать.

— А ты как же?

— Я пойду с обходом. До утра меня не жди.

Отец быстро собрался и ушел, прихватив подмышку связку газет.

Выйдя из шалаша вслед за отцом, я нашел своих парашютистов на опушке леса, окруженных тесной толпой партизан, изнывающих от любопытства по Большой земле.

Парамонов доложил, что люди устроены и накормлены.

Подошел Дульник:

— С новой формой, товарищ гвардии капитан!

Теперь вместо комбинезона на мне были шаровары из плотного хаки, сшитые из гондолы грузового пара-

шюта, стираная военная рубаша и безрукавка из цыгейки. Шлем пришлось заменить кубанкой из мелко-рунного барашка — подарок отца. На кубанке наискось была пришита кумачовая лента.

— Разместились хорошо? — спросил я Дульника.

— Отлично, — Дульник отвел меня в сторону: — Камелия здесь.

— Неужели?

— Клянусь, Сергей.

— Говорил с ней?

— А как ты думаешь? Конечно. Ты знаешь, я ее еще больше обожаю... А как она бросилась ко мне!

— Поцеловала?

— Нет, — Дульник вздохнул очень глубоко, — что нет, то нет. А что поцелуй? Внешнее проявление привязанности. Главное внутри, душа.

— Верно, Ваня, — грустно сказал я.

— Ты куда?

— К Лелюкову.

— Нашел отца? Виделся?

— Да.

— Нам рассказывал адъютант Лелюкова о твоём отце... Какую они тебе подстроили штуку, а?

— Василь разве тоже знает?

— А как же!..

На поляну выехал верхом на лошади какой-то распоясанный человек, с курчавыми волосами, без шапки, в кожаных штанах. Это был старшина Гаврилов, исполнявший при штабе должность, примерно соответствующую начальнику хозяйства. Гаврилов был цыганом, хотя сам всегда называл себя сербиянином. Горбоносый, с хриплым голосом, Гаврилов глубоко сидел в седле, бросив стремяна и отвернув носки в сторону, что изобличало в нем человека, не знакомого с уставной кавалерийской посадкой. Лошаденка местной, горной породы, с хвостом, захватанным руками при крутых подъемах, ловчилась освободиться от трензелей, пережевывала их, перехватывая то на одну, то на другую сторону рта. Гаврилов хлопал ее пятками под бока, но из шага не выводил, что злило лошаденку и прибавляло ей бодрости.

— Муштрует, — сказал кто-то из партизан, неодоб-

рительно наблюдавший Гаврилова, — ну, любую тебе лошадь муштрует, даже какую в котел.

— Такой характер, — рассудительно сказал второй партизан, заросший по глаза бородой, — его тоже нельзя судить, такая нация. Он на козе — и то норовит...

Гаврилов отпустил поводья, гикнул. Лошаденка ринулась к просеке, но всадник направил ее по кругу, и «муштровка», похожая на представление, началась.

Возле пещеры, у мангала с горящими углями, сидел на корточках Василь, переворачивал шампуры с насаженными на них кусками баранины. Рядом с ним, на траве, стояла медная чашка с солью. Когда угли вспыхивали, Василь брал соль, бросал на огонь, забивал его. Запахи жареного мяса и чад от стекающего на угли жира, смешанный с запахом сгоравшей соли, дразнили аппетит.

Василь увидел меня, разрешительно качнул головой в сторону пещеры, и я зашел к Лелюкову.

В пещере попрежнему ярко горели дрова, возле огня сушились на палках кожаные постолы с поржавевшими крючьями на подошвах. Возле очага был устроен стол из ящиков, приготовленный к ужину. Лелюков же и присутствующие здесь командиры сидели на кровати — надгробии, накрытом буркой.

— Присаживайся, Лагунов, — пригласил Лелюков, — мы тебя, с места в карьер, посвятим в дела... текущие дела... И знакомься, с кем не знаком.

У Лелюкова были известные мне Кожанов, Семилетов, которые меня не узнали, а я им не стал напоминать о себе. Яша тоже был здесь и, пригласив меня присесть возле него, подвинулся.

— Насчет вывозки раненых, — пояснил Лелюков, указывая на карту-двухверстку, лежавшую на бурке. — Мы надоели с этим делом Большой земле, но что поделаешь... есть война, есть раненые.

Яша держался солидно, с полным достоинством, не робел и не заискивал. То, что из командиров отряда один он присутствовал на обсуждении очередной операции, заранее доказывало, что опять Молодежному отряду предстояло задание. Поэтому Яша внимательно слушал, собирая на лбу морщинки гармошкой.

Лелюков развернул карту и ознакомил меня с тяжелым положением его соединения: к зиме оно снова ухудшилось. Против Лелюкова действовал некто Мерельбан, эсэсовский полковник, специально натренированный на партизанской войне.

Круги блокады неотвратно сужались вокруг гор. Сожженные деревни отмечались красными штрихами, похожими на вспышки огня. Эти вспышки окружали эллипс партизанского района.

— Видишь, куда нас загнали, — Лелюков медленно обвел эллипс карандашом, — коричневое — горы, зеленое — леса, похоже на дыню-зимовку. Вот на этой «дыне» мы и кукуем... Вытащили сюда провиантские базы — будем пока жить, пока, а пополнять нечем. Как правило, боевые операции поглощают меньше людей, чем продовольственные.

— Приходится уходить и отбиваться с грузами, — пояснил Семилетов.

— А как с боеприпасами?

— В обрез, конечно, не на вес золота, потому золото у нас не в цене, натуральное хозяйство... А на вес крови, — добавил Семилетов.

— Это уже Кожанову больше известно, — взглянув на начальника штаба, сказал Лелюков, намекая на последнюю операцию, о неудаче которой говорил мне отец.

Кожанов смолчал. Жесткий, нечесаный чубик спулся на его лоб, немецкая серая куртка была расстегнута, на шаровары насыпался пепел от толстой самокрутки.

В отличие от начальника штаба Семилетов был гладко выбрит, одет в защитную гимнастерку, и ничего немецкого — ни обмундирования, ни оружия.

Приступили к обсуждению операции по вывозу раненых.

Соединение испытывало нужду в боеспособных людях, и выделить сильный конвой было трудно. Лелюков попросил меня ограничиться для сопровождения парашютистами моей группы, которым все равно надо возвращаться на материк.

— Мы дадим своих на возврат, ну, сколько, Яков? Человек пятнадцать? — спросил Семилетов.

— Вывозить тяжелых будем вычным транспортом,— сказал Лелюков.

— Лошадьми?

— Да.

— Лошадки местной породы, — сказал Семилетов, — они неказистые на вид, но цепкие, как кошки.

— У нас есть в запасе в пещерах-конюшнях, в первой бригаде, румынские кони, — сказал Лелюков, — окорока, как у раскормленных кабанов, во, — он развел руками, ухмыльнулся, — лучше придержать на шашлык.

Лелюкову было известно мнение отца о маршруте вывоза раненых. Он также подтвердил, что лучше ориентироваться на участок между Коктебелем и Карадагской научной станцией. Точнее: избрали район мыса Мальчин, куда и решили требовать катера. Пароль мне был дан на Большой земле, на память, а пункт и время встречи надо было согласовать.

Несмотря на то, что решались вопросы чисто штабные, Кожанов молчал, изредка пикировался с Семилетовым и нарочито отчуждал себя от своих товарищей. Шифровку набросал Семилетов, и он же отправился к Асе, чтобы передать по радио.

Лелюков пожурил Яшу за то, что он рискнул двумя лучшими разведчиками, Шуваловым и Кариотти, для неясной комбинации с выручкой молодого радиста.

— Они выполняют задание,—сказал Яша.

— Смотри,—погрозил Лелюков,—а в другой раз соображай. Нельзя, брат ты мой, наваливаться все на одних и тех же. Выдвигай новые кадры для подобных операций. Есть у тебя пираты! Кстати, что с Фесенко?

— Где-то отстал, — уклончиво ответил Яков, — проверяем.

— Вот его я не советовал бы таскать в операции.

— А что же с ним делать?

— Приковать хотя бы возле нашего сербиянина Гаврилова. У того глаз — пластырь. Приклеит — не оторвешь. Да и пистолет в свободной кобуре, — и, повернувшись к Кожанову, сказал начальнически строго: — А тебе, Петр, нечего гимназистку разыгрывать. Пока тебя от твоих обязанностей никто не освобождал... С хозяйственной стороны всю экспедицию поручи сер-

биянину. Пусть подберет выюки, пересмотрит ковку, лошадей выдаст каких получше, а не кляч.

— Слушаю, — сказал Кожанов, — можно итти?

— Разрешу — уйдешь... Василь! — В пещеру вошел Василь. — Как у тебя шашлыки?

— Готово, товарищ командир. На сколько?

— На всех присутствующих, да не забудь комбрига, да Гаврилова позови сюда, да... Лагунов, с тобой кто-то прибыл?

— Дульник, старшина.

— Командир парашютно-диверсионной?

— Да.

— Как же его забыть. Ловко сработал, пальчики оближешь. Слышь, Василь? Найди старшину Дульника, сюда его, на ужин. Иди!

Берег моря у мыса Мальчин пенился, волны катились с угрожающим шумом. Моросил дождь, когда мы подошли к мысу в ночной тьме. Противодесантная оборона побережья в этих районах осуществлялась отдельными вражескими сторожевыми постами, расположенными на расстоянии до двух километров друг от друга. Это были неглубокие окопы с примкнутыми ячейками и площадками для пулеметов. В пологих местах берега иногда устроен был проволочный забор в один кол и закладывались мины. На участке же Феодосия и до озера Ашиголь тянулась сплошная полоса проволочных заграждений, минных полей, артиллерийских позиций и прожекторов.

Туда мы и не думали соваться. Мы избрали для операции пустынный и неудобный берег Коктебельской бухты, где нес охрану румынский кавалерийский полк, которым командовал белоэмигрант-полковник, предпочитавший отсиживаться ночами в Феодосии под прикрытием гарнизона.

Перед выходом экспедиции прибежала к нам обработанная Ася с принятой ею оперативной сводкой о форсировании Керченского пролива войсками Отдельной Приморской армии и моряками Черноморского флота.

Наступательные операции наших войск могли заста-

вить противника усилить охрану побережья, и поэтому я решил принять все меры предосторожности. Гаврилов вместе с парашютистами оставался в ядре отряда, скрытого в скалах, а круговое охранение несли комсомольцы из Молодежного отряда.

Татарские лошади пугались моря, и, чтобы они не выдали нас, Гаврилов замотал им хrapy.

Мы вышли на побережье и залегли в кустах смолистых теребинтов, прогрызших своими корнями скальные известняки.

Со мной были Яков и Дульник, который возглавлял уходивших на Большую землю парашютистов. Мы проходили вместе, может быть, последние минуты.

Мы лежали и всматривались в море. Сюда должны были подойти корабли. Пока их не было. Мне уже казалось, что противник мог запеленговать рацию Аси, перехватить радиogramмы, расшифровать (идеальных шифров в мире не существует). Могли выйти патрульные катера из Феодосии или Судака, могли быть береговые засады, и, может быть, где-нибудь близ нас, так же поеживаясь на сырых скалах под моросящим дождем, лежат враги, выжидая удобную минуту для нападения.

Если противник узнал о наших планах, возможно, что он попытается изловить нас на удочку ложных сигналов тогда, когда мы выведем под крутые берега раненых. Против этого у меня была гарантия: пароль никому я не открывал.

Со мной был электрический фонарь-морзовик с сильным лучом. Вот им-то я и должен буду писать кораблям «сейчас будет» в ответ на «Антон Иванович ждет».

Приближались зимние штормы. Уже сталкивались над морем циклоны, приходившие из Адриатики и с Карского моря. Наступало время, когда Черное море, потеряв свои зеленоватые и ультрамариновые краски, становится действительно черным.

Я напряженно смотрел в море. Ни одного огонька, только глухая россыпь прибоя, скрежет камней и пена, как овечье руно.

Валы прибоя, густые и тяжелые, переламывались у берега, сыпали камнями и, тяжело рухнув, уходили

с шипением и гулом. Влево и вправо поднялись куцые столбы электрического света, лениво пощупали низкие облака, погасли. Вверху слышался моторный гул, идущий на запад, к Балканскому полуострову. Это, вероятно, шли боевые корабли минно-торпедной авиации — «длинной руки» Черноморского флота.

— Огонек, — шепнул Дульник.

— Где?

— Правее... еще правее... пишет!

В море, как круговой полет светляка, замелькал огонек — сигнал с корабля:

— «...тонет Иван, — читал Дульник шопотом, — о-аэ-ич...»

Судно сильно бросало, и конец фразы мы потеряли. Мои глаза, казалось, лопались от напряжения. Мне мерещились всюду световые точки и тире. Но вот сигнальщик начал выписывать пароль уже не дальше как в пяти кабельтовых от береговой черты:

«Антон Иванович ждет».

Слышно было, как заработал мотор, сторожевой катер маневрировал у берега малым ходом, приглушив два остальных мотора. Затем зарокотали торпедные катера, и обостренный слух донес звуки прыжков редана¹.

«Сейчас будет», — ответил я фонариком.

— Наши! — взволнованно сказал Яша. — Большая земля!

Громче застучали моторы: торпедные катера прошли параллельным берегу курсом.

По моему приказанию Яша ушел выводить раненых к берегу. Мы с Дульником спустились вниз. Мокрые голыши стучали под нашими подошвами. Валы с хрипом бросались на берег.

Вскоре мы увидели на гребне вала шлюпки.

— Молодцы, резвы! — похвалил Дульник.

Парашютисты уже были на берегу. Этих бывших моряков не надо было учить, что делать возле моря. Когда лодки перевалили прибой, они бросились к ним. Слышались голоса:

— Давай на себя «четверку»!

¹ У торпедных катеров днище для быстроты хода не ровное, а уступами, называется «редан».

- Тузик¹, тузик, принимай!
- Пять «грелок», ребята! Ого!
- Лагом не ставь. Бери «грелку» на подхват!
- Так!

«Грелками» моряки называли надувные резиновые лодки.

На одной из лодок-«четверок» пришел боцман с катера с пулеметом. Боцман прыгнул на камни, спросил старшего на рейде.

— Надо быстрее грузить, — попросил он меня, — раненых на «четверки», чтобы ненароком не поломать, а здоровых — на остальной мелюзге. Вот-вот должна быть вторая «четверка». Михал Михалыча жду!

— Михал Михалыч будет здесь?

— Разве утерпит!

— Да вон «четверка»!

Боцман бросился к воде и почти один, ловко выправив нос шлюпки, поставил ее на камни. В «четверке» Михал Михалыча не оказалось. Гаврилов быстро грузил шлюпки. Его простуженный голос слышался везде. Я спросил у боцмана, где же Михал Михалыч и почему его не оказалось на «четверке».

— Эва, — ответил боцман, — да и не должен он быть на ней. Он сейчас подвалит.

И вслед за этим, будто из пучины, вынырнула надувная резиновая лодка с двумя людьми: один из них, с острым капюшоном зюйдвестки, сидел на носу, второй лихо работал куцом, двухлопастным веслом.

— Вот, будь здоров, и сам! — доложил боцман.

Михал Михалыч, весь в черной коже, похожий на футбольный мяч, на береговой волне прыгнул с лодочки, подхватил ее, будто перышко, и лодка бортами, похожими на толстую колбасу, легла на голыши.

Еще до того, как Михал Михалыч справился, из лодки выскочил человек в зюйдвестке. Михал Михалыч заметил меня, подошел:

— Лагунов! Помнишь меня, бродяга?

— Еще бы, Михал Михалыч!

— Будь здоров, Лагунов! — Михал Михалыч подал мне свою мокрую руку, пронзительно взгляделся

¹ Тузик — легкая шлюпка на двух человек.

в меня: — Да, да. Тот самый, бродяга, — теперь только он крепко ответил на мое рукопожатие. — Мать честная! Во что только обстоятельства жизни могут превратить порядочного марсофлота. Папаха, шаровары, ну, чистый татарин!

Спутник Михал Михалыча сбросил капюшон с головы, и на плечи упали две черные косы. Женщина постучала ладошками, подняв вверх руки, и мне показалось, что на пальцах мелькнули серебряные кольца.

Не видя лица, а только по этим характерным движениям я узнал Мариулу.

Михал Михалыч, будто нарочно, чтобы отвлечь мое внимание, обрушился на меня с вопросами, стараясь заслонить от меня свою спутницу.

Цыганка выпрыгнула из зюйдвестки, опустила юбки, распушила их быстрыми взмахами ладошек у колен и бедер и, не глядя на брошенную на камни зюйдвестку, быстрым, пляшущим шагом пошла к береговым скалам.

Боцман поднял плащ, догнал ее и провел мимо партизанского поста у тропы. Цыганка побежала вверх и пропала в темноте. Свистел ветер, стучали камни, а моему воображению чудились блеск ее перстней, топот ног и звуки таборной песни.

— Для чего вы ее привезли? — спросил я Михал Михалыча.

— Кого?

— Цыганку.

— Разве? — невинно переспросил Михал Михалыч и, наклонившись ко мне, шепнул: — Про нее забудь, была — нет. Как ветер!

«Четверки» скрипели киями, поднимались на волнах и уходили в море. Весла матросов рвали воду, на какое-то мгновение мелькал кильватерный бурунок, и шлюпки, как бакланы, то поднимались на гребни, то опускались и исчезали из глаз.

Гаврилов деятельно распоряжался погрузкой. Якова не было: ему пришлось охранять район операции. Наконец все раненые были отправлены на корабли. Пришла «четверка», захватила последних парашютистов. Дульник расцеловался со мной и ушел на тузике впереди «четверки». Михал Михалыч, получив от меня

«добро», потряс меня за плечи на прощанье, и через секунду его надувная лодка замаячила на шумной волне, провалилась и больше не появлялась.

Усиленной заработали моторы. Запрыгали торпедные катера. На миг появился силуэт сторожевого корабля, и сразу же из глаз пропала его тонкая мачта.

Гаврилов стоял на берегу. Волны обкатывали его, но он не уходил, предоставив всего себя соленой воде и пене. Старшинскую свою фуражку Гаврилов высоко держал над головой, провожая ушедшие к Кавказу корабли черноморцев...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВСТРЕЧИ

После операции у мыса Мальчин мы, чтобы не мучить лошадей по трудной местности, взяли севернее горы Сюрюкая, удачно пересекли шоссе между Коктебелем и Отузами и углубились в горный район. День пришлось переждать в ущелье. Возобновили поход после сумерек и к рассвету достигли передовых застав партизанского района.

Измученный горным походом, я проспал в шалаше отца до полудня. Проснувшись, увидел за столом отца и Лелюкова, вполголоса разговаривавших между собой.

Оказывается, операция с выручкой радиста из плена была выполнена хорошо. Шувалов и Кариотти успели возвратиться в лагерь вместе с молодым радистом, помощником Аси.

— Молодец этот Кариотти! — похвалил Лелюков. — У чорта на ходу подметки отрежет...

— А Шувалов? Разве не молодец?

— И Шувалов молодец. Ловко они этого малыша вырвали. Радистка-то, Ася, не знала, куда его усадить. Подошел я к нему, подтолкнула она его под бок: мол, командир. Вскочил он передо мной, глазенки горят, и ну оправдываться, как и почему он вляпался. Так и не понял его толком. Молодой... Вроде нашего мальчишки Вдовиченко.

— Ну, тому всего, пожалуй, чуть за пятнадцать, а этому за семнадцать, не меньше. Есть такие дети щупленькие.

Отец скосил глаза в мою сторону, забарабанил пальцами по столу.

— Твой-то тоже когда-то был щупленький, Иван Тихонович.

— Сергей? А ты разве помнишь, Степан?

— Помню. У меня память хорошая... Илья у тебя в бронетанковых?

— Да.

— Пошел, выходит, как и ты, Иван Тихонович, в свое время, по бронесилам.

Мне казалось, что они заговорят об Анюте, но разговор перешел на другое.

Лелюков взял с кованого медного блюда чернослив.

— Чернослив, — сказал Лелюков, рассматривая ягоду, — а как мох ели? Ты мох ел, Иван Тихонович?

— Не люблю мох с детства, так же как и тюрьму, — пошутил отец.

— А кто любит? — Лелюков посмеялся. — Видишь, Иван Тихонович, ты партизанил на Кубани, там смешно мохом питаться. Сколько там груш, каштана, кислиц, орехов разного сорта, пожалуй, и дикий мед можно отыскать, а крымские горные леса бесплодные! Возле селений что хочешь — всякие фрукты, а лес — только дрова.

— Как все-таки мох ели? — спросил отец. — Может быть, это как символ, что ли? Мох, мох!

— Какой там символ! В первую зиму, когда у меня только один отряд был, восемь дней питались этим «символом». Перед этим Гаврилов привел кобылу, худая была — хватило не надолго. А мох так ели: варили вместе с золой в котелках.

— Зачем же с золой?

— Отбивала зола всякий древесный яд, плесень... Я не знаю, почему именно с золой, но с ней лучше. Четыре части мха, одну часть золы варили, потом отжимали и ели. Или же готовили по другому способу. Жарили его сухим в ведре или на железном листе. Мох прожаривался, становился ломким таким, коричневым и даже вкусным.

— Да... — протянул отец, вздохнув. — Ну?

— Позже, к весне, добыли лошадей. Конину ели, а из шкур делали себе балаганы. А зимой съедали балаганы. Кожу тоже надо есть со смыслом, умеючи...

— Чего вспоминать? — остановил Лелюкова отец. — Есть мох, шкуры... обидно... И вспоминать-то тошно...

Отец увидел, что я лежу с открытыми глазами, позвал к столу.

Я доложил подробно об экспедиции. Лелюков, оказывается, знал Михал Михалыча еще до войны. Михал Михалыч был популярен на побережье.

— А с цыганками зря, — сказал он, — перестарались. Рокамбольщина какая-то в такой серьезной войне. Зря!

— Почему зря? — спросил отец. — Почему пренебрегать? По-моему, одна пронырливая цыганка с колодой карт в руках может сделать другой раз больше, чем, к примеру, такая разведка, какую произвел Редутов.

— Редутов? — переспросил я. — Саша Редутов?

— Да, — ответил отец, — он знает тебя по Севастополю, рассказывал не раз...

— А что с Редутовым? — спросил я.

— Видишь, — сказал Лелюков, — с большими трудностями мы сумели вывезти своих раненых. А вот Редутов, пока ты раненых вывозил, привел из разведки еще трех. Одному половину челюсти оторвало — что с ним делать? Второму, хорошему бойцу, — руку; третий на одной ноге прискакал. И, главное, ничего путевого не сделал, зря людей покалечил...

Отец покусал усы, нахмурился, искоса поглядел на Лелюкова, сказал:

— Им пришлось пройти шоссе, посты полевой жандармерии в степи... Это тебе не горы. Долина Рассан-Бая, знаешь, какая?

— Добряк ты, комиссар. Сам же ругал Редутова, а теперь заступаешься!

— Я побранил, но не дотла. Гнев-то не всегда полезен. А потом парень-то он несмелый... Да и привел с собой он девятнадцать человек пополнения. Колхозников. Стариков.

— Мне бойцы нужны, а не лишние рты, — Лелюков отмахнулся.

— Эти тоже будут воевать, — сказал отец.

Я попросил, чтобы позвали Сашу, и Лелюков приказал Василию отыскать его и привести сюда. Я рассказал Лелюкову о моем знакомстве с Сашей.

— Надо его понять, — сказал я, — другой весь на виду, некоторые сами себя поскорее стараются вывернуть, а Саша позировать не умеет.

— Верно, — подтвердил Лелюков, — мы его раз попробовали при отходе. Проверка была на смерть. Выдержал.

— Вы же его знаете по Карашайскому делу.

— Всех не упомнишь...

— Его отмечали в сводке Информбюро, — сказал я. — В сорок первом. Под Чоргунем. Двенадцать фашистов убил.

— Что ты говоришь! — воскликнул Лелюков. — Представь, как можно в человеке ошибаться, а ведь и верно: другой норовит на копейку сделать, на рубль продать. Вертится под ногами, как кутенок, не заметь его, попробуй! А этот! Я считал, что у него искры нет, хватки.

— А искорка-то у него, выходит, как в кремне, сидит, ее надо добыть, — сказал отец.

— Ну-ка достань кружку, Василь, — приказал Лелюков, — ополосни ее... Да пальцами, пальцами не вытирай.

— Редутов вино пить не станет, товарищ командир, — сказал Василь, — нипочем не станет...

— Что же, он трезвенник?

— Он любит покрепче, — Василь добродушно подмигнул.

— Ишь ты! — Лелюков покачал головой. — Проверим. Там, Тихонович, у тебя имеется что-нибудь покрепче?

— Найдем...

Саша вошел в шалаш, пригнулся у входа, выпрямился и четко доложил о своей явке. Из-под свалывшегося курпея папахи, упавшего на брови, глядели его чуть косоватые глаза, обращенные к Лелюкову.

На Саше была надета меховая безрукавка, у пояса наган и нож в оправе.

— Лагунова не узнаешь? — спросил его Лелюков.

Саша быстро осмотрелся, узнал меня, шагнул вперед, но вдруг его руки опустились по швам:

— Я слышал, что... вы здесь... Не верилось, абсолютно не верилось.

Я подошел к нему, поздоровался.

— Опять называешь меня на «вы»? Забыл наш уговор?

— Как говорится, условия субординации...

Лелюков присматривался к Саше как-то по-новому, не с обычной своей хитринкой, а открыто, в упор.

— Садись-ка к столу, Редутов, без всякой субординации, — пригласил Лелюков.

Налили в чашки спирт из баклажки, принесенной отцом, развели его с горноключевой водой. Запах спирта заставил Василя блаженно улыбнуться, ноздри его расширились, но, уловив строгий взгляд Лелюкова, он быстро замигал белыми ресничками, и деланное безразличие появилось на его лице.

Пришел Гаврилов. Недовольным и хриплым голосом доложил о состоянии лошадей, прибывших с нами от мыса Мальчин: кони перепали, шкуры подрали колючками, отлетели подковы...

Гаврилов снял свою морскую старшинскую фуражку с козырьком, положил наземь, налил себе спирту прямо из баклажки.

— Спирт неразведенный, — предупредил Лелюков. — Горло сожжешь!

— А я так уважаю по целине ходить.

Гаврилов чокнулся кружкой со мною, с Сашей, выпил.

Я наблюдал за Сашей: зная, что сейчас проходит проверка, мне хотелось его предупредить, но Лелюков остановил меня красноречивым взглядом.

Саша быстро, не отрываясь, выпил всю кружку, потянулся за черносливом. Затем, очевидно, считая, что никто уже не наблюдает за ним, расстегнул верхние пуговицы ворота, подтолкнул Гаврилова:

— Еще по одной.

Гаврилов налил. Саша взял кружку, зажмурившись,

понюхал и удивленно открыл глаза: Лелюков отнял кружку.

— Парень, парень, — Лелюков укоризненно покачал головой, — выходит, и в самом деле пьешь?

Саша смутился, застегнулся вновь на все пуговицы, встал. Лелюков разрешительно кивнул ему, и Саша вышел.

Лелюков посмотрел ему вслед, вынул из портсигара папиросу.

— Видишь, какой он! К спиртному не приучайте.

— А что такого? — сказал Гаврилов. — Его дело.

— Нет, не только его. Врага побьем, а пить научимся? Зачем? Ему жить-то еще долго... Сколько на моих глазах замечательных людей спивалось!.. Возьмем хотя бы наших рыбаков, Иван Тихонович. Глядишь на иного, будто кованый, — Лелюков погладил медный кувшин, — а зелье войдет раз, два, три... и рассыпается человек на глазах по молекулам. Иди, Василь, погляди, что Сашка делает.

— Он декламирует стихи, товарищ командир.

— Вон как! — Лелюков задумался, прошелся по шалашу. — Если разобраться, нужно сейчас уже, в войну, воспитывать у людей стремление к мирному труду.

— То есть? — спросил отец.

— А вот как, комиссар. К примеру, Сашка любит читать стихи. Пусть. Не останавливать его, хвалить.

— Готовить из него артиста?

— Хотя бы.

— Так... — сказал раздумчиво отец. — А у моего Сергея какие стремления воспитывать?

— Да ведь он военную школу кончил. Пусть и остается военным.

— А говоришь, готовить профессии для мирной жизни?

— Мирной-то жизни не удержать без армии. Кому-то надо, Иван Тихонович.

Отец задумался.

— Нашего Гаврилова, — уже с улыбкой продолжал Лелюков, — заставим организовать цыган. Посадить их на землю.

— Легко будет на земле Гаврилов, — сказал отец.

— Утяжелим. Женим его. Найдем невесту...

— У меня уже имеется...

— Когда успел?

— После госпиталя. Из Сочи на «кукурузнике» смотался в Краснодар. Узнал, где цыгане кочуют. Нанял грузовик и к ней, в станицу Тенгинскую... Приезжаю в табор, все налицо: голопузые пацаны, молотки, наковальни, шатры, — а Мариулы нет...

— Мариула? — переспросил я.

— Ну да, Мариула. По-русски, ну, скажем, Мария. Отец отвечает: «Опоздал ты. Засватали уже Мариулу»... Гляжу я, за табором, у самой Лабы, под вербами линейка. У дышла на отстегнутых постромках пара добрых кабардинов с торбами. На линейке сидит моя Мариула... Рядом парень чубатый, в сапогах, с кнутом. Ничего себе парень, красивый... — Гаврилов налил себе еще спирту.

— Забери у него, Василь, — приказал Лелюков, — а то не дослушать нам его. Дальше? Увидел чубатого парня и по своей привычке пистолет из кармана?

— Зачем пистолет? Я хитрость применил. Грошей-то у меня полны карманы. За два года жалованье получил. Упросил шофера своего послужить мне: дал ему пятьсот рублей, чтобы подождать дотемна. Согласился шофер, потому что я объяснил ему все начистоту. Сделал он маневр, вроде уехал, а сам завернул в кукурузу, а я сижу да покуриваю с отцом Мариулы. Через час чубатый уехал в Тенгинку, а Мариула вернулась к шатру. Поздоровались. Поговорили о том, о сем, а о главном ничего. А когда стемнело, вызвал я ее из шатра, и пошли мы с разговором к кукурузе. Прошу ее: «Оставь парня». Она смеется: «Он красивый, а ты нет». Тогда я бушлат ей на голову, к грузовику и... айда...

— Здорово! — изумленно воскликнул Лелюков. — Куда же ты ее уволок?

— Куда же? Ясно, в горы, — Гаврилов хрипло засмеялся, — привыкли мы к горам, сам знаешь. Катим по шоссе, думаю — пара пистолетов есть, сумка с патронами... В случае погони...

— Ах ты, Гаврилов, — пожурил Лелюков, — да разве так можно?

— Попугать думал, товарищ командир, — пошутить.

— Знаем твои шутки, — строго сказал Лелюков. — Дальше-то что? Лирику давай, Гаврилов, а насчет погони, пистолетов и так надоело. Про любовь рассказывай.

— Четыре часа дуем к горам по аховой дороге. Смеется моя Мариула, глядит на меня, спрашивает: «Куда везешь?» Отвечаю: «К твоей судьбе». Тихо говорит: «Надо подумать, погадать...» Вот думаю—опять гадать... Приехали мы, Иван Тихонович, в твою станцию, в Псекупскую.

— Почему же именно в Псекупскую?

— Тоже по хитрости. Горы-то длинные, конца нет, а в Псекупской, думаю, тебя знают, в случае чего какую-нибудь поддержку найду. Позолотил я еще раз руку шоферу: «Езжай, мол, братик, обратно, грузи шатры, детишек, отца с матерью и тщи сюда».

— Гаврилов, что же ты делал? — с возмущением воскликнул Лелюков.

— Справлял свою жизненную судьбу, командир. Привезла машина семью Мариулы, а я уже снял комнату над речкой у казачки, вина запас сделал, индюшек нарезал. И пошли куролесить... Вот так и провел свой отпуск по ранению.

— Ловкач! — сказал Лелюков. — А как же с Мариулой? Женился?

— Только засватал.

— Вот тут ошибся. Все твои труды пошли прахом.

— Почему?

— Как почему? Ты сюда, а к ней приедет чубатый молодец и уведет.

— Такого не может быть никогда! — сказал твердо Гаврилов. — Она клятву дала.

— Какую?

— Нашу, цыганскую. Сильную клятву...

Когда Гаврилов ушел, я рассказал Лелюкову и отцу о моей встрече с цыганкой.

— Гаврилову ничего не надо говорить о Мариуле, — сказал Лелюков.

И мы до весны не нарушили наш уговор. Гаврилов так и не знал, что где-то близ него, на крымской земле, находится его невеста.

В этот же день я разыскал Сашу в расположе-

нии Молодежного отряда, возле шалаша, где крикливый парень в бушлате обучал искусству владения ручным пулеметом группу молодых ребят из резерва отряда.

Саша поведал мне о своих приключениях, сопровождавших его появлению в соединении Лелюкова.

Севастополь был оставлен 2 июля 1942 года. Небольшая группа матросов, в которой был Саша, дралась в прибрежных скалах до 10 июля, а потом оставшиеся в живых прорвали кольцо у Балаклавы и горами дошли до Судака.

Они держали путь к Керченскому проливу, чтобы переплыть его и попасть на Большую землю. Но противник захватил Тамань, дошел до Новороссийска. На левом берегу пролива гоже был враг. Пришлось остаться в Крыму, в районе Судакских гор.

Однажды зимней ночью недалеко от берега показался советский эсминец. Корабль спустил катера и высадил десант из двухсот тридцати матросов между горами Орел и Сокол. К десанту присоединилась группа Саши. Высадка прошла без выстрела, но дальнейшая операция протекала менее удачно. Моряки столкнулись с танками противника на дороге, близ совхоза «Новый свет», и с матросской горячностью вступили в бой.

В бою было убито больше двухсот человек. Осталось в живых всего двадцать три человека. Они уходили отбиваясь. Матросы сдирали с лица и одежды корки льда. Пищи не было. Ели корни и мох.

С ними уходил один крымский коммунист, бывший партизан гражданской войны, знавший расположение некоторых баз, подготовленных для партизан. К одной из таких баз, зашифрованной под именем «Приют семерых», где в старинных пещерах греческих монахов были сложены провиант, спирт, обувь и зимняя одежда, шел отряд, преследуемый известным Мерельбаном, который командовал тогда полком «Черных следопытов».

Отряд не терял главного — надежды, мужества и воли.

Все знали о том, что там-то, на такой-то широте и долготе, а вернее, возле такого-то, условного места,

они будут спасены. Там они смогут поесть, сменить разбитую в клочья обувь, переодеться в теплую одежду, спрятать обмороженные руки в меховые перчатки и пополниться патронами и гранатами. Тогда можно продолжать поиски партизанских отрядов, можно опять сражаться, — враг сам по себе не страшил, а пугали холод, голод, болезни.

И вот они стали подходить к «Приюту семерых». Саша, рассказывая об этом, нервно хрустнул пальцами.

Оторвавшись от погони, матросы перебрались через ущелье и подошли к пещерам.

«Приют семерых» был разграблен. Валялось лишь несколько пробитых штыками консервных банок, и на стене вырезано кинжалом: «В горах вы найдете свою гибель».

Матросы разожгли костер, натопили снегу, сварили два последних автоматных ремня, съели их. Но и отсюда пришлось уходить, так как преследователи развьючили минометы и начали обстреливать «Приют семерых».

Теперь уже силы иссякали, хотя дух еще не был сломлен. Преследование прекратилось, так как метели, разыгравшиеся в горах, занесли все тропы. В долины нельзя было спускаться, там были враги. И вот, когда уже люди не могли дальше идти и разожгли последний костер, на дым его пришли партизаны бригады Семилетова, искавшие матросов по заданию Большой земли, и привели их к Лелюкову.

Рассказ Саши невольно возвращает меня к мысли о Пашке Фесенко. Вот как понимал вопросы чести и долга Саша Редутов. А если бы наши советские молодые люди поступали бы так, как поступает Пашка Фесенко? Неужели мы найдем в своих сердцах какое-то сострадание к таким, как Пашка? Хорошо, что хорошей, мужественной, преданной молодежи больше, гораздо больше, чем таких, как Пашка. Я делюсь своими мыслями с Сашей, и он согласен со мной.

— Так не может быть, Сергей, — говорит он, — хорошей молодежи много больше, чем плохой.

...Приходит пятый день моего пребывания в лесу.

Я сидел в шалаше отца и писал план своего доклада на совещании командного состава соединения

о подготовке плацдарма для наступательных действий Советской Армии. Я услышал, что кто-то вошел в шалаш, остановился возле порога. Не оборачиваясь, я продолжал писать. Мне показалось, что это вошел отец.

Чьи-то руки закрывают мне глаза, я вскакиваю и вижу перед собой Люсю—исхудавшую, с косичками, упавшими на плечи, в разбитых туфлях, забрызганных грязью. Я шепчу только одно слово — ее имя — и вижу, как слезы заволакивают ее глаза, и, уже не сдерживая своих чувств, она рыдает громко, взхлеб и безвольно, как надломленная, опускается на мои руки.

Полог шалаша приподнимается. В дверях улыбающийся Яша.

— Баширов сделал налет на тюрьму, Сергей, — сказал он. — Мы давно вынашивали план этой операции...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАТЕРИНА

Итак, в крымских горах я, наконец-то, нашел сную Люсю. Думы о ней всегда сопутствовали мне, и сейчас близость ее успокаивала, прибавляла сил. Рядом с ней хотелось быть лучше, храбрее, благородней. Молодость позволяла нам, несмотря ни на что, все же строить планы на будущее, и вряд ли это можно было называть только мечтами. Мы верили, что будущее зависело от нас, так же как и от миллионов советских людей, сплотившихся для борьбы с врагом, посягнувшим на нашу Родину. Будущее Родины — наше будущее.

В крымских горах мне пришлось встретиться со многими своими знакомыми и друзьями, с которыми, казалось, нас навсегда разлучила война. Но война не только разъединяла, она перемешивала большие людские массы, сталкивала людей друг с другом, разъединяла и снова сводила. Предвидя упреки читателей, я хотел бы заранее предупредить, что обилие сча-

стливых совпадений, последовавших в дальнейшем, было отнюдь не случайным. Не произвол автора этого повествования, а реальные жизненные обстоятельства — истинная причина счастливых возвращений и неожиданных встреч. Люди, с которыми мне довелось встретиться, воевали или находились вблизи кавказского и сталинградского участков театра военных действий и постепенно с боями передвинулись к Крымскому полуострову. Угон врагом гражданского населения в рабство проходил через Крым, а восточный сектор, где действовал Лелюков, как раз и находился на путях между Кубанью и западными крымскими портами.

...Время шло. Деревья начали сбрасывать листву. Обнажились горы, чаще поднимался туман. И однажды утром, выйдя на поляну, я увидел придавленные инеем травы.

Птицы улетели, и горы начало забрасывать снегом. Вначале — Чатыр-даг, который виден отсюда, а потом и более низкие горы — Айвазкош, Сугут-Оба, Эльмели.

Несмотря на зиму, связь с Большой землей становилась все теснее и теснее. Партизанские отряды теперь все оперативнее объединялись армией, готовившей наступление на южном стратегическом крыле фронта.

Мне приходилось в трудной обстановке выполнять свои обязанности. Оперативные расчеты, педантично требуемые от штаба Лелюковым, Кожанов делал спустя рукава, со злым пренебрежением к бумаге. Он по одной мерке решал все задачи.

Может быть, поэтому соединение Лелюкова в наиболее драматический период, когда клещи карательных отрядов сжимали его, и потерпело несколько поражений.

Я не узнавал в сегодняшнем Кожанове того капитана, который когда-то ночью рассказывал о бое у села Заветного.

Изменился и Лелюков: стал грубее, я бы сказал деспотичней, но не утратил своего командирского чутья. Он умел видеть главное, не пренебрегал советами других и к критике относился терпимо.

Кожанов же любил поучать других, но сам не тер-

пел чужих советов. Он понимал смысл моей роли и болезненно это переживал.

— Ну, что же, молодой человек, — как-то сказал он, — если больше меня знаешь и лучше соображаешь, валяй! Мешать не буду, — значит тебе виднее. Поглядим — увидим.

Кожанов пренебрежительно относился к разведке, ограничиваясь сведениями, необходимыми только для его соединения. Политико-моральное состояние частей противника его мало занимало.

Затребованный нами новый начштаба не был прислан Большой землей, а вместо него прибыли пакет с инструкциями и предписание, адресованное на мое имя.

Инструкции привез однажды ночью «авиакомар», опустившийся на условное место, освещенное горящим в банках мазутом.

К зиме мы покинули Джейляву и перешли на семь километров юго-восточнее. На Джейляве оставили Гаврилова с тыловым хозяйством и первую бригаду Маслакова. На новых местах быстро устроили блиндажи, вырыли и утеплили землянки, мне отвели отдельную. Лелюков по моей просьбе посылал меня в операции. Через месяц я успел побродить со своими отрядами, изучить их, побывать в стычках.

Щупальцы партизан стали проникать все дальше и дальше. Теперь не Мерельбан преследовал нас, а мы не давали ему покоя: вырезывали сторожевые посты, громили мелкие отряды. Мы лучше наладили связь с партизанами-соседями, и теперь стыки между соединениями не угрожали нам, как прежде, и возможности изоляции того или иного партизанского района стали гораздо меньше.

Нами была установлена связь крымских татар с турками. Две недели мы сторожили побережье и обнаружили выброску на полуостров турецких агентов. Взрослое население татарских сел, расположенных в горах, ушло в долины, к шоссе, в города. Оккупанты посылали в горные села вооруженные обозы, вывозили зерно, угоняли скот, чтобы заморить нас. Приходилось думать о зиме и активизировать продовольственные операции, с боями отбивая у оккупантов обозы.

Захваченное продовольствие и оружие приходилось рассредоточивать по разным лесным похоронкам и минировать базы, что зачастую спасало их от разграбления.

Мы высылали боевые разведки в высокогорные кошары, откуда пополняли наши мясные запасы и вызволяли загнанных туда врагом советских женщин.

Теперь уже Чатыр-даг по всей своей каменной вершине был обсыпан снегом, студенные зимние облака надолго прицеплялись к скалам, торчавшим, как пальцы, ноги скользили на обледенелых тропах, и вода была так холодна, что от нее ломило виски.

Однажды, позавтракав жареной кониной, мы сидели в блиндаже начштаба, возле железной печи. Пахло нестроганным буком, сырой землей, отходившей от тепла, и табаком: Кожанов курил.

В блиндаж вошел ординарец Семилетова, быстрый, стремительный грузин Донадзе. Он передал устное донесение Семилетова о том, что разведчики Молодежного отряда только что привели из высокогорной кошары полонянку.

— Пойди, Лагунов, посмотри, разберись, — сказал Кожанов, усмехаясь. — Лес населен врагами. Могут такую привести девушку — весь лагерь на воздух.

Большая группа партизан собралась возле вечного костра, разложенного у скалы. Партизаны окружили приведенную девушку, ее за людьми не было видно; другие стояли возле Коли Шувалова. Он пил воду из принесенного Люсей кувшина и взволнованно рассказывал, как они освободили девушку в горной кошаре на яйле.

Саша с кинжалом подполз к двум полицейским, которые вязали чернооую русскую девушку с рассыпанными по плечам волосами, бросился на них и прикончил.

Саша сидел на пеньке, отвернувшись, словно прислушивался к скрипу ветвей.

Я с Люсей подошел к партизанам, окружившим девушку. Она стояла ближе к скале, отмахиваясь от дыма костра, и своими влажными черными и чуть скошенными глазами жадно выискивала кого-то в толпе.

Я смотрел на девушку, стоявшую у скалы, и вдруг отчетливо вспомнил лунную ночь в ставропольском селе, близ степного озера Цаца, и топот девичьих черевичек по деревянным ступеням крыльца.

Да, это была Катерина — колхозница из Ставрополя, передававшая письмо Каратозову.

— А нема ли среди вас моего Петечки? — спросила она.

Это ее голос, полный скорби и надежды.

У Катерины не было сейчас сережек, она была одета в рваное платье из простого ситца. Кто-то из партизан набросил на плечи ее шаль с пестрыми стамбульскими цветами. Концы этой роскошной шали упали на землю, и Катерина небрежно наступила на нее ногой, бросилась ко мне с радостным криком:

— Ой, товарищ!

Катерина принялась осыпать меня поцелуями:

— Да дайте же мне вас поцеловать! Да это же вы, тот самый товарищ! Да это же вы, дорогой мой! Да это ж вы!

Партизаны засмеялись, а Шувалов помрачнел, покосился на меня, и плеть, как хвост ящерицы, извивалась у его голенища.

Люся уронила кувшин на землю, и бледность разлилась по ее лицу. А глаза, милые ее глаза сузились и с негодованием вонзились в меня.

Катерина, очнувшись от своего порыва, вдруг оглянулась кругом с тревогой. Верхняя губа ее покрылась росой, и страдальческая гримаса передернула ее лицо.

— Еще могут подумать... — выговорила она сурово и обидчиво и еще раз оглядела всех, а потом подняла голову, откинула растрепанные свои косы смуглой рукой, глаза ее загорелись негодованием.

— Чего ты, черномазый чорт, регочешь? — крикнула она Гаврилову. — А ты чего белки выкатил? А ты чего плетку крутишь, пацан? — сказала она пораженному ее тоном Коле Шувалову. — А еще свои, русские!.. Да я каждого из вас могла бы поцеловать, и нельзя смеяться, и нельзя плохое придумывать!..

Голос ее, звеневший, как тугая струна, дрогнул:

— На что вы мне нужны, когда нет моего Петечки?..

Катерина обратила внимание на Люсю, которая стояла напротив нее, прикусив губы, со сжатыми кулачками.

— Ты... ты чего? — спросила Катерина с виноватой улыбкой.

— А что вам? Что вам нужно? — Люся охватила лицо ладонями и быстро побежала вниз мимо скалы, по крутой тропке, падающей к горному ручью.

— Догони же ее! — выкрикнула Катерина и толкнула меня в спину. — Догони! Да куда же она побежала? Там круча! Там лед! Эх вы, недотепы!..

Катерина растолкала людей, прошлась по шали грязными своими башмаками и, не обращая уже ни на кого внимания, только покачивала головой и кривила губы.

Из землянки штаба вышел Кожанов, прищурился из-под своего чубчика, падавшего на лоб.

Катерина в изумлении всплеснула руками и с криком: «Петя! Петечка!» бросилась к Кожанову.

Я не буду описывать сцены, когда в крымских лесах встретились два человека, казалось, навсегда разъединенные железными законами войны.

Я нагнал Люсю уже почти у самого потока, звонко бьющего по замшелым нумилитовым скалам, схватил ее за локоть.

— Люся, милая, выслушай меня!..

— Уходи, Сергей!

— Эту девушку я видел всего один раз в разведке... Я тебе говорил о ней. И вот...

Мой горячий шопот и весь тон покорности, злости и желания скорее, скорее разделаться с этим оскорбительным, на мой взгляд, непониманием тех больших чувств, которые не были поняты, как бы привели девушку в себя. Люся будто обмякла в моих руках, и сейчас я почувствовал возле себя ее гораздо ближе и гораздо роднее, чем когда-либо в другое время.

— Сергей, если я поступила неверно, прости меня, — шептала Люся, — но я не могла... не могла...

Я порывисто и горячо говорил ей все, что раньше не осмелился говорить, и старался теперь, наедине,

в такой момент, высказаться до конца, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы она до самого конца поняла меня правильно и чтобы уже ничто не разделяло наши сердца.

— Я понимаю, — шептала Люся, — прости меня. Очевидно, я больше... женщина, чем... партизан...

— Верь... верь мне...

— Конечно... Мне только показалось... а потом, Сережа, она такая красивая, какая-то огненная, налитая.. Вот такая бывает в костре головня от дуба... Я залюбовалась ею вначале. Мне хотелось подойти к ней, успокоить. И вдруг... она бросилась к тебе...

Люся прильнула ко мне, замолчала и, не поднимая головы, сказала:

— Я иногда боюсь своей любви к тебе. Для меня ты все. Кроме тебя — никого, — она порывисто охватила мою шею руками, и я почувствовал на своих щеках ее слезы.

Это было, может быть, первое наше настоящее объяснение в любви. Сейчас я был счастлив слышать каждое ее слово, обращенное ко мне. Эти слова все крепче и крепче связывали меня с любимой девушкой, мечты о которой долго вынашивались в моем сердце, и сейчас было так легко и просто.

Просто было взять ее голову своими ладонями, привлечь ее ближе к себе и, смотря в ее заплаканные глаза, увидеть и познать все, что было между нами недоговорено из-за молодой робости и слишком большой любви.

Она прижалась ко мне, и я поцеловал ее. Мы пошли вверх по тропинке. Она обняла меня одной рукой, зябко дрожала всем телом; близ поляны, в устье тропы, приостановилась, ладонями пригладила свои волосы и спросила меня близким, родным голосом:

— А они не будут смеяться?

— Нет. Они тоже правильно и хорошо все поймут...

Ярко пылал костер, вверх летели искры, и столбом поднимался дым. Партизаны смотрели на нас, молчали. Мы прошли в блиндаж к Кожанову и Катерине.

ПОДХОДИЛА ВЕСНА

Подходила весна. Мы ожидали ее с нетерпением. Она несла нам радость победы. Повеселел даже угрюмый Фатых. Он до войны работал в Солхате следователем. Его выручили из тюрьмы в одно время с Люсей. Недавно он принес из разведки вино.

— Судакское вино, Лагунов, пей! — угощал он. — Какие сочные и веселые равнины вокруг Судака, какие леса и луга! Пей!..

— На Южном берегу вино лучше, — возразил я.

— На Южном берегу не вино, а масло, пусть нравится, кому что подходит. Южный берег имеет нежные, душистые, бальзамические сорта винограда. Шасла — раз, изабелла — два, александрийский мускат — три. Вино, как масло. А сколько такого вина? Мало там вина, Сергей.

— Не так мало, Фатых. Пили люди.

— Кто мог пить то вино? А наш судакский виноград поил всю Россию. Лилась река судакского вина по всем ресторанам, гостиницам, трактирам. Спроси наших стариков — скажут. Портили его у вас сандалом, свинцовым сахаром. А здесь, смотри, какое оно, как бог дал, так ты его пьешь, Сергей. Пей!

— Надоело, Фатых.

— Вино надоело? Не может вино надоесть. Это же земля, солнце и сладкие, сахарные росы, что наливают гроздья. Ты видел такой виноград, длинный и нежный, как девичий палец, такой, как палец... твоей Луси (он выговаривал так ее имя). Кадын-пармак называется тот виноград, или девичий палец по-русски. А еще чауш, шабан, осма. Слышал такие сорта?

— Нет, не слышал.

— Вам что? Вы кушаете и не знаете, как он называется. Вам все равно. А наш судакский виноград грубый, это хорошо, — Фатых сжал свой кулак, насутился, — толстокожий, — он приподнял на руке кожу и долго не отпускал, будто любясь ею, а искоса приглядывался ко мне; потер ладони, добавил: — Крупный сорт, — теперь Фатых смотрел на меня глазами,

поблескивающими красным от костра, и говорил с каким-то сладострастием: — Эти грубые, толстокожие, сильные сорта винограда созревают поздно. Пусть они не годятся на вино, к которому привык русский, ничего. Зато они переносят осенний холод, далекий путь, все невзгоды и не имеют запаха... не имеют. И хорошо, что не имеют. Пей вино, Сергей! Это — татарское вино, Сергей...

Доносилась песня Катерины:

Ой, боже ж мий!
Коса моя жовтенька,
Не мати тя роскоуе —
Визник бичем рострипуе.

Горная страна лежала у наших ног. Вставшая луна заливала серебристым световым туманом эти огромные окаменевшие волны. Казалось, негодующее море бросилось на материк и вдруг застыло, повинуясь чьему-то слову могучего приказа. Справа от нас крутился световой маяк на аэродроме, будто кто-то за горами баловался электрическим фонарем. Слышался отдаленный орудийный рокот со стороны Керченского полуострова, и виднелось небольшое полукружие зарева.

Фатых вздохнул:

— Сегодня меня обидел твой отец. Одно не понимает комиссар, что Фатых — тоже такой же коммунист, как и он. Потому со мной надо говорить открыто... Не люблю скрытых, тайных людей. Не люблю тех людей, кто имеет две души, кто одной рукой одному, а другой — другому. Плохие такие люди.

— Таких людей я тоже не люблю. А к чему это?

— К нам в лес начали приходить и татары. Я тоже крымский татарин. Надо с ними говорить хорошо. Комиссар говорит мне, что татары теперь идут к нам потому, что там гудит Приморская армия, а там гудит, — Фатых махнул рукою в сторону Сивашей, — генерал Толбухин... Надо не забывать, что татарам было очень хорошо при советской власти.

— Тем более мерзко, отвратительно, неблагодарно, что многие крымские татары изменили советской власти, которая так много сделала для них уже после

освобождения от царизма. При советской власти крымские татары получили республику, братское содружество русского и других народов СССР, свободу от эксплуатации. Советская власть подняла этот народ, поставила на ноги, дала все для развития, для настоящей жизни. А они послушались своих злейших врагов и начали массовое предательство... Изменили общему делу...

— Я изменил? — перебил меня Фатых. — А таких, как Фатых, много...

— Многие крымские татары, ты знаешь, Фатых, по наущению вражеских агентов вступили в организованные врагом добровольческие отряды, ведут вооруженную борьбу вместе с гитлеровскими войсками против Советской Армии, против партизан. Как можно продавать свою совесть, свою страну? Ведь большинство населения крымских татар не оказывает противодействия этим предателям нашей Родины, помогает им, и тем самым весь народ теряет свою честь... А если потерял честь, — значит потерял все... А ты не знаешь, как говорить с татарами?.. Немцы играют с татарским народом Крыма. Поиграют до поры до времени, пока нужны будуг, и бросят, затопчут. Турки тоже зарятся на Крым, на наш, советский, Крым. Все народы Советского Союза храбро сражаются с врагом, защищают Родину... как дерутся казанские татары за честь своей Родины... Посмотри хотя бы на нашего Баширова! А ты не знаешь, как говорить?

— Теперь я знаю, как говорить, — сказал Фатых, — пора спать нам.

К нам подошел Коля Шувалов.

— Вот ты песни пишешь, Коля, — сказал Фатых, — напиши такую песню. Горная птица, вольная птица летает, летает и не знает, куда ей сесть: кругом люди, кругом костры, везде штыки, и нет места птице, чтобы сесть и не сжечь лапы и крылья. Хорошая будет песня. Пойду спать, клонит голову...

В этот же вечер я рассказал отцу о своем разговоре с Фатыхом.

— Я вызывал его, — сказал отец, — нам нужно что-то делать с татарами. Идут к нам в лес, а с чем? Начинаешь говорить с ними по-русски, — прикиды-

ваются, не понимают. А что они думают, зачем пришли? Такие вещи должен знать Фатых, а он человек путаный какой-то, у него вывих в мозгах...

— По-моему, он вывихнул мозги всеми этими своими Менги-Гиреями — националист.

— Приглядывайся к нему, — сказал отец, — нам не след ударяться в панику, но и нельзя чего-либо проглядеть.

В начале весны мы усиленно занимались подготовкой минеров и диверсантов и операциями по подрыву вражеского тыла.

Молодежный отряд провел взрывы двух шоссейных мостов и складов авиабомб и ручных гранат.

Бригада Маслакова, подтянутая ближе к Солхату, громила обозы, высылаемые в лес за дровами. Врагу приходилось теперь укрупнять обозы и охранять их танкетками и бронеавтомобилями.

Однажды Лелюков вызвал меня к себе и в разговоре упрекнул меня и Якова в снисходительном отношении к Фесенко.

— Он дал клятву отряду перед строем, — сказал я.

— Такие люди охотно дают клятвы и так же легко их нарушают.

— Фесенко пока не нарушил клятвы.

— Нарушил.

— Когда?

— Противник вырезал нашу заставу...

— Где?

— Возле Ведьминой щели, — Лелюков отвел глаза в сторону, — хороших ребят вырезали. Сейчас там Семилетов... Разбирается.

— А причем здесь Фесенко?

— Фесенко был в полевом карауле, не предупредил заставу и исчез. Позорное пятно для Молодежного отряда, как сам понимаешь. А кто виноват? Вы. Ты и командир отряда, — Лелюков зло высек огонь, закурил, — мягкотелые люди. Беседуете с ним, нянчитесь, фактически прощаете ошибки, а они растут, как грибы после дождя. Ты знаешь, как гриб растет? Пять сантиметров за одну ночь. А когда пройдет грибной дождь, сразу за час гриб готов.

Мне было стыдно перед Лелюковым.

— Может быть, он не виноват? — сказал я.

— По первым данным, Фесенко предал заставу. Семилетов подойдет, расскажет подробности. Об этом чрезвычайном происшествии надо доложить Большой земле...

Мы похоронили убитых на заставе — трех комсомольцев из Феодосии. Над их могилой вытесали надгробие из камня и вырезали их имена.

Девушки положили у могилы венки из фиалок и папоротника.

Через несколько дней Шувалов, ходивший в разведку, привел из леса Фесенко со связанными поясным ремнем руками.

Фесенко был передан на суд отряду.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

НАКАЗАНИЕ

— Отряд требует расстрела Фесенко, — сказал Яков, придя ко мне с ученической тетрадкой, сложенной вдвое, в которую обычно заносились приказы по Молодежному отряду.

Яша смотрел на меня строгими, потускневшими глазами.

— Нельзя ли еще испытать? — сказал я. — Нельзя ли подождать? И потом, говорил ли ты с Лелюковым?

— Он считает Фесенко позором Молодежного отряда, позором для всего соединения, — Яша твердо добавил: — Я тоже думаю так.

Мне хотелось посоветоваться с отцом, но он вылетел на совещание в район Большой Яйлы, куда прибыл для координации действий представитель партизанского штаба. Семилетов же требовал немедленно привести в исполнение смертный приговор. Лелюков следил за нами, ждал и с новыми советами не навязывался.

Яков подвинул мне тетрадку, развернул на середине, где был написан приказ № 57 по Молодежному отряду:

§ 1

Боец партизан Фесенко Павел Павлович был оставлен по боевому заданию в лесах близ Солхата.

Боец партизан Фесенко не вернулся с боевого задания, дезертировал и скрывался неизвестно где до ноября 1943 года.

§ 2

Боец партизан Фесенко П. П. прибыл в отряд 9 ноября 1943 года. Был командованием предупрежден о его проступках.

Боец партизан Фесенко П. П. дал клятву отряду перед строем, что он кровью смоем свое преступление перед Родиной.

После того Фесенко П. П. был послан на заставу и при появлении противника не принял боя, не предупредил заставу, вторично дезертировал и находился в неизвестном для командования отряда месте.

11 марта 1944 года боец Шувалов встретил Фесенко в лесу и предложил прибыть в отряд или сдать оружие. Боец Фесенко категорически отказался идти в отряд и сдать оружие и тогда был приведен силой.

§ 3

Руководствуясь специальным приказом № 3 по партизанскому соединению о борьбе с изменой и предательством интересов Родины, приказываю: Фесенко П. П., рожденного в 1924 году, расстрелять как изменника Родины. Приказ привести в исполнение перед строем.

Приказ еще не был подписан ни Яковым, ни Башировым.

Я дважды перечитал приказ, закрыл тетрадку, передал ее Якову.

— Как видишь, мотивы убедительные, — сказал Яков, — перевоспитывали его долго—ничего не вышло. Ну, что же... Пусть получает по заслугам.

— Может быть, все же подождем отца?

— Я беседовал с комиссаром. — подчеркнуто официально произнес Яков, — не по поводу Фесенко, а вообще. Ты сам знаешь, что нам предстоят вскоре серьезные боевые операции. Каждый отряд должен быть окатан, как стальной шар, так окатан, чтобы не было ни одной щелочки. Понял, Сергей? Комиссар требовал от моего отряда полного морально-политического и боевого единства, и я должен добиваться его, устраняя все, что мешает выполнению нашей задачи. Каждый может упрекнуть нас, что мы, принимая беспощадные меры к другим, долго щадили дезертира Павла Фесенко только потому, что когда-то называли его своим другом.

— Ты вызови Фесенко, а я приду к тебе. И Баширова позови.

Был теплый мартовский день. Почки деревьев уже распустились. К солнцу жадно тянулись сочные, молодые травы, пронизывая осенние, прелые листья и прикрывая их своей нежной зеленью. Голубые и желтенькие цветочки пестрели на полянах. Свистели, чирикали, праздновали весну переливами трелей птицы, летевшие на север — в Россию.

Не хотелось думать о тех ужасных делах, которыми сейчас приходилось заниматься. Вспомнились Фанагорийка, намывы берегов, мальчишка с испуганными глазами, удивший чернопузов в сверкающей воде потока...

Это был Яша, сегодняшний командир партизанского отряда. Мы с ним и должны были решить судьбу друга детства.

...Фесенко стоит перед нами, ссутулившись, распоясанный, небритый, озлобленный и напуганный. Баширов отводит от него монгольские, кинжальные глаза и глядит в сторону — туда, где в углу навалом сложены ручные гранаты с длинными деревянными ручками и отдельно, стожком, немецкие карабины. Это трофеи недавней операции, проведенной в лесу близ Солхата Молодежным, Колхозным и Грузинским отрядами, операции смелой и беспощадной. Отряды Семилетова окружили выехавших в лес за дровами гитлеровцев. Партизаны завлекли их в лощину между дубами, отрезали пути отхода и уничтожили пулеметным, автоматным и винто-

вочным огнем и доби́ли врукопашную. Было убито пятьсот лошадей и двести солдат противника.

Над папоротниками, где пухнут убитые фашисты и голландские кони, кружат хищные птицы, там стаями бродят волки и одичавшие собаки.

А здесь стожок карабинов и гранат.

Не глядя ни на эти трофеи, ни на нас, согнувшись и опустив руки с подрагивающими пальцами, стоит перед нами Пашка Фесенко, не отнявший у врага ни одного карабина.

Яков долго и внимательно смотрит на него, и я вижу, как на руках, на лбу и на носу Якова появляются росистые капельки пота.

Он сидит, положив руки на стол, в черной пилотке подводника, сдвинутой на затылок, с забинтованной шеей (шальная пуля зацепила при последней операции).

Яков мне говорил, что вчера ночью он наедине беседовал с Фесенко и тот толком не мог объяснить причины своих поступков.

Баширов что-то написал и придвинул ко мне листок бумажки: «Фесенко знает лесные квартиры и базы». Я понимаю его беспокойство, ибо накануне больших событий уничтожение баз может привести к провалу все наши планы, подготовленные с большим напряжением сил.

Баширов тоже упорно смотрит на Фесенко. Скуластое лицо комиссара Молодежной бригады обтянуто сухой, пергаментной кожей, стриженные волосы торчат, как сапожная щетка, а раскосые глаза тонкими сверлами вонзаются в Фесенко. Баширову дико видеть бойца своего отряда без оружия, распоясанного, с грязными кистями рук, неуклюже высывающимися из узких рукавов телогрейки.

— Что ты хочешь сказать еще в свое оправдание, Фесенко? — спросил Яков.

Фесенко молчал. Яков повторил вопрос. Тогда Фесенко улыбнулся у́глом рта:

— А что мне еще говорить?

Баширов вынул кинжал из ножен и острым концом его начал чинить химический карандаш, оставлявший на его пальце фиолетовые следы. Очинив карандаш, комиссар придвинул к себе тетрадку приказов, послуная

вил пальцем место своей подписи, оглядел еще раз кончик карандаша, подписал и подвинул тетрадку Якову.

— Паскудное дело, Волинский, для Молодежного отряда... — и обратился к Фесенко: — Понимаешь, дубовая голова, что ты наделал?

Фесенко сделал шаг вперед, раскрыл рот, но ничего не сказал. Ступил еще шаг вперед, потом отшатнулся назад, хрустнул пальцами.

Яков размашисто подписал приказ, встал:

— Увести.

Фесенко как-то рыхло повернулся, согнулся и вышел.

Восемьдесят пять бойцов Молодежного отряда выстроились на опушке леса, примяв сапогами весенний ковер травы, обрызганной голубыми красками горной фиалки. Где-то звонко кричали вороны и слышался треск ветвей: птицы ломали ветки себе на гнезда.

Фесенко поставили лицом к строю. Теперь он был уже без телогрейки, а только в немецких штанах с латунными пуговицами на пояске и в темносиней разорванной на плече безрукавке.

Баширов прочитал приказ № 57 и вызвал из строя Кариотти. Кариотти вышел с плотно сжатыми синими губами, с присущим ему фанатическим блеском в глазах.

Бойцы стояли в положении «смирно».

Шувалов завязал глаза Фесенко, повернул спиной к строю и вернулся на свое место.

Кариотти подошел ближе, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил.

И следом за двумя выстрелами, эхом пророкотавшими в ущельях, Фесенко пошатнулся, судорога разжала ему кулаки, и он тяжело рухнул на землю.

Вечером мы сидели у костра.

— Русские имеют железные сердца, — сказал Фатых, покручивая черненькие усики быстрым движением пальцев, унизанных перстнями.

Фатых сидел боком ко мне. Я видел только один его изумительно проворный глаз, загнутые вверх ресницы и черную, будто наведенную углем бровь.

— А что же нужно было сделать с ним? — спросил я, думая о Фесенко.

— Надо было разобраться, капитан! А может, он не один? Может быть, у него компания есть?

Фатых наклонил туловище вперед, не двигаясь с места, и придвинул к костру палки. Я видел его тонкую талию, широкие плечи, чуть приподнятые, как у модников, подкладывающих вату в пиджак, и смуглый затылок, покрытый курпейчатым смолянком, как у молодого барашка.

— Ты бы лучше нас разобрался?

— Не моя забота, — сказал Фатых, не поворачиваясь. — Каждый отвечает за свое. У русских сердца откованы из железа, — повторил он и встал, огонь освещал его ноги с тонкими икрами в черных из эсэсовской шинели обмотках.

Автомат лежал на земле. Будто бы вспомнив что-то неотложное, Фатых быстро нагнулся, поднял автомат и быстро пошел меж деревьев.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ДОЧЬ КОМАНДИРА

Отец вернулся с совещания по координации действий крымских партизанских соединений в связи с предстоящим возобновлением общего наступления и привез много нового и интересного.

Самолет «По-2», на котором прилетел отец, ночью же протарахтел на север.

Отец сидел на траве, подложив под себя подушку мягкого татарского седла. Я тихо подошел к нему. Мне хотелось приласкать его, сказать, как я ждал его, как беспокоился и с каким сыновним чувством благодарности и признательности я наблюдаю всю его самоотверженную работу в партизанском лесу.

— Батя, — сказал я и присел возле него.

Он поднял на меня мутные глаза с набухшими от бессонницы и ветров веками.

Отец устало поднялся и ушел спать в шалаш. Я снял с него сапоги, повесил сушить портянки на елочку, осмотрел его оружие, смазал. Не хотелось спать. Я прилег недалеко от отца и думал о матери, об Аняте.

Отец спал на спине, похрапывал. Он был весь седой и во сне казался мне беспомощным, усталым. Слишком много перетаскал он больших тяжестей на своих плечах. Поддержка моя была все же так незначительна, ничтожна. Но что я мог сделать?

В шалаш вошел Шувалов, вызвал меня:

— Беда, товарищ капитан. Командир сидит уже два часа над проклятой бумагой...

— Какой бумагой?

— Кто-то из предателей подметнул ему письмо. Вы знаете Мерельбана, товарищ капитан. Он пишет: если партизаны не уйдут из этого леса, если их не уведет командир Лелюков, дочка его будет повешена на площади Солхата.

Мы знали трагедию своего командира. Его дочь была захвачена вместе с матерью еще в 1942 году в Феодосии и заключена в тюрьму. Когда Баширов делал налет на солхатскую тюрьму, он надеялся найти там семью Лелюкова, но ее там не оказалось. В то время она была в Зуе, куда ее предусмотрительно перевез Мерельбан.

— Что же делает Лелюков?

— Сидит над письмом, думает. То слезы у него, то рассмеется. Ведь сами понимаете: уйти из леса нельзя. А не уйдем — девочку...

Я пошел к Лелюкову. Он не обернулся на мои шаги и перевернул бумагу, лежавшую перед ним. Его лицо было помято, возле губ глубоко врезались две морщины и резко очертили его рот.

— Я знаю все, Лелюков! Мне сказал Шувалов. Какое же ты принимаешь решение?

— Разве здесь может быть два решения? — спросил он меня. — Здесь может быть только одно решение.

— Я понимаю...

— Останешься жив, Расскажи, Расскажи молодежи, что среди них могла бы присутствовать девушка-белокурка, дочь твоего бывшего командира и товарища, — Лелюков сжал бумагу в кулаке, встал.

Письмо Мерельбана обсуждалось на объединенном партийном и комсомольском собрании. Вопрос был необычен, и мы решили его обдумать сообща. Никто, ко-

нечно, не думал о выполнении ультиматума Мерельбана.

На собрании поднимались коммунисты и комсомольцы Молодежного отряда, грузины из отряда «Сулико», крестьянские парни Колхозного отряда — виноградари из долин Судака и Алушты. Эти горячие головы требовали немедленных боевых действий против Солхата. Они готовы были отдать свои жизни во имя короткого пламенного душевного порыва. И, слушая их выступления, я вспоминал блиндаж под Сталинградом, мою горячую вспышку после смерти Виктора и отрезвляющие слова Феди Шапкина и полковника Медынцева. Теперь я понимал, какой вред могут принести иногда хорошие, но не обузданные разумом чувства.

— Как ты думаешь, Сергей? — спросил меня отец.

— Выходить сейчас нельзя, отец. Враги ждут этого... Зачем же нам поступать так, как указывает враг?

Секретарь партийной организации, бывший работник одного из сельских райкомов Крыма, предоставил слово комиссару.

Отец сказал, что рисковать в последнюю минуту, не дожидаясь весеннего наступления советских войск, неблагоразумно и партийная организация пойти на это не может.

Тогда Семилетов предложил другое решение: провести операцию по спасению дочки Лелюкова малыми силами, использовав всего один взвод.

Лелюков сидел в стороне и молчал. Теперь он потребовал у Семилетова уточнить свое предложение. Семилетов сказал, что он сам возьмется за выполнение задания и уверен в успехе.

Собрание приняло решение поручить спасение дочки Лелюкова члену партии Семилетову.

После собрания Семилетов явился в штаб и доложил нам план операции.

«Казнь состоится в четыре часа на главной площади Солхата, у развалин древней мечети султана Бибарса — государя Египта из кипчаков», — так писал Мерельбан.

Семилетов предлагал въехать в город в румынской форме, которая была у нас на складах для оперативных

целей, и постараться на месте найти пути спасения девочки.

Мы предоставили Семилетову свободу действий.

Вскоре Семилетов вышел из склада, одетый с исключительной тщательностью в мундир румынского кавалерийского офицера. В кармане его лежали документы на имя одного из офицеров 6-й румынской королевской кавалерийской дивизии, которой командовал генерал-майор Теодорини.

Семилетов любил выполнять опасные задания, и вся эта затея доставляла ему удовольствие. Он презирал врага, знал, где его слабые струны, и, главное, Семилетов был находчив и храбр.

Семилетов брал с собой по личному отбору девять человек. Его отряд был также одет в румынскую трофейную форму.

Все десять человек уселись на крупных лошадях, подседланных новенькими румынскими седлами. Семилетов отдал команду, прищипорил блестящими офицерскими шпорами своего вороного жеребца, и отряд скрылся в лесу.

После ухода кавалерийского отряда Семилетова в лагере стихло: выжидали. Может быть, стихло еще потому, что много бойцов разошлось по боевому расписанию, так как пришлось сгустить заставы, чтобы никто не мог предупредить противника об операции.

На кромку партизанского района подтянулась вторая бригада; над ней до возвращения Семилетова командование принял Кожанов.

Мы с Люсей сидели в моем шалаше и молчали.

Я смотрел на Люсю, и мне было хорошо с ней.

Она попрежнему была скромна, строга и стеснялась своих чувств. Вероятно, так всегда бывает со всеми искренне влюбленными молодыми людьми.

В обстановке партизанского лагеря, где все на виду, все обнажено, я бережно хранил свои возвышенные чувства к Люсе, которые я питал к ней еще с детства. Ореол не рассеивался, а еще более сиял вокруг ее светлокосой головки. Думы о ней не покидали меня и приносили мне радость.

При свиданиях с Люсей, а они были коротки, я утрачивал способность говорить и забывал все слова, кото-

рые приготовил для нее. Мне хотелось рассказать ей подробно и горячо о своих чувствах, но при встрече я больше молчал или говорил о вещах посторонних. Я боялся, что какая-нибудь неудачная фраза подведет меня и Люся обиженно встанет, как тогда, под алюминевыми тополями Фанагорийки, качнет плечиками и уйдет от меня со своими растопыренными косичками.

Но если говорить правду, и я и она не нуждались в словах. Невысказанное мы дополняли красноречивыми взглядами.

Как часто, ложась с автоматом в цепь, слушая вой приближающейся мины и не зная, что произойдет в следующий миг, я вызывал к себе образ любимой! В непроглядной тьме ночей, когда не видать даже пальцев вытянутой руки, я видел светлосиреневые цветочки ее милых глаз, как тогда, в яблоневом саду, при прощании с юностью.

Такой молчаливый разговор происходил и сейчас между нами, и на сердце было спокойно, хотя все томилось в ожидании и часовые ходили на цыпочках у шатра Лелюкова, как возле тяжело больного.

В землянку вошел Яша, попросил не обращать на него внимания и принялся что-то писать, изредка, не отрывая нахмуренных глаз от бумаги, покусывал кончик карандаша, пришептывал губами.

Молодежный отряд по боевому расписанию дежурил сейчас по охране центрального лагеря и штаба. Я понял, что у Яши нашлось время выгадать несколько свободных минут, чтобы записать в оперативный дневник последние события.

— На площади, у развалин мечети... как ее?—спросил неожиданно Яша. — Надо записать: может быть, историю отряда когда-нибудь сочиним... — у Якова появились извиняющиеся нотки в голосе. — Развалины мечети султана Барбариса, что ли?

— Бибарса, — сказал я.

— Запишем Бибарса, — сказал Яков и с ожесточением нажал карандаш, сломал его, потянулся к поясу за ножиком, и тут его вызвал караульный начальник.

Мы снова остались одни, до тех пор, пока в лес не пришли сумерки, а сумерки не сгустились в темноту и небо не расщедрилось звездами.

По телефону передали, что Семилетов прошел передовую партизанскую заставу, возвращается в лагерь.

— Потери? — спросил я.

— Неизвестно, товарищ начальник. Прошел весь отряд, на конях.

Расставшись с Люсей, я зашел к Лелюкову, которому уже доложили о возвращении отряда из операции.

Лелюков чуть-чуть скосил в мою сторону глаза, проследил до тех пор, пока я не уселся возле отца на лавке. Лелюков дотла растирал папиросный окурок в пальцах.

Мы прождали возвращения Семилетова около часа. Горная дорога была непривычна и неудобна строевым трофейным коням.

И вот, наконец, мы услышали стук копыт, ржание лошадей, веселые крики партизан. Люди побежали к дороге. Из леса на перепавшем коне, в расстегнутом румынском мундире, без берета, с засунутым за пояс кольтром появился Семилетов. Вслед за ним ехали Борис Кариотти, Шувалов и Василь. Позади — Саща Редутов и еще трое бойцов из Молодежного отряда. Семилетов спрыгнул с седла возле Лелюкова и, не выпуская поводьев из рук, весело крикнул:

— Задание выполнено!

На опушку леса выехал партизан, он держал в руках что-то, закутанное в одеяло.

Лелюков медленными шагами приближался к спешившимся партизанам.

Из глаз моего отца текли слезы, крупные, тяжелые. Нам было и радостно и тяжело. В этот момент и я и отец думали об Анюте.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПАРОЛЬНАЯ ПЕСНЯ АНЮТЫ

— Как же вам удалось все так ловко обстричь? — расспрашивал я Сашу Редутова.

— Каменная выдержка Семилетова и почти сказочная осведомленность Кариотти... Через Солхат проезжает столько разных людей, что контрольный пост махнул рукой на свои обязанности и предпочел проверке

документов игру в кости. Вначале я воображал: повторим Долохова и Петю Ростова. Так же будет бросаться мне кровь в голову, так же я буду хвататься за пистолет, когда черная фигура часового на мосту — обязательно на мосту — крикнет: «Пароль!» Я не ожидал, что Семилетов произнесет на чистейшем немецком: «Скажите, здесь ли полковник Мерельбан?» И, откровенно говоря, ожидал потасовки. Но все пронесло. На нас только подозрительно глянули, и то лишь потому, что мы слишком были шикарны для королевской кавалерии 6-й дивизии. В другой раз нельзя одеваться прямо с трофейного склада.

И не получилось у нас подобие вылазки Олеко Дундича и Вадима Петровича Рощина, помнишь, по «Хождению по мукам»? Хотя у меня тоже была гнедая кобыла со стриженной гривой, а Семилетов подпрыгивал на вороном жеребце, который мешал ему своим темпераментом. В общем, Сергей, все по-другому.

Меня, как архитектора, давно привлекали древние развалины мечети султана Бибарса, государя Египта, но мы к ним-то так и не попали. Операцию решили хитростью, Сергей.

Кариотти оставил нас возле винницы на базаре, а сам ушел. Это было, если хочешь точно, в три ноль ноль, а в тринадцать он притащил напуганную до смерти девочку, которая решила, что ее ведут вешать.

Мы завернули девочку в одеяло, предварительно успокоив ее, и ускакали к заставам Маслакова, а от туда сюда...

— А сбор у мечети?

— Туда шел народ. Но, как видишь, спектакль не удался. А Зиновья снова с отцом. Это очень трогательно, Сережа. Размечаешься, клубочек к горлу подкатит, встрянешься.

— А каков Кариотти, а?

— Молодец Кариотти! Он, оказывается, из Баллаклавь, арнаут — вероятно, один из потомков греческих корсаров, переселенных туда после Наваринского боя.

Саша должен был уходить на заставу, сидел босой, а его постолы раскисали в корытце. Закончив рассказ, он обернул ноги портянкой из немецкой шинели, выта-

щил постолы и начал прилаживать их к ногам, насвистывая песенку Анюты.

— Опять эта песня, Саша? Не надо.

Саша поднял покрасневшие от усталости глаза:

— Такой въедливый мотив. Кариотти насвистывал ее, уходя за девчушкой Лелюкова...

Мысль о сестре преследовала меня.

С отцом мы успели переговорить обо всем. Все тайники души, казалось, мы раскрыли друг другу. Но избегали говорить об одном — об Анюте.

Я знал, что Анюта находится на территории врага и работает во фронтовом передвижном театре, обслуживающем вражеские гарнизоны, расположенные вдоль Феодосийского шоссе.

Моя сестра не выдержала испытаний. Это было позорно, и этому не хотелось верить. Никто из партизанских вожakov не сумел рассеять моих подозрений, они молчали, и это молчание было мучительно.

Когда я затевал разговор об Анюте с Лелюковым, он либо молчал, либо менял тему разговора.

Отец замкнулся, и казалось, что Анюта для него давно перестала существовать.

Единственно, с кем я откровенно мог делиться своими тревогами, — это с Люсей.

Она ходила в шароварах, своими руками сшитых из парашютной «гондолы», в буйволочных башмаках, стянутых у щиколоток ремешком, в защитной куртке с мужскими карманами — такие куртки сбросили нам самолеты, — в синем берете со звездочкой, прикрепленной на кусок красной бархатки, аккуратно обшитой по краям, чтобы не крошилась материя. Люся носила легкий пояс, охватывающий с милым изяществом ее узкую, девичью талию. На поясе висели небольшой пистолет, кожаный мешочек с патронами и подаренный ей Фатыхом кинжальчик с каким-то изречением из корана на лезвии.

Люся отрастила волосы и косами окручивала голову так, что казалось, что она носит шапочку из светлого меха. Попрежнему, как цветы в степном майском травостое, светились ее глаза, такие милые и лучистые, что все дурное забывалось под их ласковым теплом.

— Я не верю, чтобы Анюта могла предать Родину, — убежденно сказала Люся. — Не такая она.

— Почему ты так уверена?

— Интуитивно.

Я горько улыбнулся. В нашем строгом деле интуитивным чувствам не придавалось значения.

— Еще есть один мотив моей уверенности...

— Мы с тобой ее попрежнему любим, — с шутливой горечью перебил я ее, — и не хотим выбросить из своего сердца, а поэтому она на самом деле хорошая, верная, преданная, так как не могут же ошибаться наши сердца. Ты это хотела сказать мне, Люся?

— И это — не самое главное. Почему песня Анюты стала здесь паролем советских людей?

Эта мысль приходила и мне. Я помню, как при переходе от Чабановки до Джейлявы я впервые услышал песню здесь, в крымском лесу, от Якова. На мой вопрос он ответил:

— Песенка «Анюта» — это наш пароль, конечно, неофициальный. Парольная песня.

— Парольная песня?

— Ну, я так называю ее, и другие. Помнишь, в «Уленшпигеле» восставшие гезы сообщались между собой песней жаворонка. У нас песней жаворонка стала «Анюта».

Яков долго и взволнованно говорил мне об Анюте, и тогда я почувствовал, что в тревоге о сестре я не одинок.

После слов Люси ко мне пришла опять робкая надежда, что песня, которую так любила моя сестра, не случайно появилась на партизанских тропах. С этой песней приближались жители к отрядам, к боевым дозорам, ее насвистывали и на тайных тропах, что служило сигналом: идут свои, а не чужие.

И сейчас ее напевал Коля, пришедший за мной.

— Командир вызывает вас к себе, товарищ капитан, — сказал он.

Лелюков лежал на ковре, брошенном на багровые ветви граба, и грыз тыквенные семечки. В углу на помосте спала дочь Лелюкова и улыбалась во сне.

— Катерина с ней возится, — сказал Лелюков. — Поправляется.

Лелюков протянул руку, насыпал и мне семечек.

— Ты просился побывать в Солхате?

— Да.

— Разрешаю. Задачи, которые ты поставил перед собой, подтверждаю. Первое — подходы к Солхату. Они, слышать, заложили минные поля — надо проверить. Посмотреть, увеличился ли гарнизон и каково настроение жителей, русских. Если нападём, — помогут? Имей в виду, Сергей, — Лелюков перешел на дружеский тон, — никто тебя не неволит итти. Тебе нужно?

— Нужно.

— Тогда разрешаю и ничего не спрашиваю... Пойдешь только с Кариотти. Он скажет, когда это лучше сделать. Ты доверяешь ему?

— Доверяю.

— После случая с Зиной, — Лелюков указал глазами на дочку, — я тоже в него верю. Спасибо ему...

Борис Кариотти был тем самым разведчиком, которого знали на Большой земле под кличкой Ривера. Коля Шувалов первый назвал так Бориса Кариотти, вспомнив об одном из героев Джека Лондона. И в этой кличке был особый смысл. Так же, как и Филиппе Ривера, Борис Кариотти на первый взгляд производил неблагоприятное впечатление. Он был молчалив, строг в своих коротких и веских высказываниях. На губах его редко можно было увидеть улыбку, в глазах — веселье. Борис был грек из Балаклавы. Что-то нехорошее случилось с его родителями: кажется, они признали оккупантов. И он, молодой человек, комсомолец, теперь был полон холодной, сосредоточенной злобы к врагам.

Кариотти отлично знал свое дело разведчика, имел явки и друзей и выходил целым и невредимым из самых отчаянных операций.

Коля Шувалов почти неотрывно находился с Кариотти, став как бы его двойником, и все же, хотя и не находя никаких улик, с нескрываемой подозрительностью относился к нему. Кариотти видел все и страдал гордо и молчаливо.

Никогда не нужно было Борису повторять дважды приказание. Его поведение не давало поводов для со-

мнений, но Коле казалось, что это лишь тонкая хитрость.

Кариотти был так же похож на грека, как и на татарина. То же ловкое, сухое тело, лишенное жировых покровов, черные волосы, жесткие и прямые, длинный нос, тонкие губы, острое лицо и природная смуглость кожи.

Приход Кариотти в лес не со стороны степи, а с южного побережья, куда щупальцы лелюковской разведки не достигали, был обставлен какой-то тайной. Кариотти явился в лес не один, а привел с собой двух связанных фашистов: обер-лейтенанта и штурмшарфюрера, которых, по его словам, он захватил, напав на их машину.

Приход Кариотти с двумя пленными совпал с операцией Мерельбана против Лелюкова. Несмотря на то, что Кариотти доказывал необходимость переброски на Большую землю пленных, располагавших, по его мнению, важными сведениями, необходимыми нашей разведке, Семилетов расстрелял их.

Кариотти, возможно, обладал дурным характером. Он, безусловно, понимал причины недоверия к нему и, может быть, прощал это, но переносил ненависть на татар, с которыми его объединяли. Он держался замкнуто. И мои попытки завести с ним душевные беседы кончались впустую. Как бы то ни было, но пройти в Солхат и выйти оттуда благополучно лучше всего было с помощью этого потомка греческих корсаров.

В назначенное время он появился возле меня, бегло осмотрел мою одежду, составленную по его предложению. Я надел пиджак, серенькие брюки, ботинки, кепку и синюю шелковую рубашу навыпуск, подпоясанную наборным поясом. Документами, которыми я был снабжен, устанавливалось, что я принадлежу к группе рабочих, занятых устройством стационарных кладбищ, которые с парадной пышностью создавали гитлеровцы вдоль Феодосийского шоссе.

— Оружие? — спросил Кариотти.

— Нет.

— Хорошо!

Попрощавшись с отцом и выйдя от него, я столкнулся с Шуваловым. Он быстро изложил мне свои

подозрения по поводу Кариотти. Я его выслушал, но когда Шувалов предложил мне взять его с собой, решительно отказал. Все же Шувалов следовал за нами до самой опушки леса, прячась за стволами деревьев.

Кариотти, будто не замечая Шувалова, выискивал ромашки и какие-то мелкие красные цветочки, на ходу рывал их, пока в его руках не оказался пышный букет.

Мы попали на шоссе к возвращению стада.

Шедшая по шоссе легковая машина с откинутым тентом вдруг сбавила скорость, и офицер в куртке с черным воротом, сидевший впереди, поднял очки-пылевики, чтобы рассмотреть нас.

Когда машина поровнялась с нами, Борис выкрикнул какое-то приветствие на татарском языке, поднял руку с фашистским приветствием и второй рукой протянул цветы. Офицер ответил на приветствие Кариотти, опустил на глаза очки, и машина помчалась дальше.

Борис отбросил от себя цветы.

— Они так любят, — как будто извиняясь, сказал он.

Мы не пошли в Солхат напрямую по шоссе, пересекавшему город, а направились вслед стаду. Два пастуха, старые низкорослые татары, в рваной одежде и вооруженные винтовками, согнали коров с обочины шоссе. Коровы с мычанием пошли быстрее к своим домам по многочисленным тропкам, выбитым в молодых полях и молочайниках выгона.

На боковых улочках города никто не обратил на нас внимания. Запыленные, в неприглядной одежде, мы не возбуждали подозрения. Караулы скрывались в садах. На окраинах, обращенных к лесу, были вырыты траншеи с ходами сообщения, ведущими к домам, использованным как блокгаузы опорных пунктов. В фундаменте домов были пробиты амбразуры, а во дворах под миндальными и абрикосовыми деревьями, покрытыми розоватыми цветами, виднелись танки, накрытые камуфлированным брезентом, умело нацеленные для уличного боя.

Татарки держались по-хозяйски: ходили группами в своих национальных костюмах, громко переговаривались между собой, курили. На всем пути я заметил

только нескольких русских женщин, проходивших в одиночку, в оборванном платье, зачастую босиком, не отвечавших на презрительные выкрики татарок. У калиток сидели старики в бараньих шапках и перебирали жилистыми коричневыми руками четки из янтаря.

Празднично разряженные молодые татарки в шелках и цветной обуви и молодые татары в смешанной немецкой форме, вооруженные с ног до головы, бродили по улицам, подобострастно приветствуя немцев — и солдат и офицеров, которые неохотно и редко отвечали на их приветствия.

— Здесь не только солхатские, — сказал Кариотти, — сюда прибыли татары и из Карасубазара, и из Зуи, и даже из Бахчисарая. В Солхате никогда не было так много татар...

Лучшая часть города прилегала к небольшой горной речушке, журчавшей по мелким камням. Верхняя часть поднималась террасами к безлесной горе, где в большинстве жили русские, армяне и болгары. По всему городу почти не было обычных для крымских сел горных домов с плоскими крышами, а большинство построек было обычного городского типа. Обилие камня-ракушечника помогало возводить толстые стены, а сильные ветры заставляли предохранять кровлю, используя тяжелую, гнутую черепицу, скрепленную цементными растворами. Ограды также были сложены из дикого, непиленого камня-сырца, что превращало каждый двор в крепость и создавало удобный для обороны «баррикадный профиль». Поэтому при штурме города нельзя было ввязываться в уличные бои.

В городе было много фруктовых садов, щедро цвели деревья. Розовато-фиолетовыми цветами были обсыпаны миндали, и белыми, только что распустившимися цветами — яблони. Жужжали пчелы, и между ветвей, покрытых клейкой, молодой листвой, летали воробьиные стайки.

Кариотти привел меня к базару, где выгодно было переждать время до вечера, затерявшись в толпе. Остановились возле винной лавки, куда подъехали на взмыленных лошадях румынские кавалеристы. Разведчики сообщали о разложении в румынских частях,

о нежелании их продолжать бесцельную оборону Крыма, в то время как война приблизилась к границам их государства.

Кавалеристы шумно спешили возле винницы, оставили коноводов с лошадьми и гурьбой зашли в лавку. Худой старый татарин с бородой, окрашенной хной, недружелюбно оглядел румын из-под лохматых бровей и принялся подсасывать резиновым шлангом вино из бочки. Вот он отнял губы от шланга, вытер их полой бешмета. Мутные струйки вина потекли в стеклянную бутылку. Румыны закричали.

Кариотти шепнул мне:

— Они требуют от него, чтобы он наливал вино прямо в кружки.

Татарин не обращал внимания на требование румын. Молодой черноусый кавалерист выхватил из рук татарина шланг. Татарин выскочил из лавки, заорал. К виннице подлетел мотоцикл. На прицепе сидел полицейский ефрейтор. Татарин бросился к нему и, усиленно жестикулируя, объяснялся с немцем. Тот почти не слушал его, с полицейской наблюдательностью приценивался к обстановке. Не обращая внимания на татарина, передвинув кобуру с револьвером на живот, ефрейтор перенес ногу через борт, ловко выпрыгнул из коляски, вошел в лавку. Румыны закричали, обступили немца. Из обрывков доносившегося из лавки громкого спора Кариотти узнал, что румыны были обижены пренебрежительным отношением к ним торговца, а за вино они заплатят, сколько нужно.

Крики усилились. Через несколько минут полицейский выскочил из лавки, прыгнул в коляску, и мотоцикл помчался, поднимая пыль. Румыны выскочили из лавки, стягивая карабины.

— Надо уходить, — посоветовал Кариотти, — последнее время драки у них часто. Румыны ненавидят немцев, а те румын.

Вечером, когда можно было держаться свободней, я приступил к выполнению своего плана — увидеть сестру.

Мы прошли в театр — длинное здание с дымным фойе, где продавались вино и чебуреки. В зрительном зале стулья стояли только в первых рядах, а остальное

место занимали длинные со спинками скамьи, выкрашенные так же, как и немецкие танки.

Среди зрителей было мало татар, а больше русских — мальчишек и девушек-подростков. Были здесь армяне, пришедшие в театр всей семьей, с кульками прозизии, и несколько пожилых русских, одетых, несмотря на духоту, в глухие сюртуки и старомодные платья.

Низкая сцена была обвита яблоневыми ветвями с цветными фонарями по бокам, рампа освещалась электрическими лампами неполного накала.

Первые ряды пока были почти пусты, если не считать двух немецких офицеров в полевой форме, куривших сигареты и не обращавших никакого внимания на остальную публику. На стене висело объявление: «Курят только немцы».

Мы сели на крайние места предпоследнего ряда, ближе к выходу.

На стенах яркими красками были воспроизведены картинки из пошлых немецких юмористических журналов, выпускаемых для армии, — полураздетые женщины с острыми розовыми коготками и молодые люди с сальными улыбками.

А где-то там, за черным занавесом, разрисованным фашистскими знаками и белыми орлами, находилась Аня.

Через боковую дверь, шумно разговаривая, вошла в зал группа немецких офицеров, а впереди — высокий, костистый, с длинной прямой спиной, с изнеженным бескровным лицом.

— Это Мерельбан, — шепнул Кариотти.

Офицеры усьелись, Мерельбан приподнял пенсне и близко к глазам поднес программу.

Он сидел во втором ряду, выставив в проход не умещавшиеся между рядами стульев длинные ноги в горных поношенных сапогах на толстой с шипами подошве и с футляром на голенище для кинжальчика.

— Этот кинжал у него отравлен, — шепнул Кариотти, пристально глядя на меня.

Вначале шумно и долго плясали и пели татары, наряженные в кавказские черкески, в мягких сапогах — чувяках.

Во втором отделении ведущий — молодой человек

с нездоровым цветом лица, — угодливо поклонившись немецким офицерам, объявил вокальный номер, назвав неизвестную мне русскую фамилию. В зале захлопали.

Сукна боковых кулис зашевелились, и на сцену вышла... Анюта. Теперь я не видел ничего, кроме ее лица.

Анюта медленно, чуть поклонившись зрителям и смотря куда-то вверх, подошла к роялю. Она вынула носовой платочек, как-то нервно, с подрагиванием пальцев прикоснулась к губам и невесело улыбнулась.

На Анюте было короткое платьице, такие платья она любила. Да, это была она, моя сестра, подруга моих детских игр, Аня-пионерка, о ней за несколько часов перед смертью думал и мечтал мой верный друг Виктор Нехода, сраженный осколком германского снаряда, выпущенного руками людей, занимавших сейчас пять первых рядов этого зрительного зала. И это темное платьице с белым воротничком, с длинными рукавами и туфельки на невысоком каблуке с серебряными пряжками как-то примирили меня с ней.

Губы Анюты слегка тронуты краской, и потому видны бледные полоски там, где не захватила помада. Локоны лежали на плечах, перехваченные от затылка идущей ко лбу узенькой беленькой ленточкой. На пальце левой руки сверкало кольцо.

Самые разнообразные чувства кипели в моей душе — так близко видеть возле себя свою родную сестру и ни одним движением не выдавать себя!

Что заставило ее выйти на эту сцену, что заставило ее? Где те чудовищные причины, которые довели ее до такого состояния? Мне стыдно было и за нее, и за себя, и за свою семью...

Она запела какую-то неизвестную мне немецкую песенку. Слов я не понимал, но догадывался о смысле их по похотливым улыбкам немецких офицеров.

Сколько дней я таил ее образ, представлял ее себе... И вот она стоит побледневшая, значит еще не потеряла стыда, с накрашенными губами, чтобы скрыть их бледность. Стоит и поет немецкую песенку только пяти первым рядам, а позади в гробовом молчании слушают эту песню люди, молодежь, которые, так же как и Анюта, совсем недавно трубили в горны, ходили под звук пио-

нерского барабана, клялись «честным ленинским словом»...

Как хорошо, Анюта, что тебя не видит наш отец, принесший Родине свой опыт, свое мужественное сердце и прекрасную мудрость солдата и патриота. Пусть я один вижу несмываемый позор нашей семьи... хотя я уже почти ничего не видел от волнения, от обуревавших меня чувств и мыслей. Все кипело и клокотало во мне, и только огромным усилием воли я заставлял себя сдержаться, чтобы не натворить чего-либо непоправимого.

У меня помутилось в глазах. Мне хотелось кричать.

Кариотти толкнул меня — я очнулся.

Из задних рядов мальчишечьи и девичьи голоса громко закричали:

— Анюту! Анюту! Анюту!

Анюта улыбнулась, кивнула головой пианистке и запела.

Уже при первых словах песни люди на скамьях зашумели, заволновались. Анюта сделала несколько шагов ближе к рампе и продолжала свою песню:

Как-то ранней весной лейтенант молодой
Взял корзину цветов в магазине.
Взором, полным огня, он взглянул на меня
И унес мое сердце в корзине...

Какая-то девушка, положив бумажку на спинку скамьи, шмурыгая, чтобы сдержать слезы, записывала слова «парольной песни».

Без любимого я сама не своя,
Так томительно время проходит.
Я не знаю причин, только к нам в магазин
Молодой лейтенант не заходит!

Анюта приложила руки к груди и, казалось, разыскивала лейтенанта в толпе, позади, позади пяти первых немецких рядов. Сколько тоски, сколько страшной порывистой мольбы было во всем ее виде, в движениях ее рук, тела, в лихорадочном блеске глаз... Она сделала паузу, захлебнулась.

Анюта умолкла, и в зрительном зале раздались крики, аплодисменты. Полевые цветы, ветви цветущих

вересковым цветом миндалей и яблонь полетели на сцену.

Я хлопал в ладоши так же иступленно, как все. Мне хотелось, чтобы сестра взглянула на меня.

И мне показалось, что Анюта увидела меня, вздрогнула и побледнела, и я крикнул громко, уже не обращая ни на кого внимания:

— Анюта!

Кариотти с такой силой ударил меня под колени, что я невольно присел, сжал меня сзади, как в клещи, и почти вынес через толпу, которая еще кричала, топала.

К театру с треском подкатывали патрульные мотоциклы. Залились свистки. Высекая искры подковами, проскакал конный отряд.

Когда мы вошли в лес, Кариотти сказал:

— Вы распустились, и я мог бы вас... В случае худого все легло бы на меня.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ТАК ГОТОВИЛАСЬ ТЕРРИТОРИЯ

Агентурная разведка сообщала, что Анюту видели с Мерельбаном в разных местах, вплоть до штабов генерала Альмендингера, командовавшего керченской группировкой, и генерала Шваба, командовавшего группой румынских войск. Подпольщики-коммунисты настаивали на изоляции Анюты.

Я докладывал все без утайки Лелюкову, и он, казалось, не придавал значения сведениям об Анюте и относился ко мне с прежним доверием.

Мы вплотную приступили к основной нашей задаче — подготовке территории, захваченной противником, к развертыванию на ней активных действий регулярных соединений нашей армии.

В конце марта возле горного ключа, куда наши девушки ходили по воду, спустился на парашюте Дульник. С ним приземлился радист, получивший закалку у белорусских партизан, присланный в помощь Асе. Радиосвязь в наступлении должна была работать бес-

перебойно, так как партизаны поступали в оперативное подчинение командующему фронтом.

Дульник опустился возле горного ключа так легко, будто спрыгнул на ходу с трамвая.

Он привез пакет с заданием разведать данные о дислокации вражеских войск, их политико-моральном состоянии, вооружении, аэродромах, противодесантной обороне.

Я был рад Дульнику. Мы собрались в тот же вечер. Это был сбор старых друзей. Дульник признался, что он прыгнул с неба ради Камелии. И Камелия не скрывала, что ее трогает привязанность Дульника, за его шутками она видела настоящую, целомудренную любовь.

— Вы так редко можете быть вместе с нами, — сказала она грустно. — Когда это все кончится?..

— Наступит время, — горячо сказал Дульник, — клянусь вам, что такое время наступит! — когда передвигаться между любыми пунктами Советского Союза можно будет просто по пассажирскому билету, сходить на землю по трапу с чемоданом в руках, а не бросаться вниз головой глухой ночью с мешком за спиной. Вот будет время!

Саша принялся развивать перед нами фантастическую картину послевоенного мира. Он говорил о новых мостах, которые будут переброшены через реки взамен взорванных нами, о чудесных площадях на тех местах, где падали, сражаясь, наши люди, о домах из стекла, бетона и нержавеющей стали.

На заре мы увидели чудесную картину утреннего восхода. Не шелохнувшись ни одним недавно рожденным листом, стояли леса. Над скалами текли золотые потоки. И над горами, как символ нашей победы, летели наши самолеты с радостным гулом.

— На Севастополь пошли!

Наконец все разошлись, и я остался один. Фатых, словно следивший за мной, очутился со мною рядом.

Вчера он возвратился с удачной операции, и Семилетов докладывал мне, что Фатых вел себя хорошо.

Будто опьяневший от удачи и ласковых слов, Фатых слонялся по лагерю и рассказывал о себе.

Фатых стоял возле меня и следил за Люсей, пока она совершенно не исчезла из глаз.

— Ты не пошел ее провожать? — спросил Фатых.

— Неудобно...

— Неудобно бросать девушку одну! — сказал он укоризненно. — Ты мало отдаешь ей своего времени. А ты ее любишь? Ты долго сумеешь ее любить?

— Почему ты меня спрашиваешь об этом? — усилием воли я сдержал свой гнев. — Кто дал тебе право задавать такие вопросы?

— Ты выйдешь из леса, — сказал Фатых, — тебе будет везде почет. Ты уедешь отсюда, из Крыма. Ты гвардии капитан, а там, на воле, ты дослужишься далеко. Прибавится много славы, и много девушек будут искать тебя, и ты можешь измениться. А Луся не такая. Ты полюбил ее девочкой, а взрослой она стала здесь, в лесу, в крымском лесу. Она привыкла здесь и огрубела. Она не сможет правильно носить городские платья. Видишь, как она носит шаровары, это мода татар, и она перетягивает свою талию кушаком, это тоже наша мода. Я подарил ей кушак...

— Так это ты подарил ей кушак?

Фатых беззвучно рассмеялся:

— Она тебе не призналась? Не ругай ее. Она боялась, а кушак ей понравился.

— А зачем ты говоришь со мной о Люсе? Ты что, хотел сделать мне больно?

— Нет, — Фатых отрицательно покачал головой, — просто я хотел с тобой поговорить, как мужчина с женщиной. Мне нравится твоя Луся, мне очень нравится она...

— Как можно, Фатых? Мне говорили, что ты женат и у тебя есть дети.

— Женат? — Фатых присел на корточки, оперся об автомат. — Да, я женат. У меня есть дети. Жена у меня — русская женщина... Но если женатый человек теряет сон от другой женщины и если жена ему далека и душой и телом, разве он не может поступать так?

— Нет. Так поступают плохие люди.

— Слова придумали люди. Если человек не любит жену и живет с ней, это разве не плохо?.. А девушку, Сергей, легко заставить подчиниться себе... Надо быть больше с ней, надо сиять глазами, когда видишь ее, надо целовать след, где она прошла, но чтобы она ви-

дела это, надо дарить ей маленькие вещи, и, смотря на подарок, она будет видеть тебя. Крепость берут не только храбрые, но и упрямые люди... — Фатых pokrучивал свой черный ус, пока он не стал острым, как игла.

— Прекратим этот разговор, — сказал я. — Ты говорил со своим народом?

— Говорил, — сказал он тихо. — Трудно с ним говорить. Что я могу сделать один?

— Почему тебе трудно говорить с ними? Почему я могу подойти к любому костру, к любому отряду, в любой шалаш и найду русские слова для своего народа, а почему тебе трудно?

— Трудно, — уклончиво ответил Фатых. — Потому и трудно. — Он повернулся ко мне лицом. — Вчера один сказал мне... хотя неважно, что сказал мне один глупый татарин...

— Что же он сказал?

— Сюда придут турки, сказал он.

— Эти планы мы знаем, немцы хотят привести их.

— Нет, не немцы, — сказал Фатых, — найдутся другие, — Фатых вдруг запел какую-то песню.

На песню подошли партизаны. Коля Шувалов опустился возле меня на траву, положил автомат у локтя и строго наблюдал за татаринном.

Фатых пел, казалось, не обращая внимания ни на кого, но я видел, что его полужакрытые глаза следят за нами. Может быть, ему было просто приятно, что его пришли слушать люди.

— Что ты поешь? — спросил Коля. — Какие слова в этой песне?

Фатых открыл глаза, улыбнулся:

— Это та песня, которую ты не писал для меня. Это песня горной птицы. Она летает и не знает, где сесть, — кругом огонь... Помнишь?

Я рассказал Лелюкову о разговоре с Фатыхом, и он выслушал, покачивая головой, будто это было ему давным-давно известно. Не то серьезно, не то в шутку сказал:

— Арестуй его, допроси.

— Зачем?

— Вот и я думаю, зачем? Через него просачиваются

к нам необходимые сведения, а если все будут язык держать за зубами, тебе же хуже, оперативный работник?

Мы продолжали заниматься важной работой по подготовке территории.

Подготовка территории для вторжения — вот основная задача, поставленная перед партизанами, а также передо мной, так как в штабе соединения мне непосредственно пришлось заниматься этими вопросами.

Нам легче было отвечать Большой земле, потому что за зиму мы многое успели разузнать, используя, кроме партизанской, и агентурную разведку.

Всякие разведывательные данные можно считать достоверными, если правда отыскана в центре сходящихся лучей, — таков был наш метод.

Только проверив все со скрупулезной тщательностью, путем перекрестных разведок, мы составляли донесение штабу фронта. В своей работе надо было во многом превосходить врага, этих бесконечных работников абвера, рассеянных армейской контрразведкой и ведомством Гимmlера с большой и ненужной щедростью. Нельзя было гнушаться ничем: растерянный от страха ездовой, пойманный в лесу с дровами, — хорошо! Он знал дороги, качество повозок и слухи, обычно раньше всех проникавшие в обозы. Попадался повар — тоже неплохо! Повара обязаны считать порции и видеть у своих котлов ежедневно живых людей. Попался кузнец — солдат-румын, — от него можно узнать о состоянии конского состава румынской дивизии, о всех мокрецах, гниющих стрелках копыт, о чесотке, что дополнительно подтверждало предыдущие данные об упадке дисциплины в румынской коннице и о снижении требования к солдату со стороны начальников.

Весной к нам в лагери усилился приток мирных жителей. Среди беженцев находились люди, которые ходили на принудительные фортификационные работы. Мы знали от них характер укреплений не только близких к нам участков, но и всех других — от самой Керчи до береговой противодесантной обороны.

Ничем нельзя было пренебрегать, хотя эта муравьиная работа не всегда встречала поддержку Кожанова. Переубеждать Кожанова было трудновато, так как он относился к числу офицеров, признававших тактику

прямого удара и не любивших копаться в вопросах политико-морального состояния противостоящего ему врага.

Переброшенная на полуостров Мариула немало помогла нам в разведке. Цыганка была вездесуща. Приводил ее ко мне всегда только Қариотти и тайно провозжал через наше охранение. Гаврилов не знал о приходе своей невесты в наш лагерь, и мы не говорили об этом ему.

Обычно Мариула приходила перед рассветом, сбрасывала небрежным и презрительным движением плеч плащ-палатку, которой прикрывал ее Қариотти, закуривала тонкую немецкую сигаретку и говорила: «Бери бумажку, офицерик молодой, пиши».

Мариула с каким-то особым наслаждением выполняла мои задания. «А что делает мой милый?» — блестя мелкими своими зубами, иногда спрашивала она о Гаврилове и, не ожидая ответа, тихо смеялась, рассказываясь всем телом и играя своими пальцами, унизианными колечками.

Мариулу видели контрольные разведчики в бухте Правата, у сторожевых постов противодесантной обороны, у озера Ашиголь и у озера Ачи, у Владиславовки, на Акмонайском перешейке, в Джанторах, близ южного побережья Сиваша, на соляных промыслах у Арабатской косы, на акмонайских позициях... Всюду звучал ее смех, звенела таборная песня, и в быстрых ее руках, унизианных кольцами, мелькали карты...

Территория, занятая противником, должна была быть освобождена, и наша работа помогала этому освобождению.

Приходилось все сведения, идущие из разных источников, тщательно перепроверять и обращать внимание на такие детали, которые обычно не всегда принимались во внимание партизанской боевой разведкой.

За каждой, даже небольшой неточностью в сведениях, передаваемых нами армии, стояли человеческие жизни, из-за малейшей ошибки могла пролиться лишняя кровь. Теперь мне приходилось лично опрашивать партизан, возвращавшихся из операций, и постепенно даже скептический Кожанов вынужден был отдать

должное этой кропотливой, будничной и внешне незаметной, но очень важной работе.

Сведения о противнике, группируемые теперь в нашем штабе, можно было считать исчерпывающими.

В восточной части Керченского полуострова, на местности с пересеченным рельефом, будто самой природой организованной для обороны, противник построил сильные укрепления под руководством командующего обороной Керченского полуострова командира 5-го армейского корпуса генерала Альмендингера, бывшего начальника отдела крепостных сооружений германского генерального штаба.

Противник строил свою оборону по принципу опорных пунктов, включенных в общую систему траншейной обороны.

Оборонительные рубежи переднего края от берега Азовского моря до Булганак состояли из траншей с примкнутыми к ним площадками для пулеметов и ячейками для стрелков, с проволочными заграждениями и спиралью «бруно».

— Неужели они так активно принялись укреплять акмонайские позиции? — спросил Кожанов. — Может, демонстрация? Они любят пустить пыль в глаза.

— Сейчас они интенсивно заканчивают строительство отсечных рубежей, прикрывающих направление на юг от Керчи, и усиливают акмонайские позиции.

Я взял цветные карандаши и стал выписывать на схематической карте систему акмонайских укреплений.

— Здесь противник может надолго задержать продвижение приморцев, так как акмонайские позиции, как видишь, протянуты в самой узкой части Керченского полуострова, от Азовского до Черного моря, и по своей оборонительной структуре похожи на Перекоп и тыловые позиции Ишуня.

Кожанов следил за моей работой и внимательно слушал.

— Нами разведана теперь вся система акмонайских позиций, — сказал я. — Вот я наношу на карте синим карандашом ров, которым перекопан полуостров, ширина его — шесть метров, глубина — три. Сильное препятствие для танков, тем более, что совсем недавно ров наполнили водой. Три метра глубины, Кожанов. А вот

второй ров еще в сорок втором году выкопали. Здесь сильно развита сеть траншей. Впереди минное трехполье и проволочные заграждения типа «фландрский забор».

— Ломали же такие под Сталинградом, Сергей?

— Ломали, конечно, но надо подумать, как взломать тылы керченской группировки, чтобы противник скорее бросил свои рвы и «фландрские заборы» и побежал.

Я долго наносил на карту сети траншей, дзотов, жилых блиндажей, «волчьих ям» и пулеметных гнезд, расположенных позади рвов, эту артериальную систему современных укреплений.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

УСТИН АНИСИМОВИЧ С НАМИ

Молодежный отряд отбил у полевой жандармерии группу перегоняемых в Севастополь арестованных.

Среди арестованных был водолаз Михайлюк, недавно захваченный гестапо, необходимый нам для предотвращения взрыва портовых сооружений.

Отряд выполнил задачу, но потерял людей, в партизанском лазарете лежали тяжело раненные бойцы, и среди них Дульник, напросившийся в операцию и раненный двумя пулями. Молодой врач Габриэлян не мог справиться сам, нужна была помощь опытного хирурга.

— Пришло время вытаскивать старика, — сказал отец, — Устина Анисимовича.

Лелюков, только что побывавший в госпитале, был мрачен и раздражен. Он поддержал предложение отца. Было решено вывезти Устина Анисимовича и снова перебросить обратно в город водолаза Михайлюка. Эта смелая операция была поручена Яше. Вместе с ним должны были идти Шувалов и шофером ординарец Семилетов Донадзе.

Документы были выписаны на бланках, похищенных нашей агентурой в штабе командира румынского горнострелкового корпуса генерала Шваба, ведавшего охраной коммуникаций центрального Крыма против партизан.

Операция проводилась в строгом секрете. О ней

знали немногие. Переодевание проводилось в «секретном» квадрате Джейлявы. Автомобиль осматривал сам Лелюков, как когда-то проверял моторные баркасы перед глубинной ловлей.

Водолаз Михайлюк, черноволосый плечистый украинец, должен был перерезать проводку к подготовленным к взрыву портовым сооружениям.

Задание Михайлюка усложнялось: он был известен полевой жандармерии. Михайлюк шел на большой риск, но был весел.

— У меня под водой забазированы автомашины, семь — десять штук, — говорил он, прилаживая на своей крупной голове румынский военный берет с кокардой. — Как освободим город, резиной порт будет обеспечен на три года. Полный пароход с автомашинами. Его боятся брать гитлеровцы, думают, заминирован...

— А шнапс? — спросил Лелюков, изучающе наблюдая с присущей ему хмурцей за лицом водолаза.

— Какой коньяк, какие ликеры забазировал! Вот увидите сами. У меня там цельные магазины, товарищ начальник! Как они старались уговорить меня поработать для них за любые деньги!..

— Известно, — остановил его Лелюков, знавший уже все, что хотел вновь рассказать Михайлюк, — деньги предлагали и крест за извлечение важного оборудования...

— Верно, — подтвердил Михайлюк.

— ...военных материалов...

— Опять верно.

— ...катеров, грузов...

— Верно, верно!.. А еще...

— А еще предлагали провести работы по восстановлению эллинга для ремонта военно-морских катеров.

— Ну, все помните, точка в точку, — Михайлюк махнул рукой и расплылся в улыбке. — Ну и память у вас, товарищ начальник!

— Еще бы не запомнить: ты возле каждого костра по пять раз повторял это.

— Да ну?

— Словоохотлив, Михайлюк. У нас нужно язык держать на завязке.

— Да, есть такой грех, товарищ начальник. Потому,

под водой намолчишься доупаду, хочется на воле с добрыми людьми побалакать...

Коля вдальблывал Донадзе несколько румынских ругательств, которые с различными шоферскими интонациями повторял за ним грузин.

Яша был сосредоточен и угрюм. У него плохо зажиwала рана на шее, полученная еще при разгроме обоза. Яша медленно, как бы нехотя ворочал головой, поэтому казалось, что он чем-то обижен.

Машина ушла в сумерки по боковой лесной дороге, чтобы выскочить на шоссе невдалеке от города, где на контрольно-пропускном пункте стояли румыны.

Люся с нетерпением и треwогой ждала результатов операции, и я старался не оставлять ее одну. В полночь небо заволокло, дождь застучал по листьям, стало как-то по-осеннему темно и неприветливо. Мы зашли в мою землянку, присели на грубо строганную скамью. Люся дрожала всем телом, и я накинул шинель на ее плечи.

— Страшно, Сережа! — шептала девушка. — Папа такой уже старенький. Ты не можешь представить, какой он стал старенький!..

Из нашего партизанского госпиталя вернулась Камелия.

Она отряхнула плащ-палатку, повесила ее у входа и устало опустилась у фонаря, приложив к овалу стекла мокрые руки с длинными озябшими пальцами.

— Время не ждет. Двум ребятам придется ампутировать ноги.

— А Ваня? — спросил я о Дульнике.

— Шутит... У него, как он говорит, под кожей катаются две пули...

— Температуpа?

— Высокая, — тихо сказала Камелия.

Люся подвинулась к ней, прикрыла ее спину полон шинели.

— Сырость, неприятно, у меня озябли ноги. Как у тебя, Люся?

— У меня шерстяные носки.

— Дождь идет сильнее, бьет по крыше, словно дробью, — сказала Камелия. — Кто-то сказал мне, что за хирургом ушел сам Яков. Верно, Сергей?

— Не знаю, — уклончиво ответил я, — по-моему, он должен быть в расположении своего отряда.

— Его спрашивали раненые, — обидчиво сказала Камелия, — поэтому я спросила тебя о нем. Так надоели эти вечные секреты, которые все равно знают все.

— Что же все знают?

— То, что Волынский, Донадзе и Шувалов прихватили водолаза и отправились в Феодосию.

— Кто сказал тебе об этом, Камелия?

Камелия улыбнулась:

— После полуночи прошла смена боевого охранения. Пришли и поделились.

Я вышел из землянки и направился к Лелюкову.

Лелюков читал при свете карманного фонаря «Войну и мир». Рядом с книгой лежали пистолет и второй, запасной фонарь. Василь спал у входа, пришлось его переступить. Он не шевельнулся, но глаза его были полуоткрыты, и он наблюдал за нами.

— Волнуешься? — Лелюков отложил книгу. — Доктор-то, оказывается, большой друг вашего дома.

— Почти родной. Об операции многие знают, Лелюков.

— Ну?

— Точно знают даже, кто ушел.

— От кого узнали?

— Пришла смена боевого охранения южного сектора, рассказали. Надо за болтовню построже наказывать.

— Теперь не страшно, Сергей: задание либо выполнено, либо провалено... А если из боевого охранения южного сектора пришел твой отец, накажем?

— Отец не мог рассказывать.

— Рассказывал.

— Не мог, Лелюков!..

— А ты, брат, не серчай. Рассказал он по моей просьбе. Почему? Да потому, что раненые ждут помощи, а здоровые шепчут: «Нужен, мол, только здоровый, а как свалился с ног, — забудут». Понял? Вот я и поручил комиссару не скрывать того, что сам командир отряда выехал на задание, за хирургом. Раненые успокоились, ждут... Дульника проведаль бы, ждет тебя.

— Сейчас пойду к раненым...

— Он хороший парень, но ранен по собственной глупости. Кто это вас учил насвистывать и в полный рост уходить от противника? Спина врага, как говорят, прибавляет смелости, — Лелюков посмотрел на часы. — Время прибывать им. Василь!

— Есть Василь! — отозвался Василь, вскочив.

— Послушай-ка, Василь: не стреляют ли в той самой стороне?

— Есть послушать, товарищ командир.

Василь вышел.

— Вот-вот начнется штурм Крыма, — сказал Лелюков, — скоро выйдем из лесов и будем биться в чистом поле, грудь с грудью. Ты знаешь, как надоело играть в жмурки! Три года воюем. Вот тоже давно наши люди воевали, отстаивали Родину, — он взял в руки книгу. — Хорошая книга! Третий раз перечитываю.

Василь вошел, доложил каким-то надтреснутым голосом:

— На «дабле» посадочные прожекторы, кричит дурная неясytка... а выстрелов нет.

...Я вошел в госпиталь — длинную землянку, похожую на овощехранилище, освещенную подвешенными на черный, смоляной провод электрическими лампами.

Ближе к выходу, на земляной тумбе, занавешенной простынями, гудела центрифуга и слышалось посапывание автоклава.

Раненые лежали по обе стороны узкого прохода, утоптанного свеженакошенной травой. Меня обдало запахами табака, нечистого человеческого тела и животворным, неистребимым ароматом увядающей лесной травы.

Топчаны, сбитые из грубо распиленных самими же партизанами досок, на которых лежали раненые, терялись в глубине землянки.

Ко мне подошел Габриэлян, невысокий молодой и чрезвычайно стеснительный человек, и принялся сбивчиво оправдываться.

— Лучше признаться, чем искалечить навек человека, — взволнованно говорил он, глядя на меня своими большими карими глазами, окаймленными темными кругами. — Если скоро будет настоящий хирург, я не буду раскаиваться в том, что честно признался в своей беспомощности. Когда дело касается человеческой

жизни, нельзя играть в самолюбие. Не правда ли, товарищ начальник?..

— Правда, правда, товарищ Габриэлян.

— Скоро должен быть хирург?

— Да.

Для раненых эта новость была полезней люминала, а то его ели, как яичницу.

— Как парашютист?.. Дульник?

— Ай-ай-ай! — шутливо застонал Дульник, приподнимая голову. — Он еще спрашивает? Неужели прошел бы мимо? А?

Дульник казался совсем маленьким под тонким, стиранным одеяльцем. Его худое, щуплое тело, казалось, можно было поднять и нести, как пушинку. Ничего страшного не было в этом человеке, отправившем на тот свет не один десяток врагов. Тощие руки лежали поверх одеяла, у ключиц западали ямки.

— Возле меня дежурила Камелия... все время... — тихо, прерывисто сказал он. — Попроси ее... деликатно... чтобы она приходила ко мне после, когда я управлюсь...

— С чем?

Дульник досадливо pokrивился:

— Помнишь, ты рассказывал мне... когда тебя ранили... под Сталинградом... ты не мог при девушке-санитарке снимать брюки...

— Понятно, Ваня.

— Все ясно, Сергей. Пойди погляди раненых, ты же начальник! Много значит слово. Ой, как много значит! Вот ты поговорил со мной, и полный морской порядок, хоть опять документы в сейф, куртку на плечи, автоматный ремень на шею...

Дульник устал, замолчал. На щеки упала тень от его удивительно длинных и густых ресниц.

Камелия сидела вдали, возле раненого, разбросавшего руки и ноги и с каждым вздохом с болезненной, горячечной жадностью глотавшего воздух запеченными до черноты губами.

— Сестра, не уходи! — просил раненый. — Не уходи!..

Он захватывал воздух и говорил беспокойно, торопливо, будто страхась, что он уйдет из этого мира и не успеет сказать того, что обязаны никогда не забывать люди:

— Прошу! Запомните: 404-я стрелковая дивизия... 44-й армии, Арсений Афанасьев... Арсений Афанасьев!.. Еще с мая сорок второго оставались в каменоломнях... Аджи-Мушкайских каменоломнях... Записали? Надо записать, сестра.

— Знаю Аджи-Мушкайские каменоломни, Арсений, — говорила Камелия, наклонившись к нему. — Я сама из Керчи.

— Из Керчи? Значит, знаешь? С мая до пятнадцатого июня сидели. Пятнадцать тысяч человек... Записала? Скалами нас обвалили, выходы замуровали. Камни сосали, воды не было... Там три детских кладбища оставили в каменоломнях... Записали? Это надо непременно записать. А потом пустили дым, а потом газ... газ... Я до декабря желтым харкал... Триста человек ушло, пробилось. Из пятнадцати тысяч — триста! Записали?

— Шестой раз, — тихо сказала Камелия мне, — а кроме каменоломен, сколько вынес уже в отряде! Самое страшное в жизни запомнилось...

— Записали, сестра? — иступленно спрашивал раненый.

— Где же хирург? — спросила Камелия. — Уже около двух ночи... Дождь идет.

К нам подошла Люся, присела на скамеечку.

— Это страшно, как... сон...

— Записала, сестра? — снова выкрикнул раненый.

— Или вот-вот появится папа, или... — сжатые ее губы дернулись.

— Люся, успокойся, — сказала Камелия, — в присутствии раненых...

Люся тихо плакала, стараясь приглушить рыдания. И нелепыми казались оружие, висевшее на ее поясе, и кинжал, и пистолет, и десантная курточка.

Пришел отец, кивнул дружелюбно девушкам, кашлянул в кулак:

— Прибыли.

— И папа? — тревожно спросила Люся.

В землянку, сгорбившись, вошел Устин Анисимович с чемоданчиком в руке, в румынском берете, в плащ-палатке, облитой дождем.

Люся без слов прильнула к отцу, и он обнял ее

наспех, прижмурился, будто от ярко вспыхнувшего света электрических ламп.

— Ну, ну, не плачь, дочка... Ты здоровая? Здоровая — уходи, уходи пока... — с грубоватой нежностью поторапливал он. — А ты, Сережка-шахматист? Здравствуй, Сережа. Уходи, хотя и начальник. Все от Яшки наслышан. И ты уходи, Иван Тихонович. Где раненые? Вы и есть доктор Габриэлян? Будем знакомы.

— Операционную подготовили, как видите, подключили свет.

— Вижу, вижу. Даже глаза с непривычки режет... В Феодосии, в городе, и то при коптилках жили. Молодцы — лесные братья! Ректификат со мной. И у вас есть? Не знал. Сейчас разоблачусь после маскарада, поскоблю эпидермис, и начнем... Руки-то долго мои не работали, товарищ Габриэлян. Товарищ! Наконец можно сказать без угрозы ареста это слово!.. Врагам-то я ни одной операции не сделал, ни одной, товарищи!

— Записала, сестра? — зло выкрикнул Арсений Афанасьев.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПАРТИЗАН ЛЕЛЮКОВА

Отряды покидали лесные квартиры, уходили на подступы к Солхату.

Наша задача состояла в том, чтобы штурмом захватить город, перерезать главную коммуникацию и этим значительно облегчить задачу войск, начавших наступление со стороны Керченского плацдарма.

Жители лесных лагерей высыпали из землянок на проводы отрядов. Заплаканная стояла мать Камелии — Софья Олимпиевна, повязанная вокруг головы черным платком.

Василь, закончив сборы, выскочил с шинелью в руках и вещевым мешком с провиантом. Увидев Софью Олимпиевну в таких растроганных чувствах; он подбежал к ней, накинул на ее плечи свою шинель и поспешил к нам, перекинув за плечи мешок.

— Добрый парняга, — похвалил Лелюков, мало что пропускавший мимо своего острого взгляда.

Лелюков стоял в открытой трофейной машине, положив руку на автомат. За рулем, готовый к преодолению любых горных дорог и завалов, сидел Донадзе. Отец стоял близ автомобиля, седой, сутулый и невеселый. У скалы, ощеренной голыми, бесплодными зубьями, покрытой замшевой плесенью мха, невдалеке от госпиталя, стояли Люся, Камелия, Катерина и еще несколько девушек из партизанского лагеря, подготовленных для санитарной службы Габриэляном и Устином Анисимовичем.

Устин Анисимович сидел с палочкой на тарантасе, запряженном парой гривастых лошадок. Тарантас был специально выделен для доктора, и упряжка содержалась в безукоризненном порядке.

Прошла первая бригада, стоявшая лагерем в четырех километрах отсюда. Ее вел Маслаков, внешне неказистый рыжебородый человек с огненными волосами, отпущенными почти до плеч. За первой бригадой пошла вторая, Семилетова.

Молодежный отряд возглавлял колонну бригады. Впереди шли обвешанные ручными гранатами Яша и Баширов. Яша, как видно, волновался перед последним боем.

За Молодежным отрядом шел Колхозный отряд — земледельцы Судакской долины и присивашских полей, виноградари и овцеводы.

Колхозники дрались хорошо. Отступали, огрызаясь и отбиваясь, наступали медленно, но твердо, и там, где они выбирали место для стоянки, можно было спокойно рыть землянки, ставить шатры и не бояться внезапных нападений.

Семьи этих крымских крестьян либо уничтожены врагом, либо ушли в лесные партизанские лагеря, где и находились сейчас с коровами, поросятами, овцами, цыбарками и телегами.

За Колхозным отрядом с песнями шел Грузинский отряд, его шутливо называли отрядом «Сулико». Может быть, я прибыл к партизанам Крыма тогда, когда уже произошел естественный отбор и к последним событиям заключительной партизанской эпопеи остались

в основном физически сильные люди, но все грузины отряда «Сулико» были широкоспинные, широкоплечие ребята с узкими талиями, с торсами атлетов или гимнастов, с мускулистыми руками, в хорошо пригнанной одежде, с кавказской щедростью украшенной огнестрельным и холодным оружием.

Здесь были и мингрельцы, и светловолосые имеретинцы, и коренные жители Кахетии и Карталинии, и похожие на турок аджарцы, незаменимые разведчики среди татарского населения, так как столетия владычества Османской Порты над их родиной оставили им наряду с жгучей ненавистью к своим поработителям языковые корни, близкие к языку крымских татар, и бытовые навыки мусульманства.

В отряде «Сулико» — грузины, попавшие в плен к врагу после оставления Херсонеса, Феодосии, Керченского плацдарма, а также после харьковского окружения.

Оказавшись в плену, они хитро обманули вражеское командование, заявив, что переходят к ним. Их вооружили. У них нашелся предводитель — капитан Акакий Купрейшвили из Самтреди, молчаливый и энергичный кадровик-офицер из Телавского гарнизона.

Однажды во время полевых учений грузины перебили гитлеровских офицеров, сели на грузовики и достигли партизанского района.

Грузины сражались хорошо, участвуя в разных операциях, требующих мужества, риска и воинской отваги. Никто не посмел бы ни в чем упрекнуть бойцов Грузинского отряда. Грузины держались с исключительной боевой храбростью и, как выражался Лелюков, с «моральной тщательностью».

Все отряды втянулись в марш. Лелюков поглядел на отца с какой-то трогательной улыбкой, выдававшей его душевное волнение:

— Вот так, старик! Кончаем.

Лагерь наполнялся женщинами из беженских лагерей, которые по просьбе Гаврилова вызвались привести в порядок блиндажи и землянки.

Сам Гаврилов распоряжался то там, то здесь, разъезжая на низкорослой пегой лошаденке. Гаврилов был в кожаной, потерявшей блеск, тужурке, с маузером на

ремне. Отдавая приказания, Гаврилов не в меру горячил свою лошаденку, и та грызла удила, закидывая нажеванной пеной свои грудь и колени.

— Не вернемся уже сюда... зря, Гаврилов, — прикрикнул на него Лелюков.

— А может быть, — хрипел Гаврилов.

Мне хотелось попрощаться с Люсей, и когда Лелюков занялся не в меру усердным начальником тыла, я, улучив минуту, подбежал к Люсе, взял ее за руки, молча поцеловал в ладони и вернулся к машине.

Мы двинулись в путь по дороге, устроенной самой природой, — по руслу высохшего горного потока, а затем свернули в объезд, на петлистую дорогу, проложенную для гужевого транспорта.

Солнце просвечивало сквозь листву, бросая на свежую траву, пробившуюся сквозь листопад, ясно очерченные тени. Кое-где среди крупных стволов, нависших над ущельями, цвел орешник, ветерок срывал лепестки и осыпал каменистую землю, покрытую желтыми цветами кулибабы.

В полдень мы поднялись на лысую вершину, уложенную огромными плитами сланцев. Предгорье волнисто катилось к долинам, которые тянулись до самых Сивашей, мерцающих вдаль на горизонте сквозь миражи белесоватой степи.

Позади нас лежали горы с торчащими среди них каменными гребнями и скалами — горы приюта, отваги и горечи.

Лелюков чутко прислушивался к достигавшим сюда со стороны Керченского полуострова раскатам артиллерии.

Чем дальше, тем деревьев становилось меньше. Чаще попадался горелый и вырубленный лес, заросший цепким южным подлеском.

На разветвлении дороги, под мшистым валуном, у родника, вычерпанного до дна котелками, сидели Кожанов и Семилетов, разложив на земле затрепанную на сгибах карту-двухверстку, придавленную по закрайкам розовыми камешками. Семилетов что-то горячо доказывал Кожанову, тыча тупым концом карандаша в карту, а тот отрицательно покачивал головой.

— Вторая бригада вышла на исходные рубежи, —

доложил Кожанов. — На шоссе слишком густое движение противника... Я, со своей стороны, рекомендую Семилетову...

— Подожди, — остановил его Лелюков. — Все, что можно было, порекомендовано на оперативном совещании. Разведку провели? Кто на шоссе: немцы, румыны?

— Немцы.

— Какие именно части?

— Отходит группа «Кригер», — ответил Семилетов, — оборонявшая акмонайские позиции.

— Ага, — протянул Лелюков, довольный и ответом и всем боевым, молодецким видом комбрига 2, — стало быть, акмонайские прорваны?

— Не совсем, — сказал Семилетов, — мы успели зацепить одного ефрейтора. Акмонайские позиции прорваны в центре, а крылья держатся.

— Так... — Лелюков подумал, упершись глазами в карту, поглядел на часы. — Вот тут держал полк «Крым». Как с ним дела? Не начнет ли он, тоже отходить через Солхат?

— Полк «Крым» еще в двенадцать начал отходить боковыми дорогами от Джанторы, от Сивашей, — сообщил я.

— Где он может быть сейчас?

— Примерно вот здесь, у Цюрихталя...

Лелюков присел на корточки возле карты, потянулся ленивым движением к кармашку гимнастерки, вынул оттуда синий карандаш, а из полевой сумки схему отхода неприятельских частей, пригласил нас ближе к себе и несколько минут сидел молча, раскачиваясь и пружиня в коленях.

— План, наш план операции остается прежним... — сказал он. — Судя по всему, противник втянулся в отступательный марш. Теперь нам надо толково, повторяю, Семилетов, толково, раскачать Альмендингера еще сильнее. Солхат...

— Я предлагаю брать город отсюда, от армянского монастыря, — сказал Семилетов. — Удобные подходы. Наваливаемся из леса, штурмуем. Местность позволяет накопить силы и провести внезапную атаку.

Лелюков с хитринкой поглядел на него:

— Противник отсюда и ожидает удар, подходы изу-

чил не хуже нас с тобой, Семилетов. Ты же знаешь: там танковые засады, ловушки. Надо атаковать не там, где ждут, а где возможна неожиданность атаки. И так... перепиливаем главную коммуникацию южнее города, вот здесь...

Синяя стрела перерезала дорогу. Не опуская карандаша, Лелюков завернул стрелу в охват Солхата.

— А полк «Крым»? Он же вяжется в бой, если мы начнем здесь, — сказал Семилетов подрагивающим от обиды голосом. — Найдутся ли у нас силы проводить бой?

— Полк «Крым» не станет помогать группе «Кригер». У них не русский характер: «Сам погибай — другого выручай». У них сейчас одна забота — уйти побыстрее к кораблям. Сюда, может быть, повернем. Колхозный отряд — в степную часть? Им-то по привычке на плоской земле, — он потыкал концом карандаша в только что начерченную стрелу с загнутым острием. — Как ты думаешь, комиссар?

Отец раздумчиво взгляделся в карту.

— Видишь ли, в Колхозном отряде большинство бойцов — люди... пожилые. А здесь далеко от шоссе, — он прикинул пальцами расстояние, — нужно бежать в атаку около километра, а потом перевалить дорогу, балочку и, гляди, куда тащиться.

— Я согласен с комиссаром. Вот здесь, — Семилетов указал на стрелу Лелюкова, — надо пустить ребят с резвыми ногами. Из подлеска я сумею поддержать их пулеметным огнем, да и пара минометов для паники у меня найдется.

— А Крестьянский отряд надо будет подлесками подводить прямо к городу и накапливать ближе к окраинам, — сказал Лелюков. — Когда на шоссе устроим панику, вот тут-то и нужно ударить надежным молотом, со звоном.

— По-моему, успех обеспечен, — сказал Кожанов, — психика у отступающего противника ослаблена, дисциплина развинчена, сцепление потеряно...

— А у них орудия, пулеметы? — ехидно заговорил Лелюков, проверяя какую-то свою назойливую мысль. — Мы «ура-ура», а они поворачивают колеса в нашу сторону, а?

— Атаку начнем в сумерки. Разве им разобратся, кто их атакует? Авангарды Приморской армии или партизаны? В темноте у страха еще больше глаза...

— А своих как мы будем угадывать? Ведь наши наполовину в немецких мундирах.

— Марлевые повязки заготовлены на рукава, как и приказали.

— Хорошо было бы организовать преследование! — сказал Лелюков. — Это я в порядке оперативной мечты. На машинах, в спину, посеять панику на всем шоссе. У страха глаза велики. Как бы?

— Шоферов у нас человек сорок наберется, — сказал Кожанов. — Нужно — сейчас же отберем, сгруппируем.

— Потом, пэтом, — остановил его Лелюков, — а то мечта разлетится, как дымок после пистолетного выстрела. Ну, давайте!.. Удачи!

Семилетов ловко вскочил на вороного жеребца, стукнул его по крутым бокам каблуками и куцым галопом поскакал в сторону своей бригады. Два верховых-связных поскакали за командиром бригады на мохноногих коньках, взявших с места хорошим тротом.

Кожанов же приловчился у крыла нашей машины и уже по пути подробнее рассказал Маслакову о выходе бригады Маслакова на свои исходные рубежи.

— Попадут, попадут фашисты в мешок, — уверял Кожанов.

— Погоди, Кожанов. Так, брат, весело*не надо, — остановил его Лелюков, — как скромненько рассчитываем, так удастся ладней, как в облака заберемся — вниз.

Вырубленный противником еще в сорок первом году прихосейный лес распустился от пней густым и буйным подлеском. Не тронутые человеком и скотом ожиники сплелись своими колкими коричневатыми побегами так дружно, что тюльпанная повитель, отказавшись проникнуть в середку, вилась вокруг кустов, обволакивая заросли своей мягкой ползучей зеленью.

Донадзе осторожно ведет машину, прислушиваясь то одним, то другим своим запеченным на солнце ухом к шумам со стороны шоссе. Оно не видно из-за молодого подлеска, но слышно, как рокочут моторы вражеских машин впереди нас, словно морской прибой.

— Дальше нельзя, товарищ командир, — говорит Донадзе, — я слышу запахи соляра. Идут дизельные машины. На них может быть мотопехота...

Лелюков удивленно поглядел на остроносое лицо Донадзе и прыгнул на траву. Мы сошли с машины. Лелюков нагнулся, сорвал красный полевой мак с черненькой зародышевой сердцевинкой. Мак недавно распустился, и листочки его еще не разошлись.

Лелюков тихо пропел:

На завалах мы стояли, как стена,
Пуля ранила разведчика вчера,
Пуля ранила разведчика вчера,
Пуля аленьким цветочком расцвела.

Лелюков сунул мак в кармашек рубахи, рядом с торчащим оттуда карандашом.

— Ты должен знать эту песню, Иван Тихонович!

— Знаю. На бронепоезде пели ее солдаты, которые были на Кавказском фронте, против Турции.

Пешком, минуя наши посты, мы пошли ближе к передовой. В блиндаже полевой противопартизанской заставы, брошенной врагом, сидели два бойца — молоденький Вдовиченко, стеснительный мальчишка с оттопыренными от «лимонок» карманами, в каракулевой ладной кубанке с яркоалым верхом и пионерским галстуком на худенькой загорелой шее, и матрос-береговик из Керчи, Жора, в круглой матросской шапочке и тельняшке.

Лелюков взял пальцами стираную-перестиранную тельняшку, оттянул от налитого потного тела матроса, спросил:

— Для устрашения?

— Так точно, товарищ командир.

— Прикрой эту зебру, брат. Не люблю маскарада, — строго сказал Лелюков.

И пока матрос, багровый от смущения и натуги, напяливал на свой мускулистый торс тесную курточку, Лелюков отослал Кожанова к Маслакову, строго-на-строго приказав ему наносить совместный удар и не «партизанить», а отца попросил съездить на машине к Колхозному отряду и подбодрить их хорошим словом.

Мы простились с отцом у разлапистого куста карагачей, и я вернулся к Лелюкову.

Он уже успел выбрать удобное место, откуда и невооруженным глазом было видно шоссе, запруженное отступающим противником. Слышался шум моторов, вспыхивали и гасли зайчики на ветровых стеклах.

В отдалении погромыхивали орудия больших калибров. Пыль, как дым пожарищ, поднималась где-то далеко за шоссе, — это могло быть в долине Рассан-бая, а может, и дальше.

Радиостанция Аси начала ловить открытые командные тексты, идущие от бронетанковых отрядов авангарда наших войск.

Вражеские радиостанции заволновались. Эфир наполнился разноречивыми, паническими приказами, исходившими от разных по служебному рангу командиров.

11 апреля ударом наших войск в направлении Джанкоя был прорван последний оборонительный рубеж на Сивашских позициях, в районе Томашевки, и разбитые части 336-й и 111-й пехотных немецких дивизий и 10-й и 19-й пехотных дивизий румын начали отход от северных Сивашей и Чонгарского полуострова. К исходу дня части прикрытия вели сдерживающие бои с нашими подвижными частями на рубеже Челюскинец, Люксембург, Карасафу, Анновка, Розендорф, Трудолюбимовка.

Горно-егерский полк «Крым», которого мы опасались, прошел побережьем южных Сивашей к Джанкою, вступил во встречный бой, был разгромлен и пленен.

Ночью и с утра 12 апреля противник начал отходить по всему фронту, бросая орудия и военное имущество. Части прикрытия вели бои и сгорали под сокрушительными ударами наших бронетанковых и механизированных сил, яростно вошедших в прорыв.

Прорыв сивашских позиций и Перекопа на севере Крыма создал угрозу Керченскому направлению. Поэтому генерал Альмендингер, в начале штурма Толбухиным перешейка направивший на помощь войскам, оборонявшим перешеек, часть своих сил, по приказу потерявшего самообладание командующего 17-й армией Енекке, еще в ночь под 10 апреля отдал приказ на отход с Керченского полуострова тем соеди-

нениям своей группировки, которые он ценил и боялся безвозвратно потерять. 11 апреля главные силы 5-го армейского корпуса в основном под прикрытием румынских арьергардов начали отход. Подвижные части Приморской армии вцепились в хвост отступающему противнику. Тогда Альмендингер, стараясь обеспечить отрыв главных сил своего 5-го армейского корпуса, заставил драться на акмонайских позициях горных стрелков 3-й румынской дивизии и группу «Кригер».

Альмендингер, или, как его называли, «черный вюртембержец», увидев, как крушатся все фортификационные рубежи, — плоды его личного творчества, — бросив войска, сел на «оппель» и очнулся только в районе Бахчисарая. Переночевав в бывшем ханском дворце, Альмендингер помчался к крепостным фортам Севастополя, чтобы немедленно рапортовать фюреру о бездарном поведении его давнего личного соперника, командарма 17-й Эрвина Енеке.

Серые от пыли колонны медленно катили по шоссе. Отходили румыны разбитой 3-й дивизии, карательные и противодесантные отряды, разрозненные эскадроны 6-й дивизии генерала Теодорини, инженерно-строительные батальоны, сбросившие с грузовиков проволоку, лопаты и колья, проходили потерявшие строй, одетые в пепельную форму матросы морской пехоты.

Солнце катилось с зенита, тени удлинились. Наша атака была намечена в сумерки по сигналу двух красных ракет.

И вот, когда все так отлично складывалось и Лелюков похвалился, что операция разыгрывается, как по нотам, к компункту прибежал Кариотти.

Он был вымазан по пояс в грязи, на лице и плечах лежал толстый слой известковой пыли, серой, как порошок цемента, губы растрескались и кровоточили, глаза в красных, воспаленных веках горели каким-то безумным огнем:

— Беда... командир!

Кариотти прерывающимся, сдавленным голосом, заглатывая окончания слов, доложил, что Мерельбан приказал начать поголовную резню русских и армянских кварталов Солхата.

— Мы должны спешить... — бормотал Кариотти, —

«спешить! Они оцепили улицы, заходят в дома, стреляют и режут и детей и женщин... всех!..

Лелюков, обдумывая решение, долго смотрел на часы и затем тихо приказал немедленно начать атаку.

Все основные данные операции не менялись, но из нашего арсенала выпало одно оружие — темнота, на которой мы строили свои оперативные расчеты. Мы не могли в такой трагический момент бросить население города, активно помогавшее нам.

Ракеты вспыхнули, словно дикие маки раскрыли свои бутоны. И тотчас же дружно застучали наши пулеметы, скрытые кудрявой карагачевой порослью, затрещали рваные автоматные очереди.

Враг не ожидал нападения. Солдаты посыпались с машин, побежали по степи.

Несколько грузовиков попытались одновременно проскочить мост, но, не достигнув его, сцепились бортами и закупорили все движение. Трехосный шкодовский транспортер, крытый брезентом, врезался в грузовики, поднялся на дыбы, как лошадь, и, кружа баллонами, полетел под откос.

Лелюков отнял бинокль от глаз, подморгнул мне, будто говоря: «Ишь, брат, как ловко!»

К нам подбежал капитан Купрейшвили^о и срывающимся от бега голосом доложил, что его отряд готов к бою.

У капитана Купрейшвили был существенный недостаток: в присутствии старших командиров он всегда излишне горячился.

— Начинай, Купрейшвили! — приказал Лелюков.

— Есть начинать! — Купрейшвили крунулся на повороте так, что из-под каблуков брызнула галька, и резко, на высокой ноте отдал приказание, перемешивая русские и грузинские слова, что случалось с ним в моменты сильного волнения.

Купрейшвили бросил отряд в атаку и первым принял на себя огонь противника. Вражеские офицеры залегли в глубоком кювете и открыли редкий, неслаженный огонь по грузинам. Тактическая ошибка Купрейшвили стала ясна для нас, когда его бойцы начали падать замертво один за другим.

Молодежный отряд активно обстреливал шоссе.

Яковом руководил строгий расчет, а не просто высокий душевный порыв, и поэтому он не выбрасывал людей в открытую атаку, чтобы избежать лишних потерь.

Купрейшвили нервничал:

— Подвел меня Волынский! Ох, как подвел! — бормотал он.

Неслаженная стрельба со стороны шоссе переходила в стойкий, организованный ружейный и пулеметный огонь.

Грузины залегли.

Противник сосредоточил внимание против Грузинского отряда, а в это время Молодежный отряд подбирался незамеченным к шоссе. Ползком, бросаясь из стороны в сторону рывками своего сильного и цепкого тела, к нам добрался Шувалов. Он сообщил, что пехотная часть, отступившая по боковой грунтовой дороге, начинает принимать боевой порядок.

Лелюков приказал поднимать всю бригаду. Молодежный отряд пошел в атаку.

Теперь была слышна бешеная работа автоматов и то там, то здесь вставали прямые и косые дымы гранат.

Лелюков нервно закурил. Губы его подрагивали. Атака вступала в свою решительную фазу.

Увидев поддержку, грузины и связанные с ними флангом бойцы 4-го отряда продолжили прерванную атаку.

Мы перебрались на кромку подлеска и залегли в шиповниках.

Невдалеке от нас застучали колеса «максима», замелькали спины бойцов. К пулемету, не прикрываясь бронешитком, на корточках, чтобы лучше видеть, присел пулеметчик Шумейко и сразу же перешел на длинный «шов».

Шоссе дымилось. Ездовые соскакивали с повозок, отстегивали постромки, бросались на лошадей и мчались по непаханой целине, покрытой бледными разводами полыни.

Атака грузин развернулась перед нашими глазами. Передние цепи уже завязали рукопашный бой.

Лелюков смотрел в бинокль. Волосы прилипли ко лбу, фуражка — на затылке.

Вот свалился известный в отряде храбрец Ониани. Мумуладзе бежал вперед, не сгибаясь, стреляя из автомата, прижатого прикладом к груди. Потом он швырнул гранату и, обогнав товарищей, бросился вперед, упал и больше не поднялся.

Возле него свалился еще кто-то из бойцов Молодежного отряда.

— Суслов! — воскликнул Лелюков.

И снова:

— Шамрая! Наповал!

Шумейко вдруг отвалился от пулемета, разжал руки, закачался и, как сидел на корточках, так и упал назад спиной; ноги его остались согнутыми в коленях, и подошвы не оторвались от земли.

С криком, слившимся в одну пронзительную ноту, к шоссе подбежал Вдовиченко, любимец Молодежного отряда.

Голова мальчишки в кубанке с алым верхом и пионерский галстук на шее мелькнули на шоссе, в пыли, и вдруг пропали.

— Да неужто и мальчишку? — выдавил сквозь зубы Лелюков.

Лелюков перекинул бинсоль на спину, как это он делал в Карашайской долине, и выдохнул дрожащими от гнева губами:

— Не могу!

Он перещелкнул автомат в боевое положение и побежал к шоссе.

Я бросился за Лелюковым, чтобы остановить его. Отстреляв магазин, он перебросил автомат за спину, поднял руки: правую — к Молодежному отряду, закричал: «Давай, давай, ребята!»; левую — к грузинам, так же крича: «Давай, давай, ребята!»

Возле нас зафыркали пули. Я увидел, как дрогнули поднятые руки Лелюкова и на рукавах рубахи поползли пятна, темные внутри и алые по расплывшимся краям, похожие на увядшие лепестки мака... Лелюков шел вперед, воодушевляя бойцов и не опуская рук.

— Бросай бомбу и за меня! — кричал он. — За себя и за меня!

Лелюкова увидели все бойцы: и те, что залегли у дороги и в воронках, и те, кто отстали позади и теперь

поднялись и побежали вперед, забегая с боков, заслоня командира своими телами.

Теперь партизаны вышли на дорогу широким фронтом.

Фашисты группами и в одиночку бежали по степи туда, где в отдалении поднимались миражи над Сивашами.

Семилетов возился возле брошенных на шоссе горных пушек. Комбриг покрикивал на запыленных, взломанных людей, возившихся с горевшими от радости глазами возле трофеев.

Черные дымы горевших машин стлались над их головами и тянулись по южному ветру. В придорожной пыли лежали убитые, валялась каска, и от потного подшлемника каски шел пар.

Партизаны-артиллеристы открыли короткую стрельбу по плоскости степи. Бурные клубы вспыхивали то там, то здесь, и слышались, отдаваясь звоном в ушах, разрывы снарядов.

Колхозный отряд вплотную подошел к окраинам Солхата и завязал бой за первую линию каменных домов.

Я посоветовал Семилетову оставить на шоссе артиллерийские заслоны, а основными силами бригады выходить к Солхату. Город лежал перед нами залитый, как кровью, лучами заходящего солнца. Над кровлями и цветущими белокипеным цветом садами поднимались маревые облака занимавшихся пожаров.

Василь почти насильно увел Лелюкова на перевязку. Я еду к Лелюкову и вижу застывшую, как в сказке, колонну обозов, брошенную противником, столбы дыма над горящими машинами.

Полевой перевязочный пункт расположился в мелкой, промойной балочке. На розовом кошащем клевере стоят ведра с водой, прикрытые строгаными буковыми дощечками, и возле ведер, протянув полные загорелые ноги, сидит Катерина и щиплет сиреневый венчик питрива батига, прищепывая что-то припухлыми, чуть вывороченными, жадными губами.

— Ой, не люблю войны! — говорит она, хмуря брови. — Да когда же вы ее, хлопцы, закончите?

Лелюков сидит на корточках, вслушивается в шумы

сражения, поторапливает и Устина Анисимовича и Камелию, которая помогает доктору; у нее натужно пульсирует жилка на виске и бусинки мелкого пота скатываются по вискам к шее.

— Надо организовать колонну автомашин, кликнуть шоферов-партизан грузить резервный отряд на машины с пулеметами, — говорит Лелюков.

На лоб его набежали морщинки: Устин Анисимович отбрасывает в траву окровавленные тампоны.

— Надо резать шоссе выше. Я сам поведу отряд! — говорит Лелюков, порываясь встать.

Устин Анисимович неодобрительно глядит на него из-под стекол очков:

— Без вас, без вас найдутся...

— Устин Анисимович! Ведь так может быть раз в жизни! — восклицает Лелюков.

— Да и жизнь-то дана раз...

Устин Анисимович стоит с закатанными рукавами, видны его руки по локоть с синими проволоками вен. Катерина и Люся раздевают Вдовиченко. Его худенькие руки судорожно уцепились за перекладины носилок, глаза закрыты. Синие тени прошли по щекам. Мальчишка быстро глотает воздух, корчится от боли, но не стонет. У него тяжелое ранение в легкие и живот. Катерина приглаживает его ершистые волосы.

— Ничего, ничего. У нас есть добрый доктор... вылечим... — а сама смахивает слезу, встряхивает волосами и с невыразимой тоской широко открытыми глазами смстрит повыше раненых людей, куда-то вдаль.

Донесения привозят уже на мотоциклах. Связные в новых сапогах, буйволовая сыромятина сброшена с натруженных ног, у всех на поясах револьверы в толстокожих немецких кобурах.

Связные, опьяневшие от боевого хмеля, говорят хриплыми, петушиными голосами и, получив приказ, уносятся, как бешеные, согнувшись у кривых рогаток рулей.

Перевязка окончена. Одна рука Лелюкова зашита, вторая — забинтована и висит на марлевой подвеске.

Я помогаю ему взобраться на сиденье, на ходу киваю Люсе. Я вижу ее порывистое движение ко мне, но машина уже тронулась с места.

Мы на поле недавней атаки. Лелюков сходит с машины, идет. Донадзе тихо ведет машину позади нас.

Убитых еще не подобрали. Вот лежит, раскинувшись, Шумейко в той же позе, в которой его захватила смерть. Пальцы скорчены, будто он вцепился в ручки своего пулемета.

— Знаменитый был пулеметчик, — тихо говорит Лелюков. — Какой был парень!

Политрук Воронов лежал на спине. Крик, зовущий в атаку, будто застыл на его лице, из разорванной шеи еще текла кровь. Видны были протертые до дыр подошвы, гвозди на каблуках блестели.

— И Воронова нет, — бормочет Лелюков. — Ишь, напасть.

На боку, будто скорчившись от боли, поджав под себя автомат, лежал Бочукури. Донадзе спрыгнул с машины, остановился у тела убитого друга.

Гаврилов нисится на своей лошаденке, комплектуя машины. Ему надо везде поспеть, и жадные его глаза горят при виде добра, разбросанного на земле.

На скаку спрыгивает, идет к нам, скаля острые зубы в довольной улыбке.

Гаврилов останавливается возле убитого Бочукури и, словно спохватившись в своей недогадке, тянет прижатый мертвым телом автомат.

— Там ребятам надо, — говорит Гаврилов.

Автомат не поддается. Гаврилов переворачивает Бочукури на спину, освобождает ремень.

— Оставь! — кричит на цыгана Лелюков. — Иди к машинам!

Гаврилов испуганно моргает глазами, быстро вскакивает на лошадь и трусцой направляется к шоссе.

Бочукури лежит лицом к закату. Длинные ресницы отбрасывают тени на смуглые, уже тронутые стеклянной желтизной щеки. Даже после смерти очень красив был Бочукури.

Лелюков повел колонну через город.

Вслед за ним и я поспешил к городу: там еще шла перестрелка, и где-то там была Анюта...

Город окончательно был взят перед самым закатом. Отдельные очаги сопротивления подавлялись гранатами

и штыками. Не задерживаясь в центральной части города, занятой Молодежным и Грузинским отрядами, я проехал в верхние кварталы, где недавно проходила резня мирного населения, организованная Мерельба-ном. На кривой улице, уходящей в гору оградями из дикого камня и мелкими домишками, прикрытыми шел-ковичными и яблоневыми деревьями, Донадзе затормо-зил машину.

На дороге лежали две просто одетые женщины, обрызганные кровью, прижав заостренными кресто-образно руками грудных детей. Крупные мухи кружи-лись над трупами.

Стоявший у ограды автоматчик из Колхозного от-ряда, узнав меня, вышел к машине.

— На улицах четыреста двадцать человек...— глухо сказал он, — только на улицах... В домах не считаны еще. Комиссар приказал не убирать до комиссии.

— А где комиссар?

— Где-то там, впереди, с капитаном Кожановым, товарищ начальник.

Возле ворот на плитняковом тротуаре лежал убитый эсэсовец. Его будто скрючило у столба. Мундир туго натянулся на упитанном туловище.

— Успел сделать свое, потом прикончили, — сказал автоматчик. — Зайдите в дом, там яснее... Ведь всего двенадцать живорезов, а сколько народу пере-вели!

Мы зашли в дом, заплетенный снаружи виноградом «изабелла».

Окна пропускали мало света, и с улицы трудно было что-либо разобрать в хаосе перевернутой мебели и разбросанных постельных принадлежностей. Мы во-шли в дом. На тахте лежала девочка лет одиннадцати, с угловатыми коленками, прижатыми к груди, и худень-кими руками, покрытыми свежими пятнами еще не загустевшей крози. У девочки была раздроблена челюсть выстрелом в упор, на щеках и на лбу впился в кожу пороховой нагар. На полу, возле тахты, был приколот к полу тесаком двухлетний ребенок.

И здесь же, охватив голову руками, лежала еще одна девочка, в ситцевом коротком платьице, с косич-ками, заплетенными лентами.

На пороге второй комнаты лицом к потолку лежал старик с острой седой бородой с перерезанным горлом.

Выйдя на улицу, я повстречал возвращавшихся с обхода отца и Кожанова.

— Надо немедленно радировать штабу армии, — сказал отец, — надо передать в Москву, в Чрезвычайную комиссию... — отец прихватил мою руку своими сильными корявыми пальцами и тихо спросил: — Анюту не видел?

— Нет, отец.

Пальцы его разжались, моя рука онемела.

— Если бы мы не поспешили, они вырезали бы весь город, — сказал Кожанов, — и опять им помогали изменники из татар...

Ночью били орудия и на горизонте трепетали огненные зарницы.

Домик штаба выходил окнами на улицу, где росли чахлые, ободренные осями арб шелковицы. Под деревьями расположились часовые. В окно я видел Шувалова и Сашу. Они то сходились, то расходились, перебрасываясь какими-то короткими фразами. От артиллерийской стрельбы, не затухавшей до трех часов ночи, позванивали плохо вмазанные стекла окон. Мне хотелось спать. Вдруг раздался осторожный стук в дверь. Я отодвинул кованую, тяжелую щеколду.

Вошла Люся. Она притянула мою голову к себе и поцеловала теплыми подрагивающими губами.

Я сжал ее холодные руки, шершавые от ветра и солнца, поднес их к своей щеке. Ее пальцы пробежали по моему лицу, волосам.

— Сережа, мы стоим на грани новой жизни, — сказала она, — кончились наши лесные приключения... Мы расстанемся друг с другом...

— Никогда, Люся! — прошептал я.

— Придут новые люди, новые ощущения, изменится и твое отношение ко мне, — шептала она, будто в полубытьи, и, слушая ее слова, полные тоски, я вдруг вспомнил отравленное какой-то ядовитой красотой лицо Фатыха и его слова о Люсе.

— Люся, все останется попрежнему, — бормотал я какие-то глупые, выпренные фразы, еле сдерживая свое волнение. — Если мы в лесу могли найти свое

счастье, то почему мы должны его потерять, выйдя оттуда? Если мы не оставили друг друга, когда поднимались на скалистую гору, то почему, спускаясь под гору, мы расцепим свои руки? Я знаю, кто смутил тебя.

— А ты откуда знаешь? — Люся отодвинулась от меня.

— От Фатыха. Он мне говорил страшные вещи, и я ненавижу его...

Люся заплакала глухо, давясь рыданиями:

— Я так мало знаю в жизни! Ты должен простить меня. Я так боюсь за тебя!.. Если бы только что-нибудь случилось с тобой в бою... я бы тоже пошла под пули, прямо поднялась бы на цыпочки, руки бы подняла и пошла... Без тебя у меня нет никакой жизни.

— Люся, какое счастье для людей, что существует любовь! — сказал я, растроганный ее словами.

— Не говори о ней, а только думай, мечтай, — ее губы искали меня, неумело целовали, по-детски. — Кого-то зовет Лелюков. Не тебя ли?

Она выскользнула из моих рук, — стукнула щеколда, и мимо окон прошуршали мягкие чужаки.

Охмелевший от ее поцелуев, наполненный каким-то восторженным пением души, я прилег на кушетку, растегнул ворот и не мог заснуть до утра.

Утром передовые бронетанковые части Приморской армии, не останавливаясь, прогремели через Солхат, и по шоссе устремились полевые войска Приморской армии.

Партизаны получили приказ оставаться гарнизоны городов, пока части Красной Армии добивали противника на полуострове.

Ближе к полудню стало известно, что к городу едет Климент Ефремович Ворошилов.

Купрейшвили передал по телефону эту новость. Я услышал его задыхающийся, будто после сильного бега, голос:

— Ворошилов!

Мы выбежали на улицу, и следом за нами со двора штаба повалили партизаны, крича:

— Ворошилов едет!

— Климент Ефремович!

— Маршал Ворошилов!

На тротуарах стало тесно от людей, все жадно смотрели на угол белокаменного домика, откуда должна была появиться машина Ворошилова.

И вот гул, подобный глухому гулу прибоя, волнисто пошел над головами.

Из-за поворота показалась машина. В ней сидел Ворошилов в защитном комбинезоне, чуть-чуть склонившись у ветрового стекла.

Партизаны ринулись на шоссе, запрудили улицу, и шофер, тормозя машину, тревожно бросил вопросительный взгляд в сторону Ворошилова. Маршал, разглядывая людей чуть прищуренными, внимательными глазами, сказал:

— Подождите.

Толпа увеличивалась. В какие-то две-три минуты узкая улица, огороженная каменными заборами, была запружена молчавшими от волнения людьми. Они глядели широко открытыми, изумленными глазами на человека, о котором они пели песни и которого еще ни разу не видели. Ворошилов понимал мысли этих разномастно и щедро вооруженных людей и любовно смотрел на них. На его седоватых висках, видневшихся из-под полевой маршальской фуражки, перебегали солнечные блики. Тень от широкого запыленного козырька падала на его лицо, тронутое красноватым загаром.

Всем было известно, что маршал Ворошилов был не только руководителем партизанского движения, возникшего в пределах оккупированной зоны, но и то, что он был уполномочен Ставкой Верховного Главнокомандования по координации боевых действий на южном стратегическом крыле фронта. Волнующим было сознание, что этот прославленный маршал, о котором они читали еще в детстве в учебниках и романах, — хороший и доблестный человек. Люди молчали, и Ворошилов взволнованно молчал. Глаза его чуть-чуть увлажнились, как бывает у сдержанных сердечных людей.

Отец едва пробился через толпу и вдруг в нескольких шагах от себя увидел человека, которого он обожал еще давно, со своей молодости. Его чуть приподнятые руки дрожали.

— Климент Ефремович, — проговорил он сдавленно.

ным голосом и, глядя только на Ворошилова, протиснулся к нему.

Конечно, Ворошилову было трудно узнать старика. Сколько десятков тысяч людей прошли перед его глазами, да и беспощадное время сильно изменило лица. Но маршал видел по сияющим глазам этого человека, по трепету его рук и радостной улыбке, что этот бородач-партизан действительно лично знает его.

— Где же я вас видел?—приподнявшись с сиденья, спросил Ворошилов.

— В Царицыне, Климент Ефремович. Ведь я-то вас хорошо помню...

— Вот значит где, в Царицыне?—припоминая, протянул Ворошилов и внимательно взгляделся в лицо моего отца.

— На бронепоезде Алябьева! Лагунов я, Лагунов...

— Вспомнил... вспомнил... Здравствуйте, товарищ Лагунов.

Ворошилов пожал руку отцу.

— Что ж... Вот и довелось встретиться... Довелось. Вы здесь партизанили, товарищ Лагунов?

— И на Кубани и здесь, товарищ Ворошилов.

— Спасибо, — поблагодарил он старика, взял его руку в свои и крепко пожал. Затем, обернувшись ко всем партизанам, глубоко взволнованный, хорошо понимая чувства окруживших его людей, этих верных сынов Родины, скромных, но подлинных героев, сказал им:—Спасибо вам, товарищи. Помогли нам хорошо...

Слова Ворошилова облетели всю улицу. Партизаны загудели, закричали.

— Что же вы хотели мне сказать, товарищи? — спросил Ворошилов.

На минуту все притихли. Потом прошелестело по толпе, вначале тихо, а потом громче и громче зарокотали голоса:

— Татары, татары!

— Жить не давали!

— Татары!

Ворошилов внимательно и сурово прислушался к взволнованным голосам, кивнул головой.

— Это мы уже знаем, товарищи,—сказал он и поднял руку в последнем приветствии.

Люди расступились, и машина маршала пошла мимо плотно, наподобие каменной стены, стоявших партизан. И когда машина скрылась за поворотом, люди, будто опаматовались, зашумели, заговорили, и долго бурлили, перекатывались и многоголосо рокотали их взволнованные голоса.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ ШТУРМА

Во дворе в больших котлах варилась баранина, стояли бочонки с местным кислым вином, и вокруг них с жадными глазами и пересохшими глотками толпились партизаны.

Татары везли партизанам вино, кур, хлеба, баранов. То и дело, поскрипывая осями, во двор штаба заезжали мажары, и возле них с вожжами в коричневых руках шли татары, кланяясь во все стороны. Здесь же, во дворе, татары снимали с мажар баранов и, подобострастно испросив разрешения Гаврилова, стоявшего с застунутыми в карманы руками, приваливались коленом к курчавой шкуре — блестели ножи, и из перехваченного горла на траву текла густая, пенная кровь. Татары вздергивали убитых животных за задние ноги, ловко сдирали шкуры и солили туши сероватой сивашской солью.

Я видел Фатыха несколько раз во дворе штаба, разговаривающего с татарами на родном языке. Выражение довольства лежало на его лице. Фатых переоделся в черный пиджак, шевровые сапоги, обрантованные белой дратвой, но шапка с красной повязкой оставалась прежней, и из рук он не выпускал автомата.

А по главной улице Солхата, по шоссе, разрезавшему город, катила с песнями Приморская армия, катила в скрипе колес, резины, в дымках выхлопников. Солдаты шагали, лихо заломив по-приморски пилотки, как умели это делать отчаянные парни, видевшие славу Одессы, Севастополя, сражавшиеся на горных перевалах Кавказа, штурмовавшие «голубую линию» на Кубани, в бурные ночи, под свирепым огнем неприятеля,

переплывавшие стремнину Керченского пролива, про-
рвавшие теперь сильные укрепления Керчи, акмонай-
ские позиции.

Колоннами двигались пленные. У них заросшие бо-
родами пыльные лица, испуганные глаза и безвольно
опущенные, обезоруженные руки. Они шли подавленные
и с каким-то страшным испугом бросали взгляды на
пронесившуюся мимо них Приморскую армию.

На каждом ветровом стекле нарисована эмблема —
чайка. Это знак приморцев, армии, сражавшейся все
время близ моря и только не надолго брошенной в глубь
континента. Чайками были украшены все машины при-
морцев.

Партизаны Лелюкова с восхищением и завистью
смотрели на регулярные полки Приморской армии, про-
носившейся мимо них к Севастополю.

Пройдет немного времени, и партизаны выстроятся
в очередь возле полевых военкоматов, назовут свои
имена, фамилии, годы рождения, сдадут оставшиеся
только по счастливому случаю документы и партизан-
ские характеристики, вольются в дивизии и уйдут вое-
вать дальше. А пока они гуляли так, как гуляли их
отцы в гражданскую войну после удачной победы,
ходили хмельные от вина и счастья.

— Вас, товарищ гвардии капитан, просит к себе
командир.

Возле меня стоял Коля Шувалов, смотря на меня
своими черными, круглыми глазами.

— А где командир?

— В штабе, товарищ гвардии капитан.

Я пошел к Лелюкову через кухню, где Софья Олим-
пиевна жарила, варила, пекла, работая и шумовкой и
каталкой. Она не обратила на меня особого вни-
мания, так как через кухню к Лелюкову ходило
много командиров. Она к ним привыкла, и ее обязан-
ности заключались в том, чтобы напитать всех,
напоить по мере сил и возможности, никого не
обидев.

Лелюков сидел на лавке, покрытой ковром, и ел хо-
лодец, вымачивая кусочки хлеба в отдельной тарелке
с горчицей и уксусом.

Одна рука Лелюкова была взята в гипс, вторая забинтована. Она работала плохо.

Лелюков старался есть без посторонней помощи.

Василь плакал пьяными молодыми слезами, вытирая зарезанный нос цветным платком и протирая большими своими кулаками мокрые глаза.

Я первый раз видел верного лесного адъютанта Лелюкова и начальника боепитания особого фонда в таком виде.

Лелюков искоса посмотрел на меня, вернее, только на мои ноги, и предложил мне садиться рядом с ним. Не говорил ни слова, предложил мне глазами вилку и холодец и продолжал есть, будто не замечал всхлипывающего и причитающего Василя. Потом подтолкнул меня локтем, как бы заставляя понаблюдать за своим адъютантом, и сам, ухмыльнувшись, серыми навывкате глазами следил за Василем.

Безусловно, Лелюков жалел своего адъютанта и молчал теперь просто из любопытства: «Что же дальше?»

Василь был хитрый парень, знал, что командир слышит его, и поэтому жаловался нарочито громко, чтобы разжалобить его сердце:

— Я от Перекопа шел до леса. Три года себе младшего лейтенанта зарабатывал, к младшему лейтенанту тянулся, а теперь...

Василь оторвал кулак от глаза и повернул мокрое лицо к Лелюкову.

— Лелюков — мой любимец... Я его люблю, а он меня ругает. Если бы он только знал, сколько я пережил. Да и знает он, но только то, что на виду. А так я не стану же его расстраивать, лезть к нему со всей душой, со всякой сыростью...

Василь, не отрываясь и будто бы незаметно, следил за Лелюковым и, мне казалось, не пропускал ни одного его движения мимо своего внимания. Он отлично изучил характер и повадки своего начальника, знал его слабые струнки и безошибочно добирался до его сердца, прикидываясь сильно подвыпившим и расстроенным.

Лелюков за время пребывания в лесу, сталкиваясь с предательством и корыстью, требовал от близких

к себе людей абсолютной преданности во всем—даже во внешнем проявлении.

Василь продолжал хныкать и приговаривать почти одно и то же.

О проступке Василя я мог только догадываться и поэтому не мог судить, верно или неверно сейчас поступает Лелюков, так долго заставляя извиняться своего адъютанта.

Лелюков привык угадывать чужие мысли. Он тихо, чтобы не дошло до адъютанта, сказал мне:

— Сопли распустил за то, что прочесал его за трофеи. В лесу были... ничего не надо, а тут... Жадность откуда-то взялась. Начал суммы набивать нужным и ненужным. Для чего? Останется жив—не заработает? А куда за собой потянет? Ему-то, молодому парню, шагать по войне и шагать, звенеть котелком долго придется. Сапоги—ладно, смотрю сквозь кулак, без обуви намааялся, штаны взял в обозе—ничего, сквозь пальцы смотрю, мундир—ладно, хотя я бы его не надел никогда, но не голым ходить, помиримся, оружия цепляй хоть до макушки, пригодится и всегда на виду, нужно—отберем. Но барахло? Корусть, брат, такая штукавина, ей только дай ход, так она съест не только дисциплину... Потому Василь плачет, не за барахлом, а боится, что я к нему добро потеряю.

Василь не слышал, что мне говорил Лелюков, но, поймав сурово прощающий его взгляд, еще сильнее всхлипнул, зашмурыгал носом.

Его широко расставленные ноги были обтянуты трофейными очень новыми штанами. Сапоги тоже новые, на толстой желтой подошве с тремя прослойками и пряжками, и пистолет морской на бедре, а второй небрежно заткнут за пояс. Виднелась и неизменная матросская тельняшка под бушлатом. Оттопырив, как обиженный ребенок, пухлую губу, хитро и горько он продолжал жаловаться.

— Если бы он знал, сколько я пережил,—канючил Василь. —Сколько людей спас. Я жизни своей не щадил и заслужил большее... Я с ним воевал,—глаза Василя прошлись по Лелюкову,—крепкий он командир, я с ним мог на все итти. Он боролся за меня, я за него. Я сам отнял не меньше пятидесяти

коней, а коров не пересчитаешь. Я гуртами коров у противника отбивал, сам отбивал, разве только Гаврилов помогал...

Теперь Василь уже обращался ко мне и искал моей поддержки.

— Бывало, без седла на жеребца вскочишь и пошел в лес, а пуля жужжит, а пуля сверещит... Я коней достал столько, что целый эскадрон мог посадить... Все съели... А как мы Зиночку выхватили из петли! Я сам Зиночку у седла вез по каким горам!..

Напоминание о спасении дочки тронуло Лелюкова, он начал добрее поглядывать на своего адъютанта.

Возле дверей уже несколько минут стоял незаметно вошедший Шувалов и, прислушиваясь к бормотанию Василя, утвердительно кивал головой.

— Пережил действительно много, — с грубой участливостью сказал Коля, — все верно.

Коля был в неизменном своем берете, с красным шарфом на шее, с автоматом, двумя пистолетами и кинжалом, украшавшим его, как какую-либо витрину в военном музее.

— Как выпьет, так и плачет, — говорит Коля. — У него женственности много.

Коля подошел к Лелюкову, остановился у его плеча и тихо ему сказал:

— Товарищ командир, он ничего парень, пожалели бы.

Василь краем уха услышал эти слова. Он приподнялся, гремя оружием о стул, шатаясь, как будто от сильнейшего горя, — все это делалось как-то по-детски притворно, — и пошел к Лелюкову с раскрытыми для объятия ручищами, которыми он при желании мог бы охватить не только Лелюкова, но и всю эту маленькую комнату.

Лелюков отстранился, приказал Шувалову:

— Возьмите его, уведите! Руки ломает мне.

Коля подошел к Василию и силой вывел его в кухню, прикрыв за собой дверь.

— Вот скажи сейчас Василию, когда и опасность кончилась лесная: Василь, дай, мол, под топор руку за Лелюкова, — даст, — говорит Лелюков. — Но с такими преданными надо быть осторожными вдвойне. Они

могут из-за любви к тебе, из-за ревности самого тебя пристрелить.

Лелюкову трудно повиновались пальцы раненой руки, и он долго не мог зажечь свечку. Я помог ему прикурить папиросу, и он сидел, окутанный клубом дыма, с благодарной, дружелюбной улыбкой.

За дверями в кухне слышался бубнящий голос Василия, голос Софьи Олимпиевны, еще какие-то женские голоса, резкая отповедь Коли. Потом все затихло и слышался только гул в плите.

Мы с Лелюковым сидим и обсуждаем вопрос о постепенной передаче партизан в армию, о сборе и сдаче оружия и трофеев. В конце беседы, когда дела окончены, он говорит мне:

— Стронский в Солхате.

— А чего же ты молчишь? Мне очень, очень нужен товарищ Стронский... Знаешь, сколько у меня накопилось к нему вопросов?

— Вот и поговоришь с ним. Время-то есть, — сказал Лелюков, — отец пошел к нему в гости. Тебя ждут через... два часа. Раньше не ходи: Стронский должен передать тебе твои документы, ордена, партбилет. Ты-то к нам с одним паролем пожаловал.

— А где остановился Стронский?

— Тебя проведет Борис. А пока иди да посиди на кухне, узнай, как там Василь. Ты знаешь, я его все же полюбил, как сына.

На кухне кипели и варились в больших кастрюлях рубленые куры, помидоры, лук, сало, что в подобной щедрой комбинации носило в устах поварихи роскошное название «чахохбили».

Софья Олимпиевна, болезненная, толстая, рыхлая женщина, с седыми волосами, убранными под чепчик, и с широкими юбками, отчего она казалась еще толще, обычно горячо сочувствовала молодым партизанам, вместе с ними переживала все их неприятности. И сейчас она прислушивалась через дверь к тому, что происходило в комнате у Лелюкова, слышала всхлипывания и пьяные признания Василия и дождалась, пока его вывели на кухню.

Василь сидел у стола, подперев голову руками, а Софья Олимпиевна хлопотала возле него. Она убрала

со стола накрошенную мелко морковку, вытерла из-под локтей Василия мокрое своим фартуком и, быстро зачерпнув с чисто крестьянской ловкостью чахобили понаваристей, с помидорчиками поверху, поставила миску перед Василием.

Василь долго смотрел на кушанье, вдыхая его запах, и уже приготовился было кушать, но, заметив меня, отодвинул сердито миску локтем.

Коля хотел убрать миску, Василь мотнул головой: — Оставь... Пил много, а ел — ничего.

Коля понимающе улыбнулся и, крутнувшись в своих постолах, вышел во двор, где подоспела пища и рокотал партизанский радостный лагерь.

Я сидел на лавке и наблюдал за Василием, который, наконец, решился взять деревянную ложку и жадно ел чахобили, размалывая куриные кости своими крепкими зубами.

— Кабы в лесу бы нам такое кушанье, Софья Олимпиевна. А то, что мы в лесу имели: «Хлеб, соль да вода, партизанская еда, да кобыла молода».

Василь виновато улыбнулся, но, заметив, что никто из присутствовавших, ни я, ни Софья Олимпиевна, ни двое партизан, пришедших в кухню и прикуривавших от печки, не хотят попрекать его недавними слезами, пришел в себя, попросил вина.

Софья Олимпиевна подморгнула мне: можно ли? Я кивнул ей головой. Она зачерпнула из ведра кружку мутного, свежесвиженного вина и поставила его перед Василием, сама чуть-чуть отошла от него, подперев подбородок кулаком, смотрела на него хорошими, материнскими глазами.

Василь отлично понимал этот взгляд, эту материнскую ласку. Он привык уже к ней, потому что был он мил своей детской, какой-то нетронутой красотой и мягким характером.

Рукой с пушинками светлых волос поднес он кружку ко рту и, не отрываясь и не переводя духа, выпил.

— Кабы в лесу... А то все поздно...

— Не поздно, Василь, — говорит Софья Олимпиевна, присаживаясь на лавку напротив Василия.

— Тебе не поздно, сынок, не поздно кушанье есть,

вино пить, жить. А вот своего-то сына я никогда не дождусь к столу.

Накладывает ему еще чахохбили.

Василь придвигает чашку к себе, разламывает булку пшеничного хлеба и большим куском начинает макать в чашку, с прежней жадностью расправляясь и с этой порцией.

Василь знает горе Софьи Олимпиевны, но спрашивает ее, так как ему известно, что горе человеческое требует участия:

— А где же сын-то? Убили, что ли, или пропал без вести, Софья Олимпиевна?

— Убили...

— Вернется, — говорит Василь, прожевывая кусок хлеба с безучастным лицом.

— Как же вернется, когда убили?

— Мы тоже для матерей все были убитыми.

— У вас другое, Василий. А я собственными глазами видела.

— Вот как...

Рука Василя шарит кисет в кармане.

— Значит, ты видела собственными глазами, Софья Олимпиевна?

Василь несколько раз слышал от Софьи Олимпиевны рассказ о том, как погиб ее сын, брат Камелии, но до этого толком не вникал в чужое горе. Теперь же он внимательно, сурово насупясь, слушал рассказ Олимпиевны:

— Сидела я вместе с сыном в тюрьме при захватчиках, в Керчи. Освободили меня партизаны. Уже здесь, в Солхате. Меня искалечили и сына отняли. Ходить почти не могу, все избито, опухло. Сына не могу забыть. Умница был, красивый какой, языки знал, рисовал очень хорошо, прекрасный физкультурник был, на всекрымских соревнованиях получил первый приз, до войны еще. Потом простудился на рыбе, в проливе. Получил туберкулез. Лечили его хорошо. Потом война. Привезла его Камелия в Туапсе, а потом, когда первый десант и Керчь взяли, — опять в Керчь. А тут опять враг. Четыре с половиной месяца его мучили. В подполье он работал. И я помогала. Его в Керчи убили. Имя его хорошо известное — Виктор Пармутанов. Аре-

стовали его, пытали в изоляторе. Мне пришлось его видеть. Вся спина у него была изрезана плеткой. Хотя бы тело его найти.

— Где же его найдешь, Софья Олимпиевна, — мрачно говорит Василь и угрюмо смотрит уже сухими глазами.

— Поехал в Керчь его друг Жора, партизан, поехал, чтобы расправиться с теми паразитами, кто выдал его.

— А кто вас освободил из тюрьмы? — спрашивает Василь Софью Олимпиевну.

— Освободил меня ваш отряд из тюрьмы. Специально налет делали. Да знаешь ты, Василек, Яша освободил меня и комиссар Баширов. А что меня освободить! Кабы только сына...

И плачет теперь Софья Олимпиевна. Пришло время Василию вставать и убеждать ее, что все проходит, что все померет, что вот остались они и заменят ей сына. В ответ идет всхлипывающий, блуждающий по сокровенному говор Олимпиевны, что прибрать бы ее нужно тоже с этого света, и что она встретится там со своим сыном, и что никто не заменит его. Разлетелась семья, как голуби при пожаре, и никогда не подберет теперь она от сына своего ни одного перышка.

Василь садится возле Софьи Олимпиевны. Она обнимает его плечи и плачет на груди, а он смотрит теми же суровыми, много повидавшими глазами. Нет в этом Василе, утешающем мать, прежнего, только что нами виденного парня, распустившего слезы. Все в нем на месте: и автомат под рукой, пистолеты, мешочек с патронами звенит на поясе, и пламень в глазах.

— Маты, маты, — уже по-украински, как в далеком детстве, говорит Василь, принякая к голове старухи губами, — маты, моя маты...

Две зашедшие на командирскую кухню разбитные бабенки, ядреные и налитые, бросили переихихиваться по своим бабским делам, перестали потрошить кур, тоже вытирают слезы ладонями, растирают их по лицу, по щекам, сморкаются и плачут.

Слезливое настроение развеивается, как дым, когда в дверь, почти не пригибаясь, входит разгульный, рас-

поясанный Кожанов в сатиновой синей рубашке, в галифе, в каких-то сафьяновых чувяках, вымазанных по голенища рыжей глиной. Полное пренебрежение чувствуется у этого человека и к его синей рубашке и к штанам тонкого сукна. Это все досталось ему удало и нетрудно. Кожанов долго пострадал в лесах, и теперь он, чубатый и лихой командир, гуляет по-русски, широко, как на масленой. Другим стал после победы Кожанов: куда делись его горе и раздражение? Он не любит слез после победы и всякой, как он называет, душевной слякоти, а предпочитает погулять.

Сатиновая его рубашка расстегнута на три белогловых пуговицы. Видна грудь, загорелая и волосатая, и начало сильных грудных мышц. Кожанов скроен и сшит, как ладный степной конек, выносливой и сухой породы. Кисти рук у него тонкие, но хваткие, сильные. Еще бы не сильные! Как вырваться из этих рук смуглолицей, сияющей от счастья Катерине, которая млеет под его плечом и входит сюда, в командирскую запретную зону, с тревогой, но и победным озорством, так и играющим в ее черных, влажных глазах. Уголки ее глаз, как у здоровых, молодых смуглянок, блестят, словно рубины, и белок выпуклый, синеватый, чистый. Под глазами Катерины, как тушью подведенные, круги, кончающиеся на ее полных, чуть скуластых, смуглых щеках... Ноги ее обуты в полусапожки. Уж постарался Кожанов и приказал сшить короткую, модную юбку, и поэтому вверх со ступни видна стройная налитая нога Катерины. Обтянуты пестрым, узорчатым шелком такие же развитые и сильные ее бедра.

Кожанов видит меня. Делает знак глазами, оправляет волосы и глядит на дверь, за которой находится Лелюков.

Он стоит, расставивши ноги, улыбающийся, черночубый, веселый.

— Олимпиевна, дождь идет. Мамаша!

Кожанов ласково похлопывает ее по спине и протягивает мне свою руку.

— Видались, кажется, сегодня, Лагунов. Эх, ничего! Здоров, еще сто раз здоров, Лагунов!

Василь между тем ведет тягучим взглядом снизу вверх по ногам, по бедрам Катерины, а потом уже за-

держивается упорными глазами и на ее лице. Этот внимательный мужской взгляд встречает отпор девушки, а потом, видимо, сообразивши, что бояться ей нечего и ничего стыдного и страшного в этом нет, она весело колет глазами Василия. Блестит и смеется рубин в уголке ее глаза. Они старые знакомые с адъютантом. Эта встреча доставляет ей торжествующее женское удовлетворение.

Кожанов смотрит в кастрюлю с чахохбили, блаженно улыбается в предвкушении новой еды, заглядывает в ведро с вином и, подхватив под руку, как под крыло, Катерину, идет к Лелюкову. Он задерживается у дверей как будто в нерешимости, потом распахивает обе створки, проталкивает Катерину вперед и следом за собой плотно затворяет дверь.

Олимпиевна, проводив их глазами, тяжело подымается, подходит к печке, где сварливо бормочет чахохбили, берет шумовку, запачканную в жире до конца рукоятки, и помешивает варево внимательно и убежденно.

Василь тоже встает и, как бы боясь разбудить вновь загасшую на мгновенье материнскую скорбь, неторопливо и бесшумно, как Коля Шувалов, выходит.

За ним выхожу я, так как приближается час приема, назначенный мне Стронским, к которому я иду с большой душевной тревогой.

...Итак, я снова вижу Стронского.

Партийный билет у меня в нагрудном кармане, ордена на новенькой гимнастерке.

— Ваша обстоятельная, важная работа по подготовке территории вторжения, проведение операции на «Дабль-Рихтгофен» и выполнение заданий командования среди партизан позволили нам поставить вопрос перед командованием о присвоении вам очередного звания — гвардии майора, — торжественно произнес Стронский.

Я попросил направить меня под Севастополь, в мою гвардейскую дивизию, которой командовал наш бывший начальник училища, теперь уже генерал-майор, Градов.

Стронский, поскрипывая половицами, прошелся несколько раз по комнате взад и вперед, приподнял

шторку и внимательно, будто это его больше всего интересовало, наблюдал, как двое мальчишек в бешметах с позументами привязывали к хвосту шелудивого пса консервную банку. Высунулся в окно, зло покричал на мальчишек — и они стремглав разлетелись в стороны.

— Люди, мучающие животных, не могут быть хорошими людьми, — про себя, будто припоминив к случаю давно известное ему изречение, сказал Стронский и обратился ко мне: — Командование поручает вам ответственное задание, оно больше государственное, чем военное. Возвращение в дивизию придется отложить. А там, как развернутся события... Во всяком случае, мы не можем продолжать поход, пока у нас остается сомнительным важный участок нашего тыла.

Стронский, изложив мне смысл поручаемого задания, ждал ответа. Я сказал, что мне морально трудно выполнить это поручение, пока один из членов нашей семьи находится у врага, и рассказал об Анюте.

Стронский сел у стола, наклонил голову, поставил локти на стол. Своими худыми с синими наколками татуировки руками охватил голову.

— У меня, знаете ли, еще с того дня, как артиллерия генерала Еременко начала обработку керченских позиций на прорыв, почему-то ужасно болит голова, — сказал он, поморщился и, вытащив из кармана кителя плоскую коробочку, положил в рот пилюлю. — Мне известно все. Вот здесь до твоего прихода сидел твой отец, пожилой, именно пожилой, а не старый, умный, упорный, неоднократно стреляный советский человек. Он говорил то же, что и ты, Сергей. Его и тебя мучает одна и та же рана, и напрасно вы таили друг от друга свои общие сомнения и горе. Дело идет о чести вашей хорошей советской семьи... Знай только, что мы доверяем тебе и будем доверять... — остро отточенный карандаш побегал по бумаге блокнота. — А насчет сестры... чтобы ты кое-что понял, ибо это тоже вопрос чести... — Стронский, написав записку, передал мне: — Для хорошо известного тебе Михал Михалыча. Пока таешься с ним на катерах; а затем вернешься и поступишь в распоряжение генерала Градова, который придет сюда после освобождения Севастополя.

ОГНИ ХЕРСОНЕСА

Михал Михалыча я нашел у разбитого евпаторийского пирса, где стояла борт о борт пятерка торпедных катеров, похожих издали на обычные рыбацьи баркасы.

Несколько морских офицеров стреляли из пистолетов по качавшимся на волне бутылкам из-под шампанского — остаткам фашистского господства.

Увлеченный стрельбой, Михал Михалыч не обратил внимания на меня, хотя я стоял за его спиной. Вот он согнул левую руку в локте, приспособил ее, как опору, прицелился, сделал подряд два выстрела. Головка бутылки разлетелась с треском, и, булькнув, бутылка затонула.

И только тут Михал Михалыч заметил меня.

— Ба! — воскликнул он. — Метаморфоза! Лагунов! Как же ты, мил друг, так быстро в чинах выскочил! Э-ге-гей! Гвардии майор? Ломаю, ломаю свою просоленную и просмоленную фуражку...

Он перезнакомил меня со своими командирами.

— Это Кастелянц, высокого класса храбрец, это Тимур, это любимец Совинформбюро Хабаров... Но стрелять из пистолета не умеют. Что не умеют, то не умеют... — Михал Михалыч взял меня под руку. — Звонил мне Стронский, не ожидал и был обрадован. А тебя поджидаю просто в гости... Пойдем-ка в нашу кают-компанию.

Кают-компанией Михал Михалыч, оказывается, называл яму от крупной авиабомбы, очень точно сброшенной нашими пилотами. В яме был насыпан грызовой подсолнух из приткнутого у берега полусгоревшего сейнера.

На семечки мы и прилегли. Михал Михалыч запустил руки в семечки по локоть, расспросил меня о партизанской жизни, любопытствовал о судьбе Мариулы:

— Хорошо работала? А что ты думаешь? Честная деваха, преданная. Это мы так по старинке смотрим: цыганка, цыганка, сплошная экзотика. А Кириллова повстречала она своего?

— Повстречала. Только не Кириллова, а Гаврилова.
— Не знаю, кто он: Гаврилов, Кириллов, Петров, Иванов. А раз встретила — и ладно, пусть жизнь устраивают...

— Что делаете, Михал Михалыч?

— Рыщем на коммуникациях. Сегодня до утра рыскали, приглушали моторы, прислушивались, вернулись ни с чем. Комбриг уже дважды по радио благословил:

— Как переносите?

— Пойду, переболею в кутке, покусая себе ногти.
А что еще?

— Нехорошо у нас получилось, — сказал Хабаров, командир катера, молодой офицер в кожанке, — пропустили какую-то посудину на Констанцу...

— Ушла посудина-то?

— Засундучили ее летчики из минно-торпедной дивизии, — угрюмо сказал Михал Михалыч.

— Ну и что же, хорошо.

— На их счет пошла. Соревнуемся, — Михал Михалыч повернул ко мне свое освещенное хитрой улыбкой лицо. — Все бы ничего, да мы раньше праздника в колокола ударили...

— Как?

Хабаров с улыбкой сказал:

— Что было, прошло.

— Свой человек, — сказал Михал Михалыч, — ему можно. Видишь ли, на наш грех поднесло сюда фургон редакции «Последних известий» по радио, из Москвы. Такой это маленький, шустрый человечек уговорил меня записаться на пленку. Ну, я записался, думал так, для тещи. Конечно, прихвастнул, как и полагается. Слушаю на следующий день радио. Мое выступление в эфире. Командир N. Кто-то, конечно, не знает командира N, предположим, в Тамбове, а ведь флот слушает, начальство. И дали этому командиру N духу. И выходит, я нахвалился на весь мир по-пустому, а ничего не утопил. Ну, кто мог знать, что этот шустрый человечек так может подвести? Кто же думал, что так ловко на радио работают? Бросился я к фургону, злой, как чорт, думаю: «Переверну!» А фургона-то и след простыл. Вот и кручу теперь чубчик на палец. Надо же оправдываться!

— Оправдались уже, товарищ капитан второго ранга, — почтительно вставил румяный и мило застенчивый Тимур.

— Оправдались на воспитании кадров.

— Насчет Кастелянца расскажите, товарищ капитан второго ранга, — сказал Тимур. — Поучительно.

— А... Кастелянц. Ты видел его, Лагунов. Я зна-комил тебя с ним: армянин. Заметил, какая у него оснастка? Подковы гнет, двугривенный зубами перекусывает, лейтенант, из самой Эривани, с главной улицы, квартира у него там с водопроводом и канализацией, и горячей ванной. На Севане плавать научился, а там, говорят, вода — лед, и, говорит, ни разу судорога не сводила, а как выходит на боевую операцию, в море, так скисает, как простокваша, хоть ложкой его накладывай. Что делать? Прогнать его? Легче всего. Накалякал характеристику, приложил печатку, послужил конверт, отправил — и погубишь парня на всю жизнь. Раньше гнул подковы, а потом французскую булку не переломит. Значит, надо учить. А как учить? Только личным примером. В нашем аховом деле языком мало сработает. И вот подвалило на счастье задание.

Стояли мы до этого в Ак-Мечети, от непогоды укрывались. А двадцать четвертого вызвал меня комбриг: «Слыхал, есть обращение комфлота, шифровка?» — «Какое обращение?» — «Комфлота обращается к нам, к катерникам: сейчас, мол, решается судьба Севастополя, и наша бригада, имеющая отличный офицерский и матросский состав, должна помочь...» Ну и так далее. Передает мне задушевное обращение адмирала Октябрьского. Говорю комбригу: «Я поведу сам звено». — «Веди два звена», — говорит комбриг. Вот, думаю, и испытаю своего Кастелянца. А в тот день прислала мне жинка письмо: «Мишуня! Нужен банкет двадцатилетия». Видишь ли ты, исполнилось двадцатилетие моей службы во флоте. Пишет она: «Все, что нужно для таких именин, запасаю».

— Неужели вы, Михал Михалыч, уже двадцать лет во флоте?

Михал Михалыч снял фуражку, наклонил голову с сильно поредевшими волосами и плешинкой на макушке.

— Здравствуйте! — и надел снова фуражку. — Ше-

стого года рождения. Правда — сорока еще нет. — Михал Михалыч озорновато подмигнул мне. — Работал я в Ростове. Да, в Ростове на Дону, на судоремонтном «Красный Дон», может быть, слышал? В 1924 году по разверстке ЦК ВЛКСМ послали меня во флот. Вот и посчитай, сколько лет днищем камни царапаю... Уже, брат, комсомольцы, что пришли во флот в двадцать четвертом году, в адмиралы повыходили. А я вот все на своих малютках сижу... Ну, не в этом дело, сбился с рассказа. И вот в день такого семейного юбилея решил выйти в море и сработать чисто. Вызвал я четыре «тэ-ка», построил и повел. Можно было итти на главную коммуникацию, но у них есть боковые. Решил я итти к мысу Улуколу, параллельно их боковой коммуникации: для успеха надо чаще менять тактику. Сегодня огнем завязал бой, а завтра подкрадывайся, как лиса. Сегодня покажись у Херсонеса, а завтра — в другом месте. Чтобы они были в умопомрачении, какой именно коммуникации держаться. Надо сказать, что они плавают... ничего плавают, правильно, — Михал Михалыч обвел всех своими цыганскими глазами, — выходят они обычно в сумерки, когда прожекторами еще бесполезно светить и достаточно темно, чтобы их не заметить, а потом на Констанцу. Ночь в их распоряжении.

— А разведка у вас есть? — спросил я.

— Где?

— В крепости?

— В Севастополе? — Михал Михалыч улыбнулся таинственно и на ухо мне, но так, чтобы слышали все, сказал: — Сидят, брат, наши люди в точных местах...

— В каких местах?

— В разных. Под скалой сидят, в развалинах, и тихонько пишут, сколько стало на коммуникацию, какой курс, ну и так далее, скупое, но понятно. И вот... дошел я до Улукола и лег на Севастополь. Гляжу во все глаза, и все мои орлы, конечно, глядят. Засемафорили, слава богу, разбираем почерк, узнаем: «Вышли две «БДБ» типа «Ф4» с катерами охранения». Отморзила и подписалась... Значит, сведения верные, по нашему коду...

— Подписалась? Она? — спросил я с невольным волнением.

— Может быть, и оно, — уклончиво ответил Михал Михалыч, — а подпись обязательна. Могут под такой удар подвести, на том свете юбилей отпразднуешь. Мотанул по створам тридцатикилометровым ходом. Минут двенадцать спустя боцман докладывает: «Вижу силуэт по курсу, градусов двадцать пять с правого борта». Наклоняюсь к Кастьянцу своему: «Видишь?» — «Вижу». — «Выходи в атаку!» Сзади шел вот этот мармеладик, — Михал Михалыч потрепал лежавшего рядом с ним Тимура по щеке, сильно тронутый морским весенним загаром. — Он занялся второй группой, конвой-то кучкуется погруппно возле «китов», а мы занялись первой «БДБ» типа «Ф4». С Кастьянцем работал в торпедной паре флегматик, он сейчас камбалу потрошит на пирсе, Ванечка, лейтенант, командир катера. Гляжу я за Кастьянцем: моя задача. Кастьянец почернел, как чугунок, под скулами шарики забегали. Вижу, все в порядке. Чувствую, разложил Кастьянец по полочкам все абсолютно точно, наблюдаю за ним. Откомандовал он правильно, без паники, и молниеносно, с точного до секунды курса врезал с хода под самые, можно сказать, селезенки эту «БДБ» типа «Ф4». Охнуть не успела, снеслась милая. Вторую раскололи с двух залпов Тимур и его приятель. Ну, конечно, среди катеров охраны паника. Замотались зигзагами, стрельбу открыли. Думаем, все едино без китов этой шушере возвращаться в порт, потому сами-то они, как ноль без палочки, чего им одним переться в Констанцу. Там им генерал Линдемман ноги повыдергивает.

Слышу, с берега мой замполит волнуется: «Как, как, как?» Отвечаю ему: «Куручка снесла два яйца». — «Сразу?» — спрашивает замполит. Отвечаю тихонько: «Вопреки природе». А у меня замполит, брат ты мой, — большой мастер воспитания матросов, ленинградец, семья была в блокаде, редкий мастер политработы... Порадовал я своего замполита и доношу радиогаммой с моря комбригу: «Встретил, атаковал, утопил». Получаю в море ответ комбрига с личной подписью: «Благодарю. Экипажи награждаю». Это первый вариант. Вишь, как обкаталось с Кастьянцем. Выправили его под Севастополем. Думаю ему поручить венок

Нахимову возложить. Ворваться с моря раньше пехоты и венки, а? А если только ту девушку повстречаю, что нам семафорит, пусть моя Валентина Петровна в пузырь лезет, расцелую и к большой награде буду просить представить, доберусь до самого адмирала.

Тимур лег на спину и смотрел на небо, где в весенней сини протянулись перья облаков, будто хвост огромной птицы.

Лейтенант тихонько и мечтательно запел:

Я знала, что придет она, счастливая минута,

Он пишет: «Кончится война, и я вернусь, Анюта!»

Приди, приди ко мне, мой друг, но где же та минута...

Михал Михалыч подтянул вместе с лейтенантом:

Когда прильнет к тебе на грудь счастливая Анюта...

— Откуда вам известна эта песня? — с волнением спросил я.

— А как же, — Михал Михалыч отпустил мою руку, — так вот пошла и пошла. Лирика, ничего не попишешь... Я, брат, эти слова своей Валентине Петровне послал. Тоже сдурел, старый хрен...

— Вчера ялтинская торпедная группа выходила на операцию — никто не семафорил, — сказал Тимур хмуро.

— Может, закантовали? — Михал Михалыч вздохнул. — Чего ты, брат Серега? Эх, романтика, романтика, елки зеленые! Помню, когда в двадцать четвертом пришли на флот, с нас всякую романтику, что мешала учебе, кое-как отчистили... Так эта песенка и тебе по душе, а?

Я ничего не ответил Михал Михалычу, поднялся, вылез из ямы и пошел к пляжу.

Развалины приморской части Евпатории стояли передо мной. Море набегало на чистый песчаный берег. Волны, зеленые, сильные, бросались на берег и уходили, оставляя полосы пены, быстро впитываемой песком.

Пронзительный ветер свистел в зашитых камнями кассовых будках. Травы, похожие на осоку, проросли через песок. Давно эти пески не топтали курортники. Пляж назывался строго: «Пляж высадки десанта».

Поэтому он был пустынен, и даже кассовые будки превратились в пулеметные гнезда.

Невидимый глазу, за просторами моря лежал Севастополь, а там... где-то в развалинах города снова пела «Песню Анюты» моя сестренка. Тяжело было у меня на сердце...

Глухие взрывы где-то далеко, далеко толкали землю. Волны бежали на пляж, пенились, уходили. Чайки носились почти над головой. Медленно, рассматривая щербатины мостовой, я дошел снова до пирса.

Михал Михалыч на берегу подбрасывал песок и следил за разлетом.

— Дует, сатана! — он отряхнул ладони. — Но, может, к вечеру сдаст. Надо итти на коммуникации. Для сукиных детей мастерить дорогу смерти.

— Если вы разрешите, я пойду с вами ночью, Михал Михалыч?

— Пойдем, — охотно согласился Михал Михалыч. — Когда-то я мотористом хотел тебя переманить — не удалось. Да и правильно, что не удалось: ты у меня из мотористов долго бы не вылез.

К вечеру ветер начал стихать. Экипажи осмотрели боевую часть, залили бензин и масло, заложили полный комплект снарядов и пулеметных лент. На закате пообедали вареной камбалой и мясными консервами.

Возле Михал Михалыча на корточках сидели командиры катеров. Комдив был в зеленых меховых штанах и в такой же куртке с подшитым изнутри искусственным мехом на парусиновой основе, что спасало одежду от корабления после морской воды.

Палец комдива водил по морской карте, где были указаны глубины, маяки, господствующие в этом бассейне ветры, течения.

Михал Михалыч подробно расписывал ночную операцию, сам задавая себе вопросы и сам на них отвечая. Сейчас все должны были молчать. Комдив думал вслух и не выносил до поры до времени никаких возражений и вмешательств в свою мысль. Вот когда его мысль созревала, он мог поднять глаза с вопросом, и тогда каждый имел право высказать свои соображения.

— Какие мыслишки у народа? — спросил комдив, не поднимаясь с корточек.

— Решение с учетом неведения? — спросил Ка-стелянец.

— Не будем отчаиваться, — ответил комдив, — а если не так по данным разведки, пошарим сами. В войне все под вопросом, братья. Итак, какие еще вопросы?

Смуглое лицо Михал Михалыча сморщилось в хигроватой улыбке. Все молча глядели на карту.

— Вопросов нет. Идите.

Все встали, направились к пирсу. Михал Михалыч смотрел вслед, широко расставив ноги. Вот он что-то вспомнил, сбил на затылок фуражку, покричал:

— Кастелянц!

Кастелянц обернулся, направился к нему. Михал Михалыч снова ударил себя по лбу, закричал:

— Иди, иди... Не возвращайся, Кастелянц! Сам на катере буду... Иди... — и обратился ко мне: — Даже в пот бросило. Чуть-чуть не вернул человека после дачи задания...

— А что же тут такого?

— Дурная примета. Очень дурная...

На пути к пирсу он говорил мне:

— Мне каждого из них жаль, как сына, Сережа. Понял? Многие говорят, что я воспитываю головорезов. Здоровые, запеченные, просоленные, с буграми мускулов, в кожу зашитые, хмурые, улыбка не дай бог... А сердцем? Прямо скажу: робкие дети. А почему разговоры? Потому что взгляд на катерников иногда, кто нас плохо знает, бывает неверный. А в море? Такая скорлупа с адской начинкой несется, как бешеная; места для людей расписаны на сантиметры, вес — на граммы. Плунуть негде. Погляди внутри, как бедняги мотористы работают. Чуть дрогни в коленках — и пробьет черепок какой-нибудь шпилькой. Ноги должны быть стальные, руки стальные, сердце не должно поддаваться ни на какие сухопутные эмоции. Все выкинь, брат, из башки! — Михал Михалыч взглянул на часы: — Пора!

Солнце спустилось в море. Еще некоторое время его теплые и светлые лучи озаряли кипящие волны и водяную пыль, над которой носились чайки.

— Ты, Сергей, пойдешь с Тимуром, — сказал ком-

див, — я опять пойду с Кастелянцем, последняя ему точка в путевке...

Катера быстро один за другим отвалили от пирса и ушли в море. Впереди, взрывая волны, летел катер Кастелянца, за ним — наш.

Я смотрел на миловидное сосредоточенное лицо Тимура.

Внизу слаженно и точно работали бензиновые мощные моторы. Оттуда притекало тепло, смешанное с острыми запахами бензина и масла.

Ночь пришла раньше, чем мы думали. Вдали показались светлые столбы прозрачного дыма: это горел Севастополь. Оттуда доходили звуки разрывов.

Бомбежка отвлекала внимание противника от моря. Мы стали на траверзе Северной бухты, недалеко от берега, и заглушили моторы.

Здания, обращенные к морю, были разрушены, сохранились только стены и проемы окон. За этими стенами горело. Окна были ярко освещены, будто магниевыми огнями. Ветер донес к нам запахи разлагающихся трупов.

— Прошлый раз даже моих мотористов травило, — сказал Тимур. — На берегах свалены тысячи трупов... Русских, мирных жителей. Фашисты хотели вывезти их в Констанцу и расстреляли из пулеметов у причалов...

Тимур смотрел на Севастополь.

Заработал мотор флагмана. Катера пошли к Херсонесу. Катер неся почти над поверхностью моря, будто чуть-чуть налегая своими реданами на крутую волну. Кильватерный след пенился за кормой.

Я всматриваюсь в пустынные скалы Херсонеса.

Стены воды, разрезанные катером, проносились и падали, чернели на палубе пушки и реактивные установки.

И вот, наконец, я увидел вспышки электрического фонарика. Кто-то «писал» у скал Херсонеса.

— Она! — прошептал над моим ухом Тимур.

— «Транспорт «Оракул», груз — Рихтгофен, курс...» — читал вслух Тимур.

Огоньки погасли. Моторы были заглушены. И снова мелькнуло несколько точек.

— А н ю т а, — прошептал Тимур с благодарной улыбкой.

Я не отрывал глаз от скал, уходивших от меня. Торпедный катер быстро шел по курсу, проложенному моей сестрой, мы уходили от мыса, чтобы разыскать транспорт «Оракул», утопить его. Мы затем вернемся к себе, а Анюта останется там, в осажденной крепости, среди огня и взрывов... И несмотря на это, с плеч моих как будто свалилась какая-то большая, сгибавшая меня тяжесть: Анюта была в наших рядах...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

СОВХОЗ «МАРИЯ»

Советские войска заняли Севастополь 9 мая после решительного трехдневного штурма. К вечеру 12 мая последние остатки 17-й армии, которыми командовал теперь генерал Альмендингер, сменивший Енекке, были либо пленены, либо сброшены с обрывов Херсонеса.

Танковая часть Ильи влетела на окраину мыса, где море билось о скалы.

Танкисты успели в самую последнюю минуту спасти много наших людей, среди них была и Анюта, а Мерельбан, приговоривший ее к смерти, покончил жизнь на западной точке мыса, у развалин стены херсонеситов. Там опознали его среди двухсот вражеских офицеров, валявшихся у «стены самоубийц».

Последние самолеты были захвачены на аэродроме Херсонеса, транспорты были либо захвачены, либо потоплены или подожжены.

Анюту вывезли в штаб фронта, где ей вручили орден Ленина. Мы послали ей телеграмму из Солхата, чтобы она приезжала прямо в садоводческий совхоз «Мария», куда был назначен директором Яша Волынский.

Отец отдыхал в Феодосии, у доктора Устина Анисимовича: штаб партизанского движения отпустил его домой, в колхоз.

Почти все партизаны, кроме оставленных на партийной и хозяйственной работе в Крыму, были призваны в армию, и многие из них, в том числе Саша Редутов, Шувалов, Кариотти, Семилетов, уже передвигались в составе регулярных дивизий либо к Бал-

канам, либо на центральный участок фронта, нацеленный на Восточную Пруссию.

В домике нашего штаба, положив локти на стол, сидел и грыз семечки невеселый Кожанов, доживавший последние медовые дни с Катериной перед отправкой в полк. Здесь же были Гаврилов и Баширов, оставленный пока в оперативных целях на полуострове.

Катерина вела хозяйство штаба. Сели за стол, накрытый холстинковой украинской скатертью, чокнулись.

— Я как на похмелье, — сказал невесело Кожанов.

— Да растормошите вы моего Петечку! — просила Катерина. — Ходит как в воду опущенный. Я ему говорю, война вот-вот окончится, и приезжай тогда без всяких пересадок в свое село. Примем его хлебом-солью, бараниной, а он кручинится...

— Встретил я своего знакомого, вместе капитанили, — угрюмо сказал Кожанов, — гляжу — полковник, и вся грудь в орденах.

— Нашел, о чем горевать! — сказал Гаврилов.

— А ты чего, сербиянин, задумался?

Гаврилов встрепенулся, вскинул плечами, криво улыбнулся:

— Ничего не задумался. Так себе...

— Мариулу вспомнил? — спросил Кожанов.

— А может быть, и ее, тебе какое дело? — грубо оборвал его Гаврилов.

— Не сердись, Гаврилов. Какой-то ты стал вспыльчивый.

— А чего мне пылить? Только ее имя лучше не трогай.

Гаврилов поднялся и, переваливаясь по-утиному, вышел из комнаты во двор. Кожанов рассказал:

— Приготовил Гаврилов пару коней, тачанку, чтобы отправить Мариулу, а Лелюков отобрал и в горсовет. Вот была перепалка! Первый раз таким видел Лелюкова. Теперь, когда он секретарем райкома, стал еще непримиримей.

— А зачем Гаврилов в личное пользование прихватил лошадей и тачанку? Ведь коммунист он? Непорядок, — вдруг строго сказал Баширов, вернув всех к прерванной теме.

— Цыганам вроде можно иметь собственных лошадей, — сказал Кожанов.

— Так собственных, а не чужих.

— Тут сразу после Севастополя появилась Мариула, ты ее после выхода из леса не видел?

— Нет.

— Входит и сразу: «Ты здесь, миленький, давай погадаю на нашу любовь». Карты в руках. Гаврилов, можешь себе представить, отступил от нее вот в этот угол, посерел лицом, ничего не понимает. Ведь для него работа Мариулы была большим секретом, как тебе известно. Тогда цыганка подскочила к окну, распахнула и Гаврилову: «Я вольный ветер!»

— Ну, дальше что? — полюбопытствовал Баширов, сверкнув монгольскими глазами.

— Дальше мы вышли, Баширов, вот в эту дверь, плотнейко ее притворили и на цыпочках. Я помнил, что нам Гаврилов говорил: «Она клятву дала цыганскую, твердую». Нельзя мешать...

— Где же Мариула сейчас? — спросил я.

— Где-то хранит ее Гаврилов. Не знаю, где. Больше не встречал. Как сквозь землю провалилась.

— А Фатых? Я слышал, что его утвердили помощником районного прокурора.

— Утвердили. Лелюков, как секретарь райкома, давал характеристику.

— Напрасно... Как ты думаешь, Кожанов?

— Поживем — увидим, — Кожанов уклонился от прямого ответа, — начальству видней.

— Зря назначили Фатыха, — мрачно и определенно сказал Баширов.

— Кстати, он тебя все спрашивал, интересовался, — Кожанов свернул самокрутку, припалил от трута, — куда и куда Лагунов катается? По каким делам?

Я поднялся, попрощался со всеми и уехал к Якову.

Дом стоял на склоне пологой лощины и сделан был, как обычно строятся дома в этой солнечной стране, с глухой стороной, обращенной к господствующему ветру, и просторной террасой к солнцу, куда выходит много окон и дверей. Двор был огорожен только с двух сторон стеной циклопической кладки из дикого, нечище-

ного камня. Над домом поднимались кипарисы, усыпанные чашечками семян. Кипарисы помоложе аллеей спускались под горку, где из расщелин скалы бил ключ. Травянистый пригорок был усыпан бледными, нежными цветами ложного сентябрика, и под ногами пружинила вечно цветущая лесная крапивка, атакованная мелкими и энергичными лигурийскими пчелами.

А ниже, по широкой долине, окаймленной кипарисами, попеременно с пирамидальными тополями пряно, дружно цвели яблоневые сады.

— Ждем, ждем, а его нет, нет, — укорил меня Яша, раскрывая объятия.

— Дела, Яков, — сказал я, — дела.

— Ну, а мы бездельники, выходит. Пойдем-ка в дом, Сережа.

Яша был одет в серенькую рубашку с расстегнутым воротом, что делало его совсем похожим на юношу. Новенький орден Красного Знамени оттягивал легонькую материю рубашки, волосы влажные, волнисто зачесаны назад, на босу ногу чувяки с загнутыми носами.

— Ты совсем стал гражданским человеком, Яша.

— А что делать, если опять забраковали для армии? Тут еще на грех рана на бедре открылась, чорт бы ее драл! Все напасти, Сережа.

Вдруг я услышал ритмичные быстрые удары ладошками по пустым ведрам и дружное двухголосное:

Цимля, цимля, цимля-ля,
Цимля-ля, цимля-ля!

Я обернулся и увидел идущих в ногу с ведрами в руках Люсю и Камелию. Девушки шли, запрокинув головы, и, печатая шаг своих босых смуглых ног, стучали в ведра, как в барабаны, весело припевая:

Цимля, цимля, цимля-ля,
Цимля-ля, цимля-ля!

Яша прищурился в добродушном смехе:

— Ишь, что мои девчата придумали!

Девушки подошли с этой песенкой, стали во фронт, подбросили ладошки к легким завиткам локонов.

— Здравия желаем, товарищ гвардии майор! — разом выпалили они и дружно расхохотались.

Люся смеялась, и казалась мне она сейчас какой-то особенной, солнечной, как красивый цветок. Босые ее смуглые ноги, надорванное на плече старенькое маркизетовое платьице и брошенные за спину светлые туго заплетенные косы — все было мило, дорого и желанно.

Когда мы сидели на террасе за ужином, Яша встал из-за стола, ушел в комнату и принес гитару с перламутровой инкрустацией.

— Ты стал играть на гитаре, Яков? — спросил я.

Люся, сидевшая рядом со мной, шепнула:

— Купил для Анюты. Подарок к ее приезду.

— Думаю учиться играть на гитаре, — сказал Яков.

Он сел, заложил ногу за ногу, что-то забренчал, и постепенно это что-то перешло в мотив «Анюты».

Солнце садилось в предгрозовой облачности, огромное, словно откованное могучими руками в огромных горнах. Красные пожары текли на горизонтах, а здесь ложились розовые воздушные краски, отчего яблони неожиданно зацвели миндальными тонами и опахнутые вечерним ветерком лепестки полетели, как мотыльки.

— Вот это дано мне в руки, Сергей, — Яков встал, откинул свои волосы взмахом головы, прислонился к террасной деревянной колонне. — Здесь тоже надо справиться хорошо, как и положено командиру Молодежного отряда.

Вместе с пряным запахом нагревшихся кипарисов, траз и яблоневых стволов входили шумы передвигающейся по шоссе автоколонны.

Яша принес полевой бинокль и молча передал мне.

По шоссе непрерывным потоком катились грузовики без людей и клади. Голова колонны поднялась на гору и устремилась по блестящему черной лентой шоссе, а хвост еще находился в лощине. Слышны были скрипы недавно восстановленного из горных сосен моста через речку, и клубилась пыль, серая, как цемент.

— Ты знаешь, что это? — спросил меня Яков.

— По-моему, колонны идут для переброски армии Толбухина, — ответил я.

Яков посмотрел на меня недоверчиво.

— Пойдем ко мне. Я оборудовал себе какое-то подобие кабинета.

В угловой комнате с двумя окнами, выходившими на террасу и в сад, Яков зажег лампу с плоским фитилем, и мы уселись на диване, накрытом потертым кубинским ковром. На стене висели автомат, пистолет, пояс с партизанским кинжалом и мешочек с патронами.

После живых разговоров за столом, когда быстро перемежались смех и грусть, когда один начинал, а его перебивал другой, и течение беседы несло, как при изменчивом ветре, в чем тоже была своя молодая прелесть, мы замолкли, оставшись наедине друг с другом, и смотрели друг на друга внимательно и вопросительно, с внутренним беспокойством.

В этот миг решительней оказался Яша. Он сел так, чтобы его лицо было полностью освещено светом лампы.

— Сережа, — сказал Яша очень тихо, чуть пошевеливая губами, — ты понимаешь меня... Ты всегда меня понимал... Мне неудобно обращаться к тебе с этой просьбой, так как и без нее ты не мог поступить иначе, но прошу тебя... пусть Анюта именно здесь, у меня, как можно дольше побудет... не забирайте ее отсюда, раз она уже согласилась сюда приехать... — Яша запнулся. Мелкие росинки пота высыпали на его лбу, на висках.

Мне стало понятным волнение друга.

— Яша, ты не думай, что я захотел бы вольно или невольно причинить тебе боль. Кое о чем я догадывался. Если говорить без обиняков, я понимаю... Ты хочешь, чтобы Анюта была подольше вблизи тебя? Чтобы она увидела тебя, сегодняшнего Яшу, а не того, который остался там, в Псекупской?

Яков утвердительно и смущенно склонил голову.

— Пойми, и там ты не был таким уж... как тебе кажется... Ты был хорошим парнем. И я знаю: Анюта и тогда всегда защищала тебя от наших насмешек, и то, что мы иногда не понимали из-за своего детского,

бесшабашного, ну, скажем, эгоизма, она понимала лучше нас, просто, может быть, чутьем хорошего человека.... Ведь она хороший, очень светлый человек, Анюта. Ты знаешь, как я люблю ее и сколько тревог испытал я, когда...

— Я все знаю, Сережа, — Яша сжал мою руку своими горячими ладонями, — я буду очень чуток, бережно буду хранить все ее чувства, и прежде всего к Виктору. Но пойми, не посчитай меня дурным. Еще с детства я... обожал ее... Ведь вы-то ничего этого не знали, Сергей. Я бы расколотил голову о камень, если бы узнал, что кто-нибудь из вас догадался. А мне хотелось поднять ее на руки и нести, нести над землей, подниматься на горы, куда угодно, и сил бы хватило... хватило... — голос Якова прервался, он отпустил мою руку, встал и, подойдя к окну, распахнул его и вынулся наружу.

Мошки, стучавшие о стекло, влетели в комнату и устремились к огню. Привлеченная светом, влетела какая-то большая бабочка и загудела крыльями по комнате. Я подошел к Якову.

— Я думаю, все будет хорошо.

— Да? — он вздрогнул. — Я прошу только ее не уговаривать. Ни в коем случае. Это было бы оскорбительным и для нее и для меня. Я хочу, чтобы все пришло само собой, а иначе... тогда лучше пусть останется все попрежнему... — губы его дернулись, — я прошу тебя....

— Можешь рассчитывать на меня, Яков. Как на друга.

— Спасибо, Сергей, — его черные увлажненные глаза счастливо блеснули. — Все с непривычки, Сережа.... Какой-то я в этих делах... нескладный.

Потом мы отошли к столу, и разговор снова перешел к недавно пережитому, к дням партизанской Джейлявы, к отсечным скалам, где горели наши костры из дуба, к скалам, которые выветрятся и рухнут гораздо позже, чем прочертят по вселенной наши жизни. Мы говорили о будущем и строили его легко и свободно, как будто уже все было в наших руках и на наши мечты никто не мог наложить запрета, ибо такова жизнеутверждающая загадка молодости.

На террасу вышли девушки, тихо запели песню. Мы прислушались к ней. Это была одна из песенок популярного до войны кинофильма. Вспомнились комсомольские дни в Псекупской, набитое доотказа кино, шипенье аппарата и любезные нашим молодым сердцам, захватывающие кадры фильмов, которые мы могли смотреть бесконечное число раз.

— Пожалуй, мы никогда не забудем наших партизанских дней, проведенных вместе, Сергей, — сказал Яша, — а вот все же те воспоминания нашего детства и комсомольской юности свежее, хотя и дальше. Не кажется ли тебе это? Так хочется снова зажечь мирной жизнью, трудиться во имя счастья нашего народа. Чтобы всегда над всем миром сияло солнце, чтобы нигде не было темных углов, неосвященного, мрачного царства.... Конечно, над этим еще надо будет много потрудиться и придется бороться.

— Да, бороться, — сказал я, раздумывая над словами Якова, — и честно бороться. Война-то еще не окончена. Если наступит час, когда нас спросят: что вы сделали, чтобы предохранить Родину от повторения виденных и испытанных вами ужасов, — мы ответили бы: сделали все и сделали хорошо. Мы не прошли закрыв глаза... Я до сих пор помню выстрел в моего отца, а его могло бы не быть, Яков, если бы я предупредил во-время...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

РАНЕНИЕ ЛЮСИ

Лелюков сидел, положив на край стола руку в гипсе, и говорил по телефону с Градовым.

— Тебя вызывает Градов, — сказал мне Лелюков, закончив разговор. — Ну-ка, Сергей, потянись, там за тобой куртка, вытащи в боковом кармане папиросы да и прикури. Моя проклятая клешня никак не склеится.

Выпуская тоненькие струйки дыма и откинувшись в кресле, Лелюков внимательно рассматривал меня.

— Ну, что же... Сергей. Фатых-то оказался дурным человеком.

— Я давно-давно говорил об этом.
— Проверяли, шупали....
— Такие, как Фатых, помогали немцам...
— Не только им... Словом, мне поручено тихо его обезвредить. Пожалуй, вызову его сюда и здесь объявлю ему, что, наконец-то, нам стало все известно, что он собой представляет.

Из раскрытого окна, заслоненного от улицы кустами сирени, слышался голос муэдзина. Шаркая ногами у дома, к мечети проходили татары.

Лелюков встал, прошел в соседнюю комнату и, не закрывая за собой двери, лег на кровать и сразу заснул.

Люся, поджидая меня, сидела в столовой на диване, поджав ноги, прислушивалась, вздрагивала. В низеньком домике Лелюкова, окруженном шелковичными деревьями, в центре притихшего городка, Люся чувствовала себя гораздо хуже, чем в яблочном совхозе «Мария».

Под окнами прошел патруль. Долго звучали размеренные и неторопливые шаги.

На этажерке несколько книг. Люся берет Пушкина, находит «Бахчисарайский фонтан», читает вслух:

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный —
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор...

Но нет, это не те строки, которые нужно читать в эту ночь.

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан...
Журчит во мраморе вода
И каплет холодными слезами,
Не умолкая никогда.

Я чувствую устремленный на меня взор Люси из-под подрагивающих, полураскрытых век.

— Ты почему так странно смотришь на меня, Люся?

— О чем говорил тебе Лелюков?

— Меня вызывает Градов, — отвечаю я, — мой бывший командир.

— Ты этим взволнован?

— Встретиться после такой долгой разлуки...

— Нельзя, не говори, — понимая мой уклончивый ответ, говорит Люся.

Я глажу руку Люси от кисти до ладони. Ее кожа гладкая, бархатистая и прохладная.

Что сказать в утешение?

Где-то далеко едва-едва приподнималось солнце, не дотянув еще до кромки горизонта. Вокруг держались еще серые, предутренние тона.

Я пришел в верхние кварталы города, поднялся на гору, к тому дому за каменной оградой, где остановился Градов. Часовой пропустил меня во двор. В тишине ночи журчал ручей, и, подобно темным, мохнатым скалам, поднимались кипарисы.

— Кто? — окликнул нас человек в военном, с фронтовыми офицерскими погонами, и тотчас же радостно воскликнул: — Лагунов?!

— Здравствуй, дорогой Атаке.

Атаке схватил мою руку и приблизил ко мне свое усатое скуластое лицо.

— Не ожидал я тебя увидеть здесь, Атаке.

— А я ожидал. Мне сказал генерал, что ты будешь здесь. И я ожидал тебя и поэтому сразу узнал, хотя ты очень изменился. Ну, разве ты не изменился, Сергей? — его широко расставленные глаза не отпустили меня.

— Постарел?

— Ты не девушка, — под усами у него блеснули зубы, — а я уже далеко не мальчик, поэтому могу сказать тебе: в твоём возрасте не стареют. Ты просто возмужал, стал серьезным, настоящим мужчиной.

— Спасибо, Атаке... А где генерал?

— Здесь...

— Где?

— Он стоит спиной к тебе и тебя не видит. А он ждет тебя.

Только сейчас я обратил внимание на человека в белой сорочке, умывавшегося из ручья, журчавшего у дома. Возле Градова стоял ординарец с открытым несессером, где светлели различные приборы. В руках ординарца, высокого, в пилотке, солдата, было полотенце, белевшее в темноте так же, как и рубаха генерала, особенно на бархатном фоне кипарисов.

Градов последний раз с удовольствием пофыркал в ладони, поплескался еще в ручье, взял полотенце, все еще не оборачиваясь к нам.

— Китель, — приказал он.

Ординарец простучал каблуками в дом, вернулся с кителем.

Градов быстрыми движениями сунул руки в рукава кителя, так же быстро застегнул на все пуговицы и крючки, причесался и подошел к нам.

— Доброе утро, Лагунов, — он подал мне влажную и холодную руку, — пойдем-ка в дом. У меня в запасе почти час перед отъездом.

Мы прошли прихожую и очутились в комнате, выходившей окнами в ореховый сад.

Комната была скромно, наспех оборудована. Стены недавно выбелены, еще пахло непросохшей известью, подоконники и двери липли, и ясно чувствовались запахи краски и сикатива.

Градов пригладил свои седые волосы ладонями.

Передо мной сидел почти неизменившийся генерал Градов. Он уже был наслышан обо мне, беседовал по этому поводу со Стронским.

Градов вызвал меня, чтобы поговорить со мной и определить наилучшие возможности использования меня в своей дивизии. Градов оставался верен себе, и так же, как когда-то он обязательно беседовал с каждым новым курсантом, так и сейчас мимо него не проходил никто из офицеров, которые должны служить и воевать в его дивизии.

Мы проговорили с Градовым час. В дверях появился Атаке.

— Пора ехать, товарищ генерал, — доложил Атаке.

— Итак, жду в дивизию, — Градов поднялся, — заканчивайте все свои дела, и милости прошу. Впереди трудов немало... А я тороплюсь. Я должен во-время попасть к командующему, в Севастополь.

Мы расстались с генералом, и я пошел к домику Лелюкова.

Вдруг из боковой улочки, ведущей к базару, откуда доходили непроветренные запахи виноградного молодого вина, кислой язьмы и овечьей шерсти, вынеслась грузовая трехосная машина. Дверка кабины была полураскрыта, и оттуда высовывалась голова в приметной черной пилотке подводника. В кабинке сидел Яков, а сверху, придерживаясь за крышу кабинки, мотался низкорослый, но цепкий Баширов.

Грузовик сделал крутой поворот, завизжали тормоза. Из кабинки выпрыгнул Яков.

— Сережа... будь мужествен... — голос Якова дрожал. — Ранена Люся.

...Возле дома Лелюкова толпились люди. Мы подбежали к калитке. Во дворе я столкнулся с Василем.

Он охватил меня своими могучими ручищами, прижал к себе, как ребенка, заговорил отрывисто, несвязно:

— Вот паразит тот Фатых! Вызвали его к командиру. Люся тут была... Ой, милочка, красотка, товарищ гвардии... Жахнул он из «вальтера»... по командиру, а попал в нее, в нашу дорогую Люсю... И я не углядел... да кто знал... спасла командира... а я-то! Я!..

Оттолкнув Василя, я бросился к дому.

На диване навзничь лежала Люся, запрокинув голову на валик. Волосы ее рассыпались, руки были прижаты к щекам, глаза полузакрыты. Я прикоснулся к ее руке и почувствовал слабое ответное пожатие теплых, влажных пальцев. Ее глаза широко раскрылись. Люся взглянула на меня с каким-то тревожным любопытством и немой укоризной...

— Ты успокойся, — прошептала она, — я ничего... постыжи... Ты, ты успокойся...

Лелюков потрогал меня за погон.

— Встань, Сергей.

Он взял меня под руку и отвел к окну, сказал тихо:

— Я вызвал его сюда... Он выслушал, выхватил

пистолет. А Люся бросилась к Фатыху... Меня хотела загородить...

Вошел Устин Анисимович. Неторопливо, по укоренившейся докторской привычке, тщательно вымыл руки щеточкой, почистил ногти. Камелия подала ему чемоданчик. Он щелкнул ключиком, открыл замок, вынул оттуда халат, резиновые медицинские перчатки и глазами указал Камелии на инструменты. Она отобрала необходимый инструмент и ушла на кухню.

Устин Анисимович надел халат, не завязывая тесьмой на спине, подошел к Люсе и тихо сказал:

— Дочка... ничего... все бывает... Жизнь прожить... — не договорил и, резко повернувшись к нам, строго сказал: — А посторонних прошу... — он указал на дверь рукой, и рука его затряслась в неумейной дрожи.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ВОЛНЫ ПРОЛИВА

Наша гравовская дивизия закончила формирование. Предстояло идти в поход на Балканы.

В моем распоряжении оставалось немного времени, чтобы отвезти в Керчь, на переправу, отца, Устина Анисимовича и Катерину, уезжавших домой.

Люся лежала в военном госпитале в Феодосии. Там же поджидали меня отец и Устин Анисимович. Катерину я должен был захватить в Солхате, куда я заехал по пути из Симферополя.

Кожанов прощался с Катериной на виду у всех, не стесняясь своих чувств. Он был в новенькой летней гимнастерке, которая топорщилась на спине и в рукавах.

Погоны коробились на слабо подвязанных пуговках, тронутых по закрайкам купоросной ржавчинкой: обмундирование доставили в сырых трюмах.

— Новый-то покрой гимнастерок, — говорил Кожанов, чтобы чем-нибудь замаскировать горечь разлуки, — со стоячим воротом. В сорок первом начинали войну с отложным. А в этой рубаше и головы не повернуть...

— Это, чтоб ты на других не заглядывался, — добро усмехаясь, сказала Катерина, — гляди только на меня, прямо на меня, Петечка. Вот и не надо будет головой крутить.

Баширов, тоже отправлявшийся по призыву с Кожановым в Симферополь, похаживал, помахивая хворостинкой. Ему не с кем было прощаться, ни с кем из девушек он не сблизился и потому наружно равнодушен был к затянувшемуся, по его мнению, прощанию.

Наконец мы в машине.

Впереди ровная линия шоссе, выкатанная до масляного блеска.

Пригорюнившись, сидела Катерина.

В Феодосии я забежал в госпиталь. Люся порывисто приподнялась на подушке, встретила меня сияющими глазами.

— Мне совсем хорошо, — сказала она. — Папа едет в Псекупскую, приготовит наш дом, а потом я перееду туда, Сережа... И буду тебя ждать... ждать... — ее щеки прикоснулись к моим рукам, и мне не хотелось уходить, хотя автомобиль уже гудел под окном.

Над Керченским полуостровом дул холодный морской ветер, проносившийся через пустынные, плоские степи, тронутые уже сухой желтизной. То, что называлось плацдармом вторжения и бесконечно занимало нас в нашем партизанском царстве, сейчас предстало моему взору в своем скучном однообразии...

Разорванные сталью широкие позиции Ак-Моная терялись где-то далеко, в зыбучем, панцирном накате Азовского моря, прильнувшего к серо-голубоватому, дымному горизонту. Ничто не тревожит теперь эту безмолвную степь, разве только чайки, ушедшие уже к Черноморью, или пролетит заблудший подорлик, скосив на ветровом потоке свои тонкие, как закрученные усы, крылья, да матово блеснет латунная снарядная гильза... Или далеко, как в мираже, появятся чумацкие упряжки, ползущие снова за разминированной сивашской солью, и потеряются в бледных разводах солончаков медлительные быки, покачивая длинными рогами.

Возле Турецкого вала, с восточной стороны, рядом с шоссе, заровненным после врага, застыл подбитый

танк «Чапаев». Танк, видимо, неся по шоссе, и снаряд вражеской пушки разворотил бок на фланговом маневре, — гусеницы рванули пришошсейную полынную землю до самых ракушек и замерли. Сталь проржавела на изломах, краска облупилась от короткого, но смертного взрыва. Но и сейчас этот неподвижный танк авангарда приморцев был лих и героичен в своей яркой стремительности.

— Как конь на барьере, — сказала Катерина, — храбрые наши люди! Только, Сережа... Как бы так зробишь, чтобы никогда такого не було? Будет так на земле?

Вот и Керчь. Мы проехали возле заброшенных развалин старой крепости Еникале, остановились у переправы, у Опасной.

Отец и Устин Анисимович пошли в горку, к рабочему поселку, где должен был быть их знакомый; ему-то они и хотели поклониться насчет перевоза.

Темные воды Керченского пролива катились у моих ног. Тысячи военнопленных взрывали и раскалывали обрывистые берега: строили дорогу через пролив по новому мосту до песчаной косы Чушки, что на Тамани. Мост строили наши саперы; с той и другой стороны пролива стучали «бабы», забивая сваи.

Какой-то солдат с топором за поясом вышел на песчаную отмель. Волны плескались по голенищам, и он веселым, озорноватым взглядом оглядывал пролив, будто собирался перейти его вброд. Это был Якуба. Широкоплечий, спокойный, земной, он соображал, как осилить мостишко в два с четвертью километра и не загубить лишнего материала.

Я окликнул его. Якуба не спеша повернулся, узнал меня и неторопливо пошел ко мне:

— Да вы ли это? Здравия желаю, товарищ гвардии майор!

Я пожал черную, закованную в мозоли руку Якубы, и мы присели с ним возле огромных буртов снарядов, крытых брезентами, так и не использованных при штурме Крыма.

— В саперах теперь я, — сказал Якуба, — два раза меня ковырнули осколки после нашей разлуки. Ничего, хорошее дело саперное: строим мосты, дороги, полу-

станки, телеграф тянем. На Сиваше на переправах работали. Сыпали дамбу, вязали понтоны... Ничего, удалось.

Якуба достал из сумки от противогаза большую связку писем с заколками, и я узнал знакомый мне почерк жены Якубы.

— Сама крутится в колхозе, — гордо сказал Якуба, — управляют ловко.

— Удивительно?

— Нет, — он булькнул смешком, — ничего нет удивительного.

— А как же иначе? — сказала Катерина.

Якуба, нет-нет да бросающий на девушку любопытные взгляды, ответил:

— Я и говорю. Иначе быть не может... Куда? На Кубань?

— В Ставрополе, — сказала Катерина.

— Так земляки! — радостно воскликнул Якуба. — Везде ставропольца встретишь!..

С пригорка по тропе спускались отец, Устин Анисимович и пожилой рыбак в рыжих сапогах и такой же порывевшей куртке.

Рыбак повел нас над берегом к пристани, что выше Опасной переправы.

Якуба проводил меня немного, сердечно попрощался и пошел по плещущему прибою к саперам, сгрудившим рифленые стальные балки для будущего моста.

На пристани покачивался на волнах просмоленный от носу до кормы баркас с низко вырезанными бортами. На бортах его не оставалось следов надписи, всё было зачернено варом, но и отец и я сразу узнали старый, знакомый баркас.

— Так это же «Капитанская дочка»! — воскликнул отец и снял шапку, как будто здороваясь с ней.

— Знакомая? — удивился рыбак. — Приблудила лодка на хозяйство.

— Так это же баркас с Кавказского побережья...

— Пригнала, пригнала война, Иван Тихоныч, — в глазах рыбака вспыхнули веселые искорки. — Да потом какой разговор, там или здесь работать на этой посуде? Рыба, правда, разная, а ведь одно государство, Иван Тихоныч.

Мы попрощались. Отец и рыбак сели на банки; за весла, Устин Анисимович — у руля. Я оттолкнул лодку, резко подплеснулась волна под ее черное отяжелевшее днище. Взмах буковых весел, пропитанных солью добела, — и лодка скользнула в пролив. На той стороне, в лиловатом дымчатом прибое, виднелась песчаная коса Чушка, где, как палочки, торчали еще стволы зенитных орудий.

«Капитанская дочка» пересекла стрежень канала, сверкавший переливчатым серебром. Потом сквозь быстротекущие тучи брызнули лучи солнца и бросили на воду чешуйчатую золотую кольчугу.

Это было на миг, солнце закрылось облаком, и лодка вошла в темную плоскую воду берегового, низинного замоя.

«Капитанская дочка» достигла прибойной отмели того берега. На песок выпрыгнул отец, помог выйти Устину Анисимовичу и Катерине.

Донадзе подошел ко мне:

— Надо ехать, товарищ майор, чтобы пораньше добраться до Феодосии и заправиться в порту бензином. Там сейчас Михайлюк, он поможет. Это не только хороший водолаз, но и замечательный парень.

Для Донадзе все люди, будь они даже убоженные сединами, были парнями.

Вправо от нас быкообразными фортами поднимались развалины Еникале, обрезанные у подошвы колеистой, разбитой дорогой. За Еникале через бухту с затопленными судами виднелись, как убитые чайки, дома из аджимушкайского белого камня многострадальной Керчи.

За городом, там, где сверкающий поток обсыпал брызгами подножье горы Митридат, поднималась тяжелая туча.

Понтоны причалили у Опасной. Мы подъехали ближе. Скатывали кубанские мажары, пахнущие пшеничной соломой и горькими запахами полыней и богородицыной травки.

Крикливые, возбужденные, сбегали с понтона смуглые кубанские девчата. Они стайкой уселись на незнакомом им берегу, притихли и глядели большими, любопытными очами на развалины крепости, города. Одна

из девушек, с тугими косами, переброшенными на грудь, сказала с изумлением:

— Так ось, дивчата, ось це и есть та самая жемчужина — Крым?

Девчата засмеялись и суетливо захлопотали возле своих мажар и коров. Делали все они быстро, споро, со смехом, искристо бьющим из них. Старые казаки покачивали головами, хмурились, не догадываясь, к чему веселье на этом, пока еще безрадостном берегу. Они становились лицом к Кубани, к синей ломаной гряде Таманского Предкавказья, снимали шапки на расставанье и шли за обозом «в татары», как называли издавна казаки эти земли. Обоз, мелко перестукивая на железных осях, смазанных мазью из густого таманского мазута, потянулся к серым выщербленным камням старинной крепости Еникале.

— Откуда, хорошие дивчата? — спросил Донадзе, смахнув с головы свою замасленную шоферскую пилотку.

— С Кубани.

— А куда путь держите?

— На какую-сь-то жемчужину! — крикнула озорновато, блестя глазами, девушка с косами.

Все засмеялись. Она же серьезнее и тише сказала, поровнявшись с нами:

— Переселенцы мы.

— Из какой станицы?

— С Запорожской и Фонталовской, с Таманского острова.

Переселенческий обоз скрипел и пылил. Девчата на возах завели песню.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

АНЮТА

Анюта сидела на открытой террасе Яшиного дома ко мне спиной и, казалось, читала книгу. Литым венком лежала на затылке скрепленная шпильками ее пепельная коса, украшенная полевыми цветами.

Подойдя тихо на цыпочках и заглянув через ее плечо, я увидел тонкие с желтизной пальцы, застывшие на круглых пальцах у голубовато-блеклого шелкового цветка гортензии. Плечи Анюты дрогнули, но головы она не повернула. А когда я протянул свою руку через ее плечо, она отскочила к перилам террасы, приложила руки к груди, оброненный ею обручок пальцев покатился по мокрым, недавно вымытым доскам пола.

— Сергей! — воскликнула Анюта и закрыла глаза: ресницы ее подрагивали, грудь поднималась. — Как ты меня испугал!..

Анюта поднесла руки к голове, пощупала лоб, волосы и потом уже, сделав ко мне шаг, поцеловала сухими губами.

Из косо прорезанного кармашка полотняного платья она вытащила маленький, увитый кружевцами пахучий платочек, приложила к глазам.

— Это ничего, Сережа. Не обращай внимания.

Рука ее, державшая платочек, снова потянулась к глазам. На пальце я увидел тот самый перстень, который был у Анюты на сцене театра Солхата.

— Я очень ждала тебя, Сергей, — сказала она сдавленным голосом, — очень ждала! Мне сказал Яша, что ты провожал папу.

Я молча смотрел на нее.

— А почему ты на меня так смотришь, Сергей? — спросила Анюта.

— Ты сильно изменилась Анюта, — сказал я и шагнул к ней, чтобы ее приглубить.

Анюта торопливо ушла, а когда вернулась, лицо ее было влажное и на щеке белела ворсинка от полотенца. Я понял: она выплакалась, умылась.

— Мне было очень трудно, Сергей, — сказала она, — тяжело... Но это все прошло, и главное — мы, именно мы, все сообща, победили их... Здесь, в Крыму... У меня есть много чего рассказать.

— Расскажи, расскажи мне...

Она быстро обернулась ко мне.

— Меня вовлекло в какой-то водоворот и понесло и понесло... Я мстила за все: за тебя, за отца и маму, за убитого Колю, за... Витю Неходу... Мне было все известно о нашей семье. Наше командование не отка-

зывало мне в информации. Уже в Севастополе, вернее, на Херсонесе, меня хотели убить. Меня спасли танкисты Илюши, и я убила подосланного по мою душу Бэкира. Ты знал его?

— Да. Брат Фатыха.

— А знаешь, кто сам Фатых?

— Ну, знаю... кто же?

— Самый крупный турецкий агент. Только на Херсонесе мне стало известно все о вашем Фатыхе. Многого мы не знаем. Как много можно было бы предотвратить, Сергей... — она прикусила губы и пошла вниз по ступенькам, чуть согнувшись, как будто старательно выбирая дорогу.

Я догнал ее, обнял. Мы шли рядом, молчали. Анюта смотрела прямо перед собой ясными, немигающими глазами.

— Знай только одно. Помнишь, мы пионерами клялись честным ленинским словом? Когда в Симферополе командующий фронтом вручил мне орден Ленина... я взяла его чистыми руками...

Мы остановились у ключа. Кипучий поток выбивался из-под обломка скалы, обвитого побегами ползучего плюща. Отсюда был виден огромный цветущий сад, окруженный кипарисами и тополями. Ветерок чуть-чуть гнул только острые копыя верхушек деревьев и разносил последнюю метель лепестков.

Знойкое маревцо будто подтачивало яблоневые разлапистые кроны, и весь сад, казалось, плыл в зыбкой волне, прозрачной и радужной, как крылья стрекоз.

Анюта взяла мою руку и с какой-то торжественной печалью сказала:

— Яша сделал мне предложение... остаться вот здесь, в совхозе, — ее глаза смотрели куда-то далеко-далеко. — Ты знаешь об этом?

— Да.

— Пожалуй, я должна поселиться у яблонь, — сказала Анюта, — не надолго, не на всю жизнь, а покамест... Я хочу поселиться у яблонь, чтобы вот так волнами бежали цветы, как море, помнишь то море в нашем золотом детстве?

Слезы навернулись на ее глаза, и она стала прежней, милой сестренкой.

— Анюта, — порывисто начал я, — мы поможем тебе, чтобы тебе было хорошо.

— Мне будет трудно снова разыскать тебя, — сказала Анюта, — но мне поможет Яша. Он хороший человек... Нам нужно не только восстановление города, дома, а вот надо еще восстановить... вернуть утерянный смех... радость...

Мы расстались с сестрой утром. В этот день я уходил с гвардейской дивизией Градова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРЯДУЩЕЕ

Прошла война, пришел мир.

На Балканах, освобожденных нами, мы пели песню балканских полков. Это была веселая песня победы и грядущих трудов.

А потом к нам приехал генерал-полковник Шува-лов. И он сказал нам:

— Вам, молодежи, предстоит завершить дело Ленина и Сталина. Коммунизм — единственное спасение человечества от гибели.

Возьмем недалекий пример, гвардейцы. Представьте себе, если бы в нашей стране тридцать лет назад не победила идея социализма, если бы лучшие люди того времени не пошли на штурм Зимнего, Перекопа, Красной Горки, если бы к нашему времени не созрела, не возмужала советская страна, как далеко назад было бы сейчас отброшено человечество!

Фашизм нес гибель миру. И мир был спасен от гибели прежде всего нами, товарищи!

Вы с победой прошли по Балканам, гвардейцы! Вас видели София, Белград, Бухарест, Будапешт и изумленная Вена! Везде, где ни шли, вы сеяли семена коммунизма. Семена эти прорастут на землях Европы, как проросли они на нашей земле. И наша задача — уберечь эти ростки, чтобы цветы коммунизма зацвели и не были сожжены огнемётами и пламенем атомных бомб...

Шувалов был очень взволнован: ведь он говорил

свою последнюю речь полкам, которые прошли с ним от Сталинграда.

...И вот я на Родине. Отец в колхозе, он уже стар. На том же месте построен новый дом. В своем доме под цинковой крышей живут Устин Анисимович и Люся.

В первый же день моего приезда мы с Люсей пошли в местный совет. Люся расписалась рядом со мной. Она подняла на меня свои счастливые светлосиреневые глаза, и губы ее дрогнули в хорошей улыбке:

— Ну вот, Сережа, и нашла я, наконец, своего сказочного королевича!

Мы шли из совета по аллее платанов, взявшись за руки, как дети. Позади шагали отец с матерью и прихрамывающий Устин Анисимович, то и дело прикладывая к лицу белый платок. Безоблачно ясно было просторное небо над хребтом Абадзеха, и чистый горный воздух вдыхали мы, как и тогда, на плато партизанской Джейлявы.

Мы пошли с Люсей к Фанагорийке. За рекой косили, и оттуда тянуло пряным запахом свежего жнивья, а дальше, где в июльском зареве жатвы лежала прикубанская равнина, как корабли, плыли комбайны и степные орлы кружились на знойном ветровом потоке.

Новые участки для застройки спускались к реке, еще только окопанные канавами. Ямы для посадки деревьев чернели правильными рядами.

Горный прозрачный воздух передавал самые малейшие звуки: и звон камней под ногами скота на Фанагорийском перекате, и крик гусиной стаи, переплывавшей к крутому берегу, и тихое «тега-тега-тега», которым подзывала гусей девочка, стоявшая над обрывом.

Мы шли с Люсей рука об руку по выгону, заросшему свежим подорожником. Цветы цикория густо усыпали весенний травостой.

Пронзительный мальчишеский свист прорезал прозрачный воздух. Чья-то стриженная, ершистая голова показалась на островке над красными прутьями верболоза. А возле наших ног, прихватив штанишки руками, прошмыгнул мальчишка.

И все это: и река, и прутья верболоза, и этот мальчишка — напомнило мне далекие дни детства. Мы с Люсей говорили о судьбе нашего поколения.

Жизнь наша тесно сплелась с судьбой социалистического государства. Нам повезло в жизни. Мы видели мобилизацию сил в преддверии большого испытания, мы прошли твердым шагом по окровавленным полям войны, по дорогам Европы. На наших глазах начали подниматься из пепла города, снова зазвенели под колесами рельсы и стала плодоносить земля, политая кровью.

— Что же дальше ты намерен делать? — спросила Люся.

И я думал: «Может быть, мне демобилизоваться, как сделали многие мои товарищи, уйти из армии?» Страна строилась, и я испытывал желание работать, чтобы скорее залечить раны моей Родины.

Народ видел разрушенные города. Большим напряжением всех своих сил, и моральных и физических, отогнал он от себя зловещую птицу войны и теперь не хочет, чтобы она снова взметнула своими черными крыльями над его головой. Никто не хочет повторения того, что было. И я не хочу. Что же делать?

Я вспомнил Карашайскую долину, нашу беседу с Лелюковым в крымских лесах, когда мы с остатками парашютного отряда уходили к фортам Севастопольской крепости. Да. В случае новой опасности для нашей Родины мы должны вступить в битву, как и подобает воинам, идущим к вершинам коммунизма.

...И вот я в столице, в Москве.

Я поднимаюсь по широким гранитным ступеням академии имени Фрунзе и вхожу в ее широкие двери.

Горячий Ключ — Москва — Братцево

1946—1948 годы

ТРЕТИЙ УДАР



Сценарий


*Постановлением Совета Министров
Союза ССР от 8-го апреля 1949 го-
да автору сценария кинокартины
«Третий удар» Первенцеву Аркадию
Алексеевичу присуждена Сталинская
премия второй степени за 1948 год.*

*На международном кинофестивале в
Чехословакии в 1948 году автору
сценария «Третий удар» Первенцеву
Аркадию Алексеевичу присуждена
первая международная премия за
лучший сценарий.*

«Третий удар был нанесен в апреле—мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черное море».

И. СТАЛИН.

Из доклада на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 г.



КАРТА Крыма и прилегающей к нему Северной Таврии. Веером разошлись стрелы наносимых советскими войсками ударов в районы Арабатской стрелки, Сиваша, Перекопа, Херсона, Никополя. Голос диктора:

ВОЙСКА 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 25 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА
ПРОРВАЛИ НЕМЕЦКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ НА РЕКЕ МОЛОЧНАЯ
И ВОРВАЛИСЬ В СЕВЕРНУЮ ТАВРИЮ.

Кремль. Товарищ Сталин склонился над картой.

Заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Антонов продолжает доклад:

— ...Таким образом, как сообщает маршал Василевский, генерал армии Толбухин рассчитывает на плечах противника ворваться в Крым.

Сталин. Вы думаете, это ему удастся сделать?

Антонов. Противник под ударами наших войск поспешно отступает.

Сталин. Войска, естественно, утомлены?

Антонов. Такой стремительный марш, товарищ Сталин, осеннее бездорожье, непрерывные бои...

Сталин. Н-да... Командует 17-й немецкой армией, обороняющей Крым, Енекке?

Антонов. Генерал-лейтенант Енекке.

Сталин. Генерал-лейтенант Енекке... Это крупнейший немецкий специалист по фортификации. Гитлер, конечно, не случайно назначил именно его (*подошел к*

карте) командовать армией, обороняющей Крым. Сейчас к району Крыма будут прикованы глаза многих стратегов и политиков. Это ключ к Черному морю, к Балканам. Ворваться в Крым — это значит преодолеть водную преграду, несколько меньшую, чем Па-де-Кале, и укрепления на Сиваше и Перекопе. Я думаю, они во много раз сильнее, чем так называемый Атлантический вал.

Крымский перешеек в районе Перекопа. Бесконечные тоскливые ряды проволочных заграждений. Ни одного живого существа. Только редкие птицы над мертвой землей.

За проволочными заграждениями пещерная страна — от подошвы до верха блиндажи, длинные штольни бомбоубежищ, набитые вражескими солдатами, подземные казармы, артиллерийские склады.

Всюду кипит работа — враг укрепляет древние позиции Перекопского перешейка от Сиваша до Перекопского залива. Вереницами идут солдаты. На плечах у них мешки с землей; повсюду роют, долбят, закладывают минные поля; укрепляют на огневых позициях пушки.

Генуэзская крепость, запирающая выход Турецкого вала к Перекопскому заливу.

Гитлеровские генералы осматривают укрепления. Это командующий 17-й армией Енекке и командующий войсками, обороняющими Перекоп, Сикст.

Железобетонный бункер. Открывается стальной люк, Енекке и Сикст спускаются вниз по каменной лестнице; они проходят в сопровождении своих адъютантов вглубь подземных укреплений, затем вновь поднимаются по лестнице и проходят по верху древней крепости.

Перед Енекке и Сикстом панорама работ по укреплению вала.

Енекке. Эти стены выдержат любой артиллерийский огонь. Четыре метра толщины! Мои солдаты с колоссальным трудом выдолбили в них амбразуры.

Сикст. А что это за крепость, генерал?

Енекке. Я плохо знаю историю России; говорят, ее строили нето генуэзцы, нето турки. Но во всяком случае, мы ее отлично использовали.

По днищу Турецкого вала проходят солдаты, ведущие на поводу овчарск; в стороне — другие солдаты под командой офицера устанавливают шестиствольный миномет.

Генералы опускаются к форту, обращенному на север.

Епекке стучит тростью по бронеприкрытию.

Енекке. Обратите внимание, какая толщина брони. Старый Крупп умеет делать хорошие вещи.

Сикст, опускаясь ниже, с дотошной внимательностью осматривает стены, заглядывает в дот.

Сикст. Это великолепно!

Енекке. И так на всем протяжении вала!

Панорамой проходят кадры лихорадочного строительства перекопских укреплений, подхода войск, подвоза артиллерии, кадры варварского труда, затрачиваемого врагом на организацию сопротивления.

И над всеми этими роющими, копошащимися, грузящими, волокущими с оступелым видом людьми вышагают самодовольный Енекке и восхищенный Сикст, теперь уже окончательно убежденные в неприступности укреплений Перекопа.

Енекке. Это только первая линия обороны. Там, дальше, Ишуньские позиции. Это — десять линий траншей. Причем все они совершенно самостоятельны — своя артиллерия, продовольственные склады, минные поля, проволочные заграждения, доты, крабы, — все, чем располагает сегодня наша великая Германия.

Сикст. Вы действительно лучший сапер Германии, генерал, я благодарен фюреру за то, что он перебросил меня с Атлантического вала сюда, к вам.

Енекке. А разве Атлантический вал хуже укреплен, чем Крым?

Сикст (на ухо). Его строил главным образом министр Геббельс. (Смеется.) А Крым...

Е н е к к е. Крым... Крым — это лучшее, что мне удалось сделать в моей жизни. Он действительно неприступен. И русские могут тратить сколько угодно снарядов и людей, но перед этими укреплениями ляжет любая армия.

Карта Крымского полуострова.

Над картой склонился товарищ Сталин; он внимательно изучает ее.

В кабинет входит с донесением генерал армии Антонов.

А н т о н о в. Разрешите?

С т а л и н. Слушаю.

А н т о н о в. Маршал Василевский сообщает, что час тому назад войска генерала армии Толбухина завязали бои в районе Сиваша и Перекопа.

Товарищ Сталин и генерал Антонов снова склоняются над картой.

На вражеские позиции летят бомбы.

Реактивные снаряды огненной струей прорезают низкие тучи, нависшие над перешейком.

Степные коршуны, сбиваемые порывами ветра, напуганные канонадой, уходят вглубь крымской земли.

Огневая атака на всем протяжении перекопских укреплений.

Сквозь клубы дыма проступают очертания отрогов глубокого рва.

Выплывает надпись: *«Турецкий вал»*.

Сиваш...

От северного берега через гиблые, соляные озера Гнилого моря наступает советская пехота 51-й армии.

Цепи солдат вступают в воду. Водяные столбы от взрывов снарядов поднимаются и падают среди наступающих, вздымая густую, словно замешанную ваксой поверхность Гнилого моря.

Люди падают, погружаются в воду. Спущены понтоны — с них ведут огонь из орудий.

Санитарки по пояс в воде, с трудом продвигаясь по вязкому, засасывающему дну, выносят раненых.

Советские войска упорно идут вперед, через Сиваш.

В подземном бункере Енекке не отходит от штабных телефонов. Руки его подрагивают, зубы сжаты, глаза воспалены — в них выражение звериной ярости. Он напоминает сейчас старого ошетилившегося волка.

Быстро подходит Сикст.

Сикст. Бешеный нажим! У них две трети гвардейских соединений.

Енекке. Они разобьются о мои укрепления! Крым неприступен!

Сикст. Да, но это очень упорные войска. Вы их знаете по Сталинграду.

Енекке. Сталинград? Сталинград не повторится. Сталинграда больше не будет.

Тяжелые советские танки мчатся с большой скоростью по дальнему предполью перекопских укреплений. Видны задымленные от взрывов высокие брустверы Турецкого вала.

Танки мчатся в атаку, достигают огневых позиций противотанковых пушек, ломают, вминают их в землю.

Из траншей поднимается советская пехота.

Сквозь дым и огонь первые штурмские части достигают Турецкого вала и скатываются по его склонам, усыпанным трупами и подбитой техникой.

Первые храбрецы, достигнув вершины вала, бросаются в рукопашный бой с врагом.

Из глубины обороны подходят на машинах вражеские резервы. Соппротивление усиливается.

Ожесточенный рукопашный бой.

Наблюдательный пункт у Перекопа.

Толбухин (*опуская бинокль*). Танки Васильева ведут бой у Армянска.

Начальник штаба (*докладывает*). Девятнадцатый танковый корпус просит подкрепления.

Василевский (*смотрит на часы*). Опаздывают казаки, опаздывают...

Н а ч а л ь н и к ш т а б а (Толбухину). Федор Иванович, что передать Васильеву?

Т о л б у х и н (рассерженно). Держаться! Держаться! (Мягче.) Где он сейчас?

Н а ч а л ь н и к ш т а б а. На окраине Армянска. У него осталось очень мало танков.

Армянск — город позади Турецкого вала, на подступах к Ишуньским позициям.

Город горит. Разрушенные артиллерийским огнем дома.

Пылающий советский танк. Бешеный артиллерийский огонь преграждает дорогу. В сплошном дыму, стреляя из пушек и пулеметов, проходят два советских танка 19-го корпуса. За ними, по осенней грязи и лужам, мимо развалин, идут советские солдаты.

У развалин на окраине села офицер-танкист кричит в телефонную трубку:

— Сокол! Сокол! Я — мимоза! Я — мимоза! Давай подкрепления! Давай подкрепления! Алло! Алло! Сокол! Сокол! Я — мимоза! Я — мимоза!

Штабная бронемашина замедляет ход. Из нее выпрыгивает одетый в комбинезон танкиста командир 19-го корпуса генерал Васильев.

Васильев быстро идет к офицеру, который, не замечая генерала, продолжает иступленно кричать в трубку:

— Сокол! Сокол! Алло! Сокол! Сокол! Алло! Алло!

В а с и л ь е в. Что вы — алло, алло! Вот соседи... Сиваш форсировали, закрепились на том берегу, а вы... телефонная барышня! По машинам!

Офицер бросается к танку. Танк и бронемашина идут в атаку по улицам горящего Армянска.

Наблюдательный пункт командующего на Перекопских высотах. Здесь маршал Василевский и генерал армии Толбухин.

В а с и л е в с к и й. Турецкий вал прорван на узком участке. Надо расширять прорыв, Федор Иванович. Почти не слышно крупных калибров.

Толбухин. Боеприпасы подводят... Что было — съели. Подвезут только завтра в четырнадцать ноль-ноль.

Сиваш.

Советские войска форсируют Сиваш. Снаряды поднимают столбы воды.

Увязая в тине и мокром песке, выходят из воды на южный берег Сиваша бойцы 10-го стрелкового корпуса.

Молоденький лейтенант выбрался на берег:

— За Родину! За Сталина!

Грозное «ура». Из воды на плацдарм выходят все новые и новые цепи.

На песчаном берегу плацдарма командующий 51-й советской армией генерал Крейзер. Ветер треплет полы его шинели.

Крейзер. Вперед! Только вперед!

Цепляясь за протянутые тросы, бойцы форсируют Сиваш. Они несут, перебросив через плечо, связанные попарно снаряды. Тащат на поплавках пушки. Солдаты по пояс, по горло в воде.

Крейзер. Вперед!

Общая панорама тяжелейшего воинского труда солдат, форсирующих Гнилое море.

Высоты у Перекопа. Наблюдательный пункт.

Василевский. Форсировать Сиваш в такое время года — труднейшая задача!

Толбухин (*начальнику штаба*). Все саперные части на Сиваш! Во что бы то ни стало построить переправу!

Начальник штаба. Слушаюсь! (*Уходит.*)

Василевский (*начальнику оперативного отдела*). Михаил Михайлович, запросите обстановку Отдельной Приморской армии.

Начальник оперативного отдела. Слушаюсь!

Василевский (Толбухину). Что там у них на Тамани?

Тамань.

Шторм. Крутые, высокие волны разбиваются о скалистые берега Таманского полуострова.

Низкие тучи несутся над высотами Таманского Предкавказья.

В небе напуганными, крикливыми стаями кружатся чайки.

Море бушует. Холодные гребни волн с воем и грохотом разбиваются о скалы. Хлопьями падает пена.

Идет сторожевой катер. За ним от кормовой части клубами стелется дымовая завеса.

А за этой завесой — суда: сторожевые корабли, «морские охотники», тендеры, мотоботы, рыбацьи баркасы, сейнеры — десант Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

Противник ведет сильный артиллерийский огонь с укрепленных высот Керченского полуострова.

Вокруг судов поднимаются гейзеры взрывов.

У самого берега подрывается катер и вспыхивает. Суда идут зигзагами.

На десантной барже вооруженные матросы. Их взгляды устремлены туда, на крымский берег. Лица будто окаменели.

На бескозырьках наименования боевых кораблей Черноморского флота: «Севастополь», «Красный Кавказ», «Молотов».

Крымский берег все ближе. Он сверкает бесчисленными точками артиллерийского и пулеметного противодесантного огня... он дымится.

Береговая и корабельная артиллерия бьет по укреплениям врага, очищает пляж высадки.

У берега десантная баржа. Падают кормовые сходни. На берег съезжает танк. Вслед за ним бегут десантники. С катеров высаживается десантная пехота; все новые и новые группы десантников, бесстрашно идущих в стремительную атаку. Крики «ура» покрывают грохот прибоя.

Слышен голос генерала армии Антонова. Он продолжает доклад Верховному Главнокомандующему:
— Войскам Отдельной Приморской армии...

Возникает карта Керченского полуострова. Рука, держащая цветной карандаш, очерчивает плацдармы у северной окраины Керчи и за Камыш-Буруном у рабочего поселка Эльтиген.

Голос Антонова ...удалось создать плацдарм и закрепиться у города Керчи и здесь....

У карты товарищ Сталин и генерал армии Антонов.
Антонов. ...южнее, у Эльтигена.

Сталин. Так... На Четвертом Украинском фронте?

Антонов. Генерал Васильев не смог прорваться дальше северных окраин Армянска.

Товарищ Сталин смотрит на карту, в тяжелом раздумье переводит взгляд на Антонова и молча уходит вглубь кабинета.

Антонов. Упорное сопротивление. Немцы непрерывно подбрасывают свежие части. Войска генерала Крейзера ведут упорные бои в межозерных дефилах.

Товарищ Сталин возвращается к столу, взгляд его глаз, наполненных высокой, скорбной и углубленной думой, устремлен теперь куда-то далеко, далеко...

Бойцы 4-го Украинского фронта продолжают битву за Сивашский плацдарм.

Девушка-санитарка ведет раненого бойца. Оба они — и девушка и боец — в мокрой, облепленной грязью одежде, ноги их вязнут и заплетаются. Но от сознания исполненного воинского долга голова у раненого высоко приподнята, глаза блестят, губы мучительно-твердо сжаты.

Бой на южном берегу Сиваша, на крымской земле, в межозерных дефилах — песчаных, солончаковых языках суши, изъеденной воронками тяжелых снарядов и авиационных бомб, наполненными густой грязью и соленой водой.

Солдаты наступают перебежками, залегают в эти ямы. Враг ведет яростный огонь.

В одну из ям прыгают два солдата — пожилой пехотинец сталинградец Аржанов и молодой боец Файзиев.

Файзиев мучительно тянется пересохшими губами к воде.

Файзиев. Пить! Очень пить хочу...

Аржанов. Что ты! Это же соль!

Файзиев. А что делать?

Аржанов (*протягивая ему флягу*). На, пей! Пей... Немножко только пей...

Файзиев хватает флягу, нетерпеливо, зубами, выдергивает пробку, но не успевает сделать глотка — его останавливает окрик Аржанова.

Аржанов. Немцы!

Файзиев кладет невдалеке от себя фляжку, ложится в воду на самое дно ямы, кладет автомат на бруствер, приготавливается.

На горизонте видны идущие в контратаку вражеские пехотинцы.

Аржанов и Файзиев короткими прицельными очередями стреляют из автоматов.

Из фляжки, булькая, выливается вода, струя ее смешивается с горько-соленой водой Сиваша.

Молоденький лейтенант, приподнимаясь, отдает команду:

— Передать по цепи — патроны экономить! Патроны беречь!

Через Сиваш, под обстрелом, по жидкой грязи и плоским солонцам идут груженные ящиками с патронами солдаты. Длинная цепь их теряется в глубине Сиваша.

Голоса: Патроны экономить!

— Беречь патроны!

— Патроны беречь!

На наблюдательном пункте озабоченный Толбухин и Василевский.

Толбухин. У них там, в Крыму, асфальтовые дороги, удобные аэродромы. У нас — бездорожье, грязь, гниль, туманы. Ни сел, ни фуража. Совершенно пустые места.

В а с и л е в с к и й (*поправляя*). Опустошенные места. И внимательно, настороженно вслушивается в далекий гул боя.

Одна за другой мчатся машины с вражеской пехотой.

Е н е к к е (*кричит в телефон*). Любой ценой остановить! Отбросить за Турецкий вал! Любой ценой!

С птичьего полета видна земля, по которой ползут вражеские танки, мнущие саманные дома Армянска.

В бункер командующего 17-й немецкой армией заходит Сикст. Его самодовольное лицо расплывается в улыбке.

Сикст подходит к Енекке.

С и к с т. Хорошие вести, господин командующий! Русские танки почти полностью уничтожены! Остатки отходят!

Е н е к к е (*хлопая Сикста по плечу*). Браво!

Окраина Армянска.

Мимо пылающих танков и развалин домов пятится задним ходом танк «Т-34». Возле танка появляется спрыгнувший с бронемшины генерал Васильев и бьет палкой по броне.

Открывается люк, выглядывает командир танка.

В а с и л ь е в. Ни шагу назад! Стоять насмерть!

Нарастает гул фашистского самолета. По земле и по танковой броне проходит пулеметная очередь. Самолет снова уходит в облака.

Васильев провожает взглядом самолет и, держась за бок, стиснув зубы, прикикает к броне танка. Рука его скользит по мокрому металлу, не находит опоры, и генерал Васильев падает в грязь.

Т а н к и с т. Генерал убит!

В а с и л ь е в (*силясь приподняться, выдыхает последним усилием воли*). Нет, не убит... не убит!

Васильев пробует оттолкнуть прыгнувшего к нему на помощь танкиста.

В а с и л ь е в. Вперед!

Снова падает без чувств, раскинув руки.

Остановленный Васильевым танк стремительно идет в бой. Боеприпасов в танке нет. Орудия и пулеметы его не стреляют, и когда навстречу советским танкистам идет фашистский танк, танкисты усиливают скорость и таранят танк противника. Треск брони, скрежет металла...

С и в а ш.

К северному берегу подходят машины с понтонами. Саперы быстро сгружают понтоны, бросают их на воду, «вяжут» переправу через Сиваш.

Они работают по пояс, по горло в воде.

В воздухе тесным строем проходят «Юнкерсы». Они сбрасывают сериями бомбы на переправы.

Бомба попадает в лодку с людьми. Взрыв. Все исчезает под водой.

Командный пункт фронта на северном берегу Сиваша в селе *О т р а д а*.

Командующий 8-й воздушной армией генерал-полковник авиации с досадой стукнул кулаком по столу.

Г е н е р а л - п о л к о в н и к. Тысячу дьяволов! Легчики мои с ума сойдут. Столько самолетов! Бомбы подвешены, и не подняться! Увязли в болоте, сидим, бездельничаем. Превращаемся в жаб!

Генерал-полковник, хмурый, шагает по комнате.

Мы видим командный пункт с улицы. Это хата рыбака, крытая очеретом, опутанная сетью бесчисленных проводов связи. Моросит мелкий дождь. Туман.

Комната. Полевые телефоны. Около них девушка-связистка и лейтенант в лихо заломленной пилотке.

Вторая комната. Узел связи. Ползущие ленты «бодянки». Аппарат «ВЧ». Карты на столе, на стене. Начальник штаба фронта подбирает и читает ленты «бодо». Слышен стук клавиатуры аппарата.

У печи, освещенные огнем, сидят командир казачьего гвардейского корпуса и командир одной из казачьих дивизий.

Командир казачьего корпуса поворачивается на вопрос подошедшего к окну командующего 8-й воздушной армией.

Генерал-полковник. Как дела у казаков?

Командир корпуса. Ах, дела, дела!

Командир дивизии (*сумрачно*). Кони подбились, товарищ генерал-полковник. Вот какие дела...

Окно. Льет дождь. Струи бегут по стеклам.

Москва. Кремль. Вечер.

Товарищ Сталин ходит по кабинету. На столе разостланы карты. Входит генерал армии Антонов. Товарищ Сталин останавливается, поворачивается к вошедшему.

Антонов. Разрешите, товарищ Сталин?

Сталин. Слушаю.

Антонов. Только что установлена связь с Малиновским.

Сталин подходит к столу, останавливается, смотрит на карту, туда, где прикасается рука Антонова.

Антонов. На Никопольском направлении сильные отвлекающие бои. Шернер контратакует Лелюшенко и Цветаева.

Сталин (*указывая на карту*). А что здесь, у Херсона?

Антонов. Тоже контратаки против гвардейцев Захарова. Здесь у противника на левобережье плацдарм... В районе Перекопа и Сиваша тяжелые упорные бои. (*Поднял глаза на товарища Сталина, сокрушенно добавил.*) Генерал Васильев...

Сталин (*тяжело вздохнув*). Да, да... Знаю... (*Антонову.*) Да... Поздравьте его с присвоением звания Героя Советского Союза. Предложите генералу Толбухину дать сведения о потерях в людях и технике.

Отрада. Командный пункт фронта.

Над раненым генералом Васильевым склонился маршал Василевский.

Васильев пытается приподняться. Василевский мягко останавливает его, прикасаясь к руке.

В а с и л е в с к и й. Не вставайте.

В а с и л ь е в. Вот... Вышел из строя в такой момент.

В а с и л е в с к и й. Товарищ Сталин просил поздравить вас, генерал, со званием Героя.

В а с и л ь е в. Служу Родине, товарищ маршал...
Передайте товарищу Сталину...

Васильев не может сдержать своего волнения, умолкает.

Толбухин наклоняется к генералу и говорит с мягкой, понимающей и ободряющей улыбкой.

Т о л б у х и н. Вы сами ему это передадите, товарищ Васильев. Самолет ждет... выздоравливайте.

В а с и л ь е в. Спасибо, товарищ командующий, спасибо.

Санитары несут генерала Васильева к выходу. В дверях аппаратной появляется начальник штаба 4-го Украинского фронта.

Н а ч а л ь н и к ш т а б а. На проводе Ставка. Генерал Антонов вторично предлагает сообщить все потери в людях и технике.

Т о л б у х и н. Не подсчитаны еще потери.

Начальник штаба молча подает листок бумаги.

Т о л б у х и н. Вот прорвем фронт, ворвемся в Крым, тогда и доложим вместе с числом военнопленных. Я сам поговорю с Антоновым.

В а с и л е в с к и й (*Толбухину*). Потери, очевидно, интересуют товарища Сталина. Разрешите мне.

Толбухин передает маршалу бумагу со сведениями. Василевский направляется в аппаратную. Дверь за маршалом закрывается.

Все находящиеся в избе генералы смотрят ему вслед.
В комнате напряженное ожидание.

Кремль. По кабинету ходит товарищ Сталин.

Командный пункт в Отраде. Взоры всех устремлены на дверь аппаратной.

Толбухин что-то шепчет начальнику штаба.

У окна стоят казацьи командиры. Сквозь облака мелькают зарницы, слышен рокот артиллерии.

Маршал Василевский показался в дверях. Все подались к нему.

В а с и л е в с к и й. Товарищ Сталин поправил нас. Приказано прекратить атаки, закрепиться на занятых рубежах и ожидать дальнейших указаний Ставки.

Самолет с маршалом Василевским отрывается от земли и уходит в низкие тучи.

Из ротационной машины вылетают листы немецких газет.

Крикливые заголовки: «Победа в Крыму», «Армия Толбухина разбилась о немецкий вал».

На перекрестках немецких улиц надрываются газетчики:

— Победа в Крыму! Армия Толбухина разбита!

— Крым неприступен так же, как Атлантический вал! Атлантический вал неприступен, как Крым!

Штаб командующего обороной Северного Крыма командира 49-го горно-стрелкового корпуса генерала Конрада... Горят свечи.

Построившись в шеренгу, стоят генералы действующей на Крымском перешейке 17-й армии. На правом фланге генерал Сикст.

Енекке одет в парадную форму. Он торжественно говорит:

— Я имею честь вручить сегодня высший орден Германской империи генералу Сиксту, награжденному фюрером за отражение штурма советских войск в районе Перекопа.

Енекке передает орден Сиксту.

С и к с т (*исступленно*). Хайль Гитлер!

В с я ш е р е н г а. Хайль!

Е н е к к е. Сорок четвертый год будет годом мести и побед. Сорок четвертый год будет годом похода нашей

армии по маршруту, начертанному историей. Вариант «Три Б»: Берлин—Баку—Бомбей!

Надпись: *Д ж а н к о й.*

Ночь. Под сильным дождем передвигаются с грохотом и лязгом резервы врага, идущие к Сивашу и Перекопу.

В луче света от автомобильных фар появляются трое. Навстречу им, разбрызгивая жидкую грязь, идет легковая машина.

Машина останавливается, из нее выходит офицер в плаще.

Мимо идут и идут транспортеры, переполненные согнувшимися под дождем, укрытыми плащ-палатками солдатами.

Трое на дороге останавливаются, поджидая подходящего к ним офицера в плаще.

Это два немца, которые крепко держат за руки человека в комбинезоне—пленного.

Офицер в плаще подходит к пленному:

— Ты кто?

Пленный поднимает голову, презрительно улыбается:

— Угадай!

Офицер резким рывком распахивает комбинезон пленного. Видны матросский бушлат, тельняшка, две медали.

Енекке через стекло машины вглядывается в происходящее на дороге.

Хлещут потоки дождя.

Офицер в плаще (это адъютант Енекке) подходит к машине, нагибается.

Енекке (*кричит*). Кто?

Адъютант. Русский парашютист, диверсант, господин генерал.

Енекке выходит из машины и под дождем направляется к матросу; он вглядывается в его лицо своими старческими, злыми глазами, быстро и нервно ощупывает медали мокрыми пальцами.

Матрос. Читай, читай... Читай, если грамотный. Одна за Севастополь, другая за Сталинград. А будет еще за Крым! Понимаешь?

Лицо взбешенного Енекке.

Матрос нагибается, почти вплотную приближая свое лицо к лицу Енекке:

— Крышка вам тут, капут! *(Со злобой и вызовом.)*

Не понимаешь? А Сталинград понимаешь?! Сталинград понимаешь?! Сталинград!!!

Енекке. Убрать!

Матрос. А-а... Сталинград понимаешь?!

Енекке отшатывается, поднимает руки в каком-то испуге, потом крестообразно складывает их над собой:

— Убрать совсем!

Автоматчики уводят упирающегося матроса. Он продолжает кричать:

— Сталинград! Сталинград! Сталинград!

Этот крик несется сквозь грохот моторов механизированной колонны, сквозь холодный, осенний дождь.

Ошеломленный Енекке глядит вслед пропавшему в темноте ночи матросу.

Енекке *(шепчет)*. Дьявол какой-то!

Темная дорога. Идут трое. Матрос неожиданно сильным рывком вырывается из рук немцев, расшвыривает их в стороны и исчезает в ночи.

Автоматчики открывают огонь.

Енекке вслушивается в звуки выстрелов, приходит в себя. Снова на его лице свинцовая маска.

Енекке. Покойник врал. Сталинград не повторится, Сталинграда больше не будет.

Кремлевские башни. Бой курантов.

Кабинет товарища Сталина в Кремле.

Перед столом товарища Сталина маршалы Ворошилов и Василевский.

Сталин. Если подвести итог нашим предварительным соображениям, будущий год мы начнем сокрушительным ударом, который нанесут войска Говорова из района Ленинграда и войска Мерецкова из района Новгорода.

Товарищ Сталин подходит к столу, на котором разложены карты. За ним идут товарищи Ворошилов и Василевский. Ворошилов разворачивает карту, на которую указывает товарищ Сталин.

Сталин. Графически это будет выражаться примерно вот так.

Раскрывается карта Ленинградского фронта. На ней нанесены стрелы предполагаемых ударов наших войск на Нарву, Лугу, Псков и Остров.

Сталин. Разгромив фельдмаршала Кюхлера, мы снимем блокаду с нашего героического Ленинграда и отбросим немцев в Прибалтику.

Ворошилов. Это создаст условия для последующего нашего наступления и разгрома Прибалтийской группировки немцев. Да и в Белоруссии противнику придется плохо.

Сталин. Так мы начнем наш будущий, 1944 год. Это будет наш первый удар. Его мы нанесем в январе. Ну, а теперь, товарищ Василевский, давайте перейдем к Югу.

О т р а д а.

Генерал армин Толбухин сидит в своей комнате у железной печки, сосредоточенно курит.

В глубине комнаты, возле радиоприемника, виден начальник штаба фронта.

Толбухин. В окопах грязь, топлива нет... Солдаты рвутся в Крым, а Крым немцы заперли накрепко, без щелей.

Начальник штаба. Это как сказать, Федор Иванович. Сегодня один матрос прошел линию фронта.

Толбухин. Да что вы?

Начальник штаба. Прошел!

Прислонившись к печке, спит матрос. Это тот самый, который вырвался из рук гитлеровцев на дороге в Джанкой.

Толбухин останавливается возле матроса, внимательно осматривает его и тихо говорит:

— Здравствуйте, старшина.

Матрос открывает глаза, видит Толбухина, вскакивает.

Матрос. Здравия желаю, товарищ генерал армин. Старшина второй статьи Чмыга.

Толбухин (*оценивающим взглядом окидывает матроса и так же тихо, доверительно спрашивает его*). Расскажите, как перешли линию фронта?

Чмыга. Так я ж эти места с детства знаю, товарищ генерал армии. Озера у них укреплены только с берегов, крылья проволочных заграждений опущены в воду, а середина свободна. Конечно, она взята в прострел по всему зеркалу. Но ночь темная, ветреная, дождик, артиллерия, шагов не слышно, а тем более всплесков. Ну, в общем, прошел...

Начальник штаба. Посмотрим по карте.

Толбухин. Пойдемте.

Все трое склонились над картой в смежной комнате. Над столом зажигаются яркие лампы.

Чмыга. Проплыл я озером у Татарского бугра.

Начальник штаба. Минуточку... Татарский бугор. Что ж это такое? Ага! Высота тридцать три.

Толбухин. Вы не заметили, она сильно укреплена?

Чмыга. Здорово укреплена, товарищ генерал. Правда, только с севера. Так что, если обойти по воде и ударить с тыла...

Толбухин и начальник штаба переглянулись.

Толбухин. Вот что, товарищ старшина, мы пошлем вас на плацдарм. Будете пока в разведке.

Чмыга. Разрешите обратиться, товарищ генерал армии.

Толбухин. Пожалуйста.

Чмыга. Ну, я один так прошел, тихо. А вы, если будете форсировать большим соединением, — тихо не выйдет! Придется с боем.

Толбухин (*понимающе улыбнулся*). Спасибо.

Кремль. Товарищи Сталин, Ворошилов, Василевский.

Сталин. Для того чтобы наиболее точно и безошибочно решить задачу Юга, необходимо разобраться в этом вопросе более конкретно. Во-первых, намерены ли немцы удерживать Крым? Каковы последние, свежие данные?

Василевский. По данным разведки, Гитлер приказал держать Крым во что бы то ни стало.

Сталин. Так... С военной точки зрения это выгодно?

Василевский. Безусловно, нет.

Ворошилов. Еще бы. Двести тысяч немецких солдат ожидают, пока русские начнут с ними воевать. Они очень быгодились Клейсту на Южном Буге и Днестре.

Сталин. Ну, конечно. *(Продолжая развивать свою мысль.)* Гитлер держится за Крым в первую очередь по политическим соображениям. Падение Крыма — это падение престижа Германии в Румынии, Болгарии, Венгрии и... в Турции. Крым откроет ворота на Балканы. Наши черноморцы снова получают свою базу — Севастополь и станут хозяевами Черного моря. Гитлер насытил Крым войсками и будет продолжать укреплять 17-ю армию именно по этим, чисто политическим соображениям...

Ворошилов *(Василевскому)*. В сорок первом и сорок втором годах армия Манштейна была обескровлена под Севастополем и не смогла выполнить поставленную перед ней Гитлером задачу — перевалить через Кавказский хребет и захватить Баку.

Сталин *(внимательно выслушав, дополняет)*. Сейчас противник решил повторить наш стратегический ход.

Василевский. То есть немцы хотят обескровить наши армии левого фланга и сорвать наш поход на Балканы?

Сталин. Хотя бы задержать. Немцы, отрезанные в Крыму, верят в неприступность Крыма, в свои силы. В умах этих немцев живет идея обороны. Надо ликвидировать эту идею. Там должна созреть и созреет идея эвакуации.

Сталин подходит к карте:

— Ну, Крым, конечно, нужно освобождать возможно быстрее. Но когда именно? Я считаю, что сигнал к штурму Крыма нужно подать в тот момент, когда войска Малиновского завяжут бои непосредственно за Одессу.

Ворошилов. Тогда противник лишится своих баз — Херсона, Николаева, Одессы. Коммуникация

Крым—Констанца и все морские и береговые базы Румынии будут находиться под ударами нашей авиации.

Василевский. В Крыму половина войск — румыны. *(Поворачивается на голос товарища Сталина.)*

Сталин. И когда наши войска подойдут к Одессе, идея обороны Крыма сменится идеей эвакуации, бегства и полной обреченности. А это плохие помощники солдату. Все это подготовит почву для политического кризиса в Румынии и Болгарии. Стало быть, только в тот момент, когда войска 3-го Украинского фронта вплотную подойдут к Одессе, вы начнете штурм Крыма, одновременно ударами с севера и с востока. *(Берет под руки товарищей Ворошилова и Василевского и отходит с ними от карты.)* Не было еще в истории такого случая, чтобы враг сам прыгнул в пропасть. Нужно подвести его к пропасти и толкнуть туда. Так нужно поступить с 17-й армией. Подвести ее к обрыву и... сбросить в Черное море. Но нужно сделать это с наименьшей затратой человеческих жизней. *(Василевскому.)* Это и есть те соображения, из-за которых я временно остановил ваши операции.

Надпись: *Симферополь.*

Улица города. Вдоль тротуаров цепи гитлеровских солдат. На аппарат мчится вереница легковых машин.

В одной из машин Енекке и командующий Никопольской группой войск генерал-полковник Шернер.

Шернер *(самодовольно)*. Прекрасная погода! Что? У вас бодрый вид, господа! Погода способствует хорошему настроению. Впрочем, немец весел вне зависимости от погоды. Что?

Штаб 17-й армии. Карты Крыма с надписями на немецком языке и обозначенными замкнутыми линиями фронта.

У карты Шернер и Енекке.

Голос Енекке. Его руки на карте.

— ...и сознание того, что мы отрезаны, не способствует хорошему настроению солдат.

— Вы имеете в виду румын? Что?

Шернер разговаривает так же, как и в автомобиле, в тоне нагловатой развязности.

Енекке отвечает, сохраняя наружное спокойствие:

— Я имею в виду 17-ю армию, господин командующий. Солдаты знают о Сталинграде, и сознание того, что они находятся в котле...

Шернер (*нетерпеливо перебивая Енекке*). Солдаты забыли о Сталинграде, как забыли о нем вы, генерал. Фюрер никогда не произносит этого слова, а следовательно, и мы должны забыть его. Солдаты должны понимать, что мы отошли сюда по приказу фюрера.

За столом у карты гитлеровские генералы. Посредине Шернер и Енекке.

Енекке. Солдаты участвовали в боях у Мелитополя, на реке Молочной и знают, почему они отошли сюда. Они думают...

Шернер (*перебивая*). Солдаты думать не должны. Солдат, который думает, — небоеспособен. Солдат должен стрелять, ходить в атаку и в свободное время заниматься спортом. Положение нашей армии превосходное! Здесь сухие аэродромы! Отсюда мы можем держать под воздействием нашей авиации выдвинувшиеся на запад части противника, Донбасс, Кубань и даже... Баку!.. (*Стуча каблуками, подходит к столу, указывая отдельные точки на карте взмахами стека.*) Вот отсюда, с Никопольского плацдарма, мы разрежем армию Толбухина на две части. Этот фланг прижмем к морю и уничтожим, а потом снова поход на Донбасс...

Посредине зала большой овальный стол. Вокруг стола стоят гитлеровские генералы.

Шернер, обегая вокруг стола, продолжает быстро говорить лающим голосом, хлопая себя стеком по голенищам сапог. Генералы почтительно и молчаливо следят за всеми движениями Шернера.

Он доволен этим сосредоточенным на нем вниманием генералов, стансвится еще более развязным, крикливым и наглым.

Шернер. Вы должны понять, что эта победа придет, как только подсохнут дороги. Русские будут атаковать наши позиции на перешейке в течение всей зимы. Отлично! Что? Отлично! Пусть сжигают на нашем огне

все свои силы. А как только подсохнет почва, наши свежие войска перейдут в наступление. Что?

Енекке смотрит на Шернера с внимательной, несколько беспокойной настороженностью. После паузы медленно и раздельно говорит:

— Да... Но русские прекратили активные действия.

Шернер (*опешив*). Почему прекратили?

Енекке (*иронически*). Я сам думаю об этом, господин командующий. Я, правда, солдат, но возраст не позволяет мне заниматься спортом, и я думаю, и пока не нахожу ответа. Я так же, как и вы, рассчитывал на их непрерывные атаки... Возможно, что это часть их плана.

Шернер. У них не может быть никакого плана. Они будут атаковать! Будут! До тех пор, пока не просохнет грунт и пока... я, вот отсюда, с Никопольского плацдарма, их не раздавлю!

Карта Южной Украины и Крыма. Линия фронта. В кадр входит рука и карандашом указывает на плацдарм у Никополя.

Голос Сталина. Не нравится мне этот... (*Обращаясь к маршалу Василевскому.*) Никопольский плацдарм. Там попрежнему сидит Шернер?

Василевский. Шернер.

Сталин. Да... У него подозрительно много танковых соединений. Это угроза. Несомненно, угроза... Угроза реальная.

Василевский. Да. Енекке ждет избавления отсюда и согласованного удара со стороны Херсона.

Сталин, задумавшись, ходит по кабинету, останавливается.

Сталин. Вот здесь мы и нанесем удар. Южное стратегическое крыло немецкого фронта надо разгромить и уничтожить.

Рука Сталина проводит по карте стрелу наступления и заостряет ее у предгорья Карпат в районе Станислава, Коломии, Черновиц. От Звенигорода стрела через Умань, Вапнярку пересекает Днестр и дальше раздваивается на Хотин и Яссы.

Василевский хмурит лоб.

Сталин (*Василевскому*). Вы чем-то обеспокоены? Василевский. Видите ли, товарищ Сталин, немцы именно здесь и ждут удара и готовятся к контрнаступлению. Они насыщают этот район войсками и пытаются создать перевес сил именно на этом направлении. Мы встретим здесь организованное сопротивление. Будут большие потери. Наше наступление не будет для них оперативной внезапностью.

Сталин. Н-да...

Задумался.

Василевский встал.

Товарищ Сталин в раздумье стоит у шкафа, повернулся к маршалу Василевскому.

Сталин. Скажите, какой на этом участке фронта прогноз на погоду, примерно так, ну, в феврале, в начале марта?

Василевский. Предвидится ранняя весна. Правобережье в это время года почти непроходимо.

В глазах Сталина засветилась улыбка.

Сталин. Так... Следовательно, наше наступление в период распутицы будет для них оперативной внезапностью?

Василевский (*улыбаясь*). Я вас понял, товарищ Сталин.

Сталин. Ну вот... Итак, на Украине наступаем ранней весной. Это будет наш второй удар! Мы нанесем его в феврале. Смело маневрируйте имеющимися войсками и техникой в пределах нескольких фронтов. (*Подходит ближе.*) Среди некоторых наших генералов имеются, так сказать, собственники. Не мешает напомнить им, что командующий фронтом — не удельный князь, а немцы — враг посильнее половцев.

Сиваш.

Дымовая завеса прикрывает узкую стрелку понтонного моста.

По мосту движется колонна автомашин. По берегу, на первом плане проходят танки.

В окопах вода. Солдаты строят оборону захваченного на южном берегу Сиваша плацдарма.

Двое молодых солдат, сгибаясь под тяжестью, несут

кусок рельса. Слышится песня без слов, напеваемая тихо мужскими голосами.

По узкому, мокрому ходу сообщения солдат несет охапку хвороста. Он ползком пробирается в низкий боковой ход и оказывается в подземном блиндаже.

Солдатский фронтовой быт в период затишья. Жестяная печурка с кривым коленцем трубы. Земляной стол с коптилкой из снарядной гильзы.

Один из солдат — Никита Степанюк — сапожничают, второй роет в стене нишу саперной лопаткой, третий читает.

Степанюк. Хе! Ну, скажу я вам, хлопцы, молодое пополнение до нас пришло! Салютов по радио понаслухались, показились...

Аржанов. Чего, чего сделали?

Степанюк. З глузду з'ихали. Вскочит такой хлопчина в окоп, очи горять...

Солдат с лопаткой прислушивается, улыбается в короткие свои усики. Это матрос Чмыга, одетый в телогрейку и шапку пехотинца, — только матросский пояс с якорем, выдавленным на бляхе, и чуть-чуть заметные лиловые полоски тельняшки выдают его.

Голос Степанюка. Де хриц, давай хрица! Хе! Так ему и дашь того хрица!

Чмыга оставляет работу, оборачивается, несколько удивленно смотрит в сторону рассказчика.

Степанюк (*забывая шпильки в подошву сапога*). Я сам того хрица тильки в мертвом виде бачив. Нияк ему в очи не подывлюсь с выражением. А от пришов солдат Вершков. Пришов, дывиться... «Це що? Сиваш? Сиваш. Мельче Оки? Мельче. Давай зараз перефорсируемо!» Цирк!

В блиндаж вползают два солдата, которые несли раньше рельс. Это Сергей Вершков и Лятиф Файзиев.

Степанюк. Слухай, Вершков, так тобі хронт не нравится?

Вершков. Не нравится. Вот ни с того, ни с сего вдруг строиться начали.

Аржанов. Строиться... Не строиться, а совершенствовать оборону.

Вершков. А на кой это нам? Пускай немец совершенствуется, а нам вперед надо!

Файзиев. К Севастополю, да?

Чмыга. Молодец, браток! Нет России без Севастополя.

Вершков. Так чего мы стоим?

Степанюк. Ой, цирк!

Чмыга. А вот чего стоим. Скажи мне, Вершков, кто есть солдат?

Вершков (с недоумением). Солдат?

Чмыга. Да.

Вершков. Человек.

Чмыга. Угадал! Садись.

Вершков послушно садится.

Теперь к Чмыге подошли еще солдаты. Они прислушиваются к разговору.

Чмыга. Что сказано в нашем Советском Союзе о людях?

Вершков. Ну...

Чмыга. Из всех капиталов, которые есть на белом свете, самое ценное — люди. Стало быть, Никита, Аржанов, я, ну... вот отчасти, скажем, ты...

Вершков. Почему же отчасти?

Чмыга. Потому что ты ведь еще не полный человек. Ты еще проект.

Вершков. Проект?

Он удивлен и обижен. Файзиев прыскает со смеху. Смеются солдаты.

Чмыга. Ты какого года рождения?

Вершков. Двадцать шестого.

Чмыга. Ну, факт, проект... Из тебя настоящий солдат когда еще выйдет! А когда выйдет, — поймешь, если оборону противника с ходу не прорвали, значит — стоп машина! Подтяни артиллерию, подвези снаряды, перебазируй авиацию. Потом в столько-то ноль-ноль покажи иностранцам, что есть советская техника, а потом — пожалуйста вперед пехота! Техника... Это сила! Но полной зачистки ей не сделать.

Аржанов. Не-е!

Чмыга. Не-е!.. Кто может сделать полную зачистку, Вершков?

Вершков (с готовностью). Пехота?

Все хором. Пехота!

Аржанов. Исключительно пехота.

Чмыга. Я бы лично сказал, особенно морская пехота...

Все хором. Ну...

Чмыга (*жестом останавливая общее возмущение*).

Ну... просто — пехота!

Чмыга (*вставая*). Она пройдет, сапогом наступит, штыком подчистит... А тогда, пожалуйста, салют из ста двадцати орудий. Сказано: «Пехота — царица полей!» Ну, а ты? Какая же ты царица? (*Ласково треплет Вершкова за подбородок.*) Ты ж проект.

Вершков (*внезапно насторожившись*). Т-ш! Воздух!

В небе разворачиваются вражеские самолеты.

Район Сивашской переправы. Мосты, соединяющие плацдарм с Большой землей — северным берегом Гнилого моря. Ветер гонит волну по озерам.

Саперы, стоя по пояс в воде, чинят второй мост на Русский остров.

У танка, на причале, падает снаряд.

По мосту движется колонна. Взрыв поднимает огромный столб воды. Однако на мосту под прикрытием сильных дымовых завес движение колонны продолжается.

В воздухе четыре фашистских самолета.

С земли бьют зенитки.

Летит вниз, на землю, сбитый самолет.

Летит второй, объятый пламенем, а за ним длинный черный хвост дыма.

Самолет падает в воду. Взрывается.

По мосту идут машины.

Догорает у берега третий самолет.

Идет в пике последний — четвертый. Самолет стремительно приближается к мосту. Взрыв. Мост взорван.

Саперы на понтонах устраняют повреждение.

В окопе бойцы окружили Чмыгу.

Чмыга. Им легко летать. У них сухие аэродромы. Это ж Крым! Ты в Крыму был?

Вершков. Нет.

Чмыга. О-о-о!

Боец. И я не был.

Степанюк. И я не був. Но я буду.

Голоса бойцов. Ну и я буду! И я...

Как зачарованные слушают Файзиев и Вершков.

Голос Чмыги. Эх, братки! Какие ж там сады! Кругом сады... Сады... Сады.. Море... Дворцы... А сколько санаториев мы там понастроили!

Боец. Да ну?

Чмыга. Сам строил. Своими руками. Как подумаешь, что по этим дворцам сейчас проклятый враг ходит...

С досадой взмахнул кулаком.

Надпись: *Симферополь.*

Большой зал. Группа немецких и румынских офицеров, гостей.

Из глубины кадра идут на аппарат двое во фраках, останавливаются в почтительных позах.

Енекке в парадной форме; перед ним помощник военного атташе в Турции — барон фон Вагенгейм с женой.

Вагенгейм (*Енекке*). Это мои лучшие друзья, эксценц, господин Мюстегиб Фагиль — писатель и адвокат.

Мюстегиб Фагиль. О, нет, господин барон, я уже давно не адвокат. Я — прокурор! Мое сердце ожесточилось, оно измучено долгой разлукой с родными местами. Я ведь родился здесь, в Крыму, так же, как мой друг...

Эдиге Кемаль представляется Енекке, раболепно склонившись перед ним.

Мюстегиб Фагиль. Господин Эдиге Кемаль.

Эдиге Кемаль. Я рад приветствовать, ваше превосходительство, в вашем лице благородную армию фюрера — лучшего друга турецкого народа. (*Кланяется. Прикладывает руку к сердцу.*)

В смежной с залом комнате Сикст, румынский генерал Теодореску и молодой полковник-немец пьют вино.

Теодореску. Сегодня у командующего великолепное меню: крымские вина, немецкие котлеты с румынским гарниром и подозрительные восточные сладости.

Полковник (*подозрительно*). Почему котлеты, генерал?

Теодореску (*насмешливо-иронически*). Ну, бифштекс, бифштекс по-сталинградски.

Полковник свирепеет, швыряет наземь бокал.

Полковник. Слушайте, вы, румын!

Наступает на Теодореску, но Сикст вмешивается и удерживает полковника.

Сикст. Что вы! Т-с-сс! Турки!

В зале Енекке, Мюстегиб Фагиль и Эдиге Кемаль с поднятыми бокалами.

Мюстегиб Фагиль. Мы, конечно, нейтральные, но у нас есть сердце. Турки не могут воевать пока, но сердце...

В кругу гостей Енекке — барон Вагенгейм, Мюстегиб Фагиль, Эдиге Кемаль. В руках у них бокалы.

Мюстегиб Фагиль. ...турок с вами. (*Енекке.*) Наш премьер-министр господин Сараджоглу сказал высокому послу фюрера господину фон Папену: каждый турок страстно желает уничтожения России. Уничтожение России является подвигом фюрера, который может быть совершен раз в столетие. Наш премьер-министр считает, что русская проблема может быть разрешена Германией, если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских. Каждый турок, даже пишущий для англичан Ялчин, не может думать об этом иначе.

В соседней комнате за столом с винами и фруктами Сикст и Теодореску.

Сикст (*отпивая кофе*). Вас наводят на грустные размышления эти турки? (*Кивает в сторону зала.*) Ерунда! Они нам пока необходимы. Они сейчас пропускают наши суда через проливы.

Теодореску (*иронически*). Выполняя конвенцию в Монтре? Но наши дела в Крыму не блестящи. (*Наливает вино.*) Вряд ли они что-нибудь теперь пропускают, генерал.

Сикст. Неужели вы думаете, что все, чем мы располагаем в Черном море, сплавлено по Дунаю? Вы наивны.

Теодореску. Нет... Я не наивен. Семь дивизий румын здесь в Крыму думают, что они защищают новую

румынскую территорию. Турки, пропуская оружие и людей сюда в Крым, думают, что Крым будет турецкой территорией.

Сикст, развалился в кресле, пьет кофе, слушает.

Теодореску. Вы — немцы, вы презираете нас и их. Вы думаете, что Крым будет немецкой территорией. Мы смеемся, пьем вино, иной раз шутим, а там, на севере, стоят армии генерала Толбухина и молчат. Зарылись в землю и молчат.

Сикст (*ставя чашку на стол*). Это, кажется, называется загадочная русская душа?

Теодореску (*подвигаясь к нему поближе*). Нет, генерал, дело не в загадочной русской душе, а в неразгаданном плане одного человека. Знаете, на севере есть такой большой город. В этом городе стоит старинная крепость с таким странным названием — Кремль...

Отрада.

Заседание по координации действий 3-го и 4-го Украинских фронтов.

Длинный стол, освещенный светом больших ламп с абажурами.

За столом Толбухин, Малиновский, Захаров, Крейзер, начальник штаба 4-го Украинского фронта, начальник артиллерии фронта, командир кавкорпуса, командиры соединений, их начальники штабов.

Василевский заканчивает сообщение о плане Ставки Верховного Главнокомандования.

Василевский. Теперь о сроках. Начало штурма Крыма определил товарищ Сталин. Это будет момент, когда войска Малиновского завяжут бои за Одессу. Что вам необходимо для этого, товарищ Малиновский?

Малиновский (*беря расчеты у своего начальника штаба*). Разрешите?

Василевский. Пожалуйста.

Малиновский. Нам нехватает подвижных войск — танков, кавалерии...

Василевский. Одну минуту. Передайте, пожалуйста, расчеты товарищу Толбухину.

Толбухин (*удивленно*). Мне? Хм... Для сведения, что ли, товарищ маршал?

Василевский (*многозначительно*). Посмотрим. Для сведения или для руководства...

Генерал Захаров (*обращаясь к сидящему рядом генералу*). Заберут у нас войска. Попомните мое слово.

Толбухин (*просматривая расчёты Малиновского*). Аппетиты у моих соседей, я бы сказал, приличные...

Василевский (*улыбаясь*). Что, могут и соседа съесть?

Толбухин. Вряд ли, товарищ маршал. Сосед для них, пожалуй, великоват. Да... Малиновский даже казачьи корпуса требует. Ишь, сколько сабель просит у Ставки.

Василевский (*тихо, наклонившись к Толбухину*). Ставка не даст ни одного всадника из резервов.

Толбухин (*посмотрев на Василевского*). Вот оно что? (*Начальнику штаба.*) Читайте. (*Встал из-за стола.*)

Начальник штаба знакомится с расчетами. Толбухин, возмущенный, возвращается к столу.

Толбухин. Это же грабеж! Я не понимаю, товарищ Малиновский, зачем вам нужны казаки?

Малиновский (*спокойно*). Не из зависти, Федор Иванович... Мне в два прыжка надо ворваться в Румынию, весной, в распутицу. Мне без кавалерии не выполнить эту задачу.

Толбухин (*стоя*). Что же вы, и танковые соединения требуете?

Малиновский (*поднимаясь*). Прошу.

Толбухин. И тоже у нас?

Малиновский. У вас.

Сидящий во главе стола маршал Василевский не вмешивается в разговор командующих фронтами.

Толбухин (*горячась*). А как это называется на русском языке, товарищ Малиновский?

Малиновский (*спокойно*). Концентрация войск на нужном направлении.

Толбухин. Нет, иначе.

Малиновский. Ну, оперативное взаимодействие соседних фронтов с маневром имеющимися в наличии силами.

Толбухин. Нет, Родион Яковлевич, по-русски это

называется раскулачить! Вот как это называется. (*Василевскому.*) Нет, я ведь не из каких-нибудь там соображений... я понимаю вас. Я не удельный князь, и немцы не половцы. Но ведь надо мной Шернер висит на Никопольском плацдарме. Посмотрите, сколько войск у Клейста в Херсоне. Он как дятел долбит, хочет пробиться к Перекопу через Вторую гвардейскую. Спросите у генерала Захарова, каково ему там...

Захаров (*подходя к столу*). Мы ежедневно отражаем атаки немцев в районе Херсона.

Василевский (*в сторону Толбухина*). Вот поэтому первой задачей Третьего Украинского фронта и будет ликвидация Никопольской и Херсонской группировок. На первом этапе вы им поможете, а затем вам останется... только Крым.

Толбухин. Только... (*Отвернувшись.*)

Малиновский. Вам поможет Отдельная Приморская армия, Черноморский флот... Одной только авиации сколько прибавится.

Малиновский и Толбухин. Подходит начальник штаба.

Толбухин (*начальнику штаба*). Перегруппировку частей делать скрытно и быстро. Так, чтоб немцам и в лоб не влетело, что мы переполовинили наши войска.

Начальник штаба. Слушаюсь.

Толбухин (*Малиновскому*). Ну, Родион Яковлевич, смотри, чтобы от Шернера и Клейста дым остался.

Малиновский. И дыма не останется. Я им устрою такие Канны!

Толбухин. Нет, Канн не хочу. Канны устарели. Ты им Сталинград устрой!

В Симферополе. Освещенный люстрой зал, гости. Теодореску пожимает руку Мюстегиб Фагилю.

Теодореску. Рад приветствовать вас, господа, на нашей земле.

Мюстегиб Фагиль. Чувство благодарности повергает меня к вашим ногам, господин генерал. (*Искусственно улыбаясь.*) Однако выражение «наша земля» в ваших устах для турецкого уха не слишком благозвучно.

Теодореску. А как (*искусственно любезно*) звучат для вашего уха реальные семь дивизий румынской королевской армии, которую я здесь имею честь представлять?

Мюстегиб Фагиль. Но это не столь значительно, как не менее реальные сотни тысяч моих единоверцев — крымских турок, или, как их называют, — татар, которые счастливы будут влиться в лоно народов Турции.

Теодореску. Я не имею чести знать, сколько десятков тысяч немцев живет в вашей Анкаре, но я думаю, что их там последнее время появилось очень много. (*Мюстегиб Фагиль вырывает свою руку из руки Теодореску.*) И в связи с этим не допускаете ли вы мысли о том, что...

Енекке и барон Вагенгейм с женой. Разговор Теодореску и Мюстегиб Фагиля привлек внимание Енекке. Он приближается на аппарат.

Теодореску. ...в один прекрасный день они захотят влиться в лоно Германии вместе с вами, Крымом и Персией...

Подходят Енекке и барон Вагенгейм. Енекке умело смягчает ситуацию и устраняет назревающий скандал.

Енекке (*Мюстегиб Фагилю*). Я вижу, вы уже познакомились с моим другом генералом Теодореску. Я очень рад. Он всегда шутит, он всегда шутит. Он совсем не политик, наш милейший генерал Теодореску, он храбрый кавалиерист.

Расталкивая гостей, через зал проходит офицер связи. Он встревожен. Останавливается, ищет кого-то. Гости обеспокоены.

Енекке (*увидев офицера, Мюстегиб Фагилю*). Простите. (*Быстро отошел.*)

Офицер вытягивается перед Енекке.

Офицер. Господин генерал! Господин генерал...

Енекке (*останавливая его, гостям*). Прошу простить... (*Офицеру.*) Пойдемте.

Оба уходят. Плотной закрывается дверь.

В зале переполох.

Один офицер что-то шепчет на ухо другому. Встрепенутые группы гостей.

Голоса. Что случилось?

Барон. Неприятные вести. Четырнадцатого января под Ленинградом и Новгородом русские прорвали фронт...

Жена барона. Мой бог!

Вагенгейм. Успокойся! (Сиксту.) Кюхлер разбит. Одиннадцать наших дивизий уничтожены.

Жена барона. Ах!

Вагенгейм. Успокойся! (Сиксту.) Войска бегут!

Енекке отходит от резной двери, проходит одну комнату, входит в другую, говорит на ходу, нервно потирая руки.

Енекке. Сталинград... Ленинград... Какой же следующий град? А может, не град, а поль. Здесь на юге — поль: Мелитополь, Симферополь, Севастополь...

Часы на Спасской башне показывают десять. Бой кремлевских курантов.

Аппаратная в Кремле.

Товарищ Сталин диктует телеграфисту.

Сталин. Передайте маршалу Василевскому, что я у аппарата. Запросите обстановку на фронте.

Аппаратная Василевского. Маршал читает ленту, затем диктует телеграфистке.

Василевский. Передавайте. Подготовка к выполнению вашего приказа закончена. Войска Третьего и Четвертого Украинских фронтов...

Телеграфистка слушает, руки ее на клавиатуре передатчика.

Василевский. ...нацелены для наступления.

Телеграфистка. Есть...

Аппаратная в Кремле.

Сталин (диктует). Наступление на правобережной Украине начинать сегодня.

Заколыхались маскировочные сети. Солдаты снимают их и уносят, открывая батарею орудий, готовых к стрельбе. Поднимаются дула орудий.

Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Малиновский на командном пункте. Посмотрел на часы, поднял голову.

Рассвет. Силуэты пушек. Офицер дает сигнал.
Залпы орудий. Гул артиллерии.
Вспышки выстрелов. Клубится дым.
В утреннем небе идут самолеты.
Замаскированные орудия. Ровный ряд поднятых
кверху стволов. Огневые вспышки выстрелов.

Идет четверка самолетов.

Самолет сбрасывает бомбы.

Свист бомб.

От самолета отделяются и летят вниз бомбы.

Поле боя. Взрывы. Пламя.

Командующий фронтом ведет наблюдение.

Поле боя, испещренное окопами. На заднем плане
взрывы, дым, огонь. В ближайшем окопе вражеский
солдат. Он поднимает голову, прислушивается. Его лицо
выражает ужас. Он сбрасывает каску, протирает уши
и шепчет:

— Почему так тихо? Мой бог! Почему так тихо?

Один за другим ложатся снаряды, поднимая в небо
черные столбы.

Немец. Почему так тихо?

Поднимается из ямы. Вокруг взрывы, гудит земля.

Немец (*бежит в глубь кадра*). А-а-а!!!

Рвутся снаряды. Немец падает, его закрывает столб
поднятой взрывом земли.

Скульптура — голова немецкого солдата.

Надпись: *Б е р л и н*.

Гитлер смотрит на дрожащего генерала Шернера.
У Шернера падает из глаз монокль. Он втягивает го-
лову в плечи, ожидая вспышки гнева фюрера.

Гитлер, хромая, подходит к нему. Обходит его во-
круг. Шернер поворачивается вслед за ним.

Ш е р н е р. Фронт... фронт прорван... Наша техника
тонет в грязи. Я бросил все, чтобы спасти хотя бы часть
людей. Кто мог подумать, мой фюрер, что они начнут
свое наступление так рано, так внезапно, в грязь,
в распутицу... Ведь сейчас март, мой фюрер, только
март!

Гитлер срывает с груди Шернера ордена — один,
другой... Шернер весь сжался, закрыл глаза.

Гитлер смотрит на Шернера в упор. Размахивается...

Шернер схватился за щеку, зашатался, убегает.

Гитлер (вслед). Вон! (Истерически потрясая кулаками). Во-он!

Залпы салютов.

Над ночной Москвой взлетают огни ракет.

Товарищ Сталин улыбается, закуривает трубку.

Орудия. Залпы.

В небе рассыпаются огни фейерверков.

Надпись: *Мелитополь.*

Железнодорожный состав.

Салон-вагон товарища Ворошилова. В глубине виден маршал Василевский. Ворошилов идет навстречу Василевскому.

Ворошилов. А-а, Александр Михайлович, поздравляю вас с успехом! Блестящая операция. Еще две немецкие армии перестали существовать.

Василевский. Да, второй удар, как и первый, был неожиданным для противника. Манштейна и Клейста постигла участь Кюхлера.

Ворошилов. Теперь очередь за Енекке?

Василевский. Армия рвется в бой.

Железнодорожные пути. У салон-вагона — машина. Генерал армии Толбухин поднимается в вагон.

На платформе перед вагоном зенитное орудие. Бойцы ведут наблюдение.

В салон-вагоне за картой товарищи Ворошилов, Толбухин, Василевский.

Ворошилов. Я, собственно говоря, докладываю решение Ставки. Товарищ Сталин приказал наносить удар по Крыму с двух сторон: со стороны перешейка — войсками Четвертого Украинского фронта и со стороны Керченского плацдарма — войсками Отдельной Приморской армии Еременко.

Толбухин. Кто начинает?

Ворошилов Начинать будете вы, а Еременко будет выжидать. Когда нервы Енекке сдадут и он начнет снимать свои части из-под Керчи и бросать на встречу вам, — ударят приморцы. Ну, скажем, это случится... *(Василевскому.)*

Василевский. На третий день.

Ворошилов. На третий день, товарищ Толбухин. Снятые немецкие части будут уже в пути, в равной мере удалены от вас и от нас, и в решительный момент не смогут принять участия ни в отражении ваших атак, ни у нас на Керченском.

Водный простор Сиваша. В небе облака.
В облаках стайка птиц.

В окопах на Сиваше Файзиев смотрит вверх, вскидывает автомат, целится. Окрик Чмыга останавливает его.

Чмыга. Куда?

Файзиев. Утка! *(Опять поднимает автомат, Чмыга удерживает его.)*

Чмыга. Не стрелять! Беречь патроны для страшного суда. Понял?

Файзиев. Понял.

Чмыга *(прислонившись к стене окопа)*. Повтори.

Файзиев *(послушно)*. Беречь патроны для страшного суда.

Чмыга. Правильно!

В кабинете Енекке. Енекке, стоя за столом, обращается к сидящему с опущенной головой Теодореску.

Енекке. Румынские части, генерал, нуждаются в твердой руке. Они теряют боеспособность. Они думают только о бегстве.

Теодореску. Русские *(подняв глаза на Енекке)* чрезвычайно быстро подходят к границам Румынии. Солдаты думают о судьбе своей родины. Они хотят защищать ее.

Енекке *(резко)*. Они никого не хотят защищать и ничего не хотят защищать. Если вы не поднимете их боевой дух, я буду вынужден в них стрелять.

Теодореску (*поднявшись, многозначительно*). Румыны тоже не безоружны.

Как по сигналу вскочили сидящие вокруг стола немецкие генералы.

Енке. Вы смеете мне угрожать?

Теодореску (*спокойно*). Я не угрожаю вам, генерал, у нас общие интересы. Но выполнить приказ генерала Шернера мы не в состоянии. Солдаты начинают думать. И не только румынские солдаты.

Ночь. Сиваш. Озаренные лунным светом облака.

Вражеский часовой стреляет из ракетницы. Вновь заряжает ее. Свет ракеты освещает лисью нору, в которой жмутся солдаты.

Солдат. Какого дьявола лейтенант заставляет пускать ракеты? Я уже ослеп от них. У меня уже... Гейнц, ты слышишь, Гейнц (*наклоняется*), от этих зеленых ракет плывут вот такие вот красные круги. Ты слышишь, Гейнц?

Гейнц. Слышу, не ной!

Старый солдат в очках (*насмешливо*). А ты попробуй в темноте постоять минут двадцать пять. Подкрадется к тебе какой-нибудь Иван, саданет тебя прикладом по чердаку. Интересно, какого цвета круги тогда у тебя пойдут.

Солдаты рассмеялись.

Молодой солдат пустил очередную ракету.

Молодой солдат (*с досадой*). Какого чорта нас держат здесь?

Гейнц (*выскочив из норы*). А это не твоего ума дело. Твое дело воевать, а не думать. За тебя фюрер думает. Хайль Гитлер!

Молодой солдат (*нехотя*). Хайль! (*Отвернулся к краю окопа, тихо.*) Думает за меня фюрер, думает. Неизвестно, чем только...

Окопы советских войск на плацдарме, на Сиваше. Для хождения проложены деревянные мосты. По небу шарят прожекторы. Из боковой траншеи выходит генерал Толбухин в сопровождении своих офицеров, вздыхает, осматривает все вокруг.

Толбухин. Вода, везде вода... Сиваш, Сиваш... Он здороваётся с часовым, спускается в штаб. Здесь тоже вода. Солдат банкой черпает воду с пола. На столе дежурного едва мерцает аккумуляторная лампочка. При появлении командующего дежурный вскакивает из-за стола.

Дежурный. Встагь! Смирно! *(Подходит к Толбухину, докладывает.)* Дежурный по штабу майор Андреев.

Толбухин. Здравствуйте, товарищ майор.

Андреев. Здравия желаю!

Толбухин. Что ж хозяин не встречает?

Андреев. Генерал-лейтенант на передовой, сейчас придет.

Толбухин уходит в следующее помещение, за ним его офицеры.

В дежурное помещение стремительно входит генерал Крейзер со своими офицерами.

Андреев. Товарищ командующий...

Крейзер жестом, означающим, что ему уже известно о прибытии командующего, прервал его, поправил на себе фуражку, кожанку и быстро пошел в следующее помещение.

Толбухин вынул записную книжку, посмотрел в нее.

Толбухин. Прошу вас развернуть карты, товарищи.

За столом Толбухин, его начальник штаба, Крейзер, командующий 8-й воздушной армией. Все разворачивают карты.

Толбухин. Малиновский подходит к Одессе. Скоро начинаем мы. Так вот, товарищи, если мы прикажем начать артиллерийскую подготовку, как у вас, будут дислоцированы силы, генерал-майор?

Генерал-майор встает. Все повернувшись.

Толбухин. Сядьте, пожалуйста.

Генерал-майор *(сидясь)*. В направлении главного удара я предполагаю на километр фронта поставить двести пятьдесят стволов.

Толбухин. Нет, нет, я вас не об этом спрашиваю. Так вы будете отвечать корреспондентам газет после окончания операции. Я прошу вас доложить мне ход операции с такой подробностью, с какой вы будете да-

вать задание командирам полков и бригад. Я хочу проследить вашу мысль во всех деталях. Я хочу услышать от вас, где, в каком районе, в какой именно точке этого района будут стоять ваши подразделения, включая самые мелкие. Я хочу с вами, товарищи, разыграть это сражение на картах самым подробным и точным образом. Вот командующий второй гвардейской... *(Встает)*.

Все поднялись.

Толбухин. Садитесь, пожалуйста, товарищи. *(Все сели.)* ...ежедневно занимается со своими гвардейцами на учебном поле, отрабатывает действие каждого отдельного бойца. Здесь — наше учебное поле. Я прошу вас докладывать максимально приближенно к боевым действиям. Никаких общих слов. Я вас слушаю, генерал-майор.

Большое белесое поле. Проволочные заграждения. Взрыв. Из глубины кадра с криком «ура» бежит цепь солдат.

В машине поднимается генерал Захаров. Раздосадованно, движением руки останавливает бегущих.

Захаров. Э, чорт! Отставить! Отставить!

Солдат дает сигнал из ракетницы.

По полю бегут, собираясь, солдаты.

Захаров *(горячо)*. Не годится! Никуда не годится! Вы должны как можно ближе держаться к огневому валу. Ну чего вы боитесь, непонятно!

Солдаты окружили машину, в которой стоит генерал Захаров.

Захаров *(солдатам)*. Ну, на сколько метров разлетаются осколки от стапятидесятидвухмиллиметровой гаубицы?

Солдаты. На шестьдесят метров, товарищ генерал-лейтенант.

Захаров. И все! Все! Остальные радиусы еще меньше. Стало быть, дистанция в сто пятьдесят метров абсолютно безопасна.

Генерал Захаров опускается на сидение машины, обращается к стоящим перед ним солдатам.

Захаров. Нуте-ка, кто-нибудь из сталинградцев есть здесь?

Г о л о с а. Я, товарищ генерал! Я, товарищ командующий!

З а х а р о в (*одному из солдат*). Ну вот, вы ходили в атаку за огневым валом?

С о л д а т. Так точно, товарищ генерал-лейтенант.

З а х а р о в. Ну и что же, бывали в вашем подразделении жертвы от своего огня?

С о л д а т. Никак нет, товарищ генерал-лейтенант.

З а х а р о в. То-то!

Вокруг машины командующего плотное кольцо солдат.

З а х а р о в. Прижмешься к валу — и свою жизнь сохранишь и немцам потери нанесешь. Ты не бойся! Как только подойдешь к валу на близкую дистанцию, — вал сейчас же сделает скачок (*горячо жестикулируя*) вперед на сто метров. Пробежишь эти сто метров — вал снова на сто метров вперед. Так вот до самого Берлина без царапины дойдешь!

Улыбается. Заулыбались солдаты. Смеются.

1 - й с о л д а т. Верно, товарищ генерал!

2 - й с о л д а т. Это точно, товарищ генерал-лейтенант!

И снова внимательно слушают генерала.

З а х а р о в. Идешь в первой цепи — смотри вперед, не оглядывайся. Смотри вперед! Враг впереди, его нужно сокрушить! Раздаются за спиной выстрелы — не смущайся! Если в первой траншее остались немцы, их добьют идущие за тобой. А ты все вперед, вперед, без остановки до самых артиллерийских позиций!

Генерал Крейзер держит карту перед собой, докладывает. Устало провел по волосам.

К р е й з е р. Таким образом, этот крупный подвижной отряд, не ввязываясь в бой, пойдет окольными путями на Севастополь...

Т о л б у х и н. Одну минуточку, товарищ Крейзер. Это слишком схематично, так сказать, чертеж. Надо, чтобы ваша мысль обросла мясом, стала более конкретной. Мне непонятно, например, что это за окольный путь? Почему вы предполагаете, что на нем будет мало войск противника? Вот что, батенька, давайте все с самого начала, так сказать — от печки.

Крейзер разворачивает карту.

Положив карту на стол, Крейзер вздохнул.

Толбухин (*Крейзеру*). Что? Вы, кажется...

Крейзер. Нет, нет, ничего, товарищ генерал. Я сейчас начну сначала.

Толбухин (*хитро*). Нет, мне показалось, что вы вздохнули.

Крейзер (*смущенно*). Разве? Ну что ж, возможно вздохнул. Жарко здесь...

Толбухин (*улыбаясь*). Я именно об этом и хотел сказать. Температура накалилась. Проветрить бы помещение.

Раскрывается невидимая в кадре дверь, и яркий солнечный свет заливает штаб. Все поворачиваются к солнцу. У всех утомленные от бессонной ночи лица. Поднялся командующий фронтом.

Толбухин. Солнышко... Я и не заметил, как пролетело время. В том, что нам иногда приходится чувствовать себя учениками,—ничего скверного нет. Великая академия Сталинградской битвы и полторы тысячи километров пройденного пути поставили нашу армию на новую высокую ступень. Наша армия должна быть не только храброй из храбрых, не только самой справедливой, гуманной и культурной армией, она должна быть армией самой точной и зрелой военной мысли, армией самых бескровных побед! Действительно...

Крейзер и остальные слушают...

Толбухин. ...Сталинской армией! Солнышко... простите, отвлекся. (*Садясь*.) Я вас слушаю, товарищ Крейзер.

Кабинет Енекке. Енекке подходит к столу, нажимает кнопку. Бесшумно входит адъютант. Енекке диктует ему.

Енекке. «Командующему южной группы «А», фельдмаршалу Клейсту. Так как расчет на непрерывные атаки русских, в результате которых можно было перемолоть стоящие у стен Крыма армии, не оправдался, прошу поставить перед фюрером вопрос об эвакуации из Крыма войск семнадцатой армии».

Вешние воды. Над ними свисают ветви деревьев.
Музыка.

Весна в Крыму. Разлилась горная речка, берега в цвету. Вдали горы, кипарисы.

Генерал Толбухин за своим рабочим столом. Вынимает из кармана записную книжку, заглянул в нее.

Толбухин. Сколько у вас в наличии стволов?

Голос. Четыреста...

Перед Толбухиным стоит генерал-майор.

Генерал-майор. ...товарищ командующий.

Он подает командующему график артиллерийской подготовки. Толбухин прячет записную книжку, рассматривает график.

Генерал-майор. Здесь указано. Это — время начала артиллерийской подготовки. Это — залпы «эресов», а это — ложный перенос огня.

Толбухин. Ложный перенос? Этот график они усвоили еще на Молочной, под Никоподем и в других сражениях. Ну, вы откроете огонь из четырехсот орудий, они переждут его в лисьих норах, а дальше-то? А дальше, когда вы перенесете огонь на дальние траншеи и пехота пойдет в атаку, они вылезут и так вас встретят... Нет, этот график не годится. *(Отдавая график.)* Присядьте, пожалуйста.

Генерал-майор прячет график, садится. За отдельным столом работает со своим адъютантом генерал Захаров — командующий 2-й гвардейской армией.

Толбухин *(Захарову)*. Георгий Федорович, вот у нас с генерал-майором вышел спор по поводу графика артиллерийского наступления. Расскажите, как у вас намечен график.

Захаров *(подходя к столу)*. Стало быть, так. Маршал артиллерии Воронов предложил нам обмануть немцев, так сказать, на совесть. *(Садится против генерал-майора, горячо жестикулируя, продолжает.)* Есть у меня восемьсот стволов. В восемь ноль-ноль я открою огонь. В это время пехота станет накапливаться в усах и готовиться к прыжку вперед. Немцы уходят у меня в третьи-четвертые линии и ждут переноса огня. Даю перенос в половину стволов, а остальные четыреста держу в кармане, про запас. Все мои немцы бросаются в первые линии, чтобы встретить пехоту.

Доставляю им это удовольствие. Мои бойцы кричат «ура» и выставляют из усов (*выбрасывая руки вверх*)... чучела.

Г е н е р а л - м а й о р. Что выставляют?

З а х а р о в. Ну, чучела. Обыкновенные чучела, как на огороде. Ну, из соломы, а сверху каска, шинель, все как полагается. У меня уже их три тысячи изготовили и делают еще. Прекрасно, батенька мой!

Генерал Захаров встает из-за стола, проходит в дальний угол комнаты и оттуда продолжает. Толбухин и генерал-майор внимательно слушают.

З а х а р о в. Немцы открывают по чучелам огонь, рассекречивают все свои точки, и тогда я их накрываю огнем из четырехсот стволов из своего собственного карманчика. (*Похлопывает себя по карману.*) Немцы первое время не понимают, что случилось, пытаются уйти от артиллерийского огня в третьи, четвертые линии, но их обрабатывают первые четыреста стволов. Через полчаса я снова даю им паузу. Снова выставляю чучела и снова накрываю огнем. На этот раз чучела у меня остаются в усах, а войска цепями, обязательно цепями, и у каждой цепи самостоятельная задача, быстрым темпом проходят Турецкий вал и выходят к Ишуньским позициям...

Толбухин доволен, улыбается, останавливает Захарова.

Т о л б у х и н. Ну, это уже особая тема. (*Генерал-майору.*) Будьте любезны, возьмите этот график, продумайте его еще раз и доложите мне в двадцать три тридцать.

Буйно цветет природа в Крыму. Луга, сады покрыты цветами.

Над цветущими садами высятся кипарисы, вдали горы.

По кабинету, где находится командир 49-го горнострелкового корпуса Конрад и еще один немецкий генерал, мечется Теодореску. За ним мелькает хвост белых лент телеграфных донесений.

Т е о д о р е с к у. Сталинград! Ленинград! Корсунь-Шевченковский! Полный разгром! Почти конец! Солдаты рвутся на родину!

К о н р а д (*резко*). Генерал!

Теодореску (*умоляюще*). Пока не поздно, пока у нас Одесса, мы должны эвакуировать Крым.

Из глубины дворца бежит офицер связи. У него в руках тоже телеграфные ленты. Задыхаясь, он оставливается, вытягивается.

Теодореску и генерал Конрад ждут его сообщений. Теодореску. Что? Что еще?

Офицер (*беспомощно опустив руки с лентами*). Одесса!

Залпы из орудий.

Сверкают многочисленные огни фейерверков.

Товарищ Сталин улыбается, раскуривает трубку.

Залпы орудий. Огни фейерверков.

Ночь. Аппаратная Василевского. Маршал читает ленту, диктует телеграфистке.

В а с и л е в с к и й. Передавайте. Сегодня, восьмого апреля, в восемь ноль-ноль приступаем к выполнению вашего приказа об освобождении Крыма.

Товарищ Сталин смотрит на стенные, затем на карманные часы.

В руке товарища Сталина часы. На них ровно пять. Часы тикают.

Высоко плывут облака в предрассветном небе.

Встает солнце над Турецким валом.

Дремлют немцы на постах.

Светлеет небо над Сивашом.

На командном пункте 51-й армии ждут.

Взад и вперед ходит генерал Крейзер.

Крейзер смотрит на часы.

Недвижимы тяжелые облака.

На наблюдательном пункте 2-й гвардейской армии генерал Захаров нетерпеливо смотрит на часы.

Выше солнце над Турецким валом. Ходит немец-часовой.

Из-за горизонта, освещенного восходящим солнцем,

беззвучно выезжают и идут на аппарат гвардейские минометы.

Генерал Захаров смотрит на часы.

Снимается маскировка с орудий.

Смотрят на часы Василевский и Толбухин.

Медленно поднимаются дула орудий.

На часах в кабинете товарища Сталина ровно восемь.

Офицер дает сигнал. Первый выстрел орудия и сильные артиллерийские залпы.

Озаряемые залпами, спокойно наблюдают Василевский и Толбухин.

Утро в Кремле. За длинным столом собрались работники Наркомата земледелия.

Сталин. Так вот... Какие меры приняты Наркоматом земледелия по подготовке весеннего сева в Крыму?

Встает нарком земледелия Бенедиктов.

Бенедиктов. Разрешите мне сказать, Иосиф Виссарионович.

Сталин. Прошу вас.

Бенедиктов. Вслед за освобождением Крыма от оккупантов...

Глубокий ров Турецкого вала. По скату его ложатся снаряды, взрывая землю.

Артиллерийская канонада.

Толбухин (глядя на часы). Сейчас перенос огня.

Облака земляной пыли рассеиваются, открывая крепостные стены Турецкого вала, обстреливаемого нашей артиллерией.

Из лисьих нор, обманутые прекращением огня, по свистку выбегают немцы и поспешно перебегают в первые линии траншей.

В наших окопах солдаты выставляют чучела.

Крики «ура».

Над всей линией наших траншей поднялись «люди»-чучела. Противник ведет по ним огонь.

Крики «ура».

Солдаты держат над окопами чучела.

Крики «ура».

Падают сраженные чучела.

Захаров (*взглянув на часы*). Теперь из вторых четырехсот!

Залп орудий.

Стреляет одна батарея...

...вторая...

...третья...

Дыбом встала земля над вражескими укреплениями.

Смеясь, солдаты прячут чучела.

Отплевываясь от пыли, солдаты снимают с чучел каски.

Снарядом разнесло вражескую пушку.

Унтер (*кричит*). Огонь!

По Турецкому валу несется огневой шквал.

Гитлеровцы вновь бегут к лисьим норам.

Суется, толкая друг друга, прячутся в норы.

Взрывом подняты пласты земли.

Пыль рассеивается. В норе притаились три солдата. Они тяжело дышат.

Солдат в очках. О-о-ох! Что-то у них не так вышло, как надо, у этих русских. Что-то они спутали!

Остроносый солдат (*глубокомысленно*). У них плохо работает машина.

Вздымается земля во рву Турецкого вала.

Солдаты рассматривают снятые с чучел каски. Они прострелены.

1-й солдат (*тыча себя пальцем в лоб*). Вот сюда бы угадал!

2-й солдат. Скажи, пожалуйста! (*Показывает свою каску, продырявленную в двух местах.*)

Мертвый гитлеровец у подбитой пушки.

Взрыв.

Толбухин (*смотрит на часы*). Снова пауза...

Трое немцев выбегают из норы.

В траншеях противника суета, подготовка к встрече атаки русской пехоты.

Из окопов поднимаются чучела.

Крики «ура».

Чучела принимают огонь на себя.

Толбухин и Василевский.

Толбухин (*глядя на часы*). Снова огонь!

В немецкой крепости. Гитлеровцы торопливо вытаскивают из склада боеприпасы. Взрывы.

Снаряд попадает в немецкую пушку.

У разбитого орудия офицер.

Он что-то кричит. Его накрывает снаряд.

Снаряды кромсают артиллерийские позиции противника. У пушек — ни одной живой души.

Гитлеровские солдаты прячутся в норы. Их догоняет снаряд.

Толбухин и Василевский сосредоточенно наблюдают за боем.

Толбухин. Сейчас пойдут гвардейцы Захарова.

Солдаты 2-й гвардейской надевают каски, берут винтовки, становятся на ступеньки окопов.

Толбухин (тихо). Ну, вперед!

Из окопов с громовым «ура» поднимаются гвардейцы Захарова, бросаются стремительно в атаку.

Через разбитые нашей артиллерией противотанковые укрепления проходит, ведя огонь, цепь автоматчиков.

На поле боя, усеянное вражескими трупами и разбитой немецкой техникой, врываются с криками «ура» и бегут в атаку гвардейцы.

В лисьей норе оглушенные немцы слышат русское «ура».

Солдат в очках отряхивает с шинели землю и устраивается поудобнее:

— Они могут кричать «ура» сколько им угодно. Знаем мы эти штуки.

Внезапно нора освещается лучом солнечного света и возле солдата падает граната.

Цепи гвардейцев несутся неудержимым потоком, скатываются с горы в лощину. На втором плане, у разбитой пушки, встает фигура гитлеровского офицера с поднятыми вверх руками. Русские рвутся вперед.

Гусеницы танка подминают проволочные заграждения противника.

В образовавшуюся брешь врываются наши бойцы.

В траншее гитлеровцы. Один у пулемета, второй

метнул гранату. Оба бросаются наутек. Над ними проходят гусеницы русского танка.

Еще траншея. Убегает немец. Его догоняют гусеницы танка.

Солдаты, стоявшие у пушки, разбегаются. Въезжает русский танк, утюжит все и уходит дальше.

В дыму из развороченных немецких траншей поднимается белообрый немец с черной повязкой на глазу. Подняв вверх руки, он нечеловеческим голосом орет.

Подбегает Степанюк, с интересом рассматривает немца, оглядывается по сторонам.

Степанюк. И чего воно кричит. (*Немцу.*) Не кричи! Ну! Не кричи! (*Немец не унижается.*) Не кричи! (*Злз.*) Иди! Форвертс!

Немец, с опаской поглядывая на автомат Степанюка, поднимается из траншеи и, не опуская рук, выходит из кадра.

Степанюк присел на край окопа, смотрит немцу вслед. Степанюк (*широко улыбаясь*). Цирк!

Енекке в своем подземелье, задыхаясь, кричит в трубку телефона.

Енекке. Танки ворвались в Армянск! Я приказал вам перебросить сто семнадцатый пехотный полк и танки резерва! В бой вводить прямо с марша! (*Бросает трубку.*)

У карты товарищ Сталин и генерал Антонов.

Антонов. Генерал Захаров успешно продвигается. Армянск взят.

Сталин. Потери?

Антонов. Двести шестьдесят человек. У немцев подсчитано семь тысяч убитых. Через Киркинитский залив генерал Захаров отправил...

Карта с указаниями направлений захаровского десанта и движения войск генерала Крейзера. Рука генерала Антонова показывает.

Голос Антонова. ...десант с выходом в тыл к Ишуньским позициям, куда должны выйти войска генерала Крейзера.

Сталин. Обстановка на Сиваше?

Антонов. На главном направлении противник оказывает упорное сопротивление. На второстепенном направлении корпус Кошевого пробил брешь.

Сталин (*с интересом*). Пробил брешь?

Антонов. На второстепенном направлении, товарищ Сталин.

Сталин уходит от стола в глубь кадра к телефону, снимает телефонную трубку.

Сталин. Соедините меня с маршалом Василевским. Здравствуйте, товарищ Василевский. Доложите обстановку на участке Кошевого.

Василевский (*у аппарата «ВЧ»*). Кошевой захватил первую линию траншей на высоте шестнадцать-шесть северо-восточнее Тархан и захватил Тай-Тюбе. На главном направлении перемена пока не наметилась.

Сталин у телефона.

Сталин. Полководец не должен быть фетишистом плана. План не догма. Снимайте часть сил и резервы с главного направления, перебросьте на второстепенное и развивайте успех. Оборона надломлена? Сломайте ее! Ищите ключ к развязке операции на второстепенном Томашевском направлении и превратите его в главное направление.

Маршал Василевский у «ВЧ».

Василевский. Приступаю к выполнению вашего приказа, товарищ Сталин. До свидания.

Василевский, положив трубку телефона, выходит в другую комнату к столу с картой и обращается к генералу Толбухину.

Василевский. Товарищ Сталин приказал вводить армейские, фронтовые резервы в этом... (*Наклоняется над картой.*)

Рука Василевского наносит на карту стрелку удара в направлении высоты 33 у Томашевки.

Голос Василевского. ...направлении.

Голос Толбухина. Томашевка?

Василевский. Да.

Енекке выходит из штаба, за ним командующий обороной перешейка генерал Сикст.

Енекке (*Сиксту раздраженно*). Вы должны держать Томашевку и высоту тридцать три любой ценой.

Сикст. Я ничего не могу сделать, генерал.

Енекке. Это замо́к Крыма.

Сикст. Психика моих солдат надломлена...

Енекке. Если Толбухин сорвет этот замо́к, если это случится, — под суд.

Надпись: *Высота 33.*

Командный пункт командующего 51-й армией. В амбразуре товарищи Василевский, Толбухин и Крейзер.

Артиллерийская канонада.

Ночь, ветер. Вражеские проволочные заграждения.

Советский солдат набрасывает шинель на проволоку, пытается пройти, но падает замертво, сраженный очередью автомата.

Бойцы режут проволоку ножницами, ползком пробираются под проволокой. По ним стреляют, их забрасывают гранатами.

На командном пункте.

Толбухин (*Чмыге*). Вы же сами, товарищ Чмыга, рассказывали об этой высоте, так что вам и книги в руки.

Чмыга. Есть, провести батальон в тыл к высоте тридцать три!

Толбухин (*пожимает руку Чмыге*). Спасибо, товарищ старшина. Эта высота — замо́к Крыма на пути к Севастополю.

Чмыга. Понятно. Разрешите выполнять приказание?

Толбухин. Выполняйте.

Чмыга. Есть.

Чмыга уходит в глубь траншеи, еще раз оглянулся. В небе прожекторы.

Черная поверхность озера. По ней тоже шарят прожекторы.

Бойцы, взвод за взводом, входят в воду, высоко держа автоматы.

Генералы Толбухин и Крейзер наблюдают через амбразуру. На их лицах отблески прожекторов.

Толбухин. Начинайте демонстрацию атаки высоты в лоб.

Крейзер. Слушаю.

В ночи мигают прожекторы противника.

Гвардейские минометы открывают шквальный огонь.

Летят молнии реактивных снарядов.

По грудь в воде идут бойцы. Скользнул луч прожектора. Густо ложатся снаряды, поднимая столбы воды.

По горизонту, вдоль озера, растянулась цепочка немецких прожекторов.

Поверхность озера обстреливается. Снаряды поднимают столбы воды.

Чмыга переглянулся с идущим рядом Степанюком. Бойцы нырнули под воду, держа над поверхностью воды автоматы.

В амбразуре Толбухин и Крейзер.

Толбухин (*раздраженно*). Погасить прожекторы.

Крейзер. Есть.

Гвардейские минометы посылают молнии реактивных снарядов.

Вспыхивают и гаснут немецкие прожекторы.

По горизонту, там, где стояли прожекторы противника, поднялись к небу черные столбы дыма. Все погасло.

Пробираются в воде, держа автоматы наизготове, Чмыга и Файзиев. Файзиев выжидательно смотрит на старшину.

Берег, занятый противником в тылу высоты 33. Из воды выходят солдаты «озерного десанта».

Поднялась голова Чмыги. Он сжал гранату.

Генералы Толбухин и Крейзер.

Толбухин. Сигнал к атаке.

Крейзер. Есть.

Взвилась и упала в воду ракета над озером.

Берег ожил. Пехота озерного десанта с криками «ура» бросилась в атаку.

Товарищ Сталин говорит по телефону.

Сталин. Войска вышли на оперативный простор?
Желаю удачи. До свидания.

Кладет трубку телефона. Устало проводит рукой по лбу. Нагнулся над папиросной коробкой, взял несколько папирос, разломил их, чтобы набить табаком трубку.

Звучит песня бойцов:

Кипучая, могучая, никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Крым. Широкая дорога между двумя рядами цветущих деревьев. Все залито южным солнцем. Мчатся советские танки, на них бойцы.

Песня:

Кипучая, могучая, никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Под цветущими ветвями проносятся советские танки.

Василевский садится в машину.
В а с и л е в с к и й (*шоферу*). Джанкой!
Машины с советской пехотой мчатся по дороге.

Надпись: *С и м ф е р о п о л ь*.

У штаба 17-й немецкой армии стоит автомобиль, нагруженный чемоданами. К автомобилю, тяжело ступая, подходит Енекке, садится. Адъютант и шофер вопрошающе смотрят на него в ожидании указания маршрута следования.

Е н е к к е. Сталинград.

Ш о ф е р и а д ь ю т а н т (*в ужасе*). Куда? Куда?

Е н е к к е (*встряхнувшись*). Севастополь... Севастополь...

Машина трогается. У здания штаба, на костре, сжигают документы.

Цветут крымские сады. Солдаты весело, с песней,
переходят ручей вброд.

Через кадр появляется надпись: *Евпатория.*

Песня бойцов:

По дороге войско красное идет!

По дороге войско красное идет!

Эй, по дороге!

Эй, по дороге!

Мимо кипарисов проносятся машины с пехотой, замаскированные зелеными ветвями.

Надпись: *Феодосия.*

Цветущими садами идут колонны бойцов.

Надпись: *Ялта.*

Тянутся бесконечные колонны пленных. Им навстречу
идут наши танки.

Надпись: *Симферополь.*

Песня:

Все пушки, пушки заряжены,

Гудит наш красный строй,

А факелы зажжены,

Зовут на смертный бой,

За землю и свободу вперед, стрелки, вперед.

И красных рать народу

Свободу принесет.

Звуковой наплыв на оркестр.

Крымскими дорогами мчатся машины с советской пехотой.

Из цветущей долины поднимается на гору колонна бойцов.

Толпы жителей приветствуют победителей. Гремит духовой оркестр.

Шагает молодой лейтенант. Мальчуганы пытаются попасть с ним в ногу, с восхищением смотрят на него.

Лейтенант. Песню!

Шагают войска. В первом ряду гвардейцы. Среди них — Чмыга, Файзиев. Пилотки солдат украшены цветами, сверкают ордена и медали. Солдаты запевают песню. На руках у Чмыги ребенок.

Песня бойцов:

Кипучая, могучая, никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Шагает в рядах гордый, сияющий Степанюк.

У столба со стрелой «Севастополь — 81 километр»
стоит девушка-регулировщица. Улыбаясь, машет
флажком.

Надпись: *Сапун-гора.*

В утренней дымке высокие хребты Сапун-горы.

Смотрят на гору Аржанов и Степанюк.

Аржанов. Оно, конечно, нет таких крепостей,
но высоко, круто... В общем горка...

Степанюк. И головне, друже, им звидтиля бить
нас пидходяще.

Аржанов. Ну ты это брось свое «пидходяще».
Давай лучше закурим... «пидходяще». (*Берет у Степа-
нюка табак.*) Да-а... Так сказать — высота...

Степанюк (*примирительно*). Ну, да.... горбок.

Небольшая высотка, изрытая глубокими воронками
снарядов. Много стреляных гильз. Развалины дота.
Осторожно, оглядываясь по сторонам, идут Чмыга и
Файзиев.

Чмыга. Мы на этих горах, браток, в сорок пер-
вом—сорок втором двести пятьдесят дней стояли.

Засвистели пули. Чмыга и Файзиев пригнулись, за-
легли в воронке.

Когда стрельба прекратилась, осмотрелись по сто-
ронам.

Файзи́ев (*удивленно*). Гильзы! Сколько... Осколки...
Чмы́га. Гильзы это наши, тульские. А это (*отшвырнул осколок снаряда*) со всей Европы.

Файзи́ев заметил что-то, передвинулся вперед, по-
дозвал Чмы́гу.

Файзи́ев. Что это?

Чмы́га. Дот был.

Файзи́ев. Да нет... под дотом смотри.

В развалинах дота белеют кости и череп.

Чмы́га снимает каску. Файзи́ев остановил его.

Файзи́ев. А может, это немец?

Чмы́га (*грустно*). Нет, браток, поле боя тогда
оставалось за ними. Своего б они схоронили. А вот на-
ших, что стояли на этих высотах насмерть... (*Отвер-*
нулся с горечью. Файзи́ев заглядывает ему в глаза.)

Ты пойдй в траншею. Я тут один покурю...

Файзи́ев тихонько уходит.

В траншеях появляются генерал Толбухин и сопро-
вождающие его офицеры.

Офи́цер. Смирно!

Солдаты вскакивают.

Толбу́хин (*останавливает их*). Сидите, сидите.

Командующий садится среди бойцов.

Против него Аржанов и Степанюк.

Толбу́хин (*увидя кисет в руках Аржанова*).

Табачок-то есть?

Аржа́нов. А как же, товарищ генерал. Табачный
край. Разжились солдаты.

Толбу́хин. Как звать-то?

Аржа́нов (*вскакивая*). Гвардии сержант Аржанов
Петр Михайлович!

Толбу́хин жестом разрешает ему сесть.

Толбу́хин (*Степанюку*). А вас?

Степанюк хочет встать, но генерал удерживает его.

Степа́нюк. Гвардии рядовой Никита Степанюк.

Солдаты любовно смотрят на командующего.

Степа́нюк. Мы ж с вами, товарищ генерал, вид
Сталинграда идемо разом.

В глубине траншеи появился Вершков, вытянулся
перед генералом.

Вершков. Гвардии рядовой Вершков Сергей Иванович!

Прыгнул в траншею Файзиев, рапортует.

Файзиев. Гвардии рядовой Файзиев Ляtif!

Толбухин (*улыбаясь*). Так вот вы кто! А я думаю, что это за орденосцы такие?

Файзиев и Вершков, улыбаясь, с гордостью посматривают на свои новехонькие ордена.

Толбухин. За что ордена получили?

Вершков. За форсирование озера, товарищ генерал.

Файзиев (*добавляет*). В обход высоты тридцать три, товарищ генерал.

Толбухин (*серьезно*). Ну что ж, за дело получили. А где ваш проводник, черноморец?

На высоте у разбитого дота грустный Чмыга у белеющих в темноте костей.

Чмыга. Мы тебе, браток, памятник поставим из белого камня, инкерманского. Только бы нам через эту горку перевалить.

Смотрит в сторону Сапун-горы.

В траншее Толбухин среди солдат.

Толбухин. Ну что, высока горка?

Аржанов. Да... Поспишь, пока влезешь.

Толбухин. Потому и называется Сапун-гора.

Солдаты засмеялись.

Аржанов. Скажи пожалуйста. Так, стало быть, это и есть Сапун? Слыхали.

Все смотрят вверх на Сапун-гору. На первом плане дот.

Толбухин (*задумался*). Как думаете, солдаты, взберемся на эту горку?

Аржанов. Да ведь надо бы, товарищ генерал, горка-то своя.

Берхтесгаден. Кабинет Гитлера.

Гитлер (*истерически*). Севастополь держать! Все атаки должны быть отбиты!

Перед Гитлером с поникшей головой сидит Енекке. Енекке. Я не могу ручаться, фюрер.

Гитлер. В отставку! Вас заменит генерал Альмендингер!

Енекке поднимает голову, саркастически улыбається. Енекке. Альмендингер? Да поможет ему бог.

Гитлер (*вопит*). Севастополь надо держать! Надо держать! Надо держать!

Советская артиллерия.

Артиллерист (*дернув за шнур*). Ну, держи!

Артиллерийские позиции на подступах к Сапун-горе. Гремят пушки. По склонам Сапун-горы густо ложатся снаряды.

В небе идут советские бомбардировщики, пикируют, земля будто вспенивается от бомбовых ударов.

Склоны Сапун-горы в пламени и дыме.

В подземелье так называемого «южного форта» в штабе 17-й армии сидит новый командующий 17-й немецкой армией генерал Альмендингер.

Генерал Конрад докладывает ему.

Конрад. Это продолжается уже пятый час. Солдаты моих частей не выдерживают.

Альмендингер (*не глядя на него*). Невыдерживающих — расстреливать.

Конрад (*подходя ближе*). Мне докладывали о случаях сумасшествия. Там, в центре этого ада, солдаты сходят с ума!

Альмендингер. Сошедших с ума расстреливать.

Далекая канонада сотрясает стены «южного форта».

В облаках идут эскадрильи бомбардировщиков.

На командном пункте Приморской армии маршал Василевский, генерал армии Толбухин, командующий Приморской армией генерал Мельник, начальники штабов, адъютанты. Генералы смотрят в бинокли.

Дымятся склоны Сапун-горы. Артиллерийская подготовка продолжается.

Задумался Чмыга. К нему подходит Файзиев.
Файзиев (*застенчиво*). Слушай, товарищ, я тут
одно заявление написал. Прочти, может ошибка есть?

Чмыга (*читает*). «Если...»

Файзиев (*продолжает*). «...меня убьют...»

Чмыга. Понятно.

Файзиев. «...считать коммунистом».

Чмыга (*возвращая Файзиеву заявление*). Никаких ошибок нет. Отдавай лейтенанту.

Файзиев. Спасибо.

Степанюк, Аржанов, Файзиев подают лейтенанту
заявления о приеме в партию. Клубятся взрывами
склоны Сапун-горы.

На этом фоне возникает надпись: «7 мая
1944 года».

Чмыга надевает бескозырку, бросается в атаку.

Молодой лейтенант бросается вперед.

За ним поднимаются из траншеи солдаты.

Лейтенант. За Родину! За Сталина! Вперед!

Солдаты. Ура!

Поднимается в атаку Степанюк.

Крики «ура».

Бойцы идут в атаку.

Крики «ура».

Лавина атакующей пехоты поднимается от под-
ножья горы.

Крики «ура».

Командный пункт 2-й гвардейской армии.

Маршал Василевский, генерал Захаров.

Захаров. Как бы они морем не ушли?

Василевский. Не уйдут. Адмирал Октябрьский
плотно запер все выходы.

Море. Идут в атаку торпедные катеры.

В море вражеский транспортный корабль в сопро-
вождении конвоя.

Стремительно проносятся торпедные катеры, остав-
ляя пенящийся след.

Над кораблем поднимается огромный столб черного дыма.

В воздухе советские самолеты.

Пылает в море судно противника.

Последняя дорога на Констанцу становится для гитлеровцев дорогой смерти.

Солдаты взбираются на Сапун-гору, объятую дымами взрывов.

Командир дивизии, штурмующей Сапун-гору, кричит в трубку полевого телефона.

Комдив. Дайте прямой по дотам второй линии!

Наши артиллерийские позиции. Бьет артиллерия. Солдаты поспешно заряжают снаряды.

Укрывшись в пещере, гитлеровец бросает оттуда вниз гранаты.

Вниз по горе катятся гранаты.

Советские пехотинцы взбираются на гору.

Рвутся вражеские гранаты.

Степанюк, укрывшись за убитых бойцов, бросает гранату, пригнулся. Взметнулась пыль.

Гитлеровец из пещеры продолжает катить вниз гранаты-«лимонки».

Земля, поднятая взрывом, оседает. За уступом скалы укрылся Чмыга. Он стряхивает с себя землю, ползет вперед.

Командный пункт.

Василевский. Упорное сопротивление!

Огнеметы прочесывают склон Сапун-горы.

Прочистив путь, взбираются на гору огнеметчики, за ними пехота.

На командном пункте маршал Василевский, генералы Толбухин и Мельник.

Василевский. Пока ни в одном месте фронт не прорван.

Над обрывом стоит немец с поднятыми руками, потом падает сраженный. На гору взбегают Чмыга, карабкается по крутым уступам скал.

Файзиев, весь изодранный, упрямо и ловко карабкается по щебню вверх.

Вокруг ложатся пули. Файзиев припал к земле.

Огнемётчики продолжают огнемётную атаку склонов.

Пылают склоны горы.

С новой силой ринулась вверх пехота, залегает и вновь бежит, осиливая метр за метром.

Командующий 51-й армией генерал Крейзер говорит по телефону.

Крейзер. Прошу усилить авиаподдержку! Авиаподдержку прошу усилить!

Бомбардировщики летят по курсу.

Командующий воздушной армией говорит в трубку радиотелефона.

Командующий. Буря! Буря! Я — ветер! Я — ветер! Отставить Мекензию! Отставить Мекензию! Переключайтесь на Сапун-гору. Как поняли? Прием!

Самолеты держат курс на Сапун-гору.

Вниз летят бомбы.

Советская артиллерия продолжает разносить вражескую оборону. Снизу доверху дымятся все ярусы Сапун-горы.

В блиндаже Василевский у аппарата «бодо», диктует.

Василевский. Немцы переходят в непрерывные контратаки.

Телеграфист. Есть!

Василевский. Прогрызаем оборону метр за метром.

Телеграфист. Есть!

По склонам Сапун-горы взбираются русские пехотинцы, срываются, падают и снова ползут. Огромный камень падает сверху и сбивает бойца с ног.

Из амбразуры немецкого дота стреляет пушка.

Запыленный, потный командир дивизии хриплым, сорвавшимся голосом кричит в трубку телсфона.

Комдив. Голубчики, артиллеристы, дайте прямой по левому! Не пускает!

У орудия. Выпуская снаряд, артиллерист запекшимся губами произносит:

Артиллерист. Даем по левому!

Батарея открывает огонь по Сапун-горе.

Командир дивизии облегченно вздыхает.

Комдив. Спасибо, голубчики!

По горе, усеянной вражескими трупами и разбитой техникой, взбираются цепи бойцов.

На командном пункте Толбухин, Мельник, начальник штаба 4-го Украинского.

Толбухин. Крепко держатся на второй линии.

Начальник штаба. Там фланкирующие доты.

Толбухин. Ох, высока ты, матушка!

В траншее перед Сапун-горой.

Комдив. Штурмовое знамя! *(Появляется боец со знаменем.)* Передайте командиру Сивашского полка: я поручаю ему водрузить это знамя на Сапун-горе!

Боец. Слушаюсь!

Боец со знаменем бросается через бруствер траншеи вперед, на аппарат.

Советские войска в расположении первой линии обороны противника. Молодой лейтенант в упор стреляет в фашиста из пистолета, тот падает, лейтенант бежит дальше.

Боец несет сквозь дым штурмовое знамя, за ним бегут остальные. Он падает. Знамя берет бегущий следом. Знамя плывет мимо вражеских проволочных заграждений. Знаменосца сразила пуля. Ободранное проволокой знамя переходит в руки следующего бойца, который доносит его до второй линии немецкой обороны. Навстречу из траншей поднимаются гитлеровцы. Рухнул боец со знаменем, но молодой лейтенант ловким ударом опрокидывает врага. Вокруг закипела рукопашная схватка. Ухватившись за крыло разбитого немецкого самолета, падает, подкошенный пулей, лейтенант, но рука его еще держит знамя. Следующий боец подхватывает боевой стяг, передает его Степанюку. Высоко несет знамя Степанюк. Вслед ему смотрят глаза умирающих бойцов. Свалился и Степанюк. Перевязывающая раненого Аржанова девушка-санитарка поднимает знамя и вместе с Аржановым несет его выше. Путь им преграждает пулеметное гнездо противника.

Зная все же реет, изодранное, простреленное. Оно в руках Файзиева. Файзиев долго несет его, все выше и выше. Еще несколько шагов, но пуля подкашивает и его. Зная вот-вот рухнет. До вершины Сапун-горы осталось совсем немного. И вот опять взметнулось знамя. Его выносит на вершину Чмыга. Он размахивает знаменем, чтобы далеко было его видно.

Чмыга ставит знамя на землю. Взрыв гранаты. Раненый Чмыга оседает, но не выпускает знамени. Через вершину горы переваливают первые цепи пехоты.

Бегут мимо Чмыги бойцы.

Зная заметил генерал Крейзер.

Крейзер (*радостно*). Смотрите! Смотрите!

В руках Чмыга полощется знамя победы.

На командном пункте все направили свои бинокли на знамя.

Чмыга в изнеможении прижался лицом к драгоценному древку...

Надпись: *Херсонес*. Обрыв над морем. Бегут толпы разбитой 17-й гитлеровской армии. Их догоняют русские пули.

На мысе. Несутся машины с вражеской пехотой, бегут пешие. Они отступают к морю под активным обстрелом советской артиллерии и авиабомбежкой.

Легковая машина. Капот открыт, шофер копается в моторе. Из машины выходит генерал Теодореску, смотрит на часы.

Теодореску (*шоферу*). Скорей, скорей! Э, чорт возьми, через десять минут отходит мой самолет.

Мимо бегут отступающие войска противника.

Аэродром. Бежит фашистский офицер с чемоданами.

Последний транспортный «Юнкерс» перед отлетом.

Дверь кабины закрывается. Офицер стучится, его уже не пускают. Самолет стартует. Офицер в отчаянии хватается за плоскость, падает. Самолет уходит.

Офицер поднимается и стреляет из пистолета вслед самолету.

Херсонес. Бегут гитлеровцы. В кюветах брошены машины. Поток бегущих заслоняет застрявшую ма-

шину Теодореску. Светлая легковая машина врезается в машину Теодореску.

Теодореску бросается навстречу выходящему из машины Мюстегиб Фагилю.

Теодореску. Уберите немедленно вашу машину, господин адвокат!

Мюстегиб Фагиль. Если через тридцать секунд вы не двинетесь вперед, я прикажу сбросить вашу машину в кювет, господин генерал!

Теодореску. Я не понимаю, почему вы так торопитесь? Вы же считали Крым турецкой территорией? *(Отвернулся.)*

Мюстегиб Фагиль. Вы тоже считали Крым румынской территорией.

Теодореску хватает Мюстегиб Фагиля за плечо, поворачивает к себе.

Теодореску. Слушайте, вы! Если вы сейчас же не уберете вашу машину, я прикажу своим солдатам...

Мюстегиб Фагиль. У меня тоже есть солдаты!

Теодореску. Вы смеее называть ваш татарский сброд из карательных отрядов солдатами?! Они воевали только с женщинами и дегьми.

Мюстегиб Фагиль *(кричит)*. Сейчас они вам покажут, как они умеют воевать с румынами! *(Зовет.)* Ахмет! Сбросить его машину в канаву!

Вбегают татары в немецкой форме. Они наваливаются на Теодореску.

Западная оконечность Херсонесского мыса. Бегут солдаты, тянутся машины.

На причалах Херсонеса толпы немцев, румын и татар грузятся на судно. Въезжает машина Мюстегиб Фагиля.

Мюстегиб Фагиль торопит шофера, выбрасывающего из машины чемоданы.

Мюстегиб Фагиль. Скорей, скорей! *(Выбегает из машины)*.

Судно перегружено людьми. Солдаты прыгают через борта на палубу.

В воздухе советские бомбардировщики.

Судно отчаливает от берега.

Летят бомбардировщики.

На борту немецкого судна. Мюстегиб Фагиль кричит капитану:

— Поднимайте турецкий флаг, капитан!

Капитан. Мы не вышли из русских территориальных вод.

Мюстегиб Фагиль. Все равно поднимайте! Они потопят нас!

На воду летят бомбы. Гигантский столб воды над вражеским кораблем.

В воздухе эскадрильи советских бомбардировщиков.

Гитлеровцы в воде ловят спасательный круг со свастикой.

Над мачтой поднимается турецкий флаг.

На вершине Сапун-горы реет красный стяг. Возле него часовые. Мимо флага советские войска устремляются к Черному морю.

Северная бухта. Спускаются на воду груженные войсками катеры, боты. В воде взрывы.

Бухта заполнена лодками, на которых переправляются войска.

На противоположном берегу в дыму пожаров Севастополь.

Высоко над освобожденной крымской землей реет красное знамя. Возле него советский воин. Это Чмыга.

Чмыга смотрит на освобожденный город, уверенно говорит:

— Ничего, мы отстроим тебя, Севастополь! Ты будешь лучше, сильнее, чем был!

Москва. Кремль. Ставка Верховного Главнокомандования.

Кабинет товарища Сталина. За столом маршалы и командующие фронтами.

Сталин (*спокойно и неторопливо*). Четвертый удар мы нанесем на Карельском перешейке.

А. А. ПЕРВЕНЦЕВ

Известный советский писатель, дважды лауреат Сталинской премии, Аркадий Алексеевич Первенцев вошел в литературу около пятнадцати лет назад.

Первую свою книгу, роман «Кочубей», А. Первенцев закончил в 1937 году, будучи директором филиала Московского машиностроительного института на заводе «Динамо» им. Кирова. В основу романа положены действительные события времен гражданской войны на Северном Кавказе. Книга посвящена бесстрашному командиру конной бригады революционного казачества Ивану Кочубею.

Роман был напечатан в журнале «Октябрь» и сразу же получил широкую популярность и признание читателей. Выход в свет романа «Кочубей» определил дальнейшую литературную судьбу молодого автора. В это время в сборнике «Бодрость», изданном Гослитиздатом, были напечатаны два рассказа Первенцева — «Васька Листопад» и «Бессилие смерти», премированные на Всесоюзном конкурсе молодых авторов.

В 1938—1940 гг. А. Первенцев работал над своим новым романом «Над Кубанью», который вышел из печати накануне Великой Отечественной войны. Тогда же были изданы его рассказы «Шестнадцатая весна» и «Володька—партизанский сын».

В первые месяцы Отечественной войны Центральный театр Красной Армии поставил пьесу А. Первенцева «Крылатое племя», посвященную героическим летчикам-истребителям и работникам советской авиационной промышленности. Это была вообще первая пьеса о Великой Отечественной войне, она не сходила со сцены многих театров все годы войны.

Активно откликаясь своим творчеством на события военных лет, А. Первенцев, будучи на Урале, близко знакомится с работой перебазированной с юга военной промышленности. Это помогает ему создать известный роман «Испытание», который вышел из печати в 1942 году и переведен на многие иностранные языки. Выходит также его книга рассказов и очерков «По Уралу».

В апреле 1942 г. А. Первенцев выезжает на Южный фронт.

На Кавказе, в Крыму и на Кубани он больше всего общается с моряками Черноморского флота, находясь в районе боевых действий черноморцев. Фронтные наблюдения позволили писателю создать еще в годы войны книги: «Гвардейские высоты», «Девушка с Тамани» и роман «Огненная земля», повествующий о боевых действиях Керченского десанта.

В период осуществления знаменитого Третьего сталинского удара по войскам противника А. Первенцев вступает вместе с войсками Отдельной Приморской армии в Крым. Здесь писатель знакомится с партизанами Восточного соединения, действовавшими в районе Старого Крыма, с партизанами Ялтинского района и доходит с войсками фронта до Севастополя и Херсонеса.

После войны писатель неоднократно приезжал в Крым для более полного изучения материалов, но непосредственные впечатления, полученные в результате живого общения с людьми и событиями героической крымской эпопеи, помогли ему создать и роман «Честь смолоду», и сценарий «Третий удар», и пьесу «Южный узел».

Постановлениями Совета Министров Союза ССР Аркадию Алексеевичу Первенцеву дважды присуждаются Сталинские премии—за роман «Честь смолоду» и сценарий «Третий удар».

Еще в 1938 году, через год после выхода в свет романа «Кочубей», А. Первенцев награждается орденом «Знак почета» за выдающиеся заслуги в деле развития советской художественной литературы. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками А. Первенцев награжден орденом Отечественной войны I степени и несколькими медалями.

После войны А. Первенцев продолжает сотрудничать в газете «Известия», в журналах «Октябрь» и «Молодой колхозник». Неоднократные поездки за границу—в Германию, Англию, Чехословакию, Албанию, Корею—позволяют писателю живо откликаться на волнующие вопросы международной политической обстановки, вести идеологическую борьбу с прислужниками англо-американского империализма.

Аркадий Первенцев — активный борец за мир. В своих статьях и очерках он разоблачает поджигателей новой войны, клеймит англо-американских хищников, мечтающих о мировом господстве, о покорении народов.

В предлагаемых читателю двух томах «Избранных произведений», выпускаемых Крымиздатом, собраны основные произведения писателя Аркадия Первенцева, посвященные Крыму.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
Честь смолоду	
Часть первая	5
Часть вторая	89
Часть третья	197
Часть четвертая	287
 Третий удар (сценарий)	 481
А. А. Первенцев	550

Редактор *М. Гусев*,

Художественное оформление *Ф. Литвинова* и *Л. Бекетова*.

Техредактор *А. Фисенко*. Корректор *В. Коваленко*.

НФ 00575. Объем 28,3 п. л. Формат бум. 84 × 108 ¹/₃₂.

Тираж 15000 экз. Подписано к печати 7/VII-1950 г. Типография

Крымиздата, г. Симферополь, ул. Кирова, 23. Заказ № 205.

Цена 15 р. 50 к.